

A vertical photograph of a rainy city street at night. In the foreground, a wet pavement reflects the warm yellow lights of street lamps and traffic. A person holding a dark umbrella is partially visible on the left. In the background, a large, ornate building with a dome, likely a cathedral, is visible through the rain. The entire image has a soft, painterly texture with visible water droplets and streaks, creating a moody and atmospheric scene.

Юрий ОКУНЕВ

.....

В немилости у природы

.....

Юрий Борисович Окунев

В немилости у природы.

Роман-хроника времен развитого социализма с кругосветным путешествием

*Текст книги предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23782884*

*В немилости у природы. Роман-хроника времен развитого
социализма с кругосветным путешествием: Алетейя; СПб.;
2017*

ISBN 978-5-906910-62-2

Аннотация

Новая книга известного ученого и писателя Юрия Окунева посвящена нелегкой и противоречивой судьбе талантливых ученых, создателей новой техники в условиях тоталитарной страны. Это – петербургский роман с ленинградской начинкой, это – путешествие из Санкт-Петербурга в Ленинград времен «развитого социализма». Герои романа работают на мировом уровне и готовы вывести свою страну на ведущие позиции в ключевых направлениях науки и технологии, но этому препятствуют окаменевшие порядки режима, вступившего

в застойный период. Творческий порыв, энергия «бури и натиска» увядают в трясине косности, губящей все новое, живое и нестандартное. Главным героям романа так и не удается прорваться сквозь заслоны партийно-государственной диктатуры – на родине их разработки не востребованы, а творческие планы не реализованы. Личные судьбы героев романа изломаны временем, в котором им приходится жить. Они размышляют о нем, об истории и будущем своей страны.

Содержание

Предуведомление автора	6
Глава 1. Ленинград	9
Глава 2. Одесса	52
Глава 3. Стамбул-Константинополь	81
Глава 4. Севилья	122
Глава 5. Атлантический океан	149
Глава 6. Магелланов пролив	175
Глава 7. Тихий океан	212
Глава 8. Филиппинский архипелаг	264
Глава 9. Остров Себу	286
Глава 10. Остров Мактан	341
Глава 11. Индийский океан	375
Глава 12. Острова Зеленого Мыса	406
Глава 13. Гвадалквивир	462
Глава 14. Вальядолид	504
Глава 15. Лиссабон	566
Глава 16. Санкт-Петербург	651

Юрий Борисович Окунев
В немилости у природы
Роман-хроника времен
развитого социализма
с кругосветным
путешествием

*Друзьям – страстным и наивным
мечтателям-«шестидесятникам»,
коллегам – талантливым
инженерам и ученым
времен «бури и натиска» XX века,
посвящается*

Предупреждение автора

Обычно беллетристы предупреждают читателей, что все герои их произведений, равно как и сопровождающие героев события, вымышлены автором от начала до конца. И если кто-то усмотрит сходство кого-либо из вымышленных героев с собой или со своими родственниками и знакомыми, то пусть не спешит паниковать и нанимать адвоката, ибо подобное сходство является чистой случайностью – чего, мол, в жизни не бывает. Такое предупреждение, фактически умаляющее правдивость авторского труда, имеет цель оградить его от судебных преследований за разглашение тайн частной жизни той категории читателей, которая склонна к сутяжничеству и доносительству.

Автор данного произведения хотел бы предупредить читателей в прямо противоположном, а именно – все герои настоящей хроники срисованы с реальных людей, а события списаны с подлинных историй от начала до конца, здесь всё – правда и одна только правда. Незначительный и не имеющий принципиального значения вымысел, о котором, конечно, следует сожалеть, состоит вот в чем: автор счел необходимым изменить подлинные имена героев, в ряде

случаев перетасовать их характеры, а также завуалировать названия и местоположения некоторых объектов повествования. И еще одно: единственным человеком из причастных к описываемым событиям, которого автор вынес за скобки данной хроники, является он сам. А тем «я», от лица которого ведется рассказ, назначен совсем другой персонаж – личность отнюдь не вымышленная, а реально существовавшая, эдакий «герой нашего времени».

Впрочем, всё это, вероятно, недостойные упоминания мелочи – какое дело читателю XXI века до подлинных имен персонажей и других ненужных деталей века прошлого. Ему, быть может, любопытно было бы приноровиться к той атмосфере, перенести самого себя в то ушедшее время, «которого звуки и запахи», как говорил Лев Толстой, «еще слышны и милы нам». Поэтому задача автора – успеть, ибо, как утверждала Марина Цветаева, «успех – это успеть». Не упустить свой шанс, успеть сработать до точки невозврата – того момента времени, когда вернуться в прошлое уже невозможно, когда поколение прямых участников великих событий уходит в небытие, когда эти события становятся предметом архивных исследований, когда всё труднее и труднее нарисовать картину судеб, быта, мыслей и переживаний тех, кто жил и делал историю в то ушедшее навсегда время.

И последнее: отнюдь не сатана, а примитивное невежество «правит бал» на нашей планете. В начале XXI века уходит в мир иной последнее поколение прямых свидетелей ужасной Мировой войны прошлого века, свидетелей геноцида народов диктаторскими режимами, строившими социализм. Если новые поколения не услышат уходящих свидетелей и предпочтут неведение, то их будущее, увы, не станет, мягко говоря, безоблачным, ибо история сурово наказывает тех, кто не учит ее уроков...

Глава 1. Ленинград

Александр Блок, поистине, может быть назван поэтом Невского проспекта... В нем – белые ночи Невского проспекта, и эта загадочность его женщин, и смутность его видений, и призрачность его обещаний... Блок – поэт только этой единственной улицы, самой напевной, самой лирической из всех мировых улиц. Идя по Невскому, переживаешь поэмы Блока – эти бескровные, и обманывающие, и томящие поэмы, которые читаешь и не можешь остановиться...

Я помню ту ночь, перед самой зарей, когда он впервые прочитал «Незнакомку»... Читал он ее на крыше знаменитой Башни Вячеслава Иванова. Из этой башни был выход на пологую крышу, и в белую петербургскую ночь мы, художники, поэты, артисты, возбужденные стихами и вином – а стихами опьянялись тогда, как вином, – вышли под белесоватое небо, и Блок, медлительный, внешне спокойный, молодой, загорелый... по нашей неотступной мольбе прочитал эту бессмертную балладу своим сдержанным, глухим, монотонным, безвольным, трагическим голосом, и мы, впитывая в себя ее гениальную звукопись, уже заранее страдали, что сейчас ее

очарование кончится, а нам хотелось, чтобы оно длилось часами, и вдруг, едва только он произнес последнее слово, из Таврического сада, который был тут же, внизу, какой-то воздушной волной донеслось до нас многоголосое соловьиное пение...

Корней Чуковский

Не поленитесь, придите в это место ясной белой петербургской ночью. Пройдите не спеша вдоль Таврического сада по Таврической улице со стороны Таврического дворца. Задержитесь в створе Тверской улицы напротив Башни Вячеслава Ив́анова и, подняв повыше голову, оторвитесь от земного и прислушайтесь... И тогда, в тишине безлюдных улиц, вы услышите, как с вершины Башни срывается, а затем пролетает с воздушной волной над темными деревьями таинственного сада и уносится в туманные заневские дали неземная музыка блоковских стихов:

*И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.*

*И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.*

*И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...*

* * *

В этом самом красивом и самом несчастном городе на Земле начиналось кругосветное путешествие героев нашей хроники, и там же оно закончилось – поэтому, в дополнение к поэзии Блока, о нем следует сказать хотя бы несколько слов «презренной прозой».

Объяснять, почему этот город самый красивый, нужно только тем, кто в нем не жил или провел здесь лишь недолгие туристские часы.

Объяснить, почему он самый несчастный, сложнее, поскольку в этом мире претендентов на крайнюю меру несчастья значительно больше, чем претендентов на высшую степень красоты. В свое время родина-мать предала этот город, вследствие чего он померк и стал отнюдь не «порфиноносной вдовой», как Москва в петровские времена, а сосланной в отдаленную провинцию нелюбимой женой, мешающей правителю наслаждаться вновь обретенной избранницей-царицей. Вследствие другой, вскоре последо-

вавшей военно-политической акции трехмиллионный город был обречен на вымирание от голода и холода – такого определенно не ведает история других несчастливых городов на планете Земля. Она, история других городов, не знает и крайностей ленинградского мученичества-от каннибализма доведенных до голодного безумия людей до беспрецедентных взлетов человеческой духовности над гибельной бездной. Именно здесь, в преддверии злодейского умерщвления жителей, была создана величайшая симфония XX века, названная впоследствии Ленинградской. В те времена нигде в мире, охваченном мировой войной, не сочинялись симфонии – всем и везде было не до симфоний. И только здесь, в городе, который ежедневно бомбили и ежечасно обстреливали, в городе, на который надвигался голодный мор и который стоял на пороге падения и кровавой резни, была написана симфония, ставшая музыкальным символом века. Это был едва ли не последний взлет великой петербургской культуры, выдвинувшей Россию на первые роли в драме европейской цивилизации. После истребительной войны несчастья города отнюдь не закончились. Немало лучшего из остатков его науки и культуры было постепенно в добровольно-принудительном порядке изъято в пользу столичного центра – сосланной нелюбимой жене указали на ее беспово-

ротной провинциальный статус...

Классики русской литературы, поэзии и музыки любили сочинять на петербургские темы, но их мнения об этом городе были полярно противоположными — одни нежно любили его, а другие люто ненавидели. Некоторые считают, что такая поляризация мнений связана с тем, что первые имели теплые пальто и ботинки, а вторые их не имели. Действительно, в петербургском скверном климате теплое белье совершенно необходимо для поддержания хотя бы минимального уровня оптимизма, но выведение глубоких чувств корифеев из подобного бытового обстоятельства всё-таки смахивает на упрощенчество. Наверное, дело не только в теплом пальто... Некоторые классики видели в этом городе символ ненавистного им неколебимого столпа самодержавной власти или, того пуще — «чужое, враждебное русскому духу инородное тело, силой вклинившееся в русское пространство и подчинившее его своей злой воле». Они желали бы его исчезновения. Другие классики, наоборот, преклонялись перед славным прошлым Петербурга, поражались его загадочным настоящим и предсказывали ему великое будущее, а главное — ценили неповторимую эстетику Петербурга, любили его «строгий, стройный вид, Невы державное течение», его «оград узор чугунный», его «задумчивых но-

чей прозрачный сумрак, блеск безлунный» и восхищались, как «светла Адмиралтейская игла...»

Я, признаться, разделяю точку зрения последних, люблю этот город, но наша повесть не о том, совсем не о том... И даже непонятно, с какого бодуна развел я всю вышеприведенную лирику.

Всё рассказанное здесь основано на моих дневниковых записях. По характеру я склонен к анархии и хаосу – любая упорядоченность вызывает во мне чувство дискомфорта, и, напротив, чем выше энтропия окружающего мира, тем легче, свободнее мне дышится. Совершенно чуждую этому привычку едва ли не ежедневно оставлять хотя бы несколько строчек в дневнике я приобрел от своего университетского профессора. Однажды, заметив мой удивленный взгляд на дневниковое многотомье на полке его домашней библиотеки, он сказал: «Вы, Игорь, не представляете себе, как это всё интересно перечитывать по прошествии времени». Тогда я и начал регулярно вести свой дневник – сначала через силу заставлял себя, а потом... потом это стало привычкой. Впрочем, здесь, по-видимому, имел место еще один, странный, на первый взгляд, мотив... Не помню, кто из советских классиков утверждал, что в Советском Союзе вести дневник было небезопасным занятием. В случае ареста за антисоветскую деятельность, да и по любому дру-

тому поводу, изъятый дневник мог послужить серьезным подспорьем для обвинителей, а главное – мог подставить упомянутых в нем совершенно невинных людей. Кроме того, сам факт регулярного писательства, если ты не член Союза советских писателей, вызывал у копошащейся вокруг массы бытовых и производственных стукачей острое желание немедленно донести об этом куда следует, особенно в том случае, когда выслужиться иным способом не удавалось. Не шпион ли ты, пишущий отчеты для своего «агентурного центра», или, того хуже, «враг народа, сочиняющий антисоветские пасквили» – пусть компетентные органы проверят, ибо органы точно знают, что и кому положено писать, а кому нет... Может быть, мое дневниковое хобби было отчасти вызвано не вполне осознанным протестом против таких порядков. Тем самым протестом, который побуждает рассказать и эту историю «кругосветного путешествия».

Читатели, по моим наблюдениям, делятся на тех, кто любит книги о путешествиях, и на тех, кто их не любит. Лакмусовой бумажкой интереса к путешествиям являются известные строки из знаменитой песни туристов «Бригантина», с которой начиналась вся бардовская музыка и поэзия:

И в беде, и в радости, и в горе,

Только чуточку прищурь глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

Упомянутые любители книг о путешествиях, будучи романтиками и прочитав о кругосветном путешествии, с надеждой подумали, что здесь будет нечто вроде «Фрегата Паллада» или, पुще того, наподобие «Острова сокровищ», — ведь они верят, что достаточно «чуточку прищурить глаза», чтобы увидеть хотя бы «в дальнем синем море» нечто прекрасное и влекущее... Их антиподы, будучи прагматиками, напротив, рассудили здраво, что никаких путешествий здесь не ожидается — ведь они полагают, что, сколько ни «щурь глаза», ничего нового и привлекательного не увидишь ни «в дальнем синем море», ни в близлежащей помойке... В данном случае, однако, нет правых и неправых. Конечно, в нашей повести не следует ожидать морских этюдов в манере Ивана Гончарова или приключений в стиле Роберта Стивенсона. Вследствие форс-мажорных обстоятельств, послуживших толчком к ее написанию, все впечатления о кругосветном путешествии свелись здесь к романтическим эпиграфам, предваряющим каждую новую главу. И тем не менее, к радости любителей приключений, могу сказать — путешествие всё-таки будет, но

не в пространстве, а во времени, путешествие в далекие и быстро ускользающие из памяти поколений странные до неправдоподобия времена вошедшие в историю под условным названием «эпохи развитого социализма».

Впрочем, пора оставить философствование на общие темы и перейти к делу.

Всё началось с того, что моего босса и друга Аро-на срочно вызвали на ковер к самому Генеральному директору нашего почтового ящика Митрофану Тимофеевичу Шихину. Не имевшие счастья жить в те далекие времена уже, конечно, недоумевают – как это можно быть директором почтового ящика. Для них поясню, что описываемый здесь «почтовый ящик» не имел никакого отношения ни к почте, ни к каким бы то ни было ящикам. Так именовалась огромная секретная организация, в которой мы с Ароном работали, – «Предприятие почтовый ящик №...», или сокращенно – «Предприятие п/я №...». Подлинный номер я, с вашего позволения, называть не буду из соображений упомянутой выше секретности. Наш почтовый ящик имел еще, как говорили, «открытое название», долженствующее окончательно сбить с толку слишком любознательных: «Научно-производственное объединение общего приборостроения», сокращенно – НПО ОП, или еще короче – ПООП. Чтобы не

возвращаться к этому вопросу, скажу сразу: название не имело никакого отношения к тому, чем мы с Ароном на самом деле занимались. Знаете, в свое время, то есть в доисторические времена, в Москве по приказу маршала Тухачевского, впоследствии зверски убитого по указанию Сталина, был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), где, между прочим, были разработаны первые в мире установки реактивной артиллерии под нежным названием «Катюша», но на фронтоне здания для чрезмерно любопытных и сильно нервных значилась успокаивающая надпись: «НИИ сельскохозяйственного машиностроения». Так примерно обстояло дело и с нашим ПО-ОП-ом. О секретности в философском плане мы еще поговорим, а пока вернемся к сути происшествия.

Вызов к адмиралу – так мы называли между собой нашего Генерального директора – как правило, ничего хорошего не сулил. Поэтому в ожидании неприятностей я только лишь волновался и ничего больше не делал. Наконец, уже на исходе рабочего дня, появился излучавший загадочность Арон. Я прикинулся, что меня это всё абсолютно не интересует, и собрался уходить домой, но Арон остановил меня.

– Подожди, Игорь, не торопись... не пожалеешь. Угадай с трех раз, что замыслил адмирал, – предложил мне загадку Арон.

– Еще один проект без увеличения штата – это раз; уменьшение зарплаты или премии – это два; понижение меня, или тебя, или нас обоих в должности – это три.

– В тебе нет ни грана оптимизма, как, впрочем, у всех мизантропов и диссидентов, – съязвил Арон, а затем буквально ошарашил меня риторическим вопросом: – Хочешь поехать в кругосветное путешествие за счет государства в персональной каюте на борту академического корабля?

– Сегодня не первое апреля, Арон, – попытался отшутиться я с перехваченным дыханием. – И, кроме того... у меня морская болезнь.

– Ничего! Мы тебе таблетки от морской болезни пропишем – в наше время это не проблема.

В тот вечер мы засиделись на работе, а потом еще поехали домой к Арону, чтобы выпить водки по случаю этой невообразимой удачи. Там под закуску, представленную его женой – красавицей Наташей, Арон и рассказал мне некоторые подробности визита к адмиралу. Здесь, однако, следует открутить пленку на несколько лет назад, чтобы читателю хотя бы что-то стало ясно.

Однажды, но не очень давно, ибо я уже был тогда начальником исследовательской лаборатории в отделе Арона, он вызвал меня в свой кабинет и торже-

ственно-официально объявил:

«Нам поручена разработка чрезвычайной государственной важности... Твоей лаборатории, Игорь Алексеевич, предстоит в сжатые сроки выполнить эскизный проект новой системы, начиная от теоретического обоснования и кончая техзаданием на опытно-конструкторскую разработку. С еженедельными отчетами на спецсеминаре...»

Потом Арон Моисеевич ознакомил меня с техническими требованиями к новой системе. Скажу вам по большому секрету, но максимально туманно и неконкретно, ибо иначе не позволено, – это был грандиозный проект шифрованной радиосвязи с некими объектами стратегического назначения, находящимися в любой точке мирового океана. Арон дал мне американский технический журнал с подробным описанием аналогичной «ихней» системы: «Посмотри, как там у них это делают, – может, что и пригодится». Пригодилось – мы сумели сделать точно «как там у них», у «полезных идиотов», не умеющих и не желающих оберегать свои секреты. Более того – сделали лучше, чем у них, благодаря парочке новинок-озарений, которые посетили нас с Ароном. И вот теперь, когда опытный образец нашей аппаратуры был сделан, высокое московское начальство решило испытать его на

просторах мирового океана и с этой целью организовало кругосветное плавание советского океанографического научно-исследовательского судна – помните «институт сельскохозяйственного машиностроения», в котором разрабатывались «Катюши»? Подобрать группу испытателей для этого плавания, естественно, было поручено нашему адмиралу. Он, вероятно, не без колебаний и не без желчи решил, что возглавить этот испытательный вояж должен Главный конструктор разработки, каковым являлся Арон. Расчет адмирала был ясен и незамысловат: при удачных испытаниях большая часть славы и наград достанется ему, а в случае провала всё можно будет свалить на Арона.

Совещание в огромном кабинете Митрофана Тимофеевича было описано мне Ароном в мельчайших подробностях, хотя некоторые детали, относившиеся к моей персоне, он деликатно опустил. Помимо двух главных действующих лиц на площадке присутствовал военный представитель заказчика – инженер-капитан первого ранга, имя и отчество которого я осмоторительно опускаю, а также секретарь парткома Иван Николаевич и начальник Первого отдела Валентина Андреевна – об этой чудной парочке мы еще не раз вспомним. Видно было, рассказывал Арон, что эти четверо уже всё обсудили и решили до его прихода. Распоряжение формулировал адмирал, Арон молча

слушал, а остальные согласно кивали:

«Вам, Арон Моисеевич, в соответствии с постановлением правительства мы поручаем, во-первых, подготовить к государственным испытаниям изделие „Тритон“ и, во-вторых, возглавить лично и провести эти испытания на борту исследовательского судна Академии наук СССР – порт отправления Одесса, порт возвращения Ленинград. Испытания должны охватывать три океана – Атлантический, Тихий и Индийский, маршрут плавания будет установлен соответствующими распоряжениями заказчика».

Потом обсуждались организационные вопросы – режим работы наземных радиоцентров на Кольском полуострове и на Камчатке, график сеансов связи, состав инженерной группы поддержки на корабле...

– Кого вы, Арон Моисеевич, предложили бы послать с вами в качестве заместителя по общим вопросам? – спросил Шихин.

– Я бы просил утвердить в этом качестве ведущего разработчика системы Игоря Алексеевича Уварова.

После этого заявления Арона наступила напряженная тишина...

Последующая часть совещания реконструирована мной на основе его краткого пересказа, а в большей степени и со всеми подробностями по информации от Екатерины Васильевны – помощницы секретаря

парткома, которую в определенные интимные моменты я называл Катенышем. Дело в том, что совещание записывалось на магнитофон, а Екатерина Васильевна перепечатывала текст для партийного архива. Как рассказывали Арон и Катя, моя кандидатура на роль кругосветного путешественника вызвала некоторое замешательство – ведь корабль будет заходить в порты капиталистических государств. Конечно, сходить на берег нам, допущенным к секретам государственной важности, скорее всего, не разрешат, но всё-таки пребывание в непосредственной близости с капитализмом требует особой идейной закалки, которая, по данным Первого отдела, у меня лично была в дефиците.

Военпред переглянулся с Валентиной Андреевной, она неопределенно пожала плечами.

– Следовало бы подобрать более подходящую кандидатуру, – сказал военпред.

– Чем названная кандидатура не устраивает военно-морской флот? – удивился Арон.

– Было бы правильным подобрать на роль вашего заместителя члена партии.

– Товарищ Уваров, – протокольно ответил Арон, – лучше всех знает систему в целом. Он, кроме того, кандидат технических наук, специалист по обработке стохастических сигналов. Если вам, как представите-

лю ВМФ, нужны исчерпывающие статистические характеристики системы в реальных условиях, то лучшей кандидатуры нет.

– Ваше мнение, Валентина Андреевна? – спросил Шихин.

– Если только под личную ответственность Арона Моисеевича, – ответила она и требовательно взглянула сначала на Арона Моисеевича, а затем на Ивана Николаевича.

– Я в данном случае поддерживаю мнение Арона Моисеевича, – включился в дискуссию Иван Николаевич. – Товарищ Уваров честный советский человек и прекрасный специалист. Мы в любом случае будем рассматривать кандидатуры отъезжающих за границу на Идеологической комиссии парткома. А здесь давайте исходить из интересов дела.

– Предлагаю утвердить кандидатуру Уварова для последующего рассмотрения в парткоме, – подвел черту Митрофан Тимофеевич, демонстративно снимая с себя ответственность за мое поведение за границей.

Тогда, в доме Арона и Наташи, я еще не знал подробностей этого разговора, но даже краткая информация Арона вывела меня из себя. К тому же я крепко выпил и меня понесло.

– Вот смотри, Арон, как это всё со стороны выгля-

дит: партийному еврею, то есть тебе, абсолютное доверие начальства, а беспартийному русскому, то есть мне, от ворот поворот. Объясни – эта партийная шпана не доверяет мне как беспартийному или как русскому?

– Тебе, милый друг, не доверяют не потому, что ты русский или беспартийный, а потому, что разведен, семью заводить не хочешь, а вместо этого практикуешь загул, разгул и еще... не знаю, как это у вас, мужчин, называется... Не думай, что твои донжуанские подвиги никому не известны, – вступила в разговор Наталья.

– А вот это уже клевета, я не Дон Жуан, а Джакомо Казанова.

– Не вижу особой разницы.

– А разница, Натальюшка, между прочим, принципиальная: Дон Жуан соблазнял женщин, чтобы унижить их, а Казанова – чтобы доставить им удовольствие.

– Ты объясни эту разницу адмиралу или в парткоме, – сказал Арон. – По сути, Наташа права. Твое досье в Первом отделе с учетом доносов наших стукачей, вероятно, не оставляет без внимания и тех, кому ты «доставляешь удовольствие», а это не самая лучшая рекомендация для заграничных поездок.

– Согласен, моя репутация не самая лучшая, но

подозреваю, что эту приклатненную начальственную публику в данном случае абсолютно не интересует мой моральный облик. Они просто задницу свою прикрывают... Еще посмотрим «кто более матери истории ценен» с ихней колокольни – аморальный беспартийный русский или безгрешный партийный еврей.

Хотя впоследствии я оказался прав, но этого своего высказывания всегда стыдился и стыжусь до сих пор – неэлегантно, хамовато у меня получилось, хотя ни Арон, ни Наташа тогда как будто ничего и не заметили. Мой институтский профессор советовал: «Не торопитесь высказаться – вы никогда не пожалеете о несказанном, но много раз будете жалеть о том, что сказали». У меня это, к сожалению, не получается.

А ведь Арон и Наташа так добры ко мне, чего я отнюдь не всегда заслуживаю.

Вот и теперь... это кругосветное путешествие – подарок бесценный Арона, мечта моя с детских лет, когда я еще зачитывался Жюль Верном, мечта несбыточная, вечно ускользающий фантом. В погоне за утраченным фантомом я путешествовал много и безудержно. Прошел пешком едва ли не все перевалы Большого Кавказского хребта, ходил из Домбая в Грузию – мне представлялось, что нет и быть не может во всём белом свете еще одной такой красоты. Объехал вокруг озеро Севан в Армении и озеро Ис-

сык-Куль в Киргизии. Странствовал по архангельским таежным поселкам, башкирским лесам и калмыцким степям. Путешествовал по Ладогe, Байкалу, Волге и Лене, плавал на круизных кораблях из Одессы в Батуми. Изъездил всю Прибалтику, Белоруссию и Закарпатье. Всего и не перечислить, но ведь Земля такая огромная...

Если верить в реинкарнацию, то в самом начале XV века стоял я, вероятно, рядом с португальским принцем Генрихом Мореплавателем в крайней западной точке Европы на мысе Сагриш у Атлантического океана. «Почему Земля такая маленькая и что там – за этим беспредельным океаном?» – спросил принц ученых и кормчих. Все молчали, а я ответил: «Земля так огромна, как мы вообразить не можем, она простирается и за этим, и за другими океанами... Прикажите выйти в открытый океан, дерзайте, принц!» Мнения ученых и кормчих разделились: ученые утверждали, что вблизи экватора море сгущается и корабли определенно сгорят под отвесными лучами Солнца, а кормчие рассказывали, что видели карты, на которых обозначен путь вокруг Африки. Но принц послушался меня, принял смелое решение и отдал приказ выйти в открытый океан, вследствие чего началось беспримерное дерзание маленького португальского народа, нашедшего новый путь в Индию и открывшего в те

чение нескольких десятилетий столько дотоле неизвестных стран и народов, сколько не было найдено за всю прежнюю историю. А потом я был летописцем первого кругосветного плавания под командой великого адмирала Фернандо Магеллана, и до сих пор моя любимая книга – новелла Стефана Цвейга под названием «Магеллан», написанная, между прочим, по моей летописи...

В этом месте нашего рассказа необходимо уйти из мира фантазий и прерваться для дачи чистосердечных показаний. Ведь мы пишем для людей XXI века, а им абсолютно непонятны авторские сантименты, терзания и стенания по поводу, например, кругосветного путешествия. «В чем, собственно, проблема? – недоумевает наш молодой энергичный читатель. – Возьми отпуск, если у тебя не собственный бизнес, купи билет на круизный лайнер и плавай себе, куда захочешь. Или, того проще, приезжай в ближайший аэропорт и лети в любую точку шарика, куда душа пожелает, – только паспорт не забудь взять да визу оформить, если потребуется. Правда, деньги на это уйдут немалые, но ведь, если такова мечта жизни, то не на ней же экономить». И выясняется, что современному читателю нужны не только душещипательные истории из жизни наших героев далекого прошлого, выписанных кем-то талантливо или бездарно в виде ти-

пичных или, напротив, атипичных образов, но и конкретные, подлинные условия того неведомого читателю мира, в котором означенные герои существовали.

А существовали они в Советском Союзе эпохи «развитого социализма», в котором поездки за пределы «социалистического лагеря» дозволялись: шпионам, дипломатам и агентам при всевозможных заграничных службах, партийно-правительственным делегациям по особым случаям, специально отобранным ученым, писателям и артистам тоже по чрезвычайным обстоятельствам, а также особо приклатненной партийно-хозяйственной верхушке – если кого забыл, меня поправят. Да, конечно, забыл – за границу допускались еще моряки торгового флота во время заграничных плаваний. Правда, ходить по «капиталистическим заграницам» им разрешалось по трое, то есть, уточняя, только в составе специально подобранных троек (не путать с гоголевской «птицей-тройкой»), так чтобы в случае несоветского поведения одного из членов тройки два других или, по крайней мере, один наступал куда надо. Всему остальному населению страны рекомендовалось либо сидеть дома и на даче, у кого она была, либо путешествовать во время отпуска по бескрайним просторам родины, в которой, как утверждалось, есть всё, что можно найти за границей, равно как и всё то, чего за границей найти нельзя...

Вспоминаю, что у многих мужчин старшего поколения в изощренно коварной графе анкеты «Пребывание за границей (где, когда, при каких обстоятельствах)» значилось: «Германия, 1945, в составе войск Красной Армии» — больше нигде и никогда в своей жизни они, поверьте, действительно не бывали. Не помню, кто сказал: «Свобода — это когда ты можешь поехать в ближайший аэропорт и улететь к чертовой матери». У советских людей была возможность воспользоваться только первой частью данной рекомендации. Кто-то из классиков заключил по этому поводу: «Если из страны можно свободно уехать, то в ней можно жить», из чего следует неразрешимый парадокс — если из страны нельзя уехать, то в ней нельзя и жить. Но они, советские люди, жили, а некоторые даже числили себя самыми счастливыми на Земле, за что впоследствии сами себя презрительно называли совками.

Совком, кстати, согласно толковому словарю русского языка, называется как государственное устройство бывшего Советского Союза, так и субъект его населения с привычками, навязанными коммунистической идеологией, — только в первом случае слово это желательно писать с большой буквы, а во втором можно и с маленькой. Одним из важных атрибутов совковости было причудливое сочетание фанта-

зий о райской жизни «там» с вбитым в подкорки убеждением, что советскому человеку «там» жить невозможно и даже временно пребывать нежелательно. Об этом, к слову сказать, сохранилось немало анекдотов, бывших, на самом деле, простым переложением на язык народного юмора реальных историй и ситуаций, но что может быть поучительней, чем быль, похожая на анекдот. Вот одна из таких анекдотических былей, имеющая прямое отношение к нашей теме.

В семье Арона и Наташи жила одно время молодая девица Ксюша родом из псковской деревни. Она убежала от голодной колхозной жизни в город и устроилась домработницей с временной пропиской в квартире Арона и Наташи. У них было двое маленьких детей, но Ксюша справлялась и с ними, и с уборкой, и с готовкой, и всё это фактически за еду и крышу над головой – лишь бы не обратно в колхоз. Как-то утром, за завтраком, Арон просматривал вчерашнюю газету и краем уха слушал новости по радио, а Ксюша вертелась вокруг по хозяйству. Диктор нравоучительно рассказывал, как один советский артист балета, будучи на гастролях в Швеции, изменил родине и попросил там политического убежища, как он теперь страдает на чужбине, как его осуждают в коллективе и т. д. и т. п. Внезапно Ксюша спросила: «Арон Моисеевич, зачем же он остался в Швеции – ведь там капи-

тализм?» Арон отложил газету и напрягся, мгновенно оценив, какой сложный вопрос задала ему девушка. В его намерения отнюдь не входило просвещать Ксюшу и объяснять ей, насколько выше уровень жизни в капиталистической Швеции по сравнению с социалистическим Союзом, особенно если сравнивать, скажем, шведских фермеров с колхозниками из Ксюшиной деревни. Осознав безвыходность своего положения перед лицом этой наивной простоты, которая, как известно, хуже воровства, он выкрутился гениально: «Наверное, Ксюша, он не знал, что там капитализм».

Шутки шутками, а запрет на поездки населения за границу был важнейшим принципом Совка, его государствообразующим фундаментом, заложенным еще основоположниками марксизма-ленинизма-сталинизма. Мой отец, по-видимому, много размышлял об этом фундаменте. Он сам пересекал, а вернее – раздвигал границы родины дважды, причем оба раза это было на Карельском перешейке во время советско-финской войны. Детали отцовских мыслей вслух стерлись из памяти – прошло слишком много времени, но в моем дневнике сохранился вот такой фрагмент, записанный, судя по всему, по горячим следам его рассуждений:

«Первые два основоположника – Маркс и Энгельс – „научно“ доказали, что коммунизм

может быть построен только во всех странах одновременно. Они рассуждали вполне логично – поскольку коммунизм устанавливается с помощью насилия, называемого диктатурой пролетариата, то его победа в какой-либо одной, отдельно взятой стране, приведет к бегству ее непролетарского населения в другие страны, где коммунизм еще не построен, крайне затруднив, а может быть, и сделав невозможным построение коммунизма повсеместно. Третий основоположник – Ленин – не менее „научно“ доказал обратное – возможность и даже неизбежность построения и социализма, и коммунизма в одной, отдельно взятой стране, которой, по несчастью, оказалась такая большая страна, как Россия. Он тоже рассуждал вполне здраво: если разрешение на убытие за границу в „отдельно взятой стране“ будет давать лично он или назначенные им строгие надзиратели вроде товарища Дзержинского – того, „делать жизнь с кого“ предлагалось советским поэтом, – то никто никуда не убежит, и, следовательно, в этой стране можно будет построить полный социализм, постепенно переходящий в коммунизм. Правда, третий основоположник рекомендовал поспешать с мировой революцией – видимо, опасаясь, что все-таки население „отдельно взятой страны“ разбежится, не дождавшись даже социализма. Четвертый

основоположник – Сталин – довел ленинскую идею построения социализма в одной, отдельно взятой стране до полного совершенства и достиг невиданного в долгой истории человечества результата – много тысячекилометровая граница гигантского государства была закрыта наглухо, так что и мышь не пробежит, с помощью системы непроходимых заграждений из колючей проволоки, минных полей, погранзон и погранзастав, днем и ночью охраняемых миллионной армией пограничников с собаками. Помимо этого четвертый основоположник внес в мизантропские идеи своих предшественников свежую струю, отличавшуюся особой лютостью, – семьи и родственники сбежавших за границу граждан подлежали немедленным суровым репрессиям. Подобно пахану банды уголовников, он исходил из того, что подвластное ему население можно превратить в „тварей дрожащих“ только в том случае, если им, тварям, некуда будет смыться и негде будет спрятаться. В этом четвертый основоположник, надо признать, вполне преуспел и по существу превратил огромную часть планеты в концентрационный лагерь, закономерно именовавшийся „социалистическим лагерем“, где покорные рабы славили величие и мудрость своего „вождя, отца и учителя“. Преемники четвертого основоположника, также

претендовавшие на роль основоположников, но ими не ставшие, по существу ничего не меняли в уже созданной и вполне оправдавшей себя сталинской системе – гаранте их незыблемой власти над населением».

Прошу прощения у читателей за длинноватое историко-политическое отступление, особенно у тех, кто сам еще помнит те далекие времена или знает все это из книжек. Как, однако, мало осталось первых, и как быстро уменьшается число вторых! В беллетристике, в отличие от эссеистики, не принято использовать подобные длинные отступления публицистического толка – полагают, что это есть моветон. Изящная словесность предпочитает ненавязчиво, деликатно вызывать историко-философские реминисценции прошлого через образы литературных героев... Но кто же тогда расскажет новым поколениям неприбранную, голую правду о прошлом вопреки законам изящной словесности? Ту правду, которую тщательно замазывает будущее, желающее иметь лишь великое прошлое.

Наверное, тем, кому посчастливилось не знать лично этого прошлого, наше отступление позволит понять человека, который с детства мечтал о путешествиях в далекие заморские страны, в юности понял, что эта мечта на его родине абсолютно несбыточна,

а в зрелые годы вдруг получил командировку в кругосветное путешествие. Этот человек, пребывая в состоянии эйфории, тайно обдумывал предположительный маршрут путешествия: Одесса, Босфор и Дарданеллы, Стамбул, Афины, Венеция, Мессинский пролив, Неаполь, Марсель, Барселона, Севилья, Гибралтар, Атлантический океан, Багамы, Эспаньола, Ямайка, Панамский канал, а может быть, чем черт не шутит, Барбадос, Рио-де-Жанейро, Огненная земля и Магелланов пролив, а потом – Тихий океан, Гавайи, Фиджи, Соломоновы острова, Филиппинский архипелаг, Острова пряностей, Сингапур, Коломбо, Мадагаскар, Кейптаун, Берег Слоновой кости, Острова Зеленого мыса, Дакар, Санта Круз, Канарские острова, Касабланка, Лиссабон, Ла-Манш, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм, Ленинград.

Арон, конечно же, отказался обсуждать со мной маршрут нашего кругосветного путешествия. Не скажу, что ему чужда романтика. В туристских походах у костра он играет на гитаре и своим несильным, но красивым баритоном поет бардовские песни Юрия Визбора о далеком и несбыточном – «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретимся с тобой». Но в работе предпочитает сухой прагматизм.

– Арон, я с детства мечтаю одним счастливым утром приплыть к райским островам Фиджи. Почему

бы ни включить их в наш маршрут, ведь начальству все равно, где мы будем плавать. Представляешь, мы испытываем наш «Тритон» у берегов Фиджи. Звучит, не правда ли?

– Ты, Игорь, форсируй, пожалуйста, проверку декодера в паре с компьютерным симулятором канала. Боюсь, нам будет скоро не до твоих Фиджей.

Мой шеф, конечно, личность выдающаяся, на грани гениальности, необычный во многих отношениях человек. Взять хотя бы его фамилию – Кацеленбойген. Я ему говорю:

«Ну зачем ты, Арон, мучаешь наших несчастных кадровиков и сексотов – им же трудно запомнить, записать или, не дай бог, произнести твою фамилию. Сократи ее в интересах следствия и прогрессивной общественности. Например, Кац – звучно, кратко и предельно ясно. Или Кацелин – тоже неплохо. Или начни со второй половины, например, Ленбойгин – как-то даже по-партийному звучит; ну, в конце концов, и Бойгин – совсем недурственно. Твоя фамилия дает столько возможностей, а ты их не используешь. Смотри – писатель Илья Файнзильберг переделал себя в интересах читателей на Илью Ильфа, одну только букву „фэ“ оставил от родовой фамилии, и прекрасно получилось. Или, например, Лейзер Вайсбейн

– ну скажи, кто бы снимал в кино на главную роль артиста с тремя „й“ в имени и фамилии, а Леонида Утесова охотно снимали. Вообще, из-за этих множественных „й“, да еще в самых неподходящих местах, у вас, евреев, одни неприятности. Поэт Михаил Светлов из-за этого вынужден был отказаться от своей красивой фамилии Шейнкман, а журналисту Михаилу Кольцову пришлось избегать своего первородного имени Моисей, а потом ему даже довелось стать Мигелем, после чего Сталин его расстрелял как иностранного шпиона».

Арон не обижался на мой стёб по поводу его фамилии. Я был его учеником, писал диссертацию под его руководством, а потом мы стали друзьями. Арон на десять лет старше и в несколько раз талантливее меня.

– Фамилию меняют, когда за ней ничего не стоит, когда не знают или не хотят знать своего прошлого, своих предков, которые, поверь мне, были не глупее нас, – наставлял он меня.

– Ты имеешь в виду «Ива́нов не помнящих родства»?

– Не имеет значения, Ива́нов или Абра́мов. Я имею в виду более важную вещь: отсутствие интереса к своим предкам – это в какой-то степени провинциализм. Можно жить в столичном городе и оставаться провин-

циалом, обывателем с амнезией исторической памяти.

Это было его хобби – отыскивать предков и связывать их жизнь с известными фактами истории. Оказывается, фамилия Арона происходила от названия немецкого города Katzenelnbogen в прирейнской долине, где его предки поселились ещё в XIV веке. После еврейских погромов во времена Черной смерти они перебрались в Италию. Среди предков Арона были знаменитые средневековые раввины Падуи и Венеции, наследники которых впоследствии принесли талмудические знания в Литву и Польшу. После раздела Польши они стали подданными Российской империи, жили в черте оседлости, а в годы революции примкнули к большевикам, отказавшись от своего раввинского наследия. Дед Арона был комиссаром в Гражданскую войну, а отец – офицером Красной Армии. Эта удивительная семейная Одиссея подвигла меня на собственное генеалогическое исследование, но, честно говоря, я не продвинулся дальше смутных данных о своих дедушках и бабушках.

– Мой дед был из зажиточных тамбовских крестьян, – рассказывал я Арону. – Не твой ли дед-большевик раскулачивал его?

– Мой дед в годы коллективизации работал экономистом в Наркомтяжпроме, был помощником нарко-

ма Серго Орджоникидзе, – вяло оправдывался Арон.

– Объясни мне, Арон, почему среди потомков раввинов оказалось так много революционеров?

– Не только революционеров, но и ученых, философов, музыкантов... Раввины обладали утонченным умственным аппаратом, отшлифованным на Торе и Талмуде. Эта шлифовка не только укрепляла их ортодоксию, но и высекала искры новых идей... Первыми учителями Спинозы были раввины. Не они ли ограничили алмаз его ума так, что он сначала взбунтовался против раввинской религиозной схоластики, а потом совершил революцию в философии? Идеалисты становятся революционерами, когда приходит время реализовать идеи справедливости...

– Сталинские палачи и вохровцы из НКВД тоже пришли для «реализации идей справедливости»?

– Не передергивай, Игорь, «сталинские палачи и вохровцы» не имели никакого отношения ни к справедливым идеям, ни к революции.

Как ни странно, мы с Ароном, будучи во многом единомышленниками, вместе с тем часто и остро спорили, особенно во время туристских походов, когда работа и быт оставались позади и приходило время поговорить и помечтать о вечном. Я, например, считал Великую Октябрьскую социалистическую революцию абсолютным злом, а Арон находил в ней нечто поло-

жительное. Я связывал Ленина со Сталиным жесткой прямой линией первого порядка, но Арон предпочитал более сложные кривые высокого порядка. «Ленин никогда не был антисемитом, – возражал он и, наставляя меня на путь истинный, продолжал: – Твои эмоции по поводу культа личности и диктатуры Сталина отнюдь не доказывают ошибочность доктрины социализма. Сталинский режим был извращением социализма, социализмом без человеческого лица. Согласись, что в капитализме заложено нечто бесчеловечно жестокое...»

Как-то я принес Арону самиздатовский, на папиросной бумаге, перевод книги нобелевского лауреата Фридриха Хайека «Дорога в рабство». В книге доказывалось, что национал-социализм в Германии и фашизм в Италии являются не «реакционной формой капитализма», как утверждали советские придворные историки, а развитым социализмом. Это было во времена, когда КПСС – «ум, честь и совесть нашей эпохи» – незаметным шулерским приемом в самый раз подменила лозунги скорого построения коммунизма словами об уже построенном развитом социализме. Население восприняло эту подмену с пониманием – мол, коммунизм, конечно, пошибче, но и социализм, тем более развитой, тоже неплохо. Впрочем, нужно признать, что в те времена уже очень многие вос-

принимали все эти лозунги о развитом социализме и коммунизме как недостойное внимания пропагандистское фуфло. Тем не менее книга Хайека не убедила Арона, он сказал: «Модели социализма, которые изучал Хайек, являются маргинальными его проявлениями. Они, как и сталинский социализм, не имеют ничего общего с классикой...» Я вспылил: «Твой классический социализм нетрудно лицезреть в ближайшем гастрономе, наблюдая попытки толпы социалистов отхватить полкило сосисок». Арон никогда не выходил из себя: «Не горячись и не своди серьезную проблему к дефициту сосисок...»

Он был мудрее меня – это особенно наглядно проявилось в выборе жен.

Я женился, будучи еще студентом. Однажды поздно ночью, после довольно пьяной студенческой вечеринки, взялся я проводить домой хорошенькую курносенькую сокурсницу Галю, которую на самом-то деле не ахти как и знал. Мы целовались в подъезде ее дома, когда Галя «проговорилась», что ее родители уехали в отпуск. Я немедленно настоял на символической «чашечке чая». Мы крадучись дошли до ее комнаты в огромной коммуналке, а дальше всё развивалось, конечно, без всякого чая по вполне стандартному сценарию... Под утро я также крадучись выскользнул из квартиры и с больной головой пошел домой

отсыпаться, наивно полагая, что на этом ночное приключение закончилось. В институт я пришел во второй половине дня только потому, что в группе была зачетная лабораторная работа по сопромату, который не очень мне давался. Войдя в аудиторию, я обратил внимание на то, что Гали нет, парни едва здороваются со мной сквозь зубы, а девушки вообще отворачиваются. «Что случилось?» – тихо спросил я своего напарника по лабораторным работам. «Это у тебя надо спросить, что случилось, – ответил он. – Галю утром увезли на Скорой с какими-то непонятными болями внизу живота». Я взвился и сказал громко, чтобы все слышали: «Вы, друзья, совсем охренели. Я-то здесь при чем? Не надо преувеличивать мои достоинства!» Вечером того же дня выяснилось, что у Гали случился приступ банального аппендицита, меня неохотно реабилитировали, но осадок, как говорят, остался, и я поначалу вынужден был проявлять к ней повышенное внимание и заботу. В атмосфере этой заботы мы продолжили наши свидания, а потом Галя забеременела...

Короче – я женился на ней, но этот брак был заведомо обречен. Мы были разными, мы были несовместимыми. Галя имела особое мнение по всем вопросам, причем всегда противоположное мнению собеседника, независимо от сути этого мнения – главное,

чтобы не такое, как у других. Она начинала каждую фразу со слова «нет», даже в том случае, когда хотела сказать «да». «Нет, – говорила она, – вы, конечно, правы... Нет, я согласна с этим...» Меня это жутко раздражало, и я постепенно вообще начал избегать разговоров с женой, ибо после первых же сказанных мной слов, как правило, открывался неиссякаемый словесный фонтан с доминантной струей из «нет». Я вообще не люблю не умеющих слушать, а перебивающих меня невнимательных женщин – особенно. Мне кажется, что женственность непременно предполагает умение слушать и сопереживать. В Гале этого не было, и наш брак начал быстро увядать, в чем, вероятно, я тоже был виноват. Рождение дочери поначалу оживило его, но ненадолго. Мы развелись, разъехались, а последующее общение сводилось к редким разговорам по телефону в основном о нашей общей дочери Светланочке. Но однажды Галя без предупреждения – у меня тогда еще не было домашнего телефона – приехала ко мне на только что купленную кооперативную квартиру для «серьезного разговора», как она заявила. Далее она объяснила, что выходит замуж за военно-морского инженера и уезжает по месту его службы, что муж хочет удочерить Светланку и категорически против любого ее общения со мной. Она умоляла меня забыть о дочери: «Мы уезжаем далеко, я хочу на-

чать новую жизнь и очень прошу тебя не искать нас и не тревожить Светлану – пусть у нее будет один-единственный отец». У меня не было контраргументов, и я вынужден был согласиться. Мы решили расстаться, если и не друзьями, то, по крайней мере, не врагами. Для закрепления договора Галя осталась у меня ночевать – она почти перестала использовать слово «нет». В сексе с бывшей женой, когда ты уже свободный человек, есть некоторый изыск... Под утро Галя призналась, что уезжает навсегда в Комсомольск-на-Амуре. Вот так я потерял свою дочь, а в остатке получил мощную инъекцию стойкой идиосинкразии к семейной жизни.

У Арона всё было иначе в основном благодаря Наташе – так мне хотелось бы думать. Признаюсь, я влюблен в эту женщину, влюблен тайно, бессмысленно, беспредметно, потому что... Ясно почему – я познакомился с ней, когда она уже была женой Арона. Об этом не знает никто, это глубочайшая тайна моей греховной личности, а догадывается, возможно, лишь сама Наташа. В любви, бесперспективной не только из-за отсутствия ответного чувства, но и вследствие категорической невозможности проявить свое собственное, есть невыразимое очарование. Вот я и живу с этим очарованием в душе и со всем остальным в теле... Наташа почти на десять лет старше ме-

ня. Когда Арон познакомил меня, вчерашнего студента, с ней, я был ошеломлен зрелой красотой этой уверенной в себе, умной и тонкой женщины. Лишь потом я узнал, что представшее передо мной чудо создано Ароном – далекий отголосок древней легенды о Пигмалионе и Галатее. Правда, исходный материал у нашего Пигмалиона был ох как хорош – красавица из среднерусской глубинки, с длинными пепельными волосами и точеной рельефной фигурой, в которой расстояние от талии до пальцев ног составляло классические две трети – точно как у мраморного изваяния Галатеи.

Брак Арона и Наташи сам по себе был чудом. Коренной ленинградец, молодой перспективный ученый из еврейской семьи женился на русской девушке из провинции.

Родители Арона были убежденными интернационалистами, но... не одобряли женитьбу сына на русской. Отец после ухода из армии работал редактором в военном издательстве, а мать – учительницей русского языка и литературы. Они были стопроцентно ассимилированными евреями и по существу давно уже принадлежали к русской интеллигенции, но тем не менее что-то тревожило их в браке сына. Возможно, это было связано с той глубокой трещиной в пресловутом советском интернационализме, которая образо-

валась еще при Сталине во времена Дела врачей, а может быть, и с неудачным семейным опытом. Дядя Арона, брат его отца Моисея Кацеленбойгена, рассказывал, что чуть что не так, его русская жена вспыхивает и говорит, что, мол, «у вас, евреев, всё не так, как у людей» – правда, потом отходит. А однажды во время крупной ссоры она обозвала мужа жидом – сама испугалась и просила прощения. Дядя простил ее, но осадок остался. Родители Арона не мешали ему встречаться с Наташей, не отговаривали его, интеллигентно отмалчивались, сокрушенно вздыхая наедине друг с другом.

Родители Наташи – рабочие секретного завода в Арзамасе – тоже были интернационалистами и... тоже не одобряли такое замужество дочери. Интернационализм интернационализмом, а еврей – не русский, и еще неизвестно, чем всё это обернется. Они отнюдь не были антисемитами, близко общаться с евреями им вообще не пришлось. Наташины родители верили в разрекламированную по телевизору некую мифическую наднациональную «общность советских людей», но квазиинтернациональная политика партии и правительства, постепенно сползавшая в густопсовый шовинизм, давала недвусмысленное указание – с евреями что-то не так. Конечно, в теории все советские нации равны, но на практике, как говорил

классик, в нашем «скотном дворе некоторые равны более других», а советские евреи как-то совсем были из этой табели о рангах равенства. Не знаю точно, что творилось на той стороне квадрата, но, вероятно, родителям Наташи стало не по себе, когда они узнали новое имя своей дочурки – Наталья Ивановна Кацеленбойген. О таком и друзьям, и соседям рассказать затруднительно, и они отправились в Ленинград на свадьбу дочери, полные тревожного ожидания встречи со своими еврейскими родственниками.

Впрочем, свадьба Арона и Наташи прошла, как говорят, «в обстановке полного торжества советского интернационализма», все четыре точки квадрата отбросили «буржуазные предрассудки» и согласились, что независимо от национальности супругов «все счастливые семьи счастливы одинаково».

Эта фраза классика всегда казалась мне сомнительной. Взять, например, семью Арона и Наташи. Они были счастливы «не одинаково» с другими счастливыми семьями, они были счастливы особенно ярко, необычно, нетривиально, всеохватно... Сюжеты изящной словесности традиционно раскручиваются вокруг несчастливых семей, потому что о несчастьях писать легко – они возникают по всем понятным причинам и развиваются по ограниченному числу более-менее сходных завлекательных сценариев. До-

статочно наделить героя или героиню каким-нибудь чрезмерно выраженным недостатком типа ревности, жадности, глупости, пошлости, сластолюбия, эгоизма, нарциссизма или еще какой-либо пакостью, и сценарий несчастливой семьи почти готов. Другое дело – счастливая семья, о ней так просто не напишешь, о ней поначалу, верхоглядно, вроде бы и писать нечего, а если задуматься, то оказывается сложным до невозможности такую семью описать, потому что причины счастья, в отличие от причин несчастья, не лежат на поверхности, а зарыты глубоко и недоступно в глубинах интимных человеческих отношений. Много в отношениях Арона и Наташи было выше моего понимания, наверное, потому, что в моих связях с женщинами всегда была заметная доля цинизма. Да, такая вот я сволочь... Подобно французскому классику, считаю, что «не следует заводить любовницу, которая не в состоянии изменить вам». Распространяется ли это правило на жен, я не знаю вследствие отсутствия позитивного опыта... Но что твердо знаю: меня удивляла преданность Наташи Арону, доходившая именно до той легендарной неспособности изменить ему. Я этого не понимаю, а то, чего я не понимаю, раздражает меня. Здесь, конечно, намешано многое – и мое тайное влечение к этой женщине, и ее недоступность для меня, и моя прагматическая убежденность, что

в данной сфере ничего святого на самом деле нет... Такая вот мешанина из иррациональных эмоций и холодного рассудочного анализа, в конце концов, толкнула меня на подловатый поступок... Но об этом не сейчас, не хотелось бы начинать с самого плохого о себе, тем более что я сильно отвлекся от темы – нашей с Ароном подготовки к испытательному вояжу по морям и океанам.

Работали мы в то время много и увлеченно. Одно дело – лабораторное тестирование «Тритона» или его проверка на заводском полигоне поблизости, на Карельском перешейке, и совсем другое – всеохватные испытания в мировом океане. Далекие океанские дали и манили, и пугали – сработает ли всё, задуманное с таким размахом и замахом, справимся ли? А здесь еще – подготовка к заседанию Идеологической комиссии парткома, на которой мы с Ароном должны были продемонстрировать высокий идейно-политический уровень, равно как и готовность строго придерживаться генеральной линии партии на океанских просторах, особенно проплывая мимо мира капитализма. Арон велел мне вызубрить, на всякий случай, имена руководителей коммунистических партий всех стран мира, как стихи. Я сказал: «Не вижу связи между именами глав компартий и испытаниями секретной аппаратуры связи с подводными лодками». Арон пы-

тался разжечь мою убогую недиалектическую фантазию:

«Представь, проплываешь ты со своей аппаратурой мимо, например, Греции и терпишь бедствие. Тебя, полумертвого, вместе с остатками аппаратуры выбрасывает морской волной на берег... Обращаться к Черным полковникам за помощью ты, конечно, не станешь, а попробуешь получить поддержку греческих товарищей – тут-то и пригодится знание имени подпольного главы греческих коммунистов».

Те времена подготовки к кругосветному путешествию были временами надежд и радужных ожиданий, ярким солнечным светом, засветившим темные углы нашей жизни, – всё у нас получалось, всё работало, и мы сами словно излучали блески ума и юмора. Даже неумолимое приближение заседания Идеологической комиссии не могло отравить нашего оптимизма и радости успешного творчества. Однако, прежде чем рассказать об этом чрезвычайно серьезном событии, необходимо ввести в наше повествование несколько важных действующих лиц.

Глава 2. Одесса

Вероятно, уж никогда не видать мне Одессы. Жаль, я люблю ее...

Если бы можно было, я бы хотел подъехать на пароходе... Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом Фонтане, и один-одинешенек на палубе смотрел бы на берег... Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый; потом Лонжерон, а за ним парк – кажется, с моря видна издалека черная колонна Александра Второго. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе. Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватер, а это волнорез; Карантин и за ним кусочек эстакады – мы в Карантин и плывем... В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей... Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара... Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней; второй такой, кажется, нет на свете, а если скажут, где есть, не поеду смотреть. И над лестницей каменный Дюк – протянул руку и тычет в приезжего пальцем:

меня звали дю Плесси де Ришелье – помни, со всех концов Европы сколько сошлось народов, чтобы выстроить один город...

Вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете... Постепенно стерли друг о друга свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха...; может быть, он прав, а может быть, и нет, убиваться не стоит...

С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговоримся встретиться у меня в Лукании...

А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют; и опять все будет, как тогда... только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов и музыка – все ласка. И Бог, если добратся до него... разбранить последними словами за все, что натворил,

а потом примириться и прижать лицо к его коленям, – Он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется «женщина».

Потешный был город; но и смех – тоже ласка. Впрочем, той Одессы уже давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду...

Владимир Жаботинский, «Пятеро»

*** * ***

К этой части моего правдивого рассказа приступаю я с трепетом и наслаждением, ибо здесь надлежит мне, с одной стороны, отразить выдающуюся роль парткома в решении кардинальных проблем нашего ящика, а с другой – рассказать о двух женщинах и одном коте, имеющих к парткому и предмету нашего повествования самое непосредственное отношение и во времена сплошной серости достойных самого искреннего восхищения.

Что касается упомянутых женщин, то в силу своей бескомпромиссной приверженности правде вынужден признаться, что был близок с обеими и любил их одновременно, хотя и по-разному, причем прошедшее время здесь не признак угасшей любви, а, как вы скоро узнаете, трагическая необходимость... С од-

ной из них вы уже поверхностно знакомы – это, конечно же, Екатерина Васильевна, которая в описываемое время была помощницей нашего партийного босса и центральной фигурой в сакральном помещении парткома, а главное – единственным украшением и главной притягательной силой этого помещения. При всем том она иногда пренебрегала партийными условностями и оставляла в запертом кабинете свою деловитость, чтобы тайком встретиться со мной в недоступном для партийного ока месте, каковым была моя однокомнатная холостяцкая квартира.

Поразительно, однако, не это, а то, что многие годы нашу связь удавалось скрывать не только от любопытной общественности и неформальной группы профессиональных стукачей, но и от двух церберов, ревностно следивших за Катиной нравственностью.

Одним из церберов, как нетрудно догадаться, был законный муж Кати по имени Сева. Превзойдя в порочной ревности всех своих классических предшественников, он отнюдь не достиг их монументального величия – да простит мне Господь эти слова о человеке, так плохо кончившем, увы, не без моего участия. Впрочем, как говорил не помню какой классик, «рогоносец – это не тот, кому жена изменяет, а тот, кто думает, что нет, не изменяет». Всеволод Георгиевич, судя по всему, не имел чрезмерных иллюзий относитель-

но поведения своей роскошной жены, бывшей, ясное дело, его главным жизненным достижением.

Другим блюстителем Катиной нравственности был уже знакомый читателям секретарь парткома Иван Николаевич – ее непосредственный начальник. Он и Всеволод Георгиевич приятельствовали еще со студенческих времен, но работали в разных почтовых ящиках, что, с одной стороны, затрудняло координацию усилий по слежению за нравственным обликом объекта наблюдения, но, с другой стороны, расширяло зону обзора. До поры до времени никто из них не удосужился сопоставить отлучки Кати в магазины, к косметичке и по другим дамским делам с графиком моих местных командировок, и я счастливо оставался вне зоны подозрений. Этому неведению церберов способствовала их взаимная подозрительность, отвлекавшая от поисков истинного источника Катенькиной безнравственности.

Собственно говоря, разумным было только одно направление подозрений – естественное опасение мужа относительно начальника его жены, который, используя свое служебное положение, вполне может... и так далее по умолчанию... Нужно, однако, сказать, что это опасение Севы было абсолютно беспочвенным. Конечно, когда изменчивая мода открыла миру прелестные ножки Екатерины Васильевны

несколько выше колен, Иван Николаевич не мог отказать себе в удовольствии поглядывать на них, но не более того... Во-первых, наш партийный босс давно зарекся крутить служебные романы – он поднялся столь высоко отнюдь не для того, чтобы сверзиться с вершины из-за каких-то ножек. Во-вторых, такого рода историю не удалось бы скрыть при всем желании от его жены Валентины Андреевны, кабинет которой располагался хоть и за двойной металлической дверью, но в том же коридоре, что и партком. И, наконец, в-третьих, Ваня седьмым чувством осознавал – такая женщина ему не по зубам. Удивительные метаморфозы вытворяет с нами природа – мужской интерес Ивана Николаевича к ножкам Екатерины Васильевны сублимировался в желание быть ее опекуном, наставником и хранителем женской чести. Отсюда вытекали его анекдотические контрпретензии к Катиному мужу Севе. Если Сева опасался, что Ваня рано или поздно переспит с Катей, то Ваня, напротив, подозревал, что Сева делает это недостаточно эффективно, тем самым толкая Катю в развратные руки ненавистных бабников, которым всё дается слишком легко. И нужно признать, что Ванины опасения были вполне основательными. Они базировались не только на его личных наблюдениях, но и на информации, полученной от Валентины Андреевны, которая по долгу своей

службы знала многое обо всём на свете, но... к счастью, не всё...

Как Валентина Андреевна упустила из виду нашу с Екатериной Васильевной историю – ума не приложу. А может быть, делала вид, что упустила?

Наш роман начался еще до Катиного замужества и состоял из романтической и прагматической частей. В романтический период я был влюблен в Катю, совершал безумства, долго и упорно добивался ее близости, а она столь же упорно уклонялась от этого. Потом, когда я добился своего и мы в некотором роде поменялись ролями, наступил пронизанный реализмом прагматичный период. В общем, это длинная история – если останутся место и желание, расскажу как-нибудь подробнее... В описываемое время наш роман вылился в регулярные тайные свидания. Один мой приятель, склонный к материалистическому философствованию, утверждал, что любовь – это когда всё время хочешь женщину, причем всё время одну и ту же. Нечто подобное происходило со мной по отношению к Катеньшу. Особую остроту моему влечению придавала ее двойственность, контрасты ее поведения и облика. На службе Екатерина Васильевна была строгим, деловитым и жестким партийным работником, неприступной партийной крепостью, хозяйкой заведения, не допускавшей ни малейшей фри-

вольности. У меня в квартире она становилась ласковой, нежной, покорной и страстной в любовной игре женщиной с врожденным чувством такта. На работе мы виделись нечасто – только чрезвычайные обстоятельства могли привести меня, беспартийного, в партком. Но стоило увидеть Екатерину Васильевну в деловом обличье, как меня охватывало острое желание... немедленно обратить ее в нежного и страстного Катеныша...

Единственным живым существом, знавшим абсолютно всё о нас с Катей и вполне одобрявшим то, что знал, был Томас. Сэр Томас имел британские корни и выдающуюся внешность – безукоризненно серый с голубым отливом окрас, янтарно-желтые глаза на слегка курносой крупной голове с аппетитными щечками и большие сильные лапы, один вид которых пресекал намерения фамильярничать с ним. Сэр ценил свое аристократическое происхождение, категорически не позволял брать себя на руки, пренебрежительно избегал всевозможных поглаживаний посторонними лицами, брезгливо относился к продуктам советского общепита и никогда не попрошайничал у стола. Томас также решительно отказался справлять свои естественные потребности в общем со мной туалете. Дело в том, что у меня, к счастью, была квартира с так называемым «раздельным туалетом», кото-

рый появился благодаря неусыпному вниманию партии к нуждам трудящихся еще во времена предыдущего вождя – Никиты Хрущева. Поначалу этот «выдающийся деятель мирового движения» строил для рабочего класса и советской интеллигенции квартиры с «совмещенным туалетом», но однажды, побывав в такой квартире, распорядился отделить ванну от унитаза перегородкой так, чтобы два члена семейного коллектива могли их использовать одновременно. При этом харизматичный Никита произнес историческую фразу, вызвавшую волну патриотического подъема у населения: «Русский человек не может мыться и срать в одном и том же помещении». Томас, по-видимому, не был согласен с Секретарем ЦК КПСС и настоял, чтобы для того деликатного процесса, который Секретарь обозвал не вполне деликатно, ему был выделен уголок именно в ванной комнате, где было бы удобнее наблюдать, насколько тщательно я всё это убираю. Вообще, Томас считал себя хозяином квартиры, а меня рассматривал в качестве обслуживающего персонала – нечто вроде батлера в доме английского лорда. Впрочем, он по-своему ценил и даже любил меня, спал со мной на общей тахте – сначала с урчанием у меня на правой руке, а затем, когда я засыпал, в избранном им углу тахты. Несомненный аристократизм сочетался у Томаса со скверным, склоч-

ным характером. Он на дух не переносил всех моих гостей, особенно женщин, в которых справедливо усматривал потенциальную угрозу – быть вытесненным со своего места на тахте или, того хуже, быть выдворенным на ночь в коридор. Если последнее действительно случилось, Томас всю ночь упорно скребся в дверь и утробно постанывал – это было ужасно, и не все дамы соглашались предаться страсти в подобных условиях. Катя была исключением – Томас признавал ее третьим допустимым лицом в доме, позволял гладить себя, терся об ее ноги, вел себя вполне прилично и, даже выставленный за дверь, молча терпел вынужденные неудобства. По-видимому, он связывал с Катей неотвратимость этих неудобств, а еще был искренне благодарен за то, что она не занимает его место на тахте по ночам.

Размышления о наших с Томасом семейных отношениях невольно переводят стрелку повествования на вторую из упомянутых выше женщин – Аделину, на которую он злобился и шипел так, что мне пришлось отказаться от свиданий у себя дома с этой едва ли не главной героиней нашей истории.

Аделина – яркая, коротко стриженная брюнетка с интригующими формами и с полными капризными губами на беломраморном лице – появилась в нашем ящике незадолго до описываемых событий в качестве

технического редактора в патентно-издательском отделе. Я не раз общался с ней по своим изобретательским делам, признаюсь, не без удовольствия – с Аделиной было о чем поговорить. Она окончила филфак университета, ничего, естественно, не понимала в технике, но была знатоком литературы, а главное – блестяще владела русским и английским языками. Благодаря ей наши корявые и подчас малограмотные описания технических решений приобретали вполне пристойный литературный вид, а ее переводы американских научных публикаций безусловно тянули бы на русскую классику, если бы не касались столь приземленных тем.

О появлении Аделины в нашем ящике ходили разные сплетни; все они более или менее сходились на том, что некий высокий покровитель с понятной мотивацией протащил ее в ящик чуть ли не через горком партии – здесь она, конечно, получила зарплату намного выше средней зарплаты советского филолога. Забегая вперед, могу сказать, что на самом деле Аделину устроил к нам один известный и влиятельный ленинградский адвокат, о котором рассказ еще впереди, но он никогда не был ее любовником. Здесь, конечно, Валентина Андреевна, отвечавшая за прием новых сотрудников на секретную работу, дала зевка, который еще отзовется и ей, и не только ей...

Как бы то ни было, Аделина произвела настоящую сексуальную революцию в нашем богоугодном заведении, причем отнюдь не своим поведением, а скорее своим обликом и манерами современной, образованной, раскованной, самодостаточной, короче – свободной женщины. Одевалась она экстравагантно, но не вызывающе: высокие, элегантные, ясное дело – заграничные, сапожки облегали ноги почти до колен, а юбка заканчивалась чуть выше колен; образовавшийся между сапожками и юбкой просвет почему-то резко подорвал моральные устои едва ли не половины наших сотрудников, утомленных моралью советского человека, в которой не было места такому понятию, как секс. Сексапильность Аделины усиливали ее губы, а главное – большие черные глаза, иронично оценивающие всё окружающее. Я затрудняюсь словами описать воздействие этих глаз – это было нечто вроде затягивающего омута... Эх, чего греха таить, лучше классика не скажешь – «в них окаменело распутство».

Возможно, это было случайным совпадением, но с появлением Аделины в нашем в целом «здоровом советском коллективе» усилились всевозможные «сексопатологические явления», начиная от едва заметной сексуальной озабоченности и кончая скандальными эпизодами сексуальной распущенности. Имен-

но в те замечательные времена благодаря бдительности самого Митрофана Тимофеевича Шихина, не чуждого прогрессивным веяниям времени, появился знаменитый и вошедший в анналы приказ «О недопущении использования секретной машинистки в несекретной комнате и несекретной машинистки в секретной комнате». Приказ был выдержан в строго деловом тоне, обязующем всех неукоснительно соблюдать правила работы с секретными документами, но все знали, что его подоплекой был эпизод, не имевший никакого отношения к секретности. Начальник лаборатории Аникеев устроил прощальную гастроль с имевшей допуск к секретным материалам машинисткой прямо на письменном столе своего несекретного кабинета. Можно было бы, конечно, порадоваться успехам нашей отечественной мебельной промышленности — ее изделие, предназначенное для творческого труда одного лишь Аникеева, выдержало темпераментный напор сразу двух отнюдь не сублильных персон. Однако пикантность этого достижения осложнялась тем прискорбным обстоятельством, что бурный секс на письменном столе начальника имел место накануне свадьбы молодой дамы с инженером из соседней лаборатории, который был своевременно вызван к месту происшествия информированными «доброжелателями». Скандал удалось замять, но адмирал

был в ярости и подготовил приказ без названия, начавшийся следующими эпическими строками: «В последнее время участились случаи половых сношений на территории предприятия». Использованный адмиралом глагол «участились», конечно, придавал его приказу особую выразительность, подтверждающую высокую степень осведомленности руководителя, но мог повлечь и неприятные последствия... Екатерина Васильевна утверждала, что только благодаря противодействию Ивана Николаевича, еще не потерявшего чувства меры, этот опус не был обнародован. В итоге приказ об «участившихся сношениях» был заменен более мягким распоряжением о «недопущении использования...» и так далее по тексту...

Аделина, конечно, не имела к данной активности начальства никакого отношения, но, вполне вероятно, сыграла роль возбуждающего вируса в потерявшем иммунитет организме. Я склонен считать, что красивая женщина в делах подобного рода виноватой быть не может – виноваты те, кто не способен справиться со своим комплексом неполноценности и вести себя адекватно в ее присутствии.

Броская красота Аделины не в моем вкусе, но объективность выше вкуса... Тем не менее долгое время наши отношения оставались чисто дружескими и ограничивались в основном деловыми разговорами

в патентном отделе. У нас был общий интерес к литературе, но возможность поговорить подробно всё не представлялась. Я не клеился к ней подобно многим коллегам, а, напротив, подчеркивал свою дружескую симпатию и понимание испытываемого ею дискомфорта от однообразного домогательства мужского окружения. Инициатива нашего первого бурного любовного свидания принадлежала Аделине. Впоследствии при совсем иных обстоятельствах, о которых разговор впереди, я узнал, что она была во времена того свидания в депрессии, вызванной разрывом с любимым человеком — поэтом, ставшим позже знаменитым. Он фактически бросил ее, и свидание со мной имело место по принципу «клин клином вышибают».

Однажды, в разгар петербургских белых ночей, выхожу я с работы к своим «Жигулям», право на покупку которых получил в качестве премии за одну из наших разработок, и вижу рядом с машиной Аделину, разговаривающую с приятельницей...

Написал я про «Жигули» и опять споткнулся — это же мало кому понятная фраза! Человек XXI века, живущий, дай бог ему здоровья, в условиях развитого капитализма, думает, что так было всегда и что для покупки автомобиля нужны только деньги или кредит от банка и больше ничего — пришел, выбрал, заплатил, сел за руль и уехал. Ему и в голову прийти не мо-

жет, что во времена развитого социализма квоты на покупку автомобилей распределялись по предприятиям, и право купить машину давалось в исключительных случаях за ударный труд, примерное поведение, успехи в боевой и политической подготовке или, наконец, просто по блату... Угадайте с трех раз: кто распределял машины? Всё равно не угадаете, и не надо... Назовем этих «распределителей» обобщенно – начальство, ездившее на служебных машинах с шофером. Советские «Жигули», «сдернутые» с устаревшего итальянского «Фиата», были в те времена мечтой «всего прогрессивного человечества» в границах социалистического лагеря.

Итак, вижу я Аделину и жестом показываю, что могу подвезти. Она быстро с приятельницей прощается и садится в машину, сверкая голыми коленками. У меня к женским коленкам отношение отнюдь не безразличное, непростое, нелегкое отношение... но я себя сдерживаю, не завожусь, а, напротив, завожу машину и спрашиваю строго, без малейшей игривости: «Куда вас отвезти?» Последовала несвойственная Аделине длительная пауза, а затем еще более несвойственный наступательной манере ее речи ответ: «Везите, куда хотите». У меняхватило такта ничего больше не спрашивать – я врубил скорость и погнал машину через Петроградскую сторону по Приморскому

шоссе к Щучьему озеру. Некоторое время мы молчали, обдумывая происшедшее, от которого теперь никуда не уйдешь. Я прикидывал правильность своего мгновенного решения ехать на Щучье. Там есть укромные тенистые подъезды, скрытые от посторонних глаз, – эдакие «милости природы», доставшиеся простому советскому люду бесплатно, в компенсацию за невозможность снять номер в гостинице. Кроме того, на случай, если я неправильно понял свою спутницу, там на Щучьем всегда будет возможность свести всё к прогулке по тем же «милостям природы». Но я, на самом деле, всё понял правильно... Аделина первой прервала молчание.

– Вам нравятся стихи Осипа Мандельштама?

– Я слышал кое-что о нем, но никогда, признаться, не читал. Ведь его, кажется, в наше время не публиковали.

– Мандельштама фактически убили на пересыльном пункте гулаговского Дальстроя под Владивостоком в сталинские времена и запретили его стихи. Вы хотели бы их почитать?

– Не откажусь. Но предпочитаю стихи слушать – тогда лучше воспринимаю музыку поэзии.

– Ну, что же, извольте...

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

— Вы замечательно читаете, я уловил несколько удивительных образов. Похоже, автор не очень жаловал Питер.

— Прямо наоборот, он очень любил Петербург, считал его своим городом, всю молодость провел здесь, учился, между прочим, на филфаке университета, на том же знаменитом филфаке, что и я, но только в его лучшие времена.

– Однако у него звучит явное опасение смерти именно в Ленинграде...

– Это гениальное предвидение поэта, он невольно сравнивал Петербург времен Башни Вячеслава Иванова, где часто бывал, с Ленинградом и ужасался...

Когда мы приехали к Щучьему, я знал о поэте Мандельштаме, кажется, всё, что только может знать дилетант. Белая петербургская ночь спускалась с поблекшего неба, туман стелился над водой, а в глухих уголках под листвой собиралась темнота. Было тихо, туманно, загадочно... Мы даже не выходили из машины... Это было остро... Это было очень остро... Честно говоря, не хочу ни обсуждать, ни пытаться описать детали происшедшего – я ведь эгоист, и то, что тогда пережил и ощутил, это мое и только мое... К слову, кто-нибудь знает литературное описание подобного события, которое, возвышаясь над грубой физиологией, отличалось бы небанальной подлинностью чувства и не вызывало отторжения? Если «да», то поделитесь – мне такого не встречалось. Одно могу сказать, увы, отнюдь не оригинальное, а словами классика – «Всё, что есть на свете хорошего, всё ведь это ласка... А лучшая и светлейшая ласка называется женщиной».

Мы возвращались в город за полночь. Словно под мое настроение по радио передавали джазовые ва-

риации «Серенады лунного света» Глена Миллера, а потом серенаду исполнил в своей неповторимой манере Муслим Магомаев. Я гнал машину по пустому шоссе, держа правую руку на колене своей спутницы – теперь я имел на это право... потому что был левшой. То ли от живого тепла этого трепетного колена, то ли от свежей струи ночного балтийского воздуха из полуоткрытого окна, то ли от той нежной, тягучей и страстной лунной мелодии, а скорее, от всего вместе поднималась во мне волна всепоглощающего счастья, такого полного счастья, которое случается только в юности, не знающей забот и тревог. Я не помнил, чтобы такое бывало со мной прежде, я даже дышать стал глубже и свободнее. Это было счастье любви, молодости, силы и успеха. Оно переполняло и распирало меня, мне казалось, что в эту белую ночь я способен немедленно взлететь навстречу светлым шпилям прекрасного города, навстречу своей грядущей удаче. Я держу руку на колене любящей меня красивой женщины – несбыточной мечты многих, и ко мне пришел необыкновенный творческий успех, который вот-вот завершится мечтой всей жизни – кругосветным путешествием.

– Я скоро уеду в долгую командировку, может быть, на полгода. Ты была когда-нибудь в Одессе?

– Я не бывала там никогда. Ты едешь на полгода в

Одессу?

— Не могу тебе сказать, куда я еду, но командировка начинается в Одессе. Это прелестный город, давай поедem туда вместе.

— Как ты это себе представляешь, друг мой? Ты собираешься окончательно угробить мою девичью репутацию?

— Я еще не представляю, как... Просто подумалось, что для полного счастья мне нужно быть в Одессе вместе с тобой.

— Ты едешь в командировку один?

— Нет, с большой командой...

— Теперь я вижу, что ты счастлив до одури, спасибо за это — я ценю...

— Я бы мог поехать в Одессу на неделю раньше остальных...

— А я возьму отпуск на ту же неделю и поеду вместе с тобой, не так ли? Ты не боишься, что в парткоме и других органах подсчитают, как вы все пишете в своих статьях, «вероятность такого совпадения»?

— Я сейчас ничего не боюсь...

— Может быть, заедешь ко мне домой, чтобы выпить холодного лимонада для охлаждения приступа героизма?

Я крепко сжал рукой ее ногу чуть выше колена и ничего не ответил...

Конечно, не следовало бы выписывать подобную литературщину о внезапно пришедшем чувстве полного счастья, если бы я сам тогда и потом не удивлялся сто раз чудесному и единственному его появлению, и еще – если бы вскоре, в ту же ночь, не случилось со мной настоящее чудо, чудо озарения...

В те дни мы с Ароном бились над алгоритмом оптимального приема весьма специфического «тритоновского» сигнала. То есть, конечно, некий алгоритм был в «Тритоне» уже реализован, но мы понимали – в тяжелых условиях на многотысячекилометровой дистанции он может не сработать. Мы считали, что его нужно и можно улучшить, довести до предела совершенства. Мы искали решение проблемы, которую между собой называли «проблемой Саймона» по фамилии американского ученого из Калифорнии. Саймон, судя по его публикациям, разрабатывал системы радиосвязи с объектами дальнего космоса, но мы понимали, что, с точки зрения теории, у него и у нас очень сходные задачи. Арон говорил: «Чтобы найти решение задачи, нужно думать о ней всё время, и решение рано или поздно придет». Я так и делал, но решение не приходило, а времени до испытаний у нас оставалось в обрез...

Я довез Аделину до ее дома в одном из старых переулков Петроградской стороны.

– Прости, но я, к сожалению, не пью лимонад, даже холодный. Сэр Томас просил пригласить тебя к нам на коктейль в любое удобное тебе время. Мы с ним будем ждать...

– Приглашение сэра принимается с благодарностью. Прощай, милый друг...

Мы расстались, и я поехал к себе домой через весь город в Московский район. У Кировского моста через Неву уже стояли милицейские машины, готовые перекрыть путь на мост перед его подъемом. Мне удалось проскочить на мост одним из последних. Слева уже упирался сигнальными огнями в светлое небо огромный разводной пролет Литейного моста, справа по Дворцовому мосту еще двигались машины. Есть места, к красоте которых нельзя привыкнуть, – таков гигантский разлив Невы у стрелки Васильевского острова с видом на Биржу и Ростральные колонны, с дворцами вдоль набережной и пронзающим сумерки шпилем Петропавловского собора. На съезде с Кировского моста на Марсово поле пришлось остановиться у красного светофора.

В голове крутились отрывочные всплески картин, звуков и запахов этого удивительного дня – испытания «Тритона», белая петербургская ночь, стихи Мандельштама, губы Аделины, контуры и теплый мрамор ее белого тела в темном интерьере автомоби-

ля, запах прибрежной мокрой травы и свежий ветер Финского залива... И внезапно из этого беспорядочно-го конгломерата образов и ощущений возникло однозначное решение «проблемы Саймона» – безупречный новый алгоритм декодирования, наглядная схема из квадратов физических блоков с определенными математическими операциями внутри каждого из них. Когда загорелся зеленый свет, я уже знал, как мы будем программировать новый блок «Тритона». Я не могу дать материалистического объяснения этому феномену, я не могу понять, как мои долгие и, казалось бы, бесплодные раздумья над сложнейшей проблемой без всяких усилий мгновенно сфокусировались в столь ясное решение, каким образом за одну минуту между красным и зеленым светом светофора из какой-то несусветной мешанины образов сложилось блестящее математическое решение. Думаю, что даже синклит философов, владеющих всей премудростью диалектического материализма, не ответит на эти вопросы. Оставшуюся некороткую дорогу до дома я старался ни о чем больше не думать, чтобы, не дай бог, не расплескать светлую идею, подсказанную мне самим Провидением в одном из красивейших мест на планете. Я торопил время, мне не терпелось дождаться утра и выложить идею Арону. «Так никто не делает», – скажет Арон, а я отвечу ему знамени-

той сентенцией классика: «Все знали, что это невозможно. Потом однажды пришел человек, который этого не знал. И он сделал это». И тогда Арон воскликнет: «И этот человек – Игорь Алексеевич Уваров!» Я не тщеславен, но всегда стремился получить высокую оценку именно от Арона, потому что его оценка никогда не была комплиментарной. Теперь такая оценка мне особенно нужна – она будет подтверждением правильности решения Арона взять меня в кругосветное путешествие.

Дома, несмотря на категорические протесты проголодавшегося Томаса, я немедленно бросился к письменному столу, чтобы материализовать на бумаге свое сошедшее с невских белесых небес озарение. Спал я в ту ночь мало, плохо и тревожно – в восьмом часу утра меня разбудил звонок Арона.

– Где был всю ночь наш Казанова, кого он ныне услаждал? – спросил Арон белыми стихами.

– Науку Казанова услаждал, проблему Саймона решая, – ответил я спросонья, но тоже белыми стихами.

– Это что-то новое и в науке, и в сексе! В чем же ты преуспел в большей степени? – продолжил Арон прозой.

– Можешь усиленно завидовать, ибо я преуспел и в том, и в другом... Если серьезно, Арон, то я действительно решил проблему Саймона, у меня нет на этот

счет ни малейших сомнений.

– Не шути с серьезными вещами. Что ты подразумеваешь под словом «решил»?

– А ты не вынуждай уважаемого лейтенанта госбезопасности тратить заграничную магнитофонную пленку на запись нашего разговора. Встретимся на работе – всё расскажу. По дороге обдумай вот что – я предлагаю на последнем этапе применить итеративный алгоритм декодирования Галлагера на основе мягких решений... Доброе утро, лейтенант!

В 9:00 я был на работе и к приходу Арона успел нарисовать на доске схематическое объяснение нового алгоритма. «Вот смотри, – начал я, когда Арон вошел в мою комнату, – здесь выходной сигнал демодулятора...» Арон слегка отстранил меня от доски и поднял указательный палец левой руки – мол, помолчи, я сам... Не помню, сколько времени ему понадобилось, чтобы разобраться в сути идеи, но мне казалось, что прошла вечность. Наконец он оторвался от доски, посмотрел на меня и после долгой, мучительной для меня паузы хрипло, как будто пересохшим горлом, сказал: «Это здорово сильно, Игорь, это вытянет сигнал из-под чудовищных помех, это победа... Это нужно успеть сделать во что бы то ни стало... Если хочешь, я дам тебе программистов и электронщиков из моей группы». У меня перехватило дыхание,

но я ответил сдержанно: «Дай мне Гуревича – только он может подвести под это строгую математическую теорию. Я ожидаю выигрыш в шесть децибел, но это еще нужно доказать». Арон одобрительно хлопнул меня по плечу: «Получишь Гуревича и всё, что захочешь, впридачу – ты заслужил. Кстати, Гуревичу очень нужны экспериментальные данные для докторской – у нас будет возможность проверить его математику». Потом он подмигнул мне и весело добавил: «До отъезда нужно кровь из носа оформить заявку на изобретение. Я позабочусь, чтобы тебе в помощь дали Аделину. Не возражаешь?» Не дожидаясь моего ответа, он, довольный собой и всем на свете, направился к выходу, но у дверей остановился, обернулся и сказал: «Да, чуть не забыл, тебя вчера вечером искала Екатерина Васильевна. Она сказала, что партком будет рассматривать наше с тобой дело ровно через неделю».

Какая же я все-таки скотина – совсем забыл о Катеньше!

Вспомнил о Кате и подумал, что, наверное, не выполнил своего обещания – «отразить выдающуюся роль парткома». Хотя, с другой стороны, возможно, по-своему и отразил, ибо при нынешнем раскладе партия ответственна за всё происходящее в нашей жизни, в том числе за то, что я с такой откровенно-

стью неосмотрительно раскрыл... И если, например, наш партком не озаботился абсолютно несоветским поведением сэра Томаса, которое я, конечно, не одобряю, то исключительно по причине занятости более важной проблемой. Действительно, представьте себе, что большая группа подведомственных вам сотрудников собирается в кругосветное путешествие по чуждым морям и океанам в сплошном капиталистическом окружении и вам надлежит одобрить или, напротив, отклонить кандидатуру каждого из них. Вникните – каждого! Волосы дыбом... А если кто-нибудь сойдет с ума и, не дай бог, убежит? Какая это чудовищная ответственность перед вышестоящими райкомом, горкомом, обкомом и далее... – даже страшно произнести... Бремя такой ответственности, конечно, в основном легло на плечи Ивана Николаевича. Он-то хорошо знал, с кого спросят при случае, хорошо изучил жесткую партийную цепь, ведущую из его кабинета наверх вплоть до самой Старой площади в Москве. Партийные пешки в этой цепи по мере продвижения вверх становились ферзями, от которых зависело всё внизу.

Хорошо было, когда по цепи сверху спускали приказ – он подлежал исполнению неукоснительному и безоговорочному, и это было легко... Приказ начальства мы привыкли исполнять с энтузиазмом, радост-

но, каким бы он, приказ, ни был: «Партия велела, комсомол ответил: „Есть!“». А дальше, как говорил классик, «знать, оттого так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом».

Трудно было, когда приказ фактически отсутствовал и предстояло принимать решение на свой страх и риск. Тогда нужно было уловить натренированным ухом неясные звуковые колебания, почувствовать партийным нюхом содержимое еще не вполне обозначенных дуновений и не промахнуться, не фразернуться, не облажаться – как там еще у нас говорят... Иван Николаевич знал: парткомиссия, конечно, прозаседает, но решение придется принимать ему и отвечать тоже... Его задача осложнялась еще той тонкой интригой, которую он плел вокруг Генерального директора. По сценарию следовало деликатно и незаметно подставить Генерального, а самому выйти сухим из воды. Эта опасная игра была много сложнее даже гроссмейстерской шахматной партии – в ней было несколько противостоящих Ивану Николаевичу ферзей не только в парторганах, но и в министерстве, и у всемогущего военного заказчика, и в госбезопасности. Ему предстояло решить задачу со многими неизвестными, задачу почти неразрешимую, но он верил в свою звезду, милостью природы для него зажженную...

Глава 3. Стамбул-Константинополь

В 532 году во время народного мятежа в Константинополе была сожжена заложенная еще Константином Великим церковь Святой Софии, а император Восточной Римской империи Юстиниан едва не лишился власти и жизни. Поэтому, когда восстание удалось подавить, счастливый владыка по совету своей жены, бывшей актрисы и куртизанки, красавицы Феодоры решил построить на месте разрушенной церкви новый храм такой красоты и величия, каких еще не видел мир, тем более что план храма, по признанию императора, был вручен ему во сне ангелом – посланцем Главного Архитектора и Творца Вселенной. Порешив так, Юстиниан пригласил для исполнения Божественного замысла знаменитых архитекторов – Исидора из Милета и Анфимия из Тралл, и началось великое дерзание.

Десять тысяч человек, истратив все доходы Империи за 5 лет, построили новое чудо света из античных колоннад Рима, Афин и Эфеса, из белоснежного, светло-зеленого, красного и розового с прожилками мрамора, из порфира и яшмы,

и, конечно же, из золота, в расплавленную массу которого погружали ониксы, топазы, жемчуг, аметисты, сапфиры и рубины, построили, замешивая известь на ячменной воде, а цемент – на масле.

И в день освящения храма на Рождество 537 года у людей перехватило дыхание и душа рванулась к небесам, когда, отражая гармонию мироздания, им предстала во всем своем сказочном великолепии пронизанная светом прекрасная Айя София, в центре которой властитель могущественной Византии император Юстиниан в роскошных одеждах, вознеся руки к гигантскому куполу храма, воскликнул: «Слава Богу, который дал мне возможность построить это чудо из чудес! О, Соломон! Я превзошел тебя!»

Извлечение из исторической хроники

Ровно через тысячу лет после того, как Рим был разграблен вандалами, начинается грабеж Константинополя. Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам... наряду с грабежом свирепствует бессмысленное разрушение... они уничтожают ценнейшие картины,

раскалывают молотками великолепные статуи, а книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии, сжигаются...

Лишь во вторую половину дня, ознаменованного великой победой, когда побоище уже кончилось, свершает Мухаммед свой въезд в завоеванный город... Больше пятидесяти дней жадно взирал он из своей палатки на поблескивающий недоступный купол Святой Софии; теперь он, победитель, имеет право перешагнуть через порог ее бронзовых дверей... Султан смиренно спешивается и склоняется до земли в молитве. Затем он берет горсть земли и сыплет ею главу... Лишь потом, показав богу, как он смиренен, султан резко выпрямляется и вступает – первый слуга аллаха – в храм Юстиниана, в храм священной премудрости, в храм Святой Софии...

С любопытством и волнением разглядывает султан великолепное здание, высокие своды, поблескивающие мрамором и мозаикой, хрупкие арки, вздымающиеся из сумрака к свету... На следующий день мастеровые получают приказ убрать из церкви все знаки прежней религии; сносятся алтари, замазываются благочестивые картины из мозаики, и высоко вознесенный крест на Святой Софии, в течение тысячи лет простиравший свои руки, чтобы

охватить всё земное страдание, с глухим стуком падает наземь.

Громким эхом отдается звук в храме и далеко за его стенами. Ибо от этого падения содрогается весь Запад...

**Стефан Цвейг, «Завоевание Византии»
(29 мая 1453 года)**

Если плыть из Черного моря в Мраморное по знаменитому проливу Босфор, то по левому борту будет Азия, а по правому – Европа. Недоверчиво смотря в глаза друг другу через узкий пролив два великих континента. Здесь сошлись они когда-то в жестокой схватке, которая закончилась поражением Европы, катастрофой для восточного христианства и триумфом для ислама... Тем временем по мере движения корабля открывается вид на огромный город с тысячью минаретов, бывший сначала Константинополем – столицей Византийской империи, а потом ставший Стамбулом – столицей Османской империи. А на выходе в Мраморное море, сразу за красивейшим заливом Золотой Рог, на холме возникают рядом стоящие величественные храмы – обшарпанная снаружи и разграбленная, исковерканная внутри главная церковь Православного христианства Айя София и торжествующая мусульманская Голубая мечеть.

И если бы властитель могущественной

Византии император Юстиниан мог снова, как и полторы тысячи лет назад, вознести руки к гигантскому куполу когда-то роскошной Айя Софии, то он, наверное, горестно воскликнул бы: «О, Господи! Зачем Ты, Главный Архитектор и Творец Вселенной, вручил мне план этого великого Храма? Зачем сподобил меня построить это чудо из чудес, пребывающее отныне в ничтожестве и унижении?»

* * *

Рассказ о заседании Идеологической комиссии парткома, на котором «беззаветно преданные делу партии» члены должны решить чрезвычайно важный партийный вопрос – пускать ли нас с Ароном в заграничную командировку, а если пускать, то обоих или только одного, и если одного, то кого, или, наконец, никого не пускать – снова откладывается по техническим причинам. Не заседание откладывается, конечно, а рассказ о нем, ибо рассказ этот будет мало-содержательным без более подробных сведений об Иване Николаевиче.

История жизни нашего партийного начальника Ивана Николаевича Коробова – большой роман-триллер, по сравнению с которым известные из классиков при-

ключения провинциалов, приехавших покорять свой Париж, напоминают разбавленный сладеньким чаем коньяк. Если бы автор этих строк имел литературный талант, а пуще того, хотя бы минимальный интерес к писательству, то, конечно же, составил бы по живым следам этот роман под названием «Красное между черным и белым» – ведь и придумывать ничего не надо, пиши, что и как всё было, без малейшего художественного вымысла, который сводил с ума классиков. Поскольку, однако, ни таланта, ни интереса нет, то ограничусь сухим изложением фактов со своими натужными комментариями.

Молоденький Ванечка приехал в большой столичный город из глухой деревни Щелино, что в Новгородской области где-то на полпути между двумя российскими столицами. Деревня эта была давно разорена не столько трехлетним нашествием немецких полчищ – от всякой войны можно оправиться, сколько четвертьвековой хитромудрёной политикой нашей партии и ее бессменных вождей в области сельского хозяйства. Как известно, разногласия российского крестьянства с советской властью по аграрному вопросу были концептуальными – каждая из сторон желала закопать в землю другую сторону. Сталинские специалисты по этому вопросу победили – поначалу они раскулачили Ваниных предков, то есть ликвидиро-

вали их как класс, затем коллективизировали оставшихся в живых Ваниных родителей, то есть отняли остатки собственности и заставили работать в колхозе. На протяжении десятилетий означенные специалисты аграрной науки много раз грабили согнанных в колхоз крестьян в целях окончательной победы справедливости над капитализмом и прочими темными силами, которые, как освободил селян от рабства император Александр II, так и не давали им насладиться полным счастьем в союзе с более прогрессивным пролетариатом...

Жизнь щелинцев была на самом деле тяжелой каторгой, и избы крестьянские, покосившиеся и черные, как будто в землю зарывались поглубже и вращались в нее от страшного белого света подальше. По всему выходило, что рабство далекое вернулось — земли своей нет, большую часть выращенного отбирают, на трудодень положена жизнь голодная, паспорта отнятые лежат в сейфе у колхозного начальства, чтобы неповадно было сбежать, а если кто вздумал говорить начальству наперекор, то быстренько темной ночью исчезал бесследно. Но и это мог бы превозмочь наш терпеливый и привыкший к грабежу и насилию селянин, однако тут райком по указанию обкома, который в свою очередь и т. д., напустил на деревеньку всю мощь передовой и единственно верной мичуринской

науки, возглавляемой разбойным мудозвоном Трофимом Лысенко, который по мудрости и знаниям в области аграрных наук уступал только самому лично Великому Вождю. Основная мысль этой науки заключалась вот в чем – только партийное начальство в районе и области достоверно знало, что и когда крестьянам следует сеять и жать. От такой напасти им, крестьянам, ох как трудно было оправиться. Тут, правда, Великий Вождь залег навечно в мавзолей рядом с самим В. И. Лениным, но поскольку оказалось, что он не во всём был прав, особенно в аграрном вопросе, то вскоре был досрочно выписан из мавзолея и закопан в сырую землю в соответствии с вышеназванными аграрными пожеланиями трудового крестьянства. И тут всем показалось...

Эх, мало ли чего тогда казалось в светлых снах и темному крестьянину в деревеньке Щелино, и высокообразованному профессору в самой Москве. А проснувшись, и тот и другой узнавали – один по радио, другой из телевизора – что новое начальство имело для крестьян-колхозников новые указания, более прогрессивные, но опять же на строго научной основе того же разбойного Трофима Лысенко. Конечно, ради правды нельзя не сказать, что ряд послаблений для щелинцев всё-таки вышел – крепостное право вторично отменили и паспорта выдали на руки, так

что теперь можно было сбежать в город. Да к тому же всем пообещали вот-вот догнать и перегнать Америку и сразу же вступить в полный коммунизм, который, по-видимому, тут же рядом с бегущей перед щелинцами Америкой и размещался.

Все эти события происходили в годы детства, отрочества и юности нашего героя. Ваня ходил в школу в райцентр, который располагался в нескольких верстах от его родного Щелино. Сам райцентр был недалеко от сравнительно приличного шоссе Москва-Ленинград, и от шоссе к нему вела асфальтированная дорога, однако дорога от райцентра до Щелино была, как говорили, грунтовой, то есть не всегда проезжей. Ваню и других ребят иногда подбрасывал до школы шофер колхозного грузовика, но чаще приходилось идти пешком, особенно весной и осенью, когда дорога разбухала от грязи, а еще, когда деревянный мост через щелинский ручей оседал, горбатился и щелился от старости и непогоды, так что на грузовике переезжать его становилось опасно...

Учительница в Ваниной деревенской школе сказала: «Вот, ребята, через три года перегоним Америку по мясу и молоку и приступим к окончательному построению коммунизма. Ваше поколение будет жить при коммунизме – это гарантирует наша родная Коммунистическая партия!» Ваня не понял, что значит

«гарантирует», но красивые слова учительницы ему понравились – что ни говори, а при коммунизме в деревне даже мясо будет. Он вообще стал замечать, что ему больше нравится то, чего он не понимает, ибо всё ясное, окружавшее его, никак нравиться не могло.

Например, в школе висел плакат с непонятными словами: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее – наша задача!» Ване нравилась эта красивая фраза, но он не знал, что такое «милости», иначе взял бы их, раз есть такая задача, а спросить учителей стеснялся. Он сначала думал, что милости – это милостыня, которую нищие, чаще безногие или безрукие еще с войны, выпрашивают на райцентральной автобусной остановке и около церкви. Но таких милостей Ваня не хотел, ему это не нравилось, а фраза на плакате нравилась – значит, там речь шла о каких-то других милостях. Ванин сосед по парте, из послевоенных переростков, сказал: «Милости – это когда сколько хошь жри картошки». Такое толкование было понятно, потому что касалось основного продукта в рационе щелинцев, но Ваня думал о другом – он ждал каких-то необыкновенных, возвышенных что ли, милостей, ждал, пока не пришла пора отрочества, а вместе с ним осознание того жестокого факта, что в своей деревне он ничего хорошего, о чем говорили в школе и рассказывали по радио, никогда не дождет-

ся. И вот настал такой момент, когда Ваня принял на всю жизнь твердое решение – никогда не ждать и не просить ни у кого никаких милостей, а брать и рвать немедленно всё, что ему нужно, и не как милостыню, а как свое, временно другими захваченное... Он первым в классе вступил в Коммунистический союз молодежи и быстро выдвигался по комсомольской линии, смекалисто угадав, что именно в этом направлении располагаются все искомые «милости природы».

Это были времена, когда самого Первого секретаря всей партии, славного Никитушку Хрущева – заступника невинно убиенных и чудом выживших, вдруг осенило по линии сельского хозяйства, вследствие чего начальство велело щелинцам сеять кукурузу, а у них, к сожалению, кукуруза росла плохо. Смахнули бабы черными от земли руками чистые слезы, а Ваня взял старый, еще от раскулаченного деда, чемоданчик, засунул в него свое нехитрое бельишко, положил аккуратненько завернутые в чистый платок 50 рублей, паспорт, аттестат об окончании средней школы, а главное – направление Обкома ВЛКСМ на учебу в вузе, и уехал на попутке в Ленинград.

Жизнь Вани в Ленинграде до его романтического и судьбоносного знакомства со своей пассией-покровительницей Валентиной Андреевной никакого интереса для любознательного читателя не представляет.

Он поступил в ничем не знаменитый вуз на факультет радиотехнического профиля, получил в качестве иногороднего и ценного комсомольского кадра койку в общежитии, в комнате всего лишь на четверых, и скромную, чтобы не сказать – убогую, студенческую стипендию. Жизнь в бывшей имперской столице предлагала много интересных соблазнов, но почти все они оказались абсолютно недоступными Ване – это было ему продемонстрировано самым наглядным и безжалостным образом.

Как-то на студенческом вечере в актовом зале института он пригласил на танец ослепительно красивую девушку в необыкновенно ярком коротком платье, ничуть не скрывавшем ее стройные ножки вплоть до непозволительного для настоящего комсомольца уровня. Темные волосы подчеркивали белизну продолговатого лица девушки, а слегка презрительный взгляд больших черных глаз – ее независимый характер. Ваня такую красоту вообще видел первый раз в жизни. Девушка, как оказалось, не имела никакого отношения к вузу и пришла, по ее выражению, «потусоваться среди интеллигентов». Ослепленный Ваня, возомнив себя тем самым искомым интеллигентом, попытался назначить красавице свидание, на что она, осмотрев его с головы до ног, сказала: «Вы – симпатичный молодой человек, но не потянете ме-

ня... Я для вас слишком дорогая!» – и... исчезла. Ваня был тогда потрясен и даже впал в депрессию – снова, как и в деревне Щелино, доступный ему мир был жестко ограничен. Причем отныне – убогой жизнью на стипендию и мелкие случайные заработки, да еще – всеобщим дефицитом продуктов и товаров. «Как вырваться из круга этих ограничений?» – мучительно думал Ваня. В конце концов, он не смог придумать ничего, кроме усиления своей комсомольской активности, но это, как объяснила ему впоследствии Валентина Андреевна, и было, на самом деле, генеральным направлением его движения вверх, направлением прорыва из тотально дефицитной жизни, в которой пребывало большинство населения.

История знакомства Вани с Валентиной Андреевной, которую назвать иначе как по имени и отчеству язык не поворачивается, удивительна до невероятности и, на первый взгляд, может показаться выдумкой беллетриста, что к автору этих строк, ясное дело, не имеет никакого отношения. Если я скажу, что их встреча произошла в столице нашей родины Москве и, более того, не где-нибудь, а в Государственном академическом Большом театре Союза ССР, то вдумчивый читатель, не любящий кормиться подобными небылицами, пожалуй, отложит нашу рукопись в сторону. Тем не менее, так именно оно и было, и я вынужден эту ис-

торию пересказать даже с риском потери некоторых серьезных читателей, ибо, как говорил классик, «нет ничего прекраснее правды, кажущейся вымыслом».

Однажды ранней осенью у Вани случилась комсомольская премия и недельный отпуск в придачу за организацию ударного труда студентов на колхозных полях. Он взял билет в плацкартный вагон и поехал в Москву, в которой отродясь не бывал. В Москве Ваня не торопился, он собирался переночевать в общежитии родственного московского института, но затейница-судьба уготовила ему нечто другое... Одни верят, что наши судьбы полностью предопределены свыше, другие полагают, что только свобода воли определяет судьбоносный выбор той или иной дороги. В случившемся с Ваней, конечно, доминирует предопределенность и почти совсем не просматривается свобода воли. Осмотрев Красную площадь, Мавзолей и Кремль, Ваня пошел в Музей В. И. Ленина, чтобы потом рассказать об этом, кому надо, а затем направился по Охотному ряду к площади Революции, чтобы посмотреть памятник Карлу Марксу, но внезапно увидел напротив памятника величественное здание Большого театра. На афише с юношей и девушкой в красивых развевающихся восточных костюмах значилось – балет «Легенда о любви». Ваню вдруг неодолимо повлекло посмотреть этот балет в самом Большом теат-

ре – словно само Провидение подтолкнуло его в том единственно правильном направлении. В кассе театра было написано «Билеты проданы». Ваня пытался разговорить билетершу – мол, дескать, он первый раз в Москве и очень хочет... но получил в ответ лишь холодный, презрительный взгляд перед тем, как окошко захлопнулось.

В растерянности Ваня озибался по сторонам, и в этот момент Провидение, которого, как Ваню учили, нет и быть не может, подкинуло ему выигрышную карту. В углу небольшого кассового зала лежал на полу явно кем-то потерянный кошелек, а вернее – красивое светло-коричневое портмоне. Вокруг портмоне уже собралась небольшая толпа нерешительно взиравших на него граждан – никто, однако, не решался в присутствии других взять его, хотя, само собой, воровато прикидывал, как бы это сделать. Ваня среагировал на ситуацию мгновенно – ведь им руководило само Провидение. Он решительно раздвинул столичных интеллигентов и поднял портмоне. Меломаны неодобрительно зашумели, а некоторые придвинулись к выходной двери, чтобы преградить путь наглецу, захватившему чужой кошелек. Ваня тем временем решительно двинулся к двери с надписью «Администратор», демонстративно держа свой трофей в вытянутой руке. Нахально, без стука войдя к админи-

стратору, он поспешно, пока его не выставили, предъявил свою находку и заявил, что взамен желает получить билет на вечерний спектакль. Администратор – утомленный посетителями пожилой, многоопытный прохиндей – только из-за этого трофея и стал с Ваней разговаривать. Он раскрыл портмоне и обнаружил там помимо приличной суммы денег, которые его лично давно уже и совсем уже не интересовали, два билета на вечерний спектакль, которые недавно он собственноручно выдал по блату представительной интеллигентного вида даме, а главное – удостоверение личности с корешком пропуска, из которых тут же понял, что дама является сотрудником компетентных органов, в которых он сам значился, ясное дело, внештатным сексотом. Это меняло ситуацию коренным образом, и администратор почти любезно сказал ничтожной Ваниной личности: «Зайдите ко мне за полчаса до начала. Попробуем что-нибудь придумать для вас».

Наш умудренный в детективном жанре читатель давно уже понял, что портмоне принадлежало Валентине Андреевне, которая была в тот день в служебной командировке в Москве и неосторожно промахнулась, опуская портмоне в свою безразмерную сумку. К счастью, по наводке администратора ей позвонили заблаговременно из ее собственной конторы, для ко-

торой сиюминутное местопребывание граждан такого уровня не составляло секрета. Убедившись в потере кошелька, Валентина Андреевна немедленно отправилась к администратору, который почтительно вручил ей найденное портмоне и попутно рассказал о крепком, но простоватом молодом человеке из провинции, принесшем свою находку и мечтающем попасть на балет. Он пояснил: «Я велел ему зайти за полчаса – конечно, мы поможем, раз тут такое дело...» Валентина Андреевна протянула администратору один из двух своих билетов и сказала: «Молодой человек, безусловно, заслуживает благодарности, передайте этот билет ему – пусть получит удовольствие». В этом спонтанном решении Валентины Андреевны тоже просматривается некий возвышенный замысел того самого Провидения, которое управляло в тот день поведением Вани. Конечно, можно всё свалить на его величество случай, который толкает людей на тот или иной путь, но, как говорил классик, самое важное – «не дорога, которую мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать ту или иную дорогу». В тот осенний день в кассе Большого театра нечто, что было внутри наших героев, подтолкнуло Валентину Андреевну и Ваню на дорогу к их судьбоносной встрече.

Ваня был весьма смущен – администратор любез-

но дал ему билет и не взял денег за это. Дальше больше – у роскошной ложи его встречал пышно разодетый капельдинер, который сначала вежливо попросил предъявить билет, а затем любезно открыл перед Ваней дверь и показал ему место в первом ряду. Капельдинер на самом-то деле оценивал опытным взглядом изощренного агента, не украл ли этот плохо одетый парень свой билет, – он привык к совсем другой публике. Ваня тем временем был ошеломлен открывшейся картиной. Знаменитый «золотой занавес» Большого, сотканный из золотых и шелковых нитей, с огромной золотой звездой и красными знаменами наверху, предстал перед ним как на ладони, – Ваня сидел рядом с бывшей царской, а ныне правительственной ложей, в которой были какие-то иностранцы. Под огнями гигантской люстры сиял роскошный зал – весь в золоте и красном бархате. В это время дверь открылась, и знакомый капельдинер провел на соседнее место «интересную даму уже в возрасте», как заметил для себя Ваня. Дама обернулась к нему и сказала: «Спасибо, молодой человек, за портмоне – это было весьма благородно с вашей стороны». Ваня, наконец, понял всю историю с билетом и проблеял не своим голосом нечто вроде «и вам большое спасибо...» Дама посмотрела на него изучающе и сказала решительно: «Ну, что же, давайте знакомиться – меня зовут Вален-

тиной Андреевной». Ваня промямлил свое имя, потом добавил отчество, но фамилию решил, на всякий случай, не называть.

Танцевали звезды Большого – Майя Плисецкая, Наталья Бессмертнова и Марис Лиєпа. Ваня прежде видел балет только по телевизору в клубе общезнания. Он поначалу плохо понимал суть происходящего на сцене и не улавливал связи между аплодисментами зрителей и нюансами танцев великих балерин, но в первом антракте Валентина Андреевна – тонкий знаток балетного искусства – разъяснила Ване, что к чему. Ване понравилось, как деликатно она рассказывала ему о незнакомых вещах, он был очарован ее мягкой манерой говорить просто о сложном – такую образованную, умную женщину наш герой видел первый раз в жизни. И эта необыкновенная и, по-видимому, весьма влиятельная дама так добра к нему – невежественному лопуху. Ко второму антракту Ваня был едва ли не влюблен в свою соседку, возникшую словно из этой «Легенды о любви», и уже не просто слушал, но, осмелев, всё чаще восхищенно поглядывал на нее. И когда после спектакля Валентина Андреевна пригласила его к себе «на чашечку чая», Ваня смутился и одновременно обрадовался, предчувствуя необыкновенный разворот этого московского приключения.

О случившемся на служебной квартире Валентины Андреевны, конечно, никто ничего толком не знает — это всё, как говорят в таких случаях, кануло в Лету. Некоторые детали мне лично известны из намеков самого Ивана Николаевича, с которым мы приятельствовали в его аспирантские годы, а также из рассказов сплетниц нашего ящика, в которых правда витиевато переплеталась с пикантными домыслами их безмерного воображения.

Инициатива в ту ночь, конечно же, исходила от Валентины Андреевны, и когда Ваня почувствовал нежную, но властную руку дамы в том месте своего тела, где прежде никто, кроме него самого, не бывал, то немедленно ответил взаимностью, вознамерившись по обыкновению быстро исполнить нехитрую мужскую функцию. Здесь нужно сказать, что сексуальный опыт нашего героя — а уж об этом я достоверно знаю — был к тому моменту весьма примитивным. К парочке деревенских баб, конечно же, как вы понимаете, без малейшего изыска, он добавил парочку студенток-провинциалок, пытавшихся утвердить свой столичный имидж самым поспешным и общедоступным способом на узких, скрипучих железных кроватях студенческого общежития. Ваня избегал близкого знакомства с городскими барышнями, справедливо опасаясь насмешливо-уничтожительного отказа, а на сту-

денческих вечеринках делал вид, что ЭТО его не интересует. А тут Валентина Андреевна – эдакая многоопытная светская львица... Короче говоря, бесхитростный порыв нашего героя – всё сделать по-быстрому одним кавалерийским наскоком – был мягко, но твердо пресечен: «Ваня, милый, не торопись... Пойди сначала прими душ... В ванной комнате найдешь полотенце и халат... Иди, иди, милый...» Смущенный таким незнакомым ему поворотом дела, Ваня пошел в ванну и, беззвучно матерясь, разобрался не без труда, едва не ошпарившись, с вычурным многопозиционным душевым краном. Честно говоря, он первый раз в жизни мылся в ванне, тем более среди такой бело-розовой роскоши. Прежде ему доводилось делать это либо в курной деревенской бане, либо в грязноватой душевой общежития на десять помоечных мест. Вытираясь огромным купальным полотенцем и заворачиваясь в белоснежный махровый халат, Ваня прикидывал в уме, что, может быть, эта бело-розовая ванна есть начало его новой жизни... Он не ошибся, он угадал свою судьбу – Валентина Андреевна задала ему ночь по высшему разряду, о существовании которого он прежде даже не догадывался, да и вообразить ТАКОЕ, вероятно, не мог. Уже под утро, засыпая, ошеломленный и утомленный, Ваня прокручивал видения этого фантастического дня – золото и мали-

новый бархат роскошной ложи Большого театра, ярко освещенная сцена с красивыми артистами, танцующими под красивую музыку, сказочная балерина в развевающихся одеждах и немыслимом прыжке, легенда о любви, бело-розовая ванна, припухлые губы Валентины Андреевны и ее фосфоресцирующее тело при свете сиренево-лилового ночника... Да, это другой мир, это новая жизнь, это его судьба, это его легенда о любви, легенда о любви, легенда о любви...

Вернувшись в Ленинград, Ваня всего один день прожил в общежитии, а затем перебрался вместе со своими пожитками к Валентине Андреевне, благо ее сын – Ванин ровесник – жил со своей подругой отдельно, в окраинной кооперативной квартире, купленной ему матерью. Через пару месяцев Ваня и Валентина Андреевна тихо, без свадебных торжеств поженились, и Ваня стал совладельцем роскошной трехкомнатной квартиры в старинном доме на Фонтанке. Валентина Андреевна в то время была ровно в два раза старше Вани. Ее муж, крупный партийно-хозяйственный работник, погиб еще во времена расстрельного Ленинградского дела, и она, избежав репрессий только лишь по молодости, одна растила сына и пробивалась наверх – удивительного характера женщина. Однако самое поразительное в истории Ваниной женитьбы заключалось в том, что этот, казалось бы, яв-

ный мезальянс на самом деле оказался прочным союзом и до поры до времени базировался на искренней привязанности и, не побоюсь этого громкого слова, любви. Я это знаю достоверно не только со слов Вани. Когда он начинающим инженером появился у нас в ящике, все, конечно, посплетничали и позлорадствовали по поводу такой парочки, но потом быстро заткнулись – очевидное счастье влюбленных словно смыло всё злобство, оставив лишь недоумение и, может быть, тщательно скрываемую зависть. Это потом, когда счастье развеялось и рухнуло, заговорили опять – мол, всё ясно было с самого начала... мы же предупреждали... Но не будем забежать вперед, обо всём расскажем в свое время, а сейчас, когда Ваня засиял, а Валентина Андреевна воистину расцвела, восславим наших безумных любовников-авантюристов торжественным маршем Мендельсона!

Последующие годы Ваниной жизни вплоть до успешной защиты им кандидатской диссертации, выражаясь высокопарно, но точно, протекали под эгидой Валентины Андреевны. Этот своеобразный «щит Зевса» не только оберегал нашего героя от стрел недоброжелательного столичного мира, но и был превосходной площадкой для домашнего образования, не доставшегося ему в детстве. Жена учила Ваню азам светской жизни, начиная от того, как пользоваться-

ся за столом салфеткой, и кончая тем, как ненавязчиво и почтительно кивнуть в кабинете партийного начальства в знак полного согласия с мудрейшими высказываниями одного. Весь многолетний опыт борьбы за существование в жестком тоталитарном мире, за свое прибрatненное место в нем Валентина Андреевна вкладывала теперь в неофита Ваню.

– Иван Николаевич, – уважительно наставляла она своего мужа, – ты обещал сходить в партком насчет приема в партию. Не забыл?

– Они говорят, что разнарядка на прием студентов в этом году урезана.

– А ты скажи, что тебя разнарядка не касается, ты из пролетариев и хочешь быть в первых рядах... ну, мол, готов на любую работу ради партии. Прояви партийную инициативу, а я по своим каналам помогу...

И она помогала, а Ваня проявлял инициативу и вскоре стал одним из первых партийных на курсе. По партийной линии он и далее быстро продвигался по методу ударной возгонки, то есть минуя ряд промежуточных стадий, и на пятом курсе был уже членом парткома института. Благодаря жене Ивану открылись многие приятные, неведомые стороны жизни – оперная и балетная классика в бывшем Императорском Мариинском театре, спектакли бывшего Императорского Александринского театра с великими акте-

рами Черкасовым, Симоновым, Толубеевым, Скоробогатовым, Борисовым, Фрейндлих, знаменитые постановки Товстоногова в БДТ с участием легендарных Полицеймако, Смоктуновского, Копеляна, Ольхиной... Ваня наконец узнал, что едят допущенные к дефициту люди. Валентина Андреевна отоваривалась в обкомовском спецраспределителе, поэтому заграничный сыр, твердокопченая колбаска, консервированная сайра, балычок, равно как и прочие дефицитные продукты, включая пресловутые «ананасы и рябчики», о существовании которых Ваня знал из популярной агитки советского классика, всегда были в этом доме – некоторые из них Ваня ел и даже видел впервые в жизни. Однако еще раз повторяю: ошибаются те, кто усматривает во всем этом Ванину корысть. Он в те времена был не только глубоко благодарен Валентине Андреевне, но и искренне увлечен этим фантастическим романом.

Окончив институт с вполне приличным аттестатом и с партийным стажем, Ваня без труда распределился на работу в наш почтовый ящик. Здесь и протекция Валентины Андреевны не потребовалась – только лишь мудрый совет да проводка по первому отделу без проволочек. В том году наш шеф Арон Моисеевич Кацеленбойген защитил докторскую диссертацию, его отдел расширили, и Ваня попал к нему,

а вернее, ко мне в исследовательскую группу. Ваня, как говорят, звезд с неба не хватал, но инженерную работу выполнял тщательно, старался, что с учетом его далеко влекущих карьерных амбиций давало интегрально вполне приличный результат. Ему удавалась настройка готовых образцов аппаратуры, а особенно – всё, связанное с организацией производства и снабжения.

К тому же Ваня активничал по партийной линии и вскоре возглавил еженедельный политсеминар отдела, а затем стал членом парткома всего предприятия, что было просто находкой для нашего отдела, который постоянно журили за низкую политактивность. Кстати, именно Ваня придумал и утвердил на парткоме чрезвычайно «демократичный» порядок проведения политсеминаров – все руководящие работники, кандидаты и доктора наук, а также старшие и младшие научные сотрудники в обязательном порядке должны были отныне сделать хотя бы один доклад на политсеминаре. Демократичность процедуры – поясню для скептиков – состояла в том, что очередность выступлений оставлялась на усмотрение самих докладчиков. Помню, Арону досталось прокомментировать выступление Генсека ЦК КПСС товарища Брежнева на каком-то съезде или пленуме. Арон отнесся к делу со всей присущей ему серьезностью. На

семинар он принес магнитофон с записью речи вождя, сказал: «Здравствуйте, товарищи!», и включил магнитофон. Это было еще в раннезастойный период, когда вождь мог говорить относительно четко и ясно, и его получасовую речь в громкой магнитофонной записи никто в нашей аудитории, естественно, прервать не посмел. Простояв безмолвно около говорящего магнитофона полчаса, Арон наконец выключил его, широко развел руками и глубокомысленно изрек: «Лучше не скажешь!» Аудитория разразилась бурными аплодисментами, к которым был вынужден присоединиться руководитель семинара Иван Николаевич, чувствовавший, конечно, во всей этой Ароновой затее некоторый подвох. Кто-то из наших местных стукачей, разумеется, донес в партком об инциденте, и Ване было указано, что впредь докладчики обязаны высказывать свое личное положительное мнение о выступлении вождя, а не повторять бездумно его речь.

Любопытно, что наше с Ваней сближение также произошло на почве этого пресловутого политсеминара. Мне тогда досталась тема, связанная с каким-то юбилеем «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса. Стараясь как-то оживить эту долбаную-передолбанную тему, я сосредоточился на биографиях основоположников и в докладе совершенно произвольно, как бы между делом, упо-

мянул, что Карл Маркс происходил из богатой еврейской семьи, имевшей глубокие раввинские корни и по отцовской, и по материнской линиям. Еще заметил я не без озорства, что, судя по некоторым генеалогическим исследованиям, у Карла Маркса и нашего уважаемого шефа Арона Моисеевича Кацеленбойгена могли быть общие предки. Признаюсь – сделал я всё это не без желания слегка эпатировать публику. Это сейчас всякий, кто слышал что-либо об основоположнике марксизма, знает, что он был евреем, а в те годы, когда слово «еврей» в Советском Союзе считалось едва ли не ругательным на грани матерщины, столь прискорбный факт биографии первого из великих вождей пролетариата всех стран был тщательно закамуфлирован и известен лишь настырным пройдохам вроде меня. Ваня, слушая мой доклад, покраснел от подскочившего давления крови, но осмотрительно промолчал, а затем сухо поблагодарил докладчика и закрыл заседание без обычного оптимистичного финала... Когда все разошлись, Ваня подошел ко мне и, стараясь соблюдать максимальную почтительность, сказал: «Ну, это вы, Игорь Алексеевич, сказанули насчет Маркса... Зачем же так его... с этими буржуазными домыслами... Нельзя же так, без уважения...» Я ответил в тон Ване: «Это, Иван Николаевич, не домыслы, а медицинские факты», а он ничего больше

не сказал и ушел, показывая, что разговор о еврействе Карла Маркса ему весьма неприятен. На следующий день я принес Ване толстенный том с биографией Карла Маркса, написанной немецким коммунистом Францем Мерингом, потом я давал ему читать другие книги по истории коммунистического движения, не вполне гармонизировавшие с извилистой, в обход правды, линией партии. Ваня был толковым и благодарным читателем – на этой почве мы с ним и сблизились.

Не могу не признать, что всё это время Валентина Андреевна минимально вмешивалась в Ванину судьбу, оставалась в роли невидимого режиссера-постановщика за сценой, и он вполне самостоятельно и умело играл роль преданного делу партии простого парня из народа, которому она, родная партия, открыла все дороги к своим бесценным милостям. Единственное известное мне активное вмешательство режиссера в судьбу нашего талантливого актера действительно имело место, когда по сценарию пьесы Ване надлежало стать кандидатом технических наук.

Всё началось с того, что Ваня, конечно же с подачи жены, попросил меня походатайствовать за него перед Ароном, а именно – чтобы тот взял Ваню в аспиранты. Я это сделал, но Арон отнесся к идее прохладно – Ваня на ниве науки никак не проявил се-

бя, а однажды честно признался, что у него «от этих формул голова болит». С другой стороны, перекрыть путь в науку молодому человеку, да еще к тому же – члену парткома, было бы неправильным, и Арон колебался... Тут, кстати или некстати, у него появился еще один претендент на аспирантскую позицию – блестящий математик, выпускник матмеха Ленинградского университета, имевший, правда, один серьезный недостаток – его фамилия была Гуревич. Прекрасно понимая сложность проблемы, Арон лично пошел утрясать вопрос с Гуревичем к самому Генеральному директору Митрофану Тимофеевичу Шихину – адмиралу в отставке, кандидату военно-морских наук. Выслушав с каменным лицом Арона, красочно распи-савшего те достижения, которые сулит нашему научно-производственному объединению работа молодого талантливого математика, адмирал долго молчал, а затем неспешно и философически резюмировал результат своих раздумий:

«Есть у нас, Арон Моисеевич, люди, желающие превратить предприятие в синагогу, но мы не можем допустить этого. Вот и в вашем отделе наблюдаются некоторые, так сказать, синагогальные тенденции».

Арон Моисеевич глубоко вздохнул, чтобы сердце забившееся успокоить, и по возможности вкрадчиво

ОТВЕТИЛ:

«Что касается моего отдела, Митрофан Тимофеевич, то синагогальная служба в нем невозможна, поскольку не хватает кворума в десять персон мужского пола иудейского вероисповедания, необходимого, как известно, для полноценного миньяна».

Митрофан Тимофеевич не знал, что такое «миньян», но в незнании не любил признаваться и поэтому перевел разговор на общепроизводственные темы. Когда адмирал встал, давая понять, что аудиенция окончена, Арон спросил у него: «Ну, а как же с Гуревичем?», а тот ответил:

«Не подумайте, Арон Моисеевич, что это против вас лично, но сейчас очень сложно с еврейским вопросом. Сами знаете – сионизм распоясался и прочее... Я попробую что-нибудь сделать для вас...»

На этом и расстались, а вопрос с Гуревичем повис в воздухе. Повис, однако, ненадолго, ибо в дело вмешалась Валентина Андреевна. Деталей переговоров в треугольнике «Митрофан Тимофеевич-Валентина Андреевна-Арон Моисеевич» я не знаю, но общие контуры дела представляю достаточно ясно. Валентина Андреевна, говоря без экивоков, предложила Арону Моисеевичу сделку: он берет Ивана Николае-

вича в аспирантуру, а она обеспечивает прием на работу Гуревича. По-видимому, Митрофан Тимофеевич приказал Первому отделу проверить Гуревича на секретность в свете происков сионизма – отсюда всё и завертелось. Арон Моисеевич безоговорочно принял предложение Валентины Андреевны. Как ей удалось обтяпать дельце с Митрофаном Тимофеевичем – одному богу известно, а нам, смертным, остается лишь строить догадки... Думаю, что Ваня ничего не знал об этой истории, а может быть, и сейчас не знает. В сухом остатке всей той закулисной возни оказалась неизбежной, со стопроцентной гарантией, ученая степень Вани, ибо всем было известно: Арон не допускает провала своих аспирантов!

Не буду рассказывать, как писалась Ванина диссертация и сколько крови это стоило мне. Ни ее название, ни тем более содержание я, естественно, разглашать не могу поскольку не у всех читателей есть допуск по первой форме к секретным материалам. Намекну лишь, что она была посвящена разработке физической модели некоей системы на базе экспериментальных исследований, в которых Ваня принимал участие. В итоге получилась работа без озарений, но вполне добротная, ничуть не хуже той массовой квазинаучной продукции, которая куется в наших почтовых ящиках под грифом «совершенно секретно». Од-

ной из важных функций этого грифа было, между прочим, сокрытие низкого уровня секретных разработок, а подчас и их вторичности по отношению к зарубежным аналогам.

На защите диссертации происшествий не ожидалось, диссертант сносно ответил на вопросы членов Ученого совета, был зачитан отзыв промышленности, научный руководитель и оппоненты произнесли свои положительные отзывы, к ним присоединилась пара членов совета. Дело шло к успешному финалу, но тут случился казус, который едва не прервал Ванину научную карьеру. Внезапно попросил слова один из-вестный профессор из авторитетных кругов и сказал, что, во-первых, в работе недостаточно, на его взгляд, экспериментальных данных, и, во-вторых, он припоминает, что видел похожий подход в какой-то американской работе. Всё это, уверяю вас, было полной чушью, но Шихин, который председательствовал, как-то слишком резво ухватился за «высказанные критические замечания» и в своем заключительном выступлении сказал, что, судя по всему, диссертация нуждается в доработке, и порекомендовал диссертанту и его научному руководителю учесть «мнение уважаемого профессора». Арон пытался выступить, но адмирал не дал ему слова и по-быстрому объявил тайное голосование. Голосование оказалось не в пользу

Вани – диссертацию завалили.

Если оставить в стороне всяческие сантименты по поводу переживаний Ивана Николаевича и Валентины Андреевны, которые вынуждены были заплатить ресторану «Кавказский» неустойку за отмененный в последний момент банкет, то главным в тот злополучный вечер было твердое решение Арона бороться до конца. Арон понял, что всё случившееся направлено лично против него и подстроено самим Шихиным, который подговорил маститого профессора взорвать процесс. Зачем это нужно было адмиралу? Ясно проступали два объяснения, которые, сливаясь воедино, рисовали полную картину маслом. Во-первых, Шихину не нравился растущий научный авторитет Арона Кацеленбойгена и подобных Арону «французов» на вверенном ему предприятии – это следовало остановить. Во-вторых, звериным чутьем опытного аппаратчика чувствовал он, что этот Иван Николаевич, из молодых да ранний, и есть тот самый фрукт, который подсидит и, в конце концов, сменит его, заслуженного адмирала, в директорском кресле. Это всё Арон вычислил мгновенно и мгновенно же принял брошенную ему адмиралом перчатку.

Через Ваню, который, в свою очередь, подключил к делу Валентину Андреевну, Арон добился приема у заведующего отделом науки обкома партии. Член

партии, доктор наук, он чувствовал себя уверенно, ему, собственно говоря, нечего было терять, хотя я лично опасался Аронова культпохода в Смольный в поисках правды, которая в том историческом здании всегда была в руках шихиных. Я же тогда не знал, какие непозволительно жесткие слова осмелится сказать в колыбели революции Арон Моисеевич Каценбойген, а расчет Арона был точным, и он вернулся победителем!

Сцену из спектакля в Смольном я знаю достоверно со слов главного действующего лица. Арона приняла представительная дама лет пятидесяти, по-деловому прибранная с легкой красивой сединой в волосах. Разговор начался с ее вопросов о состоянии и перспективах науки в ПООПе, а затем она попросила Арона оценить уровень компетентности Ученого совета предприятия. Разговор на общие темы шел уже полчаса, когда дама внезапно сама перешла к сути вопроса: «Как же так получается, Арон Моисеевич, что Ученый совет, компетентность которого вы оцениваете столь высоко, принял неправильное, как вы полагаете, решение по диссертации вашего аспиранта?» Арон ответил: «Компетентность иногда входит в противоречие с мнением начальства». А затем он глубоко вздохнул и произнес фразу, которая вошла в анналы исторической хроники нашего ящика перио-

да развитого социализма:

«Дело в том, что Генеральный директор нашего предприятия не любит евреев. Любовь или нелюбовь, как вы хорошо понимаете, чувства интимные, и я лично не претендую на то, чтобы Генеральный любил меня или хотя бы относился ко мне доброжелательно. Тем не менее я не позволю, чтобы нелюбовь ко мне распространялась на моих подчиненных и учеников, я не позволю ломать судьбы молодых ученых только потому, что некто не любит евреев. Почему мой аспирант, русский, кстати, как вы знаете, должен страдать из-за того, что наш директор не любит его научного руководителя – еврея?»

Самое любопытное – чиновная дама не нашлась, что ответить, или, может быть, сочла неуместным любой ответ. Арон ожидал нечто вроде – мол, у нас в стране антисемитизма нет, партия всегда боролась с антисемитизмом, равно как и с сионизмом, и, дескать, такой интернационалист-коммунист, как Митрофан Тимофеевич, не может относиться к человеку предвзято из-за его национальности и т. д. и т. п. Но она промолчала... Все знали, что кампанией советского государственного антисемитизма руководит компартия, но всем полагалось делать вид, что этого нет и быть не может. Надзирательница над всей

ленинградской наукой не хотела выглядеть примитивным пропагандоном в глазах этого смелого еврея-ученого, и она промолчала, дав тем самым понять Арону Моисеевичу, что на самом деле согласна с ним. В конце аудиенции дама пообещала Арону «разобраться с вопросом» – он почувствовал, что выиграл схватку с Шихиным, хотя еще не знал возможных последствий этой победы.

В действительности последствия победы Арона, как говорят, превзошли все ожидания и были не менее драматичными, чем провальная защита его аспиранта. Через 48 часов после визита Арона Моисеевича в Смольный Митрофан Тимофеевич срочно собрал Ученый совет с участием Вани и с видом побитой собаки объявил ничего не понимающим членам совета следующее:

«Есть такое мнение, что мы с вами, товарищи, на прошлом заседании поспешили с принятием решения по диссертации аспиранта И. Н. Коробова, поэтому сегодня предлагается продолжить дискуссию по этой весьма актуальной научной работе. Кто за продолжение дискуссии и повторное тайное голосование, прошу поднять руку... Нет, нет, все другие вопросы после... Итак, единогласно...»

Ошалевшие от такого нарушения всех инструкций

и процессуальных норм члены совета нерешительно подняли руки, хорошо понимая, ЧЬЕ это мнение, когда говорят «есть такое мнение». Только Арон ясно оценил происходящее – адмиралу вставили в одно чувствительное место мощнейший фитиль. Обком партии, конечно, требовал от всех самым решительным образом бороться с проявлениями «еврейского буржуазного национализма», но не терпел, когда это делается с ущербом для белой и пушистой обкомовской репутации. Обком рассылал парторганизациям секретные – как правило, устные – инструкции по дискриминации евреев, но не любил, когда это делается слишком топорно. Комедия Ваниной повторной защиты продолжалась не более сорока минут – он повторил тезисно свой доклад, научный руководитель и два члена совета второй раз кратко похвалили его работу, к ним присоединился председательствующий Шихин, отметивший «большое практическое значение работы Ивана Николаевича для всего нашего объединения», и... Ученый совет единогласно проголосовал за присуждение Ивану Николаевичу Коробову ученой степени кандидата технических наук. Скромный банкет для избранных в ресторане «Кавказский» наконец-то состоялся.

После утверждения в ученой степени Ваня стремительно двинулся вверх по партийной лестнице и в 30

лет стал освобожденным секретарем парткома всего нашего ПООПа – эта позиция, пышно именовавшаяся «парторг ЦК», утверждалась самим ЦК КПСС по представлению обкома партии и по согласованию с соответствующими инстанциями отраслевого министерства и госбезопасности. Это были времена, когда мракобесная идея руководящей роли Компартии была раздута до невероятности, и во многих случаях парткомы были поставлены выше администрации по всем вопросам, начиная от «кто с кем живет» и кончая производственной технологией. Поэтому, когда Ваня стал Секретарем парткома, нетрудно было с трех раз угадать, кто вскоре будет назначен Генеральным директором всего предприятия вместо стареющего адмирала, худшие опасения которого становились реальностью.

Никто – ни Митрофан Тимофеевич, ни Валентина Андреевна, ни даже сама троянская прорицательница Кассандра – не могли бы предугадать, какая непреодолимая сила встанет на пути Ивана Николаевича к высшей власти, никто не мог предвидеть, кто и что его погубит...

Ваня узнал Аделину с первого взгляда, как только случайно встретил ее в одном из коридоров, – это та красotka, которая столь неделикатно отшила его много лет тому назад на студенческом танцевальном

вечере. То же удлинённое белое лицо с большими черными глазами, тот же незабываемый надменный взгляд... О, какой незаживающей раной пронес он в себе этот взгляд и тот унижительный отказ! Только потом, поразмыслив, Ваня понял, что та красotka должна быть постарше Аделины, но навязчивая идея реванша поселилась в его душе. Да, тогда он был ничтожным студентом из провинциальных наивных простаков, от его искреннего порыва ничего не стоило просто отмахнуться. Но теперь он – один из хозяев этой жизни, едва ли не властитель огромного предприятия с тысячами подчиненных. Он добился мечты своей голодной юности, теперь ему доступны и подвластны все ведомые и неведомые «милости природы», и это черноглазое чудо природы не является исключением...

Банальный сюжет, преследующий людей и нелюдей уже тысячи лет. Как рассказывает древнерусская летопись, Владимир Святославович – будущий киевский Великий князь, Святой Владимир Красно Солнышко – в молодости возжелал дочь полоцкого правителя Рогнеду, но юная красавица отказала ему. Такого оскорбления Святой Владимир вынести не мог, мобилизовал свою варяжскую дружину, захватил Полоцк и... изнасиловал Рогнеду. Летопись живописует, что при этом князь не отказал себе в удовольствии

предварительно убить на глазах невинной девочки ее отца и всех братьев – видимо, для усиления сексуально-реваншистского эффекта.

Аналогия между Владимиром Святославовичем и нашим Иваном Николаевичем здесь, конечно, за уши притянута, но она, тем не менее, показывает – за прошедшее тысячелетие мало что изменилось в языческих инстинктах человека, несмотря на все христианские старания. Отчего это? Может ли от плохого человека произрасти что-то хорошее? Наверное, может, но я таких случаев не знаю...

Глава 4. Севилья

Десятого августа 1519 года, через год и пять месяцев после того, как Карл, будущий властелин Старого и Нового света, подписал договор с Магелланом, все пять судов покидают наконец севильский рейд, чтобы отправиться вниз по течению к Сан-Лукар де Баррамеда, где Гвадалквивир впадает в открытое море; там произойдет последнее испытание флотилии и будут приняты на борт последние запасы продовольствия. Но, в сущности, прощание уже свершилось: в церкви Санта-Мария де ла Виктория Магеллан, в присутствии всего экипажа и благоговейно созерцавшей это зрелище толпы, преклонил колена и, произнеся присягу, принял из рук коррехидора Санчо Мартинес де Лейва королевский штандарт... В Сан-Лукарской гавани, против дворца герцога Медина-Сидония, Магеллан производит последний смотр перед отплытием в неведомую даль...

Магеллан закончил свой обход. Со спокойной совестью может он сказать себе: всё, что смертный в состоянии рассчитать и предусмотреть, он рассчитал и предусмотрел. Но дерзновенное плавание бросает вызов высшим силам,

не поддающимся земным расчетам и измерениям. Человек должен считаться и с наиболее вероятным финалом такого странствия: с тем, что он из него не возвратится. Поэтому Магеллан, претворив сначала свою волю в земное дело, за два дня до отплытия письменно излагает свою последнюю волю... Раньше, чем к людям и правительству, это глубоко волнующее завещание обращается ко «всемогущему Господу, повелителю нашему, чьей власти нет ни начала, ни конца». Свою последнюю волю Магеллан изъясняет, прежде всего, как верующий католик, затем – как дворянин, и только в самом конце завещания – как супруг и отец...

Последний долг на родине выполнен. В Севилье наступает прощание. Трепеща от волнения стоит перед Магелланом женщина, с которой он в течение полутора лет был впервые в жизни по-настоящему счастлив. На руках она держит рожденного ему сына. Рыдания сотрясают ее вторично отяжелевшее тело. Еще один, последний раз он обнимает ее... Затем скорее, чтобы от слез покинутой жены не дрогнуло сердце, – в лодку и вниз по течению к Сан-Лукару, где его ждет флотилия. Еще раз в скромной Сан-Лукарской церкви, предварительно исповедавшись, вместе со своей командой принимает причастие.

На рассвете 20 сентября 1519

года — эта дата войдет в мировую историю — с грохотом поднимаются якоря, паруса надуваются ветром, гремят орудийные выстрелы — прощальный привет исчезающей земле; началось великое странствие, дерзновеннейшее плавание во всей истории человечества.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

Аделина пришла, можно сказать, неожиданно, позвонив всего лишь за полчаса, и мы с Томасом едва успели навести в квартире элементарный порядок. Томас неодобрительно наблюдал за моими стараниями, подозревая, что всё это кончится плохо, конечно же, для него. Отношения между ним и Аделиной с самого начала не заладились, причем виноват был в первую очередь Томас — он так отвратительно зашипел, когда она протянула руку для знакомства, что о дальнейшей дружбе не могло быть и речи. Правда, шипел Томас не зря, ибо худшие его опасения оправдались — он был выставлен на ночь сначала в коридор, а затем даже заперт на кухне вследствие непристойного поведения.

Аделина принесла толстый том поэзии Осипа Ман-

дельштама и роман Александра Солженицына «В круге первом» – они были изданы какими-то заграничными издательствами и, судя по всему, контрабандно доставлены на родину. Она сказала: «Мандельштам – это мой подарок тебе, милый друг. А Солженицына прочитай как можно скорее – многие на очереди. Пожалуйста, не показывай ни того, ни другого своим приятелям по преферансу и алкоголю – понимаешь?» Я понимал... «Можно, я не буду читать этой ночью?» – спросил я, чтобы шутейно прояснить ситуацию. А она ответила: «Можешь попробовать, но, боюсь, у тебя это не получится». Я всё понимал, в том числе и то, что влезаю в определенную историю.

На самом деле, я не был ни диссидентом, ни шестидесятником. В шестидесятые годы был вначале слишком молод, а потом слишком незрел, чтобы принадлежать к этому удивительному движению. Главное, наверное, в том, что не было у меня тогда соответствующего окружения. Но безмозглым манкуртом всё же не стал – сумел самостоятельно понять, в какое уникальное время довелось жить, в каком гигантском прорыве пришлось хотя бы косвенно поучаствовать... «Солженицын недавно выслан из СССР за антисоветчину, чтение его романа тянет на срок, – прикидывал я. – Но, с другой стороны, прочитать Солженицына в порядке подготовки к заседанию Идеологи-

ческой комиссии парткома – это круто!»

– Откуда у тебя такая литература?

– Не будь слишком любопытным, тем более – дураком. Такие вопросы не задают. Хочешь – читай, не хочешь – не читай и выброси, но забудь о том, кто тебе это принес. В случае чего – нашел на скамейке в ЦПКО или на помойке, где, мол, всему этому антисоветскому дерьму самое место.

– Твои друзья не берегут тебя. Кто они?

– Мои друзья при необходимости подтвердят, что мои любимые советские авторы – Горький, Фадеев, Шолохов и еще этот самый... Чапаев, а мой любимый роман «Как закалялась сталь». И что никаких других авторов и книг они у меня в руках отродясь не видели... Кстати, если захочешь, я познакомлю тебя с ними.

– Непременно познакомь. Судя по тебе, они нетривиальные личности. Это можно будет сделать после моей командировки.

– Когда ты уезжаешь?

– Еще не знаю, но, вероятно, где-то через пару месяцев.

Мы пили армянский коньяк, и Аделина спросила: «Хочешь, прочитаю тебе стихи, а ты угадаешь автора?» Я молча кивнул, она достала несколько листов и начала распевно читать. С первых строк стало ясно,

что это стихи о сталинских репрессиях, но я прежде не слышал их...

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском качался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

Я был захвачен этим текстом, неожиданными образами и звуками той далекой эпохи, когда меня еще не было, музыкой и ритмом слов, наподобие повторяющейся мелодии трагической симфонии. Потрясающий финал поэмы, в котором автор жестко определила место для своего памятника прямо напротив входа в тюрьму – там и только там – врезался в память, как казалось, навсегда...

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,

Но только с условием – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громохание черных марусь,
Забуть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Аделина замолчала, вопросительно глядя на меня.

– Мне стыдно, я не знаю автора этих стихов, но это... это что-то из бессмертного...

– Конечно, Анна Ахматова, поэма называется «Реквием», ее личный опыт... Она обещала написать об этом женщинам, стоявшим вместе с ней в тюремной очереди у входа в «Кресты». Ахматова умерла, не дождавшись публикации, вот и ходит поэма в списках...

– Почему же ее не опубликовали после смерти Сталина?

– Потому что это не про Сталина, а про режим, под которым «безвинная корчится Русь». Он всегда оди-

наков, что при Сталине, что при Ленине, что при нынешнем герое с Малой земли... Это же обвинительный приговор режиму: «Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных марусь». Кто же захочет опубликовать приговор самому себе?

– Как бы излишне пафосно ни прозвучало, но эту поэму должен знать каждый русский человек, ее надо изучать в школе.

– Не позволят, сволочи, затравят, замордуют... Сужу по судьбе некоторых своих друзей, которые близко знали Анну Андреевну.

Мне послышалось мрачное пророчество в словах Аделины. Я тихо обнял ее – мне почудилась какая-то обреченность в этой красивой женщине, показалось что-то близкое, родное в этом, по существу, малознакомом человеке... Будет ли счастлива она?

Очень красивые женщины редко бывают счастливы. Они создают вокруг себя поле, притягивающее знаменитых, богатых, влиятельных и, напротив, отталкивающее даже талантливых и достойных мужчин, увы, еще не достигших достаточно высокого положения. И чем ослепительнее красота женщины, тем больше кренится корабль ее судьбы в мутный водоворот красивой жизни, который сначала затягивает, а затем выталкивает ее на пенящуюся ложными соблаз-

нами поверхность. Выталкивает, непременно прибавив еще одно разочарование относительно того мира, где она, по всеобщему мнению, только и должна пребывать. Ослепленная вниманием и посулами властителей этого мира, красавица подчас проходит мимо своего счастья, не замечая его и пренебрегая им. Она не виновата в этом – ее обманывают далеко не всегда искренние поклонники, претендующие на исключительное право диктовать миру свои правила игры. Эти правила лишь в редких случаях включают счастье для их избранниц...

Я встретил первую в своей жизни очень красивую девочку еще в школе – ее звали Руфина, и за ней бежали все мальчишки, включая меня. Однажды я был выделен – Руфина сама предложила мне сопровождать ее на танцы в районном Доме культуры, что я и делал несколько раз, пока не понял, для чего нужен этой красотке. Она была из очень простой, но с принципами, семьи. Когда я приходил, чтобы сопровождать Руфину на танцы, ее мама непременно говорила: «Вот пришел Игорек – порядочный, интеллигентный мальчик, только с ним я могу отпустить Руфиночку на танцы». Руфиночка обычно удостаивала меня первым танцем, а затем куда-то таинственно исчезала, и я, как последний лох, уныло дожидался ее возвращения где-то ближе к полуночи. Возвратившись, Руфиночка

просила меня довести ее до самой двери квартиры, чтобы мамочка убедилась, что она всё время находилась вместе с интеллигентным мальчиком Игорьком. Много позже я узнал, что был столь элегантно использован для прикрытия свиданий красоти со студентами и преподавателями Института кинематографии, которые сулили ей карьеру кинозвезды. Судьба Руфины сложилась причудливо. Еще до окончания школы она, как говорили, «подзалетела» от кинорежиссера из того самого института и была вынуждена по-быстрому выйти замуж за молодого врача, который безуспешно обхаживал ее. Руфина родила ребенка, но вскоре оставила его с мужем, а сама уехала вместе со знаменитым эстрадным певцом. Их роман продолжался несколько лет, пока певец не женился на другой женщине из своего круга. Руфина переживала неудачу, но потом увлеклась гремевшим на всю страну форвардом одной из ведущих футбольных команд. Это продолжалось еще несколько лет до тех пор, пока форварда не посадили то ли за пьяный дебош, то ли за изнасилование по пьянке. В это время она встретила на каком-то высоком консульском приеме известного художника, очень влиятельного человека, одного из руководителей Союза художников всей страны. Он искренне увлекся Руфиной, рисовал ее портреты, и перед ней открывалась перспектива воистину богем-

ной жизни. Этого, однако, не случилось из-за козней жены художника. Знаю еще, что в 1990-е годы Руфина – уже в сильно забальзаковском возрасте – вышла замуж за какого-то пожилого миллионера из «новых русских» и уехала с ним в Париж. Дальнейшие ее следы теряются... Начиная с этого моего юношеского опыта и по сей день не встречал я женщин, в которых выдающаяся красота удачно совмещалась бы с обычным человеческим счастьем. Единственное исключение – Наталья Кацеленбойген – лишь подтверждает, как говорят в таких случаях, общее правило...

Серым дождливым ленинградским утром я уговаривал Аделину не уходить, побыть еще... – ведь было воскресенье, но она сослалась на неотложные дела и уехала.

Я открыл «В круге первом» и уже не мог оторваться от этой книги до следующего утра, когда надлежало идти на работу. В моих глазах особый шарм великолепному тексту романа придавало вот какое неожиданное обстоятельство – в описанной Солженицыным спецтюрьме Министерства Госбезопасности, так называемой «Марфинской шарашке», я тотчас узнал хорошо мне известный огромный московский секретный НИИ, выросший из той солженицынской шарашки. Я бывал там по служебным делам, ибо в НИИ занимались похожими с нашим «Тритоном» проблема-

ми, только совсем для других, не менее секретных целей... Вспомнилось, что один мой коллега из этого НИИ намекал, что, мол, вот здесь трудились известные герои известного произведения литературы, но я его намеков не понял, ибо, вероятно, еще пребывал в полусовковом состоянии.

Проглотив за пару дней и ночей этот роман, который не читавшие его совки дружно клеймили антисоветским, я счел себя вполне готовым к политическому экзамену на верность «народу и партии», которые в нашей стране, как известно, «едины». Оставалось ждать сигнала от Екатерины Васильевны.

Она пришла ко мне накануне заседания Идеологической комиссии парткома – это придавало ее визиту некоторую деловую окраску, смягчало ее вечные сомнения в правильности поддержания со мной неделовых отношений. Мне же было наплевать как на «окраску», так и на «сомнения» – как только я видел Екатерину Васильевну вне парткома, у меня неудержимо возрастало то, что подавляло, научно выражаясь, все другие проявления когнитивного диссонанса. Я начал раздевать ее тут же у входной двери, в коридоре перед большим зеркалом. В моих руках был теплый Катеныш, а в зеркале – роскошное отражение обнаженной Екатерины Васильевны. Она слабо сопротивлялась, лишь усиливая мой напор: «Игоречек, не

надо... Подожди, Игоречек...» Сэр Томас деликатно отвернулся, а затем, преодолевая любопытство и нарочито демонстрируя полное отсутствие интереса к происходящему, вообще ушел на кухню...

Из-за моего крайне агрессивного поведения Катя сумела сообщить ту новость, ради которой, по ее словам, она и пришла, отнюдь не сразу. Новость была хорошей: Иван Николаевич, посоветовавшись с кем-то наверху, принял решение рекомендовать меня для заграничной научной командировки. Вследствие чего предстоящее заседание Идеологической комиссии парткома по данному вопросу будет чистой формальностью. «Конечно, – наставляла меня в постели Екатерина Васильевна, – если ты не ляпнешь что-то совсем уж несусветное».

Было бы пустой отпиской сказать, что Катя – красивая женщина. Скорее, к ней подходят более сдержанные, мягкие эпитеты в пастельных тонах. Она милая и обаятельная, а еще – ладная, пикантная, ну и конечно, мягкая, ласковая, нежная и чувственная. Если портрет еще не нарисовался, то, уж извините, плох был тот художник... Впрочем, художники подчас склонны выдавать желаемое за действительное.

Я увидел Катю в первый раз, как только пришел новоиспеченным инженером в отдел Арона для беседы с будущим шефом. Она сидела в крошечной прием-

ной за пишущей машинкой и, кокетливо стрельнув в меня серыми глазками, очень мило сказала: «Арон Моисеевич просил вас подождать – посидите...» До прихода Арона Моисеевича у меня хватило времени разглядеть его секретаря-машинистку внимательно и даже пофлиртовать с ней. Я тогда разводился с женой, считал себя свободным человеком, и Катя как-то сразу запала мне в душу. Она в то время уже окончила школу, затем курсы машинописи и готовилась поступать заочно на филфак университета – ну и везет же мне на филологов. Всё это я выведал тут же, и мне показалось, что затеять с ней ни к чему не обязывающий роман будет несложно – девчонка простая, очаровательная, весьма коммуникабельная и, по-видимому, без излишних капризов и высоких умствований. О, как я ошибался...

Ни одной женщины я не добивался так долго и упорно, как Катеньша, а она не менее упорно избегала близости со мной, оставаясь при этом кокетливой и дружелюбной. Не в силах понять истоки такого упрямства, я унизился до раскопок ее личной жизни. Катя жила вместе с матерью в квартире, доставшейся им от ее отца, давно уже имевшего другую семью. Во времена обучения на курсах машинописи молоденькую Катю соблазнил немолодой женатый директор этого заведения – это я выяснил у одной из

ее бывших сокурсниц. Я не знал, продолжают ли их свидания, но ревность и подозрения жгли меня – что она нашла в этом человеке, почему так упорно держится за столь бесперспективную связь? В конце концов не выдержал и пошел познакомиться с тем самым директором под благовидным предлогом – мол, хочу устроить на курсы родственницу из провинции. То, что я увидел, расстроило меня окончательно – Катин соблазнитель оказался невзрачным мужчиной без блеска ума, но с хорошо подвешенным языком. Ничего примечательного и привлекательного... Озадаченный больше прежнего, я усилил напор. Подобно влюбленному юнцу подкарауливал Катю, провожал ее домой, приглашал в театры и филармонию. Мне казалось, что я ей нравлюсь, она как будто принимала мои ухаживания, но тщательно избегала любой возможности остаться со мной наедине. Так продолжалось довольно долго, вечность, как мне казалось... Я не мог понять этого и наконец решил признать свое поражение в любовной схватке с неопытной девчонкой.

Это произошло после моей поездки в Таллин, куда я попытался выманить Катю – мол, посмотрим город, проведем отлично пару дней. Катя вроде бы согласилась, я купил ей билет, встречал поезд, но она не приехала... В ярости метался я по номеру гостиницы, куда устроился по большому благу с помощью

влиятельного эстонского чиновника. Долго не мог дозвониться до нее, а когда дозвонился, то услышал невнятное: «Извини, я не могу так...»

— Что ты не можешь? И что значит «так»? Катя, объясни мне, в конце концов, что происходит. Почему ты так упорно избегаешь встреч со мной. Почему не хочешь... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю... Скажи мне, наконец, прямо, в чем дело. Я смогу понять тебя, но...

— А ты, Игорь, действительно не понимаешь, почему?..

— Не понимаю и мучительно пытаюсь понять.

— Если не понимаешь, то я, наверное, не сумею объяснить, но мне уже пришлось обжечься... Извини еще раз, мне показалось, что я сумею переступить через это, но не сумела... Извини...

Я бросил трубку и вернулся в тот же день в Ленинград, твердо решив прекратить эти безнадежные ухаживания. Кто-то из классиков говорил, что обещание — «я буду любить тебя всё лето» — звучит куда убедительней, чем «всю жизнь», но Катя, очевидно, придерживалась противоположного мнения. Я пытался понять мотивы ее поведения, пытался связать их с ее первым, остро негативным, как теперь представлялось, любовным опытом. Единственное, к чему я, на самом деле, пришел, не блистало оригинальностью:

пока Катя не почувствует в мужчине твердую опору, никакие сколь угодно настойчивые ухаживания не помогут, а напротив, лишь усилят ее отпор. В ней должно вызреть совершенно новое чувство, основанное на доверии к мужчине и признании его неформального лидерства. Я перестал ломиться в наглухо закрытую дверь с тайной надеждой, что она когда-нибудь откроется сама...

На те времена пришелся пик моей аспирантской работы в отделе Арона Моисеевича. Мне было поручено разработать метод кодирования некоего важного класса специальных сигналов. Я работал над этим упорно, и к концу рабочего дня на моем столе и вокруг вырастали горы бумаги, исписанной в попытках решить проблему. Со стороны можно было подумать, что я сошел с ума – на всех этих листках не было ни одного слова, даже ни одной буквы, а только лишь длинные последовательности из нулей и единиц: только 0 и 1 – и ни единого знака больше. Но постепенно из этих сиротливых и унылых нулей и единиц выкристаллизовался изящный новый метод кодирования. Арон Моисеевич с присущей ему восторженностью заявил на Ученом совете: «Уваров изобрел новый код, какого еще не знала теория кодирования!» Эта завышенная оценка стремительно быстро распространилась по всему исследовательскому от-

делу. Меня поздравляли, и стало ясно, что диссертация получилась. Для непосвященных добавлю только вот какое разъяснение. Дело в том, что мой результат попал в самую болезненную точку нашего научного соперничества с американцами, которое сильно обострилось в 60-е и 70-е годы XX века. В те времена негласная гонка в науке играла не только идеологическую, но и важную практическую роль. В области информатики мы лидировали в теории приема сигналов, но американцы сильно опережали нас в теории кодирования. Почти все известные коды носили тогда имена американцев, а тут нате вам – «код Уварова». Я не страдаю излишней скромностью, что в данном конкретном случае, надеюсь, будет воспринято с пониманием, ибо вызвано исключительно целями поддержания правдивости и ясности изложения.

С Катей я тогда поддерживал чисто деловые, дружеские отношения, но в далеком тайнике своей испорченной души готовил план новой, мощной и неожиданной атаки. Только начало атаки я коварно отложил до защиты диссертации. Вот, дескать, получу ученую степень, и награда сама придет к герою... Однако так получилось, что Катя разрушила мой тщательно продуманный план, нанесла упреждающий любовный удар, лишивший смысла всё мое коварство...

Это случилось в день 8 Марта, когда у нас в отделе, как обычно, была устроена традиционная вечеринка. Поздравляли женщин с праздником, выпили за них, потанцевали... Как-то само собой получилось, что я был отряжен коллективом проводить Катю с букетом цветов до ее дома – ведь мы жили в одном районе. В такси я рассказывал ей о своем новом очаровательном котенке британской короткошерстной породы – эта тема давала возможность поддерживать легкую дружескую беседу, не возвращаясь к нашим болезненным прошлым отношениям. Я сетовал на то, что не могу придумать котенку имя, потому что он еще не проявил своего характера, а Катя предлагала варианты подходящих имен. Когда мы подъехали к ее дому, я попросил было шофера подождать, пока провожу даму до парадной. Но Катя из машины не вышла и сказала: «Я очень хотела бы посмотреть котенка...» Еще ничего не понимая, я неуверенно ответил: «Ну, само собой... Нет проблемы... Заходи как-нибудь...», а потом еще туповато добавил: «Не на работу же мне его таскать...» Катя тут же убила мое суперменство окончательно и бесповоротно: «Нет, я хочу посмотреть котенка сейчас...» Я поспешно назвал шоферу свой адрес, вдруг осознав, что случилось то, чего я так долго и безнадежно ждал. Плохо соображавший мачо наконец-то понял, что котенок был простым предлогом...

Невыносимо долгой показалась дорога до моего дома на соседней улице, а потом до квартиры на девятом этаже – в лифте я едва не разорвал на ней кофточку...

«На свете счастья нет, но есть покой и воля», – утверждал классик. Ни покоя, ни воли у нас с Катеньшей впоследствии не наблюдалось, а вот счастье, кажется, было. Может быть, не такое безоблачное, как хотелось бы ей, и, может быть, с некоторым перекосом из-за несовпадения конечных целей сторон, но... было! Рассказывать о тех нескольких годах до нашего разрыва и выхода Кати замуж не имеет смысла – ведь «все счастливые семьи счастливы одинаково» до тех пор, само собой разумеется, пока они не перестали быть счастливыми. Конечно, наш роман семейной жизнью можно было назвать с большой натяжкой. Мы почти и не жили вместе: любое подобие семейного быта – например, постоянное пребывание даже любимой женщины в квартире – вызывает у меня стремительно нарастающий приступ желчной раздражительности. Но отдыхали вместе много, особенно в субтропиках Кавказа и Крыма. Отдых простых, неприблатненных и к верхним партийным кругам непричастных советских людей на так называемых «курортах» был, конечно, очень своеобразным – съемная комнатка типа «сарай» с кроватью или парой раскладушек, «удобства» во дворе, многочасовые очереди в

отвратительную общепитовскую столовку, конкуренция за место на пляже, душноизнуряющая борьба за билеты на обратный поезд. Но что это всё могло значить, когда ты молод, здоров и с тобой очаровательная, влюбленная в тебя юная газель... Кстати, среди тех курортных неудобств мы с Катенышем отлично ладили. Неурядицы начинались в комфортных городских условиях по возвращении из отпуска, когда она вдруг вспоминала, как не устроена, по существу, ее жизнь и как бесперспективны отношения со мной. Мы несколько раз расставались, но потом снова соединялись, казалось, на более высоком уровне жизненной спирали...

Окончательная тяжелая ссора произошла, когда я отказался взять ее с собой в байдарочный туристский поход. Мне казалось, что Катя с ее городскими привычками плохо впишется в походные условия и ей будет нелегко приспособиться к ним — таковыми были мои доводы. Но, честно говоря, еще одной, тайной причиной была... Наташа. Она вместе с Ароном присоединилась к нашей небольшой компании любителей путешествий по малым российским речкам в самый последний момент — им, конечно, нельзя было отказать. И тогда меня заклинило: «Неловко и нестильно выстраивать любовные отношения с Катей в присутствии Наташи, не такой имидж в ее глазах я хотел

бы поддерживать». Мне представилось, как после вечернего костра мы с Катей залезаем на ночь в палатку не самым элегантным способом, и Наташа смотрит, как мы это делаем... Подловато, конечно, было так рассуждать... подловато по отношению к безвинному Катенышу. Я всё это понимал, но преодолеть свой идиотский заскок не мог. В итоге мы с Катей круто поссорились, так круто, что решили расстаться. Я в сердцах дал ей в менторском тоне какие-то дурацкие наставления на тему о том, как вести себя с другими мужчинами, и уехал в отпуск с тяжелым чувством пустоты и собственной ненужности в этом мире...

Плавание на байдарках по чудным лесным речкам восстановило мою энергетику и, возвратившись через месяц, я попытался вернуть течение жизни в прежнее русло, но Катя сказала: «Я выхожу замуж – надеюсь, ты не возражаешь». Наверное, если бы я тогда определенно и твердо ответил, что возражаю, река и вернулась бы в старые берега, но я этого не сказал, а лишь поинтересовался с наигранным сарказмом, кто же есть счастливый избранник. Она ответила, что его зовут Всеволодом Георгиевичем, что он инженер-конструктор, и добавила: «Остальное тебе неинтересно».

Мне было очень интересно и больно, но я промолчал. «Я предал Катеныша...» – это не позднее раска-

ание, а строчка из моего дневника того времени.

После замужества Екатерина Васильевна стала быстро отдаляться от меня. Видимо, под влиянием мужа она вступила в партию, пошла учиться в Высшую партийную школу при горкоме, успешно окончила ее и была переведена в партком на должность помощника Секретаря парткома по оргвопросам. Мы виделись теперь очень редко и при случайных встречах вежливо раскланивались, как старые, но неблизкие знакомые. Так прошло несколько лет, мне казалось, что эта любовь осталась в прошлом навсегда. Казалось до тех пор, пока однажды поздно вечером, когда я уже собирался лечь спать, мне послышалось, что во входную дверь то ли постукивают, то ли скребутся. Сэр Томас, с которого во времена его детства всё и началось, сидел рядом с дверью и, выставив вперед свою курносую мордашку, озабоченно принимался и прислушивался. Я открыл дверь – на лестничной площадке стояла Екатерина Васильевна в образе Катеньша...

Сейчас, по прошествии долгого времени, всё это выглядит литературным приемом – внезапное, нежданное и негаданное, ничем вроде бы не мотивированное появление героини романа, шок окружающих, всеобщее смятение... Я сам не могу отделаться от ощущения нереальности того происшествия. Но в

моем дневнике это событие без всяких эмоций зафиксировано с точной датой на соответствующей странице. А вот обо всём, что последовало за потрясением, которое мы с Томасом испытали, открыв дверь, в дневнике нет ни слова – вскоре узнаете почему... Томас, между прочим, владел собой значительно лучше меня. Он сделал вид, что ничуть не удивлен, и, пока я, потрясенный и потерявший дар речи, безмолвно изображал библейский соляной столб, стал тереться об ноги гостыи, выказывая тем самым высшую степень гостеприимства и вежливо приглашая ее войти.

Я тем временем взял себя в руки и с какими-то жалкими междометиями проводил Катеныша в комнату. Екатерина Васильевна по-деловому расположилась за столом напротив меня, и дальше произошел какой-то странный, почти невероятный разговор, которого нет в дневнике, но который я помню очень хорошо. Она заговорила поначалу решительно и произнесла явно заранее заготовленные слова.

– Прости, что так поздно... Но я пришла к тебе, Игорь, по неотложному делу, можно сказать, за помощью к старому другу.

– Не надо извиняться, всё нормально... Спасибо, что помнишь о нашей... дружбе. Чем могу... так сказать?..

– У меня некоторые семейные проблемы... С Все-

володом Георгиевичем, я имею в виду. Многие могли бы помочь в этом деле, но я выбрала тебя. Если ты, конечно, не будешь против.

Ничего не понимая, в ожидании чего-то ужасного, я молчал. Катя внезапно занервничала, попросила стакан воды, отхлебнула из него, беспокойно огляделась, по-видимому, вспоминая былое... Казалось, что ей нелегко продолжать этот разговор, смысл которого пока еще ускользал от меня. «Может, немножко коньяка?» – предложил я. Она кивнула головой, я плеснул ей в бокал, выпил сам. Помолчали... Наконец Катя решилась... словно в холодную воду прыгнула.

– Короче говоря, я хочу ребенка... У Севы некоторые проблемы с этим... Он сам не вполне осознаёт их, но я-то понимаю, прошла обследование... Еще короче – я хочу иметь ребенка, но, чтобы Сева думал, что это его ребенок.

– Ты хочешь использовать меня для реализации этой авантюры?

– Не говори так... Это не авантюра... Это для меня... Ты не будешь нести никакой ответственности, никто никогда не узнает об этом, клянусь тебе. Я вру, что многие могли бы помочь мне... Никому, на самом деле, я не могу довериться, кроме тебя. У нас с тобой было много хорошего, но и много плохого. Ты мог бы одним своим согласием исправить всё...

Она говорила торопливо, словно опасаясь пропустить что-то важное... Было видно, как боится она моего отказа, впервые на моей памяти у нее появились слезы. Я был еще раз шокирован – никогда Катя не казалась такой беззащитной и одинокой. Даже в минуты слабости и поражения она никогда никого ни о чем не просила, она всегда пыталась, по крайней мере, выглядеть самодостаточной, хотя я всегда знал, что это лишь маска. Я вдруг понял: в моей жизни наступил момент истины, я не могу отказать этой женщине в ее безумной затее...

Говорят, что трагическое и комическое пребывают рядом друг с другом. Было в том сюрреалистическом полночном визите Екатерины Васильевны что-то и от того, и от другого.

– Я, Катенька, согласен помочь тебе в этом деле... по старой дружбе. Так что звони, когда будешь готова. Тогда и приступим к работе...

– Зачем же мне звонить, если я уже здесь и уже готова...

Так я стал отцом во второй раз. Сына Витеньку я потерял, как и было оговорено, еще до его рождения. Он, как и Светланка, никогда не узнает, кто его отец. Об этом знает только одна женщина на всём белом свете, но она никогда не проговорится.

Вопреки условиям первоначального договора мы с

Катеньшей продолжали встречаться и после того, как она забеременела. Наша тайная связь стала постоянной составляющей нашей жизни, а ее сюжет развивается ныне в стиле социалистического реализма, где между общедоступными фасадными строчками никто не прочитает подлинного – скрытого и сокровенного. Но исходный налет сюрреализма в этом сюжете нет-нет да и проявит себя...

Глава 5. Атлантический океан

Из всех описаний людей и плаваний меня больше всего поразил подвиг одного человека, непревзойденный, думаю, мне, в истории познания нашей планеты. Я имею в виду Фернандо Магеллана, того, кто во главе пяти утлых рыбацких парусников покинул Севильскую гавань, чтобы обогнуть земной шар. Прекраснейшая Одиссея в истории человечества – это плавание двухсот шестидесяти пяти мужественных людей, из которых только восемнадцать возвратились на полуразбитом корабле, но с флагом величайшей победы, реющим на мачте...

Попробуйте представить себе, как они... отправлялись в неведомое, не зная пути, затерянные в беспредельности, под вечной угрозой гибели, отданные во власть непогоды, обреченные на тяжчайшие лишения. Ночью – беспросветный мрак, единственное питье – тепловатая, затхлая вода или набранная в пути дождевая, никакой еды, кроме черствых сухарей да копченого прогорклого сала, а часто долгие дни даже без этой скудной пищи. Ни постелей, ни места для отдыха, жара адская, холод беспощадный, и к тому же сознание, что они одни, безнадежно одни среди этой жестокой

водной пустыни. На родине месяцами, годами не знали, где они, и сами они не знали, куда плывут. Невзгоды сопутствовали им, тысячеликая смерть обступала их на воде и на суше... Месяцы, годы – вечно эти жалкие, утлые суденышки окружены были ужасающим одиночеством. Никто – и они это знали – не может поспешить им на помощь, ни один парус – и они это знали – не встретится им за долгие, долгие месяцы плавания в этих не вспаханных корабельным килем водах, никто не выручит их из нужды и опасности, никто не принесет вести об их гибели...

В то время как я, в соответствии со всеми доступными мне документами, по мере возможности придерживаясь действительности, воссоздавал эту вторую Одиссею, меня не оставляло странное чувство, что я рассказываю нечто вымышленное, одну из великих грез, священных легенд человечества.

Но ведь нет ничего прекраснее правды, кажушейся неправдоподобной!

В великих подвигах человечества именно потому, что они так высоко возносятся над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в том невероятном, что оно совершило, человечество снова обретает веру в себя.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

Нас с Ароном рассматривали отдельно – сначала его, потом меня. Пока я сидел в приемной парткома, ожидая вызова на ковер, ничего хорошего и светлого в голову не приходило. Я пытался вспомнить эпизоды деятельности средневековой Святой инквизиции. Кажется, полное название этой организации было «Святой отдел расследований еретической греховности». Конечно, сам факт нашего неподдельного желания совершить кругосветное путешествие можно было бы счесть проявлением ереси. Правда, при двух смягчающих обстоятельствах: мы намеревались совершить это греховное деяние по приказу безгрешного по определению начальства и в интересах укрепления обороноспособности родины. И тем не менее сидящие за двойными дверями парткома члены святой инквизиции просто обязаны подозревать наличие ереси в наших с Ароном помыслах – мол, командировка командировкой, а что эти «путешественники» на самом деле будут думать в заморских странах в отрыве от своей социалистической родины?

Я с тоской размышлял о том, что Идеологическая комиссия парткома была только первым и отнюдь не самым главным инквизиторским барьером на пути по-

добных мне граждан страны развитого социализма, возжелавших съездить за границу. Она играла роль некоего предварительного фильтра, долженствующего отсеивать явно непригодных для заграничных путешествий субъектов. Комиссия освобождала тем самым более высокие инквизиторские инстанции от рутинной работы по выявлению лиц греховной ориентации, которые не смогут устоять перед соблазнами тамошней заграничной жизни, а пуще того – завезут ту заразу к нам. Многие небольшие организации даже не имели подобных комиссий, их заменял так называемый «треугольник» – директор организации, секретарь парткома и председатель профкома, которые как бы брали на себя ответственность за поведение лица, рекомендованного к поездке за границу. В случае недостойного поведения этого лица – участия в несанкционированных встречах с иностранцами, контактах с проститутками, журналистами, иммигрантами, антисоветски настроенными элементами и т. д. и т. п. – или, не дай бог, в случае бегства предателя, изменника родины в мир капитализма «треугольник» ожидало наказание, соответствующее тяжести преступления рекомендованного им лица. Это наказание, однако, демпфировалось тем благоприятным для «треугольника» обстоятельством, что последующие инстанции, судя по результату, тоже пропусти-

ли такого неподготовленного для поездки за рубеж субъекта, то есть не разобрались, проявили идейную незрелость, пошли на поводу... Вследствие этого данный инквизиторский барьер, как правило, преодолевался без особых усилий, если, конечно, за вами не числились такие совершенно ужасные деяния, как, например, изнасилование секретарши директора, систематическое пребывание в вытрезвителе или публичные антисоветские высказывания. Последующие барьеры – второй и третий инквизиторские круги, через которые мне еще предстояло пройти, были более серьезными. Там дело рассматривали не местные партийные активисты-самоучки, а закаленные в борьбе за построение коммунизма в одной, отдельно взятой стране железные партийцы опасной пенсионной зрелости под руководством профессионалов из госбезопасности. Последние располагали не только беззубой характеристикой субъекта с места работы, но и обширным досье со всеми данными и доносами о нем...

Мои размышления о нашем великолепно отлаженном, многоступенчатом механизме отбора лиц, пригодных для поездки за границу, прервало появление Арона.

«Там перерыв, – сказал он, выйдя из дверей парткома, – у тебя есть минут пятнадцать, пойдем переку-

рим». Мы вышли на лестничную площадку, закурили, и Арон кратко рассказал, что там было.

Его спросили сначала, какие капиталистические страны он лично собирается посетить во время командировки. «Видите ли...» – начал было Арон, но Иван Николаевич прервал его и разъяснил уважаемым членам комиссии, что это не их ума дело, а именно – командировочное задание товарища Кацеленбойгена относится к закрытым материалам и известно только ведомству заказчика и никому другому. «Есть ли еще к Арону Моисеевичу вопросы по существу?» – спросил он. Все молчали, но Игнатий Спиридонович – большевик с дореволюционным стажем, лично знавший, по его утверждениям, самого Владимира Ильича, спросил: «Какие выводы для себя лично вы как коммунист сделали из решений последнего Пленума ЦК нашей партии?» Члены комиссии, вероятно, пожалели, что уважаемый Игнатий Спиридонович задал такой вопрос, ибо Арон тут же прочитал им небольшую лекцию о решениях Пленума ЦК их родной партии и о тех задачах, которые эти решения ставят перед всеми коммунистами и лично перед каждым членом комиссии. Они, члены комиссии, я думаю, внезапно горестно осознали, как мало лично сделали для реализации тех решений, и, пристыженные, больше вопросов к Арону Моисеевичу не имели. Поэтому Ивану

Николаевичу не составило труда по-быстрому заключить, что товарищ А. М. Кацеленбойген является зрелым коммунистом, преданным делу партии, и что его непосредственное участие в предусмотренных правительством зарубежных работах чрезвычайно важно для нашего отечества.

«Короче, – подвел черту Арон, – меня, ясное дело, рекомендуют для поездки. Теперь твоя очередь. Не волнуйся, води себя уверенно, но, прошу, сдержанно и аккуратно...»

А я и не волновался... Арон не знал, что Катенька предупредила меня: положительное решение по моему вопросу уже негласно принято.

В кабинете секретаря парткома размером с волейбольную площадку помимо огромного письменного стола самого Ивана Николаевича и приставленного к нему стола под зеленым сукном с красивыми стульями для посетителей располагался еще один непомерно длинный стол заседаний парткома, занимавший половину зала вдоль трех высоких окон с замечательным видом... Впрочем, про вид умолчу, чтобы, не дай бог, не раскрыть местоположение нашего богоугодного заведения. Сам Иван Николаевич восседал во главе синклита в торцовой части стола заседаний, а мне было предложено занять место напротив него в противоположном торце так, чтобы моя лич-

ность была видна всем членам комиссии, располагавшимся по обеим сторонам стола. Екатерина Васильевна вела протокол заседания за небольшим столиком несколько в стороне и, слава богу, у меня за спиной, что обеспечивало возможность не отвлекаться греховными мыслями от столь серьезного процесса.

Процесс же начался, когда по знаку Ивана Николаевича его помощник Илья Яковлевич зачитал мою биографию и рабочую характеристику, написанную Ароном. Из этих документов нарисовался монументальный образ молодого советского ученого, все свои силы и всё свое время без остатка отдающего на благо социалистической родины. Илья Яковлевич прежде служил военным политруком, но был уволен, когда Политбюро приказало министру обороны без лишнего шума очистить армию от евреев. Он, однако, продемонстрировал непотопляемость партийной номенклатуры и всплыл у нас на волне укрепления партийного влияния в промышленности. Илья Яковлевич, конечно, не верил ни одному слову зачитанных им опусов, ибо имел доступ к досье сотрудников в секретном отделе, где пользовался репутацией своего человека. Тем не менее для меня и, хотелось думать, для членов комиссии эти материалы давали позитивный старт всей процедуре.

Первым задал вопрос, конечно же, Игнатий Спиридонович, причем вопрос совершенно неожиданный: «Какое историческое событие отражает памятник у Финляндского вокзала?»

Здесь, вероятно, уместно пояснить, что Игнатий Спиридонович был весьма известным в высших кругах партийным начетчиком. Его популярность поддерживалась не только слухами о личном знакомстве с самим Лениным, но и вполне реальными познаниями в марксистско-ленинской теории – никто не помнил так много цитат из классиков марксизма-ленинизма, как он. Как ему удалось при подобной эрудиции выжить во времена сталинского террора – остается загадкой. Невероятная память на цитаты сделала Игнатия Спиридоновича чрезвычайно важной партийной фигурой в тот самый момент, когда по решению ЦК цитирование классиков дозволялось только с конкретной ссылкой на письменный первоисточник. Конечно, и раньше партийное начальство обращалось к нему за помощью в подборе подходящих к случаю цитат, но после указанного решения без Игнатия Спиридоновича просто жить стало невозможно. Рассказывали, например, о таком анекдотическом случае.

Как-то сам Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС и член Политбюро вознамерился произнести речь на каком-то комсомольском съезде. Гвоз-

дем речи была знаменитая ленинская фраза: «Учиться-ся, учиться и учиться...» Железный маршеобразный ритм этого высказывания вождя наряду с его полной бессмысленностью производил на молодых лентяев и неучей огромное воспитательное впечатление. Сам вождь якобы произнес эту бессмертную сентенцию на каком-то молодежном сборище еще в доисторические времена, но в соответствии с новыми веяниями надлежало дать точную ссылку на том и страницу его трудов, где высказывание было впервые опубликовано. Срочно найти первоисточник было поручено Игнатию Спиридоновичу. Он, как положено, провел скрупулезное исследование и доказал, что такой фразы в трудах Ленина нет... По отдельности слово «учиться» в трудах классика встречается, а три раза подряд никак нет, не обнаруживается. Замешательство и даже недовольство в высших сферах ничуть не сбило Игнатия Спиридоновича с праведного пути, а напротив, укрепило его начетнический авторитет, так что Ивану Николаевичу стоило больших трудов и, полагаю, немалых денег сделать Игнатия Спиридоновича внештатным членом нашего парткома.

Итак, вопрос о памятнике у Финляндского вокзала был Игнатием Спиридоновичем задан, и я, обрадованный его простотой, высокопарно ответил: «У Финляндского вокзала воздвигнут памятник Владимиру

Ильичу Ленину; в нем запечатлен момент возвращения вождя мирового пролетариата из ссылки». А затем, чтобы совсем добить членов комиссии своими познаниями в истории партии, неосмотрительно добавил: «Вернувшись из ссылки, Владимир Ильич взобрался на броневик и прочитал восторженной толпе балтийских матросов свои знаменитые Апрельские тезисы». Наступила грозная тишина... Игнатий Спиридонович скривился и сказал: «Во-первых, Владимир Ильич прибыл на Финляндский вокзал не из ссылки, а из заграницы, и, во-вторых, Апрельские тезисы как программный документ большевиков были впервые приняты на Седьмой Всероссийской конференции РСДРП(б) через три недели после его приезда». Я хотел было возразить в том смысле, что, мол, гениальный вождь уже всё наперед предвидел в момент залезания на броневик, но вспомнил просьбу Екатерины Васильевны не выпендриваться, не зарываться и промолчал.

Второй каверзный вопрос задал мне Борис Григорьевич – главный корпоративный антисемит, делавший служебную карьеру путем непримиримой борьбы с сионизмом. Блестящую совдеповскую идею – закамуфлировать свой пещерный антисемитизм высокоидейным антисионизмом – Борис Григорьевич практически внедрял во все сферы жизни нашего ПООПа.

Я был предметом его особой неприязни – мол, с евреями всё и так ясно, но главную опасность представляют подобные Уварову скрытые, славянских корней пособники сионистского влияния. Истинная подоплека этой неприязни, помимо банальной зависти – прибежища бездарности, была еще вот в чем: в отличие от евреев я мог себе позволить дать отпор завуалированному под идейность юдофобству.

– Как бы вы, Игорь Алексеевич, прокомментировали агрессивное нападение израильской военщины на арабских соседей во время войны Судного дня?

– Насколько я знаю из печати, Борис Григорьевич, Египет и Сирия первыми напали на Израиль. Поэтому обвинения в агрессивном нападении следовало бы адресовать другой стороне. Если у вас есть иная информация, не совпадающая с официальной, то было бы любопытно узнать, откуда вы ее получаете.

– Что оставалось делать арабам перед лицом готовившегося сионистами нападения – они вынуждены были превентивно атаковать.

– А что оставалось делать евреям перед лицом внезапного нападения арабов с двух сторон – они вынуждены были защищаться.

– Вы, Игорь Алексеевич, похоже, симпатизируете сионистам и ничуть не сочувствуете семьям советских специалистов и советников, пострадавших от рук из-

раильских вояк.

– Навешивание политических ярлыков показывает отсутствие у вас, Борис Григорьевич, каких-либо серьезных аргументов в поддержку вашего мнения. Кстати, советские специалисты не принимали участия в той войне – так говорят наши официальные источники. Откуда у вас противоположная информация?

Иван Николаевич вынужден был прервать эту дискуссию, которую партком в лице Бориса Григорьевича явно проигрывал. Мне показалось, что некоторые члены комиссии были рады этому – уж слишком нагло, расталкивая других достойных партийцев, лез наверх этот молодой из ранних выскочка-антисионист...

Обстановку разрядил мой приятель Артур из соседнего отдела. Как он попал в эту инквизиторскую компанию – ума не приложу. Артур был серьезным ученым в области системотехники, готовил докторскую диссертацию. Когда он не без смущения сообщил о своем решении вступить в партию, у меня на лице, естественно, нарисовались недоумение и осуждение. Артур тогда, помнится, превентивно оправдывался: «Игорь, пойми, если мы, порядочные люди, хотим добиться позитивных изменений в нашей стране, то должны быть среди тех, кто принимает решение – это же элементарный принцип системного подхода». Партия – нужно отдать ей должное – с радостью при-

няла молодого перспективного ученого в свои ряды. Теперь она, партия, судя по всему, старается повязать неофита со всеми своими функционерами одной грязной веревкой в точном соответствии с его системным подходом.

Артур Олегович резко свернул с опасной темы сионизма и задал вопрос, на который, по его представлениям, я без труда мог ответить: «Скажите, пожалуйста, Игорь Алексеевич, кто сейчас возглавляет МНРП – Монгольскую народно-революционную партию?» Этот вопрос ужаснул меня... По рекомендации Арона я вызубрил имена главных коммунистов только тех стран, мимо которых мы предположительно намеревались проплывать. Естественно, среди этих стран не было Монголии, не имеющей выхода к морю, но Артур полагал, что о Монголии я знаю достаточно много. Дело было вот в чем...

Однажды еще до вступления в партию Артур подарил мне на день рождения полугодовую подписку на газету «Социалистическое сельское хозяйство» на монгольском языке. Причиной такого странного подарка было замечательное монгольское название газеты, крупной кириллицей отпечатанное наверху ее первой страницы: «СОЦИАЛИСТЕ ХУДО АЖ АХУЙ». Приятное для русского уха и трогательное до слез звучание этого названия удачно сочеталось с убий-

ственно точной характеристикой не только монгольского сельского хозяйства, но и любого социализма в целом. Вследствие этого экземпляры еженедельной монгольской газеты расходились, как жареные пирожки, и очередь за ними, состоявшая из моих друзей, знакомых и даже малознакомых, не иссякала, хотя никто из них не читал по-монгольски. Артур, я верю, наивно полагал, что, получая еженедельно монгольскую газету в течение полугода, я поинтересуюсь, по крайней мере, именем Генерального секретаря МНРП. О, святая наивность...

В наступившей вязкой тишине я пытался вспомнить что-либо о Монголии кроме названия ее сельскохозяйственной газеты. Чингисхан, хан Батый – это всё из времен Великой монгольской империи и татаро-монгольского ига. Может быть, сорваться и ответить – Чингисхан, и пусть все они идут в задницу со своей МНРП. Почему я должен унижаться здесь, какое это всё имеет отношение к моей работе?.. Да, но кругосветное путешествие... Вот еще всплыло – столица Улан-Батор, и я наконец вспомнил: Сухэ-Батор. Кажется, Сухэ-Батор и основал эту МНРП, но он наверняка давно умер. Вдруг всплыло еще одно имя – Чойбалсан, диктатор и убийца сталинского разлива, если мне не изменяет память. Достойный продолжатель чингисхановских методов в XX веке, вполне под-

ходит на роль запрашиваемого лица...

Тишина становилась угрожающей, молчать больше было невозможно, и я выпалил: «Чойбалсан». Игнатий Спиридонович, скорбно вздохнув, сказал: «Товарищ Чойбалсан скончался в 1952 году». Я определенно поплыл... В голове вертелось – Чемберлен, Циммерман, Цедербаум, Чимбербал... От полного провала меня спасла Екатерина Васильевна. Она неожиданно начала раздавать всем листки с повесткой дня сегодняшнего заседания, и на подсунутом мне экземпляре внизу было от руки мелко приписано – Цеденбал. Славный Катеныш... Я выдержал паузу, наморщил лоб, изображая крайнюю степень умственного напряжения, и небрежно сказал: «Да, прошу прощения за оговорку. Это, конечно, товарищ Цеденбал».

«Думаю, вопросов больше нет, комиссия имеет достаточно материалов для принятия решения и может приступить к его обсуждению. Нет возражений? Вы свободны, Игорь Алексеевич», – завершил экзекуцию Иван Николаевич.

Катя потом рассказала о закрытой части моего процесса. Игнатий Спиридонович высказался в том смысле, что он, конечно, не в курсе деловой подоплеки командирования товарища Уварова за границу, но товарищ Уваров, к сожалению, имеет весьма поверхностную политическую подготовку, вследствие

чего он лично предпочитает воздержаться при голосовании по данной кандидатуре. Борис Григорьевич сказал, что он против «этой кандидатуры» и пояснил: «В условиях агрессивного сионистского заговора, поддерживаемого империалистами США, считаю недопустимым рекомендовать для командирования за границу человека с нетвердыми политическими убеждениями и склонного к преуменьшению сионистской опасности». Артур Олегович возразил, что не согласен с позицией уважаемых товарищей по рассматриваемому вопросу. Товарищ Уваров, по его словам, фактически правильно ответил на все вопросы, никто не сомневается в его научно-технической квалификации и способности выполнить на высоком уровне важное правительственное задание. «Мы совершим серьезную политическую ошибку, если отклоним кандидатуру товарища Уварова», — заключил он.

Дело решило выступление Ивана Николаевича. Он начал издавека, рассказал, какие серьезные задачи стоят перед отечественной оборонной промышленностью, а затем пояснил, насколько критично участие специалистов высшей квалификации в государственных испытаниях важнейшего нового изделия нашего предприятия. Секретарь парткома закончил свое выступление мощным аккордом:

«Мы должны иметь в виду, товарищи, что

речь идет не о туристической поездке нашего сотрудника за границу, а об ответственной работе стратегического значения, которая может быть выполнена только за рубежами нашей родины. В политических знаниях товарища Уварова, конечно, имеются огрехи, но подозревать русского человека пролетарского происхождения в симпатиях к сионизму, по-моему, уж извините, Борис Григорьевич, – есть полная чепуха. Что же касается квалификации товарища Уварова и его готовности к выполнению данной работы на требуемом заказчиком уровне, то по этому вопросу у всех членов комиссии мнение однозначное и весьма положительное. Поэтому я предлагаю утвердить кандидатуру И. А. Уварова для выполнения производственного задания за рубежом и направить в райком партии соответствующую рекомендацию за подписью треугольника предприятия. Кто за это предложение, прошу поднять руку... Кто против?... Кто воздержался?... Решение принято при одном против и одном воздержавшемся. Прошу вас, Илья Яковлевич, и вас, Артур Олегович, совместно подготовить текст рекомендации треугольника для комиссии райкома партии».

Отпущенный на свободу, я решил дожидаться Катю во что бы то ни стало. Отогнал машину за пару квар-

талов и почти час проторчал за углом, укрывшись в телефонной будке. Позвонил, конечно, Арону.

– Арон, привет! Меня отпустили, результат не знаю, подробности при встрече...

– Всё в порядке, Игорь, – и тебя, и меня утвердили, готовься к райкомовской комиссии. Между прочим, и у меня, и у тебя один голос против. Догадываешься, кто это?

– Ясное дело – наш профессиональный антисоциалист Б. Г.

– Почему он голосовал против меня, и ежу понятно... Но почему против тебя?

– Фактически по той же причине... Помнишь, у Евтушенко: «Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей...» Однако как ты узнал о результатах?

– Мне только что позвонил Иван.

– За что такая честь?

– Он очень доволен тем, как провернул дело, и, я думаю, связывает известные тебе последствия этого дела со своими личными далеко идущими планами. Если, конечно, мы с тобой не ударим в грязь лицом на морских просторах...

– Спасибо, Арон, за хорошую новость. Мы справимся, если не будут мешать. Пока... Я из автомата, перезвоню тебе позже... – заторопился я, увидев идущего

шую в моем направлении Катю.

Она ничуть не удивилась моему присутствию на ее пути в метро.

– Тебя утвердили, Чойбалсан, подробности потом, сейчас нет ни времени, ни настроения...

– Спасибо тебе! Поедем ко мне...

– Нет, не поедем... Я же сказала, что нет ни времени, ни настроения.

– Давай я хотя бы отвезу тебя домой.

– Пожалуй, устала я сегодня.

В машине я пытался обнять ее, но она не была склонна к нежностям.

– Что-то случилось, Катя?

– Ничего нового, просто тошно от всего.

– И от меня?

– Я не говорила про тебя.

– Что-то всё-таки случилось... Поделись со мной, не держи в себе.

– Почему мне надо делиться неприятностями с тобой?

– Потому что я люблю тебя.

– А как же Аделина?

– При чем здесь Аделина... Не хочешь рассказывать, не надо...

Я был удивлен и огорчен, мне казалось, что Катя уже давно не ревновала меня, ее замужество как бы

уравняло нас, но оказывается... Мы долго молчали, дорога была неблизкая – Катя жила в доме сталинских времен с замечательным видом на парк Победы, совсем недалеко от моего новостроя. Я помнил этот вид еще по старым добрым временам... Она первой прервала молчание.

– Устала я, Игорь, от домашних скандалов. Мама не любит Севу, он не любит маму... У мамы нервный характер без тормозов, а Сева не терпит, когда, как ему кажется, мама не считает его хозяином в доме.

– Я уже не раз говорил тебе, что вам с мамой нужно жить отдельно. Поменять квартиру и разъехаться нужно...

– Говорить легко... а вот жить без мамы при моей занятости трудно. Она ушла с работы, чтобы сидеть с Витюней, и весь дом на ней.

– Всё равно тебе нужно решать проблему – Сева и твоя мама не уживутся никогда. Если потребуется моя помощь, скажи...

– Ой, не смей меня, Чойбалсан! Решить проблему можно очень просто... Я развожусь с Севой и выхожу замуж за тебя. Возьмешь меня замуж? Вместе с мамой и сыном, с твоим, между прочим, сыном, – не забыл еще?

– Это запрещенный удар, Катя... Я ничего не забыл... Это ты кое-что забыла...

Мы опять надолго замолчали, и она снова первой прервала молчание.

— Извини, что вспомнила старое... Если говорить по делу, то даже мою отличную квартиру, но на пятом этаже без лифта, нелегко разменять на две хотя бы приличные.

— Неужели Ваня не может помочь по своим партийным каналам?

— Иван Николаевич занят сейчас своими проблемами, занят так плотно, что ни о чем больше и думать не желает. Если не считать, конечно, твоей Аделины...

— Что ты имеешь в виду?

— Как говорится, все в Одессе знают, а он единственный не знает... Клинья Иван к ней подбивает — вот что я имею в виду. Вызывал на днях к себе — якобы для производственной беседы...

Во мне нарастало чувство недовольства собой, какая-то тревога тягостная... Знаете, со всеми, наверное, бывает такое — когда в душе некий неприятный осадок от чего-то, а от чего — не очень понятно. Конечно, я вел себя на комиссии как последний оппортунист, приспособливался, беспринципно выкручивался... А что делать? Все мы участники этой лжи. Как те, кто не понимает этого, так и такие, как я, кто понимает, но терпит, не возражает и участвует во всей этой пакости. А может быть, здесь еще нахлобачился этот нелег-

кий разговор с Катей... Разговор с моим моральным поражением в финале. Так всегда у нас с ней бывает – физически по факту я всегда впереди, «со щитом», но морально она всегда выше, а я «на щите». И обманываться на этот счет бессмысленно. А еще тут – новость нелепая об Аделине. Ваня и Аделина – сплошной нонсенс... Хотя, казалось бы, какое мне дело?

Мы подъезжали по Московскому проспекту к парку Победы, я свернул в боковую тихую улицу и остановил машину. Катя сказала: «Пару минут посижу, дай сигарету...» Я дал ей закурить, закурил сам. Мне казалось, что Катя успокоилась, но напряжение этого дня и нашего разговора, вероятно, не могло разрядиться просто так само собой без взрыва. Она внезапно по-детски всхлипнула: «Не хочу идти домой...», а потом судорожно и жалобно разрыдалась, уткнувшись лицом в мое плечо...

Я молчал, у меня не было подходящих слов, любые слова были бы бессмысленны. Чтобы хоть что-то сказать, я повторил свое предложение: «Если хочешь, поедem ко мне...» Катя наконец справилась с собой, выпрямилась, приложила к лицу платок, потом сказала: «Нет, не хочу, ничего не хочу... Пойду домой, Вите надо помочь с уроками. Ты извини меня – сорвалась... Ты не виноват...» Она вышла из машины, пошла вперед, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед:

неужели Катя действительно думает, что я ни в чем не виноват? А кто же тогда виноват, если не я, – ведь только я мог бы изменить ее жизнь к лучшему. Мог бы... Успокоительная мысль вертелась в голове – в этой жизни виноватых нет, точка!

Той ночью я не мог уснуть – тягостный неприятный осадок от всего прошедшего дня не исчезал. Казалось бы – комиссию прошел успешно, всё идет по плану, а на душе гадостно. Полным идиотом выказал себя с этими чойбалсанами и цеденбалами. Нет бы сказать им:

«Да пошли вы... со своими монгольскими вождями и прочими первыми секретарями! Я что – партийное выходное пособие у вас выпрашиваю? Мне надо аппаратуру к испытаниям готовить. Вы за меня это сделаете или ваши вожди-секретари? Извольте – делайте! Если вы свою партию любите и о родине заботитесь, не мешайте работать, дайте аппаратуру испытать, ядерный щит родины обустроить... Суки партийные».

Последние два слова я уже даже не в мыслях, а где-то в подкорке запечатлел. А этому мудаку Б. Г. разве так надо было ответить? Надо было:

«Ты, Б. Г., черносотенец и зоологический антисемит, и нечего здесь прикидываться

идейным борцом с сионизмом. И твоя партия антисемитская – как гнобить евреев, так это борьба с буржуазным национализмом, а когда евреи разбежаться от вас стали, так это, видите ли, сионистский заговор. Обосрались со своими арабскими друзьями и в крик – израильская агрессия! Тьфу – какая ты, Б. Г., всё-таки мразь».

Так я той ночью остроумничал на лестнице, распалая самого себя, – сна не было ни в одном глазу. Попытался переключиться на Катю и Аделину, но тут мои позиции так скверны, что дальше некуда, и сна на этой ниве ждать не приходится... Ведь человек ответствен за каждое живое существо, которое приручил, которое заставил, принудил, вынудил полюбить себя, а мужчина – за женщину, которую влюбил в себя. У Кати жизнь сползает под откос не без моего участия... Как остановить это? Аделина беспечно ходит по краю обрыва... Как оградить ее от падения? У меня не было ответов на эти вопросы.

Выход вдруг представился мне очевидным... Это был эгоистичный и даже, если быть совсем уж откровенным, бесчестный вариант по отношению к тем, кто любит меня. Это было не решением проблем, а просто-напросто уходом от них, это было временным выпадением из реальности, это было подобно поведению страуса, зарывающего голову в песок, чтобы не

видеть опасности, это было уходом в страну неведения...

Кругосветное путешествие! Уйти на полгода в далекие моря, быть посреди безбрежного океана один на один со своей техникой и своей наукой, думать только об этом, выбросить из головы все эти парткомы вместе с остальным начальством, оторваться от забот, тревог и нравственных проблем своей беспорядочной городской жизни, смотреть во все глаза на проплывающие мимо города и страны, спать, в конце концов, спокойно и беспечно...

Кругосветное путешествие – вот мое спасение! С этой благостной мыслью я, кажется, и заснул...

Глава 6. Магелланов пролив

Теперь ни минуты промедления! Поднять якоря! Распустить паруса! Последний залп в честь короля, последняя молитва покровителю моряков. А затем – отважно вперед, в лабиринт! Если из этих вод он найдет выход в другое море – он будет первым, кто нашел путь вокруг Земли! И со всеми четырьмя кораблями Магеллан храбро устремляется в этот пролив, в честь праздника, совпавшего с днем его открытия, названный им проливом Всех Святых. Но грядущие поколения благодарно переименуют его в Магелланов пролив.

Странное, фантастическое это, верно, было зрелище, когда четыре корабля впервые в истории человечества медленно и бесшумно вошли в безмолвный, мрачный пролив, куда испокон веков не проникал человек... Вдали сверкают покрытые снегом вершины, ветер доносит их ледяное дыхание. Ни одного живого существа вокруг, и всё же где-то здесь должны быть люди, ибо в ночном мраке полыхают огни, почему Магеллан и назвал этот край Огненной землей... Недоуменно вслушиваются матросы в эту зловещую тишину. Они словно попали на другую планету, вымершую, выжженную. Только бы

вперед! Скорее вперед!.. Всё дальше и дальше плывут они в тьме киммерийской ночи, напутствуемые непонятным и диким напевом ледяных ветров, завывающих в горах.

Но не только мрачно это плавание – оно и опасно. Открывшийся им путь нисколько не похож на... воображаемый, прямой, как стрела, пролив... В действительности это запутаннейшее, беспорядочное сплетение излучин и поворотов, бухт, глубоких выемок, фьордов, песчаных банок, отмелей, перекрещивающихся протоков, и только при условии чрезвычайного умения и величайшей удачи суда могут благополучно пройти через этот лабиринт...

Магелланов пролив в продолжение столетий внушал морякам ужас... И то, что Магеллан, первым одолевший этот опасный морской путь, на долгие годы оставался и последним, кому удалось пройти его, не потеряв ни одного из своих кораблей, убедительнее всего доказывает, какого мастерства он достиг в искусстве кораблевождения... Наряду с его гениальной фантазией здесь торжествует победу трезвейшее и наиболее характерное из его качеств – героическое упорство...

Они, наконец, нашли выход из (пролива) ... «Море! Море!» – древний клич восторга... Победоносно возносится он ввысь... Этот краткий миг – великая минута в жизни

Магеллана, минута подлинного, высшего восторга, только однажды даруемая человеку. Всё сбылось... Он, он первый и единственный осуществил то, о чем мечтали тысячи людей: он нашел путь в другое, неведомое море. Это мгновение оправдывает всю его жизнь и дарует ему бессмертие.

И тут происходит то, чего никто не осмелился бы предположить в этом мрачном, замкнутом в себе человеке... Его глаза туманятся и слезы, горячие, жгучие слезы катятся на темную, всклокоченную бороду. Первый и единственный раз в жизни этот железный человек – Магеллан – плачет от радости.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

Валерий Гуревич показал разработанную им математическую модель радиоканала, на основе которой он собирался рассчитать характеристики «Тритона» и оценить тот выигрыш, который даст предложенный мной декодер. Прогноз Арона, сделанный им в кабинете адмирала относительно Гуревича, похоже, оправдался на сто процентов. Его кандидатская диссертация оказалась настоящим прорывом в ма-

тематической теории обработки сигналов. Благодаря монографии Арона, в которую были включены эти прорывные идеи, результаты Валерия стали общедоступным методом расчета. Арону, между прочим, пришлось преодолеть очень сильное сопротивление особистов, чтобы доказать чисто научный, несекретный характер этих результатов, хотя они были описаны в диссертации с грифом «Совершенно секретно».

— Твоя модель, Валера, выглядит вполне адекватной реальным условиям. Но насколько она конструктивна? Я имею в виду возможность получения на ее основе конкретных результатов. Не грубых оценок, которые мы и так знаем, а достаточно точных данных.

— Результаты будут настолько точными, насколько наша математическая модель соответствует физическим условиям работы системы.

— Но здесь я вижу у тебя неподъемный матаппарат... Вероятность ошибки, если я не заблуждаюсь, выражается через неберущиеся интегралы. Как ты...

— За интегралы, Игорь, не беспокойся, всё раскроем и вычислим. Имеются хорошие аппроксимации и численные таблицы необходимых функций.

— Как много времени это займет? Хотелось бы к испытаниям иметь хотя бы предварительные оценки.

— Когда вы уезжаете?

— Арон Моисеевич считает, что испытания будут за-

держаны по не зависящим от нас причинам. Так что у тебя есть еще, по крайней мере, пара месяцев.

– Сделаю это раньше...

– Тебе, Валера, видимо, придется подождать с представлением докторской до окончания испытаний. Иначе скажут, что нет внедрения в промышленную разработку, – ты же всё понимаешь...

Валерий неопределенно пожал плечами. Мол, конечно, понимаю – против лома нет приема. Он был немногословен и замкнут, работал в одиночку и даже, казалось, тяготился необходимостью общения с окружающими. У меня с ним сложились вполне нормальные деловые отношения, но к дружескому сближению он явно не стремился. У него, казалось, вообще не было друзей в нашей конторе, и о нем мало что было известно – он как бы выпадал из сферы банальных сплетен и обсуждений. Тем более был удивлен я, когда увидел Валерия мило болтающим с Аделиной – так ведут себя только хорошо знакомые люди. Полубопытствовал, что общего у нее с Валерием. Аделина ответила с загадочной улыбкой: «Хороший человек, умница...» И больше ничего – дескать, придет время, расскажу...

Время пришло, когда Аделина пригласила меня на вечеринку в свою «богемную» компанию. Я, признаться, испытывал некий дискомфорт: по рассказам Аде-

лины, у нее собирались люди, которые и по профессиональной принадлежности, и по образу жизни были далеки мне, — люди, как говорили, свободных профессий или вообще без определенных занятий, но всегда с претензиями на интеллектуальную значительность... Как человека, склонного к анархии и неопределенности в отношениях, подобная компания, конечно, привлекала меня, — но не буду ли я там чужеродным элементом? Ведь я рос в очень простой рабочей семье и до знакомства со своими университетскими учителями, а потом с семьей Арона, в общем-то никогда близко не общался с теми, кого у нас называют интеллектуалами.

Мой отец был ровесником Великой Октябрьской социалистической революции в точном измерении — он родился 7 ноября 1917 года. Многие считали это особым знаком и даже предметом гордости. Отец так не считал — он был очень простым человеком, но никогда не был дураком. Во времена антибольшевистского крестьянского бунта на тамбовщине мой дед, бывший по терминологии тех времен кулаком, отправил сына от греха подальше в Питер к бездетной тетке — она и вырастила мальчика. Отец учился в ленинградской школе, а после седьмого класса пошел работать на завод. Доучивался по вечерам на рабфаке, потом поступил в педагогический институт, но тут

случилось несчастье... Шел 1939 год... Отец неосторожно высказался в студенческой компании – мол, напрасно расстреляли командиров Красной Армии, их лучше было бы использовать для подготовки к надвигающейся войне с фашизмом. «Товарищи», конечно, немедленно донесли кому надо, а там не поленились вытащить из старого сундука историю его «кулацкого происхождения». Короче говоря, отца исключили из института, но почему-то не посадили, – видимо, не успели, поскольку началась война с Финляндией и «пушечное мясо» оказалось нужнее «рабов на галерах». Он был мобилизован и отправлен рядовым бойцом на фронт. В страшной мясорубке при прорыве линии Маннергейма на Карельском перешейке рядовой Алексей Уваров получил свое первое ранение – осколок в легкое, но выжил и даже выздоровел. Демобилизовавшись, он женился на моей маме – работнице завода «Светлана». Их счастливая семейная жизнь длилась ровно полгода. Пришла предсказанная папой война с фашизмом – он был мобилизован снова и отправлен на Лужский рубеж под Ленинградом, куда стремительно приближались немецкие танковые дивизии. Мама эвакуировалась вместе с заводом в Новосибирск. Война разлучила родителей на четыре долгих года. В истребительных боях на Лужском рубеже сержант Алексей Уваров был контужен и получил

второе ранение в грудь, но снова выжил и снова оклема-
лся. В блокадном Ленинграде он воевал в окопах у
Пулковских высот, а в 1944-м после окончания артил-
лерийских курсов был отправлен командиром мино-
метной батареи на Карельский перешеек, чтобы вто-
рой раз пройти путь от Сестрорецка до Выборга. Под
Выборгом лейтенант Алексей Уваров получил третье
ранение, опять в грудь, но не смертельное. К тому
времени мама вернулась из эвакуации и забрала папу
из госпиталя – началась их мирная жизнь в разрушен-
ном войной Ленинграде, и первым результатом этого
стало появление на свет вашего покорного слуги.

Дом, в котором родители жили до войны, был
полностью уничтожен прямым попаданием фашист-
ской бомбы, но папа, как участник и инвалид двух
войн, получил комнату площадью 20 квадратных мет-
ров в коммуналке в старом, обветшавшем от войны,
невзгод и бесхозности доме на улице, называвшейся
Социалистической. Название это в контексте всей си-
туации, конечно, напрашивалось на памфлет, но жи-
вые памфлетисты в те времена «отдыхали» на све-
жем воздухе архангельского лесоповала и колымских
рудников...

Впрочем, человеку, не жившему при развитом соци-
ализме, слово «коммуналка», наверное, ничего не го-
ворит. В толковом словаре русского языка есть очень

деликатное определение «коммунальной квартиры» как одного из бытовых атрибутов городского хозяйства. Ой, лукавят наши «энциклопедисты», сводя это крупнейшее изобретение советской власти к мелко-му бытовому явлению. Поэтому разъясняю тем, кто в неведении: коммуналкой называлась квартира, в которой жили несколько семей, как правило, по комнате на семью, при одном общем кране с холодной водой, одном общем унитазе со сливом и одной общей кухне со столами по числу семей в подобной «коммуне» — отсюда прилагательное «коммунальная» в названии. Коммуналки позволяли решить две важнейшие задачи власти: первая задача — расселить огромное количество трудящихся в старых домах, не отвлекаясь без особой надобности на жилищное строительство для этих самых трудящихся; вторая задача — не оставлять трудящихся без присмотра нигде — ни на работе, ни в общественном транспорте, ни по месту проживания, ни на кухне, ни в сортире... Советская коммунальная квартира — беспрецедентное явление в мировом масштабе, и напрасно ученые филологи умаляют ее значение в построении социалистического общества и возвращении «новой общности советских людей». Бедные кварталы и даже трущобы есть во всех уголках мира, коммуналки — эксклюзивное достижение советской власти.

В коммуналке на улице Социалистической прошли мои детство, отрочество и юность. В квартире было шесть комнат вдоль длинного коридора с уборной и кухней в торце. В ней жили шесть семей – от двух до пяти человек в каждой. Нашими ближайшими соседями была бездетная еврейская семья инженера-механика Савелия Еремеевича, а через комнату жила бойкая молодая продавщица овощного магазина Люся с маленькой дочкой. Упоминаю эти два имени, потому что их обладатели сыграли определенную роль в моей жизни. Савелий Еремеевич опекал меня, как сына, интересовался моими успехами в школе, помогал решать задачи по физике и математике и, в конце концов, привил мне интерес к технике. Рыжеволосая, белотелая Люся наставляла меня совсем в другой сфере... Благодаря Савелию Еремеевичу и Люсе я окончил среднюю школу не только с хорошим аттестатом, но и с отличными познаниями в «науке страсти нежной». Так что в интересах объективности следует признать, что жизнь в коммуналках имела и свои определенные достоинства... Конечно, проникать к Люсе, а затем, крадучись, извлекаться из ее комнаты таким образом, чтобы ни родители, ни две дюжины соседей этого не заметили, было непростой задачей, но... «учиться, учиться и учиться», как завещал нам один из основоположников.

Из раннего детства я хорошо запомнил один весенний день в марте 1953-го. В школе объявили о смерти Великого Вождя. Учителя плакали, потому что умерший Вождь был их Учителем – так я это тогда понял. Но весь ужас случившегося я осознал, когда увидел своих родителей, которых в тот день отпустили с работы пораньше. Они сидели за столом напротив друг друга в истерическом состоянии – мама рыдала, и слезы текли по ее щекам, а папа дико хохотал, и его глаза тоже были влажными от безудержного смеха, который он не мог остановить. Я бросился к маме, и она, прижав мою голову к груди, всхлипывая, сказала: «Сынок, родной... это конец...» – и больше ничего не могла сказать. Затем я пошел к папе, и он тоже прижал меня к себе и сквозь клопочущий смех сказал: «Да, сын... это... слава богу... конец». Потом пришел Савелий Еремеевич. Папа, перестав смеяться, обнял его, они пожимали руки, хлопали друг друга по плечам и что-то говорили быстро и тихо. Я расслышал только, как папа сказал: «Ну, теперь ваших отпустят – я уверен в этом». Потом пришла Сара Павловна – жена Савелия Еремеевича. Они с мамой продолжили плакать вместе, и я не знал, это слезы горя или радости, а может быть, и того и другого...

Много позже мама рассказала мне, что в том году еще зимой Сару Павловну уволили из больницы, где

она работала кардиологом. Один из ее пациентов – генерал в отставке – написал письмо Сталину, в котором жаловался, что «евреи специально неправильно лечат его, чтобы лишить Великого Вождя самого преданного ему солдата». В доносе упоминались Сара Павловна и еще несколько врачей-евреев. Донос генерала переслали из Обкома партии Главврачу больницы, видимо, с соответствующими инструкциями, и он объявил Саре Павловне, что она уволена по сокращению штатов – компетентные органы превентивно зачищали организации от евреев, чтобы облегчить их депортацию в «отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока», запланированную Великим Вождем. Потом, уже после смерти изверга и реабилитации «убийц в белых халатах», она устроилась на работу в другую больницу – врачей тогда остро не хватало.

От Сары Павловны и, конечно, от мамы я перенял любовь к чтению. Сара Павловна давала мне читать русскую и мировую классику из их домашней библиотеки. Мама сама собирала книги, а еще – приносила из заводской библиотеки толстые журналы, где иногда печатали зарубежных писателей. А от папы я унаследовал отвращение к сталинщине, насильно заставившей его поколение быть палачами и мучениками, и к революции, возродившей в нашем народе идоло-

поклонство. Отец мечтал пережить ее – я имею в виду Октябрьскую революцию, но у него не получилось... Он до конца своей нелегкой жизни работал техником на электростанции и скончался в 50 лет, в самый раз в дни празднования 50-летия своей ровесницы. Под звуки праздничного салюта отец лежал на грязноватой железной койке в обшарпанном коридоре больницы имени Куйбышева в самом центре города и умирал от сердечно-легочной недостаточности – видимо, сказывались последствия ранений и тяжелой окопной жизни. Никто не мог ему помочь... Я только что окончил институт, мне казалось, что я всё могу, и невозможность спасти отца или хотя бы облегчить его агонию потрясла меня. Мама пережила папу на пять лет – она скончалась, как объясняли врачи, от неоперабельного рака груди. Теперь они вместе на Охтинском кладбище...

Этот длинный экскурс в жизнь моей семьи, наверное, объясняет то настроение, с которым я шел на первую встречу с компанией Аделины. Вплоть до студенческих лет моим едва ли не единственным наставником помимо родителей был сосед Савелий Еремеевич. Потом появились институтские профессора – от некоторых из них я узнал о существовании более высокого уровня в интеллектуальной сфере. Затем, конечно, дом Арона и Наташи, и вот, наконец, я иду к

Аделине в ожидании нового прорыва.

Дверь мне открыл... Валерий Гуревич. Я был слегка шокирован не только этим обстоятельством, но и его необычным нарядом, совершенно не подходившим к сложившемуся у меня образу этого человека – Валерий был в стильном однобортном костюме и белоснежной сорочке с пестрой бабочкой. Он явно был отряжен Аделиной опекать меня – помог мне найти место для пальто и любезно под локоток повел из прихожей в комнату: «Прелестно, Игорь, прелестно... Ты проходи, не тушуйся... Здесь нужно быть не объектом, а субъектом... Они здесь, на самом деле, имитируют обстановку Башни Вячеслава Иванова, в советском варианте, конечно, но с претензией на достоверность. Ты, как человек дела, без труда сумеешь вписаться...» Я был удивлен – вот, оказывается, какой он, наш неприметный математик. На пороге комнаты Валерий познакомил меня со своей женой Бэллой – интересной, крупной брюнеткой с явными лидерскими замашками. Как оказалось, она работала юристом в известной адвокатской конторе, о которой я был слышан от Аделины. Я еще раз подивился многогранности нашего математика – ай да Гуревич, ай да сукин сын.

Тем временем появилась Аделина, подставила щеку для поцелуя и принялась представлять меня пуб-

лике как своего друга, «известного ученого в области кибернетики». Я не знал, следует ли мне скрывать, что я бывал в этом доме уже не раз в совсем другой роли, но Аделина рассеяла мои сомнения, приказав во всеуслышание открыть бутылку коньяка, которая, мол, сам знаешь, где припрятана. Мне показалось, что она не намерена скрывать наши отношения... «Ну а все персональные знакомства у нас здесь, Игорь, в стихийном порядке», – закончила Аделина и упорхнула на кухню.

Я огляделся... В комнате в художественном беспорядке располагались гости; одни сидели на диване, другие стояли вокруг стола и у окна – все с рюмками или бокалами в руках. На столе были выставлены только напитки: водка и дешевые грузинские вина – белое «Цинандали» и красное «Мукузани». Я достал из буфета свою собственную бутылку трехзвездочного армянского коньяка и присоединил ее к настольной алкогольной коллекции. «Если хотите закусить, придется сходить на кухню», – пояснила Бэлла. Она подвела меня к невысокому, явно склонному к полноте мужчине лет пятидесяти, со странным зачесом сильно поредевших волос – они у него были собраны в довольно узкий пучок, идущий через всю голову от темени до затылка, и в два отдельных пышных пучка над висками и ушам. Всё это обрамляло довольно прият-

ное лицо с вечно смеющимися глазами. «Вот, извольте любить и жаловать, Иосиф Михайлович, это Игорь – физик, работает вместе с Валерием», – представила меня Бэлла. Я понял, что это тот самый адвокат, который, по словам Аделины, устроил ее на работу в наш ПООП. Бэлла не оставила в этом сомнений: «Иосиф Михайлович – мой шеф, но, даже если бы он и не был им, я всё равно сказала бы то, что знают все, – он великий адвокат». Иосиф Михайлович отрицательно покачал головой и ответил:

– Бэллочка, избегайте применять все слова «великий», «гениальный» и подобные им, не забывайте, что сказано в одной старинной книге: «Не сотвори себе кумира».

– Вы считаете столь важной в наше время вторую из десяти библейских заповедей? – вступил я в разговор.

– Я считаю ее не просто важной, но важнейшей... В ней, если хотите, вся квинтэссенция монотеизма, его первоизданная мощь. По сути, все беды человеческие от игнорирования этой мудрости древних. Кстати, приятно узнать, что представителям точных наук не чужда библейская премудрость.

– Эти науки потому и точные, что ищут ясных формулировок... «Не сотвори себе кумира» – почти математическая формула наподобие эйнштейновской $E =$

мс²... Любопытно, что я тоже с определенного времени считаю эту библейскую формулу неоправданно забытой – мы ведь с вами, Иосиф Михайлович, не сговаривались...

– Да, не сговаривались... Это дает нашему знакомству определенный позитивный поворот... Данная «математическая формула», как вы, Игорь Алексеевич, заметили, не просто «неоправданно забыта», а, напротив, оправданно, преднамеренно изъята из нашей жизни. Эта формула мешает вождям навязывать свой культ, который, заметьте, тем выше и, так сказать, свирепее, чем ниже уровень религиозного сознания у народа.

– Кто-то из русских религиозных философов говорил, что православный обыватель, истово отмолившись в храме, тотчас забывает всё это, выйдя из него, ибо полагает, что религиозные истины не имеют никакого значения в его реальной жизни.

– Нечто подобное говорил Лев Толстой... Он принял последнюю попытку восстановить связь религиозного сознания с реальной общественной жизнью, но потерпел фиаско, за что наш главный кумир назвал его «зеркалом русской революции».

– Не испить ли нам, Иосиф Михайлович, по этому случаю коньяка?

– С удовольствием! – мы чокнулись и пригубили ко-

нячные бокалы.

– Вы, Иосиф Михайлович, как мне показалось, симпатизируете толстовству?

– Не толстовству, а Льву Николаевичу. Немногие понимают, какую благородную, гигантскую попытку преобразования православия предпринял этот писатель-мыслитель. Его замысел равноценен по масштабу протестантской реформации Мартина Лютера. Но... не получилось, как у Лютера... А знаете, почему не получилось? Из-за того самого толстовства. Как и в древние времена, не готов был народ христианский всерьез принять концепцию «непротивления злу насилием». Так, знаете, для красного словца, в идеале, в мечтах несбыточных провозглашали «не противься злему» и «люби врагов своих», а когда приходили зло необратимое и враг всамделишный, то обращались к другому, ветхозаветному – «Око за око, зуб за зуб». Любопытно: как бы сложилась российская история, если бы у Толстого получилась реформация? Если бы удалось превозмочь слияние православия с самодержавием, гибельное для того и другого и столь ненавидимое писателем... Трудно предсказать, но, вероятно, до революции бы не дошло... и не стал бы Лев Николаевич ее зеркалом.

Нас окружили несколько человек, чтобы послушать короткую, но необычную лекцию Иосифа Михайлови-

ча – было видно, как высок здесь его авторитет.

«Это что же получается, уважаемый Иосиф Михайлович... По-вашему, если бы толстовская затея оказалась успешной, то пролетарская революция отнюдь не состоялась бы, а, напротив, царь и попы сохранили бы власть над народом? Такую кошмарную картину вы одобрительно рисуете?»

Фразу выпалил высокого роста субъект с длинным, неестественно сужающимся к низу лицом, которого мне представили как доцента кафедры истории КПСС по имени Гена – фамилии здесь не назывались. Доцент уже сильно надрался и держался на ногах в основном за счет своей приятельницы – яркой жизнерадостной блондинки, тоже сильно пьяной. Подвигами алкоголиков меня не удивишь, но такого я еще не видел – доцент на глазах у всех выпил почти полный стакан водки, а теперь демонстративно запивал его красным «Мукузани», налитым до краев в тот же стакан. Я шепнул Иосифу Михайловичу: «Это добром не кончится...» Он молча отошел в сторону, не ответив доценту Гене... Я последовал за ним, он тихо сказал:

«Я несколько раз убеждал Адочку не принимать этого типа, он же, как пить дать, всех заложит. Но у нее какие-то старые, еще со школы, сентиментальные чувства к его подруге

– „белокурой бестии“. Мой вам совет, Игорь Алексеевич: избегайте этой компании, если дорожите своей научной карьерой. Говорю так потому, что прекрасно знаю и чем вы занимаетесь в вашем ящике, и ваши перспективы, равно как и то, чем всё это может обернуться...»

Я тогда, помнится, поблагодарил Иосифа Михайловича за совет, но возразил, что не хотел бы отказываться от этого крошечного островка свободы в своей ограниченной всевозможными запретами жизни. Что, мол, ОНИ ТАМ могут сделать со мной за такой «островок»? Выслушав столь пафосные аргументы, он неодобрительно поморщился, а затем прочитал мне небольшую лекцию на тему свободы, которая «при социализме, как известно, есть не что иное, как осознанная необходимость, причем оба слова этого определения являются ключевыми». Иосиф Михайлович далее объяснил, что ОНИ ТАМ могут сделать со мной что угодно... «Уж поверьте моему опыту, – говорил он. – Я защищал нескольких диссидентов немалого калибра. Знаю всю эту кухню, поэтому и предостерегаю вас – предостерегаю, обратите внимание, потому что вы мне симпатичны».

Наш разговор прервался вследствие шумного скандала – Гену совсем развезло, он бестолково выкрикивал отдельные слова, среди которых, впрочем, мож-

но было уловить отдельные связные мысли... «Почему он не хочет со мной разговаривать?.. Евреи бегут с тонущего корабля...» Я сказал Иосифу Михайловичу: «Хотите, я набью ему морду прямо сейчас?» Он ответил: «Ни в коем случае... Ада со всем этим дерьмом разберется сама». Аделина действительно появилась на подмостках, быстро затолкала доцента в угол просторного дивана, усадила рядом его подругу и сказала: «Люсечка, приласкай Геночку... Мы еще ничего не начали, а он уже...» Геночка на мягком диване притих и даже, кажется, задремал. К нам с Иосифом Михайловичем подошел Валерий: «Извини, Игорь, за, так сказать, не предусмотренный программой инцидент – это Башня Вячеслава Иванова второй половины XX века». Валерий держал в руках гитару, что еще раз повергло меня в изумление, усиленное объявлением Аделины: «Друзья, оторвитесь от выпивки, сконцентрируйтесь... Послушайте новую песню в исполнении нашего барда Валерия». Валерий сказал: «Насчет барда – это сильное преувеличение... Но я действительно хочу представить вам песню, которую недавно сам услышал. Ее автор или авторы мне неизвестны, но они, я слышал, из компании мастерской художника Бориса Аксельрода. Знаете, из той, что на Фонтанке...» Валерий негромко пел под мягкие гитарные звуки:

Под небом голубым есть город золотой,
С прозрачными воротами и яркою звездой.
А в городе том сад, всё травы да цветы,
Гуляют там животные невиданной красоты...

Мелодия была удивительно простой и красивой, а слова – влекущими в какой-то непонятный, но яркий и добрый мир, в котором и «огнегривый лев», и «вол, исполненный очей», и «золотой орел небесный»...

А в небе голубом горит одна звезда.
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят,
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.

Подумалось: чем этот полуабстрактный текст и мягкая мелодия так привлекают и захватывают? Может быть, своим контрастом с привычным советским любовным песнопением – ясным, бодрым, оптимистичным... Все, кроме Гены, хлопали, а Люся неожиданно попросила Валерия спеть «про Ерусалим» – так она сказала. Я похолодел: Валерия провоцируют на акцию, которую можно впоследствии назвать сионистской. Он, однако, ничуть не смутился и сказал: «А эта песня, по моему представлению, тоже про Иерусалим, но если компания желает...» Компания, види-

мо, желала, Валерий поправил струны...

Дивная мелодия песни была раздумчивой и слегка печальной, как и ее слова о нелегкой судьбе Вечно-го города, а припев выделялся неожиданной энергетикой:

Иерусалим мой золотой,
Из меди, камня и лучей.
Я буду арфой всех напевов
Красы твоей...

Меня песня очаровала, я поймал себя на том, что хочу слушать эту удивительную звукопись еще и еще... Валерию снова хлопали, было видно, что он исполнял песню про Иерусалим не первый раз. «Кто сочинил это?» – спросил я у него. Валерий ответил пространно: «Авторство принадлежит израильской поэтессе, ее зовут Наоми, а может быть, Нозми... А кто сделал перевод на русский, не знаю. Нозми сочинила эту песню за пару недель до Шестидневной войны, и израильские десантники пели ее у Стены плача, когда захватили Храмовую гору в Иерусалиме. Вот такая история...»

Пришел еще один гость – высокий широкоплечий мужчина с крупным, грубовато вырубленным лицом. Он обвел всех глазами, сделал общий приветственный кивок и весело сказал: «Представляете, доехал

на частнике бесплатно... У него за стеклом портрет Сталина. Спрашиваю – у тебя в семье усатый никого не убил? А он взглянул на меня с презрительной ухмылкой и ответил, что, мол, если бы я не был таким большим, то он меня выбросил бы из машины. Я не остался в долгу и объяснил, что могу набить ему морду прямо в машине, а могу на улице – мол, выбирай сам. Короче – поговорили на политические темы... В результате этот тип довез меня до дома и отказался брать деньги от „масона“, как он сказал. Я, конечно, послал его... Потом объяснил, что и не собирался платить, но бить не стал». Рассказ вызвал бурную дискуссию.

– Сталинист, наверное, из бывших вохровцев на пенсии или из сталинских прокуроров, – предположил Валерий.

– Нет, он при Сталине, наверное, еще под стол пешком ходил. Из молодых да ранний – уже готов, как у нас говорят, выполнить любое задание партии. Любое, заметьте!

– Откуда эта зараза выползает? Молодец, Сережа, что не заплатил уроду моральному, но напрасно не побил... Учить их надо, – сказала Аделина.

– Их невозможно научить, это в генах – царь, вождь, барин должен быть суровым, грозным, беспощадным, иначе это не царь, а тряпка, о которую можно ноги

вытереть. Такое понимание достигнуто тысячелетием порки на конюшне, на лесоповале, в рудниках, на нарах в бараке и прочих подходящих местах... – возразил я.

Сергей посмотрел на меня иронично, подошел, подал руку: «Рад познакомиться с... единомышленником». Он сжал мою руку крепче, чем требовалось, – словно проверял, достоин ли я быть его... этим самым «единомышленником». Аделина стояла рядом: «Познакомься, Игорь, это Сережа – будущая звезда русской поэзии». Сережа не согласился: «Звезда не может быть будущей... Либо да, либо нет...» Я подержал его: «Да, талант либо есть, либо его нет и... не будет». Иосиф Михайлович заметил горестно: «Молодые люди еще не знают – чтобы стать звездой, одного таланта недостаточно». Аделина буркнула недовольно: «Анна Андреевна верила в него – я свидетель... Надо самому верить в свою звезду...» Я наконец понял, что Сережа – тот поэт, о котором Аделина вскользь упоминала как о своем бывшем возлюбленном. Понял и по возбуждению Аделины, и по интересу Сергея к моей незаметной персоне. Он определенно был в ее вкусе – большой, эпатажный, с претензиями на исключительность, по-видимому, небезосновательными... «Почему он бросил ее? – размышлял я. – Наверное, именно из-за сходства характеров. Два

однополярных элемента отталкиваются друг от друга...» Аделина предложила: «Давайте попросим Сергея почитать свои стихи». Сергей молча налил полстакана водки, выпил, пожевал хлебную корку... Все ждали его реакции, наконец он проговорил: «Не хочется свои сегодня читать... Если не против, я, пожалуй, прочитаю неопубликованное, не свое, но прямо про того молодого поклонника Отца и Учителя, про того, которому я напрасно, с точки зрения Аделины, не набил сегодня морду». Сергей достал из кармана листок бумаги, развернул его и прочитал нараспев, как это делают поэты по призванию:

Он стоит перед Кремлем.

А потом, вздохнув глубоко, шепчет он Отцу и Богу:
«Прикажи... И мы умрем!»

Бдительный, полуголодный, молодой, знакомый
мне, —

он живет в стране свободной, самой радостной
стране!

Любит детство вспоминать.

Каждый день ему – награда.

Знает то, что надо знать.

Ровно столько, сколько надо.

С ходу он вступает в спор, как-то сразу сатанея.

Даже собственным сомненьям он готов давать
отпор.

Жить он хочет не напрасно, он поклялся жить в

борьбе.

Всё ему предельно ясно в этом мире и в себе.

Проклял он врагов народа.

Верит, что вокруг друзья.

Счастлив!.. А ведь это я —

пятьдесят второго года.

Иосиф Михайлович эмоционально резюмировал:

«Восхитительно! Это про молодого человека 52-го года... Жившего еще при Сталине... Прошло больше двух десятилетий, серийного убийцу давно разоблачили и проклинали. Тот человек, повзрослев, понял ошибку своей молодости, а условный, по возрасту, сын того человека выставляет портрет убийцы на стекле своего автомобиля... Восхитительно! Видимо, Игорь прав – патологическое почитание тирана передается по наследству. Кто написал эти замечательные строки?»

Сережа рассказал, что стихотворение приписывают Роберту Рождественскому, но без подробностей... И добавил: «В любом случае – смелое и благородное признание». Помолчали... Аделина сказала: «Блестяще передано мироощущение полуголодного раба – „он живет в стране свободной, самой радостной стране!“ Это о стране 52-го года, замершей от ужаса перед очередной волной террора».

Вдруг зашевелился спавший на диване пьяный Геннадий, он пробормотал: «Отца и Бога», а потом раскрыл полностью глаза и сказал довольно ясно и твердо: «А я в бога не верю». Аделина возразила: «Веря или неверие – интимные чувства. Ты бы, Геночка, попридержал свое неверие при себе, без публичной огласки». Гена рыгнул и сказал: «А я всё равно не верю». Иосиф Михайлович, обычно сдержанно-рассудительный, полемист отменный, словно взвился: «Атеисты – удивительно бесцеремонные люди. Им ничего не стоит произнести в компании умозаключения относительно Бога – возможно, оскорбительные для других. Причем умозаключения эти основаны исключительно на невежестве, а точнее говоря, на непонимании предмета спора».

– Вот вы, молодой человек, Библию читали? – обратился он к Геннадию.

– Это еще зачем? – окончательно проснулся Гена.

– А какой предмет вы, простите, преподаете в вузе?

– Историю партии... Ну и что?

– Партия, историю которой вы, простите, преподаете, всегда считала и считает борьбу с религией и с верой в Бога своей важнейшей задачей. И вы, простите, рассказываете студентам об этой жестокой борьбе, не прочитав Библию, то есть не зная предмета критики?

– Предмет я знаю, а лженауку читать не обязан.

– Невежество, молодой человек, не следует предъявлять в качестве доказательства вашей правоты: чтобы критиковать лженауку, нужно, по крайней мере, знать что-то об этой лженауке. В истории, которую вы, простите, преподаете, лженаукой обзывались и кибернетика, и генетика. Не так ли и с религией, о которой вы, по вашим собственным словам, ничего знать не желаете?

– Религия – опиум для народа. Это еще Маркс доказал... А я наркотики не употребляю и в бога не верю.

– Это я заметил – вы предпочитаете запивать водку красным вином... А относительно Бога скажу вам словами одного известного раввина: «В бога, в которого вы не верите, я тоже не верю!» От себя добавлю: нелепо было бы верить в карикатурного бога, созданного плоским воображением материалистов и преподнесенного населению в глупых агитках эпигонов марксизма типа Емельяна Ярославского. Эти агитки вы, позволю себе предположить, и пересказываете своим студентам...

Гена собрался было дать резкую отповедь Иосифу Михайловичу с позиций марксизма-ленинизма, но молчаливо сидевшая рядом Люся вдруг прервала его: «Ты не волнуйся, Геночка, помолчи... Все знают, что тебя интересует очередной съезд партии, а не ка-

кие-то там эпигоны. Выпей кваску лучше...» Она подала Гене стакан холодного кваса, спор как будто исчерпал себя, Иосиф Михайлович вышел из комнаты, вероятно, чтобы погасить свое неожиданное возбуждение, а я сказал Люсе: «Ваше предложение насчет попить кваску было очень своевременным и разумным. Позвольте пожать вам руку...» Она подала руку, я потянул и вытащил ее с дивана, отвел в сторону: «Люся, вы, конечно, понимаете, что всё происходящее здесь не подлежит разглашению...» Она сделала удивленное лицо: «Почему вы говорите это мне?» Пришлось пояснить: «Если ваш друг будет трепаться об этом в своем кругу или, не дай бог, которого нет, информация о наших разговорах... так сказать, выйдет из-под контроля, то я его задавлю вот этими самыми руками». И я показал ей свои руки для убедительности. Люся заулыбалась: «Ценю вашу бдительность, Игорь. Не беспокойтесь: Гена и заикнуться побоится о своем участии в этом антисоветском сборище. Я ему раньше вас причиндалы отвинчу – он это знает...»

Вернулся Иосиф Михайлович, он всё еще не мог отстраниться от темы, которая, по-видимому, очень волновала его:

«Дело в том, друзья мои, что многие из нас не понимают по-настоящему ни смысла религии, ни глубинного значения божественного

в нашей жизни. Первоначальный смысл религии, по Ветхому завету, это отнюдь не вера, а образ жизни. Важно не то, во что ты веришь, а то, что и как ты делаешь. Религия – это не вера, а действие. В учении хасидов, между прочим, так и сказано: вера заключается не в молитвах, а в поведении согласно закону божьему. Петр Струве говорил, что все положительные начала общественной, социальной и семейной жизни укоренены в религиозном сознании. Он видел трагедию большевизации России именно в попытке разрыва связи между общественной жизнью и религией. Но эту связь большевикам не удалось полностью разорвать – даже наши доморощенные атеисты в своих лучших проявлениях действуют в рамках унаследованного от древних религиозного сознания. Возьмите, например, нашего друга, который здесь декларировал свое неверие в бога, – в действительности всем лучшим в себе он обязан тем библейским этическим законам, на которых уже три тысячи лет держится мораль человека иудео-христианской цивилизации. Он сам не видит этой связи, но это не значит, что ее нет. Эту связь хорошо видели ученые, которых у нас принято относить к основоположникам материалистических знаний – Галилей, Коперник, Ньютон, Эйнштейн... Последний, примите во внимание, формально

не был религиозным человеком. Барух Спиноза, восставший против религиозной схоластики, разъяснил смысл понятия Бога в монотеизме, раскрыл его исходное, закодированное в Библии значение – это недоступная человеческому разуму сила природы, ее непостижимое творческое начало. А наши убогие „мыслители-атеисты“, как и многие верующие, между прочим, всё еще представляют Бога в виде мудрого бородатого старца, восседающего на облаке... Такого бога в кавычках приятно любить и легко отрицать. В этом проявляется в нас неизжитое язычество. Один современный английский историк религии – его, к сожалению, еще не перевели на русский язык – пишет, что смысл перехода от язычества к монотеизму состоял не только и не столько в преобразовании концепции многих богов-идолов в идею одного единого Бога-Творца, а, скорее, в замене иррационального и пассивного представления о таинственной и непостижимой сущности явлений окружающего мира активным изучением непознанного, основанным на силе разума. По мере познания человеком природы Бог не исчезает, а лишь трансформируется в нашем весьма ограниченном трехмерном воображении. Религия не исчезает в процессе познания природы наукой, она существует параллельно с наукой. Как говорил Эйнштейн, разум является

инструментом познания, а религия определяет конечные нравственные цели человеческого существования. Но, повторяю, религия – это не ответ на вопрос, веришь ли ты в Бога».

Я старался запомнить мысли Иосифа Михайловича, чтобы потом записать их в дневник. Подобное я, пожалуй, слышал впервые, в его словах было много непонятного, интригующего. Впоследствии мы с ним несколько раз возвращались к теме религии и атеизма. Иосиф Михайлович был пантеистом в духе Спинозы, он рекомендовал мне книги по этим вопросам, разъяснял позицию Эйнштейна и других ученых относительно религии и науки. А тогда, помнится, его небольшая лекция вызвала новый виток дискуссии. Я первым отважился высказаться:

– Согласен, что религия и наука – два параллельных движения, но, мне кажется, наука подчас вторгается в религиозные проблемы и помогает решить их. Например, на вопрос «Есть ли Бог?» получен математический ответ в знаменитой теореме Курта Гёделя. Так мне это представляется...

– И каков же этот ответ? И кто таков Курт Гёдель, позвольте спросить дилетанту? – эмоционально воскликнул Иосиф Михайлович.

– Ответ таков: утверждение «Бога нет», равно как и утверждение «Бог есть», принципиально недоказу-

емо. А о Гёделе и его теореме лучше меня знает Валерий...

— Курт Гёдель — австрийский математик, эмигрировал во время Второй мировой войны в США, работал в Принстоне вместе с Эйнштейном, в Принстоне и умер где-то в конце 1970-х. Его знаменитая «Теорема о неполноте» относится к математической логике — я эту область знаю плохо...

— И всё-таки, Валерий, разъясните нам, почему Игорь считает, что Гёдель решил проблему существования Бога? — настаивал Иосиф Михайлович.

— Я не думаю, что это так... Если говорить очень упрощенно, то в «Теореме о неполноте» Гёдель строго математически доказал, что в любой логической системе существуют утверждения, истинность или ложность которых доказать невозможно. Если я правильно понял Игоря, то он считает таковыми утверждения «Бог есть» и «Бога нет» — не так ли, Игорь?

— Именно так! Ты, Валера, разъяснил мою мысль лучше меня...

— Любопытно... Верю математикам, они могут решать задачи без идеологической предвзятости, — сказал Иосиф Михайлович. — Но является ли природа в целом системой, удовлетворяющей условиям теоремы Гёделя?

— В этом-то и вся загвоздка... Насколько я знаю,

предпринимались попытки использования теоремы Гёделя как для доказательства того, что Бог есть, так и для доказательства обратного. Причем, заметьте, авторы и того, и другого уверены в правильности своих доказательств. Это всё, конечно, эпигонство... Любопытно еще, что сам Гёдель, по-видимому, придерживался точки зрения «Бог есть».

– Может быть, нам следует поверить автору теоремы? – попытался подвести черту Иосиф Михайлович, но вмешался Сергей, уже прилично выпивший.

– Полагаю, что упертые атеисты, те самые, которые «воинствующие», просто лишены чувства юмора.

– Любопытный поворот... И как же это связано с юмором?

– Да очень просто... Ну, представьте: на крошечной планетке где-то на задворках бесконечной Вселенной существует крошечное живое существо... Всё равно какое во вселенском масштабе – муравей или человек. И это существо, у которого проблемы с чувством юмора, думает, что оно есть «венец мироздания», что никого выше и совершеннее его нет и быть не может. Согласитесь, что это не может не вызвать вселенского хохота...

– Муравьи, между прочим, создали удивительную цивилизацию, – включилась в разговор Бэлл, – такую жесткую монархическую структуру с четким клас-

совым делением. Для них, наверное, человек – вроде бога. Сергей прав, они, наверное, тоже спорят на ту же тему: «Есть Человек или нет Человека?»

Геннадий слушал всю эту дискуссию с мрачным выражением лица. С его нетрезвого замечания о Боге, собственно говоря, она и началась, а теперь он не преминул вставить последнее слово, не выдержал и пробурчал об «идеалистических домыслах, противоречащих единственно правильному марксистско-ленинскому мировоззрению». Гена пытался дотянуться до выпивки, но Люся пресекла эту попытку и потащила его на улицу. Было уже поздно, начали расходиться... В целях конспирации я собрался было уйти со всеми, чтобы потом... вернуться одному, но Аделина во всеуслышание заявила, что я должен остаться и помочь ей мыть посуду. В результате получилось, что я провожал гостей с некоторой претензией на роль хозяина дома. Сергей понимающе пожелал мне «творческих успехов»...

Последним уходил Иосиф Михайлович. Провожая его, я почему-то спросил: «Вы называете нашу хозяйку Адочкой. Ада – это уменьшительное от Аделины?» Он с энтузиазмом подхватил тему:

«О, это действительно очень интересная история. Многие так считают, полагая, как и вы, что имя Ада есть одно из производных

от Аделины. На самом деле это два совершенно разных имени, причем Ада намного древнее Аделины. Имя Аделина немецко-датского происхождения, насколько я знаю. А вот Ада – имя еврейское, ветхозаветное, почти такого же возраста, как имя первой женщины Евы. Означает это имя нечто вроде „украшающая жизнь“, что к нашей хозяйке весьма подходит – не правда ли, Игорь Алексеевич?»

Закрывая дверь, Иосиф Михайлович лукаво-одобрительно подмигнул мне...

Глава 7. Тихий океан

История первого плавания по безымянному еще океану, «по морю, столь огромному, что ум человеческий не в силах объять его», – это история одного из бессмертных подвигов человечества...

С 28 ноября 1520 года, дня, когда мыс Cabo Deseado, Желанный Мыс, исчез в тумане, нет больше ни карт, ни измерений. Ошибочными оказались все расчеты расстояний, произведенные там, на родине... Магеллан считает, что давно миновал Ципангу – Японию, а на деле пройдена только треть неведомого океана, которому он из-за царящего в нем безветрия навеки нарекает имя «il Pacífico» – «Тихий». Но как мучительна эта тишина, какая страшная пытка это вечное однообразие среди мертвого молчания! Всё та же синяя зеркальная гладь, всё тот же безоблачный, знойный небосвод, всё то же безмолвие, тот же дремлющий воздух, всё тем же ровным полукругом тянется горизонт... Всё та же необъятная синяя пустота вокруг трех утлых суденышек – единственных движущихся точек среди гнетущей неподвижности... И вокруг всё те же предметы в тесном, переполненном людьми помещении... всё

тот же приторный, удушливый смрад, источаемый гниющими припасами... Словно призраки, мертвенно бледные, исхудалые бродят люди, еще месяц назад бывшие крепкими, здоровыми парнями...

Катастрофически уменьшаются запасы... непомерно растет нужда. То, чем баталер ежедневно оделяет команду, давно уже напоминает скорее навоз, чем пишу. Без остатка израсходовано вино... А пресная вода, согретая беспощадным солнцем, протухшая в грязных мехах и бочонках, издает такое зловоние, что несчастные вынуждены пальцами зажимать нос, увлажняя пересохшее горло тем единственным глотком, что причитается им на весь день... Чтобы хоть чем-нибудь... утолить мучительный голод, матросы пускаются на опасный самообман: собирают опилки и примешивают их к сахарной трухе... Из-за отсутствия доброкачественной пищи среди команды распространяется цинга... во рту образуются нарывы... зев болезненно распухает... — они погибают мучительной смертью. Но и у тех, кто остается в живых, голод отнимает последние силы... Три месяца и двадцать дней блуждает одинокий караван по водной пустыне, претерпевая все страдания, какие можно только вообразить, и даже самая страшная из всех мук, мука обманутой надежды, и та становится его уделом... День за днем, неделю за неделей

длиться это, быть может, самое страшное и мучительное плавание из всех, отмеченных в извечной летописи человеческих страданий и человеческой стойкости, которую мы именуем историей. Еще двое, еще трое суток среди пустоты – и, верно, никогда бы и следа этого геройского подвига не дошло до потомства...

Но – хвала Всевышнему!.. 6 марта 1521 года... раздаётся возглас с марса: «Земля! Земля!»... Великий день, чудесный поворот судьбы после сотен мрачных и бесплодных дней!.. Магеллан открыл Филиппинские острова – архипелаг, о существовании которого до той поры не упоминал и даже не подозревал ни один европеец.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

*** * ***

«Скромность украшает большевиков и девушек до 15 лет» – гласила не очень остроумная, но популярная в свое время шутка. Наверное, в отношении девушек это справедливо, а что касается большевиков, то «в каждой шутке есть доля шутки», а всё остальное сомнительно. Один мой дальний родственник, коммунист из старшего поколения, разъяснял, что скромность действительно высоко ценилась большевиками

в те доисторические времена, когда древняя РСДРП только-только трансформировалась в тогда еще молоденькую ВКП(б) – Всесоюзную Коммунистическую Партию (большевиков). В аббревиатуре названия последней, как нетрудно заметить, слово «большеви-ков» в отличие от трех других слов было представлено маленькой буквой «б», естественно, из скромности. Более того, в те времена член компартии не мог получать зарплату выше средней зарплаты рабочего – это называлось «партмаксимум». В наши времена развитого социализма о подобном идейном благородстве мне и слышать не доводилось – наверное, партийцы-идеалисты тех времен были все вырезаны под руководством лично товарища Сталина новой генерацией большевиков, имевшей другие представления о скромности и всём остальном... Впрочем, высшие круги этой новой генерации до сих пор стараются поддерживать имидж простых советских людей со скромной зарплатой, которая если и больше зарплаты рабочего, то ненамного, что с учетом «ихнего тяжелого труда на благо...» вполне оправдано. А недостающие для коммунистических потребностей деньги номенклатура получает в секретных конвертах, которые ни в каких бухгалтерских отчетах, по-видимому, не фигурируют. Эта новая, номенклатурная генерация большевиков вообще предпочитает получать государствен-

ное вспомоществование не деньгами, на которые на самом-то деле и купить мало что можно, а реальными вещами, то есть зримыми, слышимыми, обоняемыми и осязаемыми «милостями природы» в виде спецпродуктов и товаров, спецобслуги, спецбольниц, спецсанаториев и даже спецденег, которые для них специально печатаются под названием «боны». На эти бонны партийное начальство и прочие скромники из числа «слуг народа» покупают в спецмагазинах с нежным русским названием «Березка» такие товары, которых отродясь не видел тот самый народ. Короче – «народ и партия едины, раздельны только магазины».

Всё это сочинение на тему большевистской скромности в ее историческом развитии я прокручивал в голове, сидя на мягком красивом диване в просторной приемной зала заседаний нашего Райкома КПСС, занимавшего огромное здание бывшего то ли княжеского, то ли графского дворца. Приемная с шестиметровым потолком и огромной хрустальной люстрой, наверное, когда-то служила гостиной перед танцевальным залом, в котором ныне заседали члены парткомиссии по проблеме нашего с Ароном отъезда в кругосветное путешествие. К сожалению, лицезреть великолепие того зала заседаний мы не могли из-за наглухо закрытых массивных двустворчатых дверей в стиле ампир с остатками былой витиеватой позоло-

ты. Хотел бы подчеркнуть для протокола: тяга партии к размещению своих органов и членов в роскошных дворцах бывших «ваших высокопревосходительств», «ваших сиятельств», «ваших светлостей» и даже «ваших величеств» отнюдь не означает потерю «большевистской скромности». Каждый отдельно взятый коммунист остается образцом скромности, но партия в целом должна пребывать в величественном обрамлении, ибо она, по ее собственной, научно обоснованной оценке есть «ум, честь и совесть нашей эпохи». А уму, чести и особенно совести без позолоты, ясное дело, никак нельзя...

Мы с Ароном сидели в приемной уже второй час... Я пару раз выходил покурить, но бедняга Арон даже этого не мог себе позволить – верткий, глистообразный секретарь комиссии предупредил его не отлучаться, так как вызов может последовать в любую минуту. Этот секретарь, или как еще его там называют, уже несколько раз выходил из зала заседаний и, торопливо пробегая мимо нас, повторял скороговоркой, коверкая слова: «Под'ждите, т'варищи, под'ждите...» или «Ваше дело, т'варищ Кац'линбогин, в пр'цессе, под'ждите...»

Какая-то негативная волна, раздражающая и тревожная, исходила от этого бегущего туда-сюда вертухая. Куда он постоянно отлучается? Лично докла-

дывает ситуацию своему начальству наверху? Приносит членам инквизиции новые инструкции? Арон, было видно, нервничал... Почему его так долго не вызывают? Мы остались в приемной одни... Почему так долго изучают его дело? А может быть, нас рассматривают совместно и всё дело во мне? Долгое и нудное сидение в этой обстановке тайной подковерной деятельности не располагало к содержательной беседе. Каждый из нас думал о своем. Я, например, взвешивал составляющие этого инквизиторского процесса.

Выездная комиссия райкома партии была важнейшим барьером на пути советских граждан за границу. Парткомиссия и «треугольник» по месту работы клиента выполняли мягкую функцию отсеивания уж совсем неблагонадежных — получить рекомендацию для поездки в соцстраны на этом уровне было несложно, а в капстраны, если кто изъявлял подобное бредовое желание, тоже по месту работы не препятствовали ввиду очевидной бессмысленности такого предприятия. Другое дело — комиссия райкома! Здесь клиента оценивали не по характеристике с места работы, а по существу и в тесном взаимодействии с компетентными органами, знавшими о клиенте больше, чем он сам... В органах было строго разложено, кто неблагонадежный, а кто просто невыездной в принципе. В органах отлично знали, у кого родственники за

границей, кто и с кем поддерживает ТАМ связи, имели копии заграничной и местной переписки клиента и записи его разговоров, а главное – имели доносы от многочисленных местных сексотов. По совокупности этих знаний и выносилось решение на комиссии райкома.

Для многих на этом «хождение по мукам» заканчивалось, и допущенный имел счастливую возможность получить выездные документы в самом ОВИРе. Эта полная значительности аббревиатура раскрывалась словами до обидного будничными – Отдел виз и регистраций. В стародавние времена, но уже, конечно, при советской власти, данный отдел был определен под крыло НКВД... «Каким он был, таким он и остался», если, конечно, судить не по форме, а по содержанию. На самом деле, именно здесь судьба любителей заграничных путешествий и решалась окончательно, за исключением случаев особо ответственных путешественников, бегство которых могло нанести идеологический вред развитию социализму во всемирном масштабе, – дела таких бесценных гастролеров по границам направлялись еще выше, в ЦК КПСС для особого согласования.

Мои абстрактные размышления по теме нашего сидения в приемной райкома были прерваны риторическим вопросом Арона.

– Как ты думаешь, Игорь, что они там обсуждают так долго?

– Я думаю, дело вот в чем: нам с тобой этого не понять в принципе! Мы с ними разговариваем на разных языках, мы не можем понять логику их действий. Представь, что мы с тобой обсуждаем алгоритм некогерентного приема сигнала в нестационарном канале с райсовскими замираниями. Уважаемые члены комиссии при этом недоумевают: что это Кацеленбойген с Уваровым обсуждают так долго? Мы с ними, если хочешь, живем в разных мирах, только формально пребывая рядом...

– Но я, Игорь, член партии, я должен знать, чем они занимаются, я обязан понимать логику их действий.

– Не обольщайся, мой славный Дон Кихот, ты не принадлежишь к касте допущенных... И, слава богу, что ты не с ними, с этой мразью высокопартийной, изображающей из себя хозяев на этой земле... Доктор наук и кандидат наук, разработавшие для защиты родины сложнейшую систему, должны унижаться перед ничтожествами типа этого глиста ходячего...

– Поосторожней, Игорь, здесь может быть прослушка.

– Положил я на них... с прибором... Получается, Арон, что мы создаем систему, которая будет защищать всю эту приклатненную шпану. А они еще будут

при этом выеб...ться – разрешить нам доделать работу или нет.

– Мы работаем в интересах нашего государства, а не...

– Перестань, Арон, успокаивать меня – всё это унижительно и отвратительно... Холопы номенклатурные обязаны были предложить ученым людям кофе или, по крайней мере, чай...

– Да, два часа уже сидим здесь... Давай, Игорь, договоримся, что при любом исходе этой заморочки мы едем ко мне пить водку.

– Заметано... Кстати, у тебя случаев нет родственников за границей?

– Нет... Один мамин дядя, по слухам, уехал в Палестину еще в 20-е годы, мы о нем ничего не знаем; остальные мамыны родственники старшего поколения либо расстреляны и посажены в 37-м, либо погибли в Минском гетто в 42-м. По папиной линии ты мою родословную знаешь... По ней у меня, наверное, полно дальних родственников и в Италии, и в Англии, и в Голландии – только я ничего о них не знаю. Думаешь, здесь копают по линии родственников за границей?

– Ничего я не думаю, просто прокручиваю возможные варианты. Переписываешься с заграницей?

– Ты же знаешь, что у нас была переписка с док-

тором Саймоном из JPL в Калифорнии, еще остается переписка с некоторыми зарубежными участниками Таллинского симпозиума по теории информации.

– Это плохо, могут прицепиться... Впрочем, прицепиться могут к любому по любому поводу. Мне, например, нетрудно приписать «сионистские настроения»...

– Не смей меня, Игорь. Ты и сионизм – в огороде бузина, а в Киеве дядька...

– Не скажи, Арон... С Саймоном переписывался, правда, по вопросам теории помехоустойчивости, но переписывался... А еще в компании одной побывал, песни про Иерусалим хотя сам и не пел, но слушал – стукачи наверняка уже доложили.

– Только этого нам не хватало...

Помолчали немного... Амперные двери тоже молчали, от них исходил зловещий дух неприятностей. Вдруг за массивными стенами старинного здания грохнуло так, что они вздрогнули – поздняя осенняя гроза разбушевалась над невскими просторами. Я был тогда человеком неверующим, но суеверным – мне подумалось, что, возможно, это сам Зевс-громовержец пророчески предупреждает нас: кончилось время оппортунизма и бездумной эйфории... Подобно библейскому пророку, написавшему свое мрачное предсказание на стене дворца Валтасара, громовер-

жец предупреждает нас об этом...

Словно подтверждая мои опасения, из дверей торжественно выполз и направился к нам уже знакомый глист во фраке. Рефлекторно мы поднялись навстречу... Он остановился в метре от нас и, обращаясь к Арону, продекламировал медленно, четко, с расстановками:

— Решение по вашему вопросу, товарищ Кацеленбойген, сегодня не принято... Ваше дело возвращено для доработки в администрацию вашего предприятия.

— В чем дело? Почему решение не принято? Я как член партии должен знать...

— Я не уполномочен давать объяснения... Могу только сказать, что представление вашего предприятия не вполне соответствует принятой форме. Вы можете получить все необходимые разъяснения у вашей администрации.

— Возмутительно... — констатировал Арон, резко развернулся и пошел к выходу.

Я задержался, пытаюсь довести разговор до конца: «А как же с моим делом?» Глист старался продемонстрировать, что моя мелкая личность его совсем не интересует. Он посмотрел сквозь меня на удаляющегося Арона и сказал сквозь зубы: «Вы, вероятно, товарищ Уваров... Рассмотрение вашего дела отложено

до окончательного решения по делу товарища Кацеленбойгена. Вы можете быть свободны». Я хотел было возразить, что не нуждаюсь в его разрешении на свободу, но глист не счел меня достойным дальнейшей дискуссии, мгновенно повернулся ко мне задом и ушел. Этот холуй даже не извинился перед нами за двухчасовое бессмысленное ожидание. О, как мне хотелось дать ему в морду, как я впоследствии жалел, что не сделал этого! Ну, посадили бы меня за такой поступок, наверное, ненадолго при хорошем адвокате уровня Иосифа Михайловича по статье «мелкое хулиганство». Но это была бы победа вместо поджигания хвоста после пинка под зад... Да, «остроумие на лестнице» – неистребимая черта советской интеллигенции. На той мраморной лестнице райкомовского дворца я догнал Арона, он был подавлен, я никогда не видел его в подобном состоянии.

– Нет оснований, Арон, слишком уж огорчаться. Адмирал переделает документы по форме, и всё пойдет по стандартному бюрократическому сценарию. Конечно, два с лишним часа просидели, как идиоты, но это же в рабочее время, – пытался я подбодрить Арона.

– Нет, Игорь, здесь копай глубже... Я так это понял, что дело застопорилось где-то выше. Не может быть, чтобы они так долго изучали какие-то несоответствия

по форме... Этим пенсионерам дана какая-то определенная отмашка. Не понимаю, какая именно, но дана... Ты, пожалуйста, не говори всего Наташе, она расстроится донельзя при ее чувствительности к моим делам. Скажем, что документы подготовлены не полностью, поэтому произошла задержка. Ни в коем случае не говори, что мы бессмысленно просидели два часа в барской приемной. Это взорвет ее...

По дороге домой Арон снова вернулся в тему: «Почему они даже не пригласили меня на обсуждение, почему передали мне всё это через секретаря?» После недолгой паузы он продолжил каким-то не своим голосом с несвойственной ему резкостью: «Это значит, что им есть что от меня скрывать... Кто им дал право на это?» Мне хотелось спросить у Арона: «Неужели ты не знаешь, ЧТО им есть скрывать и КТО им дал на это право?» Но я воздержался, не хотел развивать столь болезненную для него тему, да еще на таком эмоциональном пике.

На кухне в квартире Арона мы быстро приговорили пол-литра «Столичной», потом добавили еще... Наташа внешне спокойно отреагировала на наши рассказы и сказала: «Короче говоря, вы абсолютно ничего не знаете ни о том, что там внутри происходило, ни о том, какое будет решение. А поэтому нет смысла это всё мусолить». Обращаясь к Арону, добавила: «Не надо

мудрствовать, вот завтра пойдешь к Шихину, всё узнаешь и уладишь». Она как бы закрыла эту тему, но, когда Арон вышел, быстро сказала мне:

«Я боюсь за Арона, у него и без того повысилось давление. Но какие подонки, однако... Средневековая инквизиция в новом обличье. И, как всегда в таких случаях, невежество и бездарность „правят бал“. Не могли, видите ли, подготовить все документы, как положено. Я имею в виду и ваше непосредственное начальство, и этих райкомовских... Эти люди диктуют свои правила жизни всем – ученым, конструкторам, писателям, артистам... Самое страшное – они повсюду, они решают всё на всех уровнях. Как здесь жить, Игорь?»

Я впервые слышал от нее подобные слова, они удивительным образом гармонировали с моими мыслями. Наташа посмотрела на тумбочку у окна, молча принесла одеяло, накрыла им стоявший на тумбочке телефон. Я бодро продолжил наш странный разговор.

– Ничего, Наташенька, как жили, так и жить будем... Уже больше полувека живем по их правилам, три поколения обкатаны. Возьми нас с Ароном – работаем на них, живем не тужим, зарплату получаем, а если взбрыкнем, можно и силой заставить работать. Помнишь у Александра Исаевича – тюремные НИИ и КБ...

Шарашками назывались. Туполев в шарашке работал, Королев и Глушко в шарашках начинали. Нам, ученым, инженерам еще повезло по сравнению, скажем, с писателями – тех сразу в союз загнали, чуть что не так написал, с довольствия снимают или, как Бродского, за тунеядство судят.

– Мне видятся более мрачные картины, знаю их по делам в биологии, в генетике. Академика Вавилова они убили в тюрьме, после чего эти науки и закончились у нас.

– Они говорят – сталинские чистки усилили обороноспособность страны. И многие этому верят. В 37-м расстреляли разработчиков «Катюши» – Клейменова и Лангемака. В результате указ о запуске «Катюши» в серийное производство был подписан... угадай когда? 21 июня 1941 года! Так они «усилили обороноспособность»... Но уже поздно было...

– Один мой знакомый, бывший сотрудник физтеха еще во времена Иоффе, рассказывал, что в 30-е годы у них блистал физик-теоретик Матвей Бронштейн. Его по таланту сравнивали с Эйнштейном и Ландау – расстрелян в 38-м...

– Стоп, Наташа, не всё так мрачно, времена сейчас, слава богу, другие, никого не расстреливают. Арон не любит подобных «воспоминаний»...

– Поэтому я...

Мы прервали этот разговор, потому что Арон вернулся – не хотелось нагружать его этим в дополнение к райкомовским приключениям.

На следующее утро у меня голова трещала с похмелья, но Арон был энергичен и свеж, как будто и не пил со мной на равных. В его поведении не было и намек на вчерашнее депрессивное состояние. Он сказал спокойно, без малейшей нервозности: «С утра пораньше звонили от адмирала – он вызывает меня на два часа. Не сомневаюсь, что это по вчерашнему райкомовскому делу». В обеденный перерыв я подкараулил Катю по дороге из столовой, чтобы спросить, не было ли звонков из райкома по нашему делу и что думает по этому поводу Ваня. Она ничего не знала и после моей краткой информации сказала, что это какое-то недоразумение. «Не волнуйся, Чойбалсан, поедешь ты в свое путешествие – больше послать некого». А потом заспешила к себе, оставив меня додумывать, что бы значила ее последняя фраза. Какая-то интрига плелась вокруг этого путешествия. Я был не в силах понять ее смысла до того времени, когда Арон вернулся от адмирала. С каменным лицом он тут же пригласил меня в свой кабинет.

– Игорь, готовься возглавить натурные испытания «Тритона». Мне отказали. Ты поедешь один в статусе руководителя группы.

– Как отказали? Почему?

– Я, на самом деле, еще вчера всё понял, но оставалась надежда на адмирала, который лично заинтересован в скорейших успешных испытаниях. От них зависит его пребывание на посту Генерального директора, но и он тоже ничего не может сделать, это не его вина... Там наверху, в совсем другом ведомстве, решили и за него, и за нас.

– Но в чем причина отказа? Хотя бы формальная...

– Адмирал не хочет раскрывать передо мной всю эту кухню, ссылается на производственную невозможность моего столь долгого отсутствия здесь.

– А раньше, когда тебе поручали такую работу, они не знали об этой «производственной невозможности»?

– Игорь, мы можем, как говорит Наташа, мусолить тему до бесконечности. Давай примем за неоспоримую данность то, что мы имеем на настоящий момент в реальности, а не в фантазиях, – я остаюсь здесь, ты отправляешься в плавание со всеми необходимыми полномочиями и обязанностями, точка!

– Я не поеду без тебя и готов это обосновать перед любым начальством.

– А я не хочу даже обсуждать такой вариант. Ты должен ехать в интересах нашего общего дела, которому мы отдали, напомню тебе, несколько лучших наших

творческих лет. Я не вижу иной возможности успешно закончить эту разработку.

– Расскажи мне, по крайней мере, что случилось в кабинете адмирала.

– Расскажу, хотя это непросто... Кстати он ждет тебя завтра в десять ноль-ноль. Постарайся не опоздать...

Встречу Арона Моисеевича с Митрофаном Тимофеевичем и разговор между ними тет-а-тет я попытался реконструировать по рассказу Арона и сбивчивым воспоминаниям нескольких лиц, так или иначе участвовавших во всей этой истории. Полную запись разговора мне найти не удалось – по-видимому, Митрофан Тимофеевич позаботился, чтобы она не попала к его конкуренту Ивану Николаевичу, где я мог бы прослушать ее с помощью Екатерины Васильевны. То, что удалось выудить и сохранить для истории, сводится к следующему.

Митрофан Тимофеевич, как всегда с непроницаемым лицом, солидно и неспешно начал разговор со своей коронной фразы «Есть у нас люди...». Далее по тексту обычно следовало разъяснение, какие нехорошие люди у нас есть, почему они нехорошие и что должен делать он, как руководитель «вверенного ему предприятия», для недопущения дальнейшей нехорошей деятельности. В данном случае адмирал

сосредоточился на тех нехороших людях, которые, «пренебрегая своими прямыми обязанностями, безответственно занимаются тем, что их лично интересует, вместо того чтобы работать в интересах коллектива». Эту тему с ключевыми словами «обязанности», «безответственность», «личные интересы», «интересы коллектива» он развивал далее долго, длинно, абстрактно и витиевато, постепенно распаляясь, повышая голос и даже размахивая руками. Арон Моисеевич слушал весь этот бред молча, с трудом нащупывая крупицы смысла в адмиральском «потоке сознания». Тем не менее он понял сразу, с первых слов адмирала, что тот получил в райкоме жесточайшую выволочку за него, А. М. Кацеленбойгена, и что босс собирается сделать из него козла отпущения. Казалось, разбушевавшийся адмирал уже не сможет остановиться, но... внезапно он перестал дирижировать руками своей собственной речью и выпалил наконец то, ради чего была сыграна вся эта сумбурная увертюра:

«Вот, например, вы, Арон Моисеевич... Каким образом вы предполагали, так сказать, выполнять свои обязанности по руководству вверенным вам отделом, находясь при этом за тысячи километров в заграничной поездке? Подобная, понимаете, безответственность может

привести к срыву ответственного задания государства... Нельзя же, понимаете, так безответственно пренебрегать интересами коллектива в личных интересах...»

Митрофан Тимофеевич остановился, намереваясь насладиться тем смятением и даже, может быть, испугом, которые должна была вызвать у обвиняемого его выдающаяся речь. Арон Моисеевич, однако, не доставил адмиралу такого удовольствия и даже не стал оправдываться или оспаривать подобное дикое заключение, напомнив «забывчивому» боссу, что действовал по его прямому приказу. Вместо этого он ответил очень буднично и спокойно:

«Вы хотите сказать, Митрофан Тимофеевич, что райком партии счел мою поездку за границу нецелесообразной? Если это так, скажите об этом прямо без излишних нравоучений и общих нотаций. Не беспокойтесь, я не упаду в обморок и не устрою здесь истерику. Вы хотите сказать, что райком отказал мне?»

Адмирал как-то сразу сник, внезапно поняв, что зря старался, вытер большим белым платком свой лоб, вспотевший от напряжения, и обреченно произнес: «Именно это я и пытался вам сказать», а потом, приложив платок ко лбу, безвольно и просительно выдал: «Что будем делать?»

Адмирал действительно находился в скверном положении, его инициатива с выдвижением доктора наук Кацеленбойгена на роль руководителя испытаний важнейшего изделия оборонной промышленности не понравилась кому-то наверху, он уже получил соответствующий втык за непонимание политики партии, но главное – завис весь проект испытаний, а это грозило снятием с должности. К счастью для кандидата наук Шихина, пострадавший от той же самой партии доктор наук Кацеленбойген проявил по отношению к своему боссу совершенно удивительную толерантность и помог ему выйти из штопора. На вечный вопрос «Что делать?» Арон ответил, что не следует драматизировать ситуацию, ибо кандидат наук Уваров вполне может заменить его в роли руководителя испытаний. Поэтому следует форсировать оформление Уварова в этой роли со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая немедленное и безоговорочное прекращение «безобразной бюрократической волокиты с выездными документами». Адмирал с радостью ухватился за это предложение и, воспрянув, сказал:

«Очень хорошо, Арон Моисеевич, мы оформим Уварова без проволочек – это я обещаю. Передайте, чтобы он зашел ко мне завтра же утром, секретарь назначит ему время.

Надеюсь, вы, Арон Моисеевич, окажете Уварову всю необходимую помощь».

Митрофану Тимофеевичу вдруг пришло в голову сопоставить отношение к нему и ко всему делу этого «несвоего» – еврея Кацеленбойгена, и «своих» – тех, из партаппарата, которые орали на него по телефону этим незадавшимся утром. И когда Арон уже направлялся к дверям кабинета, адмирал встал, окликнул его и сказал как-то очень по-человечески: «Спасибо вам за понимание, Арон Моисеевич, спасибо большое».

Так «без меня меня женили». На следующее утро ровно в 10:00 я был в приемной Шихина. Арон с утра проинструктировал меня: поменьше говорить, побольше слушать. Я так и поступил, когда секретарь пригласила меня войти. В кабинете были Митрофан Тимофеевич и Иван Николаевич – после рукопожатий мне было жестом предложено присесть за приставной стол напротив Ивана Николаевича. Далее адмирал повторил точь-в-точь всё то, что говорил здесь Арону давным-давно в присутствии военпреда: что мне поручается подготовить... и лично возглавить... на борту... Академии наук... три океана... и т. д. и т. п. Далее он говорил, какая это честь для молодого советского ученого – участвовать в качестве руководителя в столь ответственной работе, находящейся под

контролем самого ЦК, и еще что-то из тех же песен... Я не произнес ни слова, молчал и Иван Николаевич. Проговорив всё положенное, адмирал спросил, есть ли у меня вопросы.

– Поясните мне, пожалуйста, в чем причина замены Арона Моисеевича мной, почему он отстранен от руководства этими испытаниями?

– Есть мнение, что Арону Моисеевичу не следует отрываться от руководства отделом, перед которым поставлены новые ответственные задачи, отвлекаться на столь длительное время. Мы считаем, что вы, Игорь Алексеевич, успешно проведете испытания, а Арон Моисеевич будет помогать вам в этой работе, оставаясь здесь во главе своего отдела.

– Ни я, ни кто-либо другой не обладают знаниями и опытом Арона Моисеевича в данном вопросе...

– Игорь Алексеевич, – вступил в разговор Иван Николаевич, – у нас незаменимых людей нет. Не скромничайте, вы вполне способны возглавить эти испытания, я уверен в этом.

– Может быть, и способен... Но у меня неприятный осадок от всего этого дела. Я в шоке от того, что Арону Моисеевичу не разрешили выезд за границу.

– Нам следует, Игорь Алексеевич, отбросить всевозможные эмоции в виде «неприятных осадков» ради того важнейшего дела, которое нам поручили пар-

тия и правительство, – наставительно заметил Иван Николаевич.

– А что касается Арона Моисеевича, – продолжил Митрофан Тимофеевич, – то ему никто ничего не запрещал... Я ведь объяснил вам причину изменения решения.

– Я не уверен, что сумею пройти без потерь изощренную проверку в райкоме партии, я ведь беспартийный...

– За эту сторону дела не беспокойтесь, – сказал Митрофан Тимофеевич и, кивнув в сторону Ивана Николаевича, добавил: – мы позаботимся о скорейшем положительном решении этого вопроса. Вам следует сосредоточиться на самой тщательной подготовке изделия «Тритон» к испытаниям, не отвлекайтесь ни на что другое.

– Я думаю, Митрофан Тимофеевич, мы можем информировать Игоря Алексеевича... Вчера вечером, Игорь Алексеевич, получено согласие райкома партии на ваш отъезд за границу в качестве руководителя кругосветных испытаний нашего изделия. Так что вам не придется отвлекаться... Вы сможете вскоре получить все необходимые документы в ОВИРе. Ваша задача – подготовить надлежащим образом аппаратуру, конечно, совместно с Ароном Моисеевичем.

Я вернулся в лабораторию с поганым настроени-

ем, в котором было намешано много ингредиентов – от чувства неуверенности в себе до ощущения собственного предательства. Рассказал всё, как было, Арону. Он без видимых эмоций сказал, что всё правильно, и ушел к себе...

Вечером я дозвонился до приятеля, бывшего аспиранта Арона, который работал теперь в аппарате ЦК, и попросил его заказать мне пропуск на завтрашнее утро. Потом собрал портфель и поехал... на Московский вокзал. С вокзала позвонил Арону и попросил два дня отпуска за свой счет по личным делам. Билетов на «Красную стрелу», конечно, не было, я дождался следующего поезда, сунул проводнице десятку и уехал в Москву плацкартным вагоном...

Люблю ходить неспешно по этой части Москвы – от Спасской башни Кремля до здания ЦК КПСС. Здесь мощь власти дух захватывает, здесь обаяние власти обволакивает и завораживает. Такого никогда не случается в величественном, но... провинциальном Ленинграде. Зримые символы власти сопровождают вас повсюду на этом не столь длинном пути. О начальной и конечной точках маршрута много говорить не приходится – именно здесь, в Кремле и в ЦК КПСС, принимаются и утверждаются все важнейшие решения, это две вершины глобальной коммунистической диктатуры над третью земного шара. Кремль, кроме то-

го, еще самое красивое место Москвы – не зря старались средневековые итальянские мастера. Обычно, обойдя Красную площадь против часовой стрелки, я через проезд между Историческим музеем и Музеем Ленина выхожу в Охотный ряд и иду по нему в направлении площади Революции. Слева возвышается еще один символ власти – гигантское здание Госплана СССР, построенное с использованием развалин Храма Христа Спасителя в 30-е годы. Здесь заседал поначалу Совет Труда и Оборона СССР, а затем Совет Министров СССР. Идем дальше, никуда не сворачивая, пересекаем площадь Революции, справа памятник Марксу, слева Большой театр – тоже в определенном смысле символы этой власти.

Я уже подходил ко входу в гостиницу «Метрополь» на углу площади, когда заметил перед собой пятерых крепких парней, неспешно, как бы строем идущих в том же направлении. Они привлекли мое внимание своим раскованным видом и одинаковыми спортивными куртками. Перед входом в гостиницу парни внезапно по-военному развернулись цепочкой вдоль тротуара и отработанным движением синхронно скинули куртки. На их белых футболках крупными красными буквами было написано знаменитое библейское изречение «Отпусти народ мой!». Торопливо проходя мимо цепочки смельчаков, я хорошо разглядел и эту

надпись и... улыбки на лицах парней. За моей спиной защелкали фотоаппараты, а затем из вестибюля гостиницы стали выбегать и скручивать манифестантов охранники в штатском. Еврейские парни простояли, вероятно, не более минуты, но иностранные корреспонденты успели заснять эту сцену. Когда я с угла посмотрел назад, целая орава кагэбэшников уже за-талкивала парней в милицейскую машину с решетками.

Я никогда не видел ничего подобного, не представлял себе акцию такой яркости и смелости – не «за-стольно-кухонный», а публичный протест против режима. И вот здесь, на этой тропе власти, в этом эпицентре ее могущества пять простых парней бросают ей вызов... Я был потрясен самим видом этих смелых и свободных молодых людей. Сейчас их везут в камеру предварительного заключения, им всем, вероятно, пришьют срок за антисоветскую пропаганду, но... я видел их счастливые лица! Мне ничего не грозит, я направляюсь в логово власти, в тот самый отдел той самой советской пропаганды, чтобы униженно просить, по существу, о том же, чего требуют они, но... почему у меня на лице нет улыбки счастья?

Тем временем я вышел на простор Лубянки – здесь только идиоту придет в голову улыбаться. Перед нами на панорамной картине огромное здание главно-

го исполнительного органа коммунистической власти – Комитета государственной безопасности. Этот орган подобно рецидивисту несколько раз менял свое название, чтобы увильнуть от богини правосудия Фемиды, которая из-за повязки на глазах могла судить о преступнике только по его имени на слух. Вследствие этого обведенная вокруг пальца Фемида полагала, что ВЧК, ЧК, ГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ и КГБ – это разные подозреваемые и что ни один из них не отвечает за преступления другого. Из-за той же слепоты Фемида упустила главного организатора и духовного вдохновителя всех этих организаций – «железного Феликса», гигантский монумент которого с карающим мечом «украшает» центр раскрывшейся перед нами площади. Внезапно площадь опустела, по ней со стороны Политехнического музея к площади Революции на огромной скорости промчались две милицейские машины, а за ними – кортеж из нескольких огромных черных лимузинов. Вероятно, члены Политбюро едут на совещание в Кремль – зрелище захватывающее и устрашающее.

Мы, однако, продолжаем наш путь... Опасливо косясь на двенадцатитонного бронзового истукана и на подъезд Большого дома, как его именуют москвичи, полагающие, что отсюда «видна аж сама Колыма», придерживаемся правой стороны и идем побыстрее

от греха подальше на Новую площадь. Затем мимо Политехнического музея, к властям предержащим отношения не имеющего, выходим на Старую площадь – конечный пункт нашего хождения по власти. Старая площадь – это, собственно, и не площадь, а широкий проезд, граничащий с востока с большим сквером. На западной же стороне располагаются уходящие в глубину квартала здания ЦК КПСС, фасадная часть которых построена московскими купцами еще в начале прошлого века. Здесь, в Святая Святых, располагается высшая партийная бюрократия, управляющая абсолютно всеми сферами жизни и отраслями хозяйства огромной страны – от организации ее обороны до производства мочалок, включая между ними культуру, науку и всё остальное. В ЦК больше 20 отделов, в том числе такие экзотические, как, например, «Отдел по работе с иностранными кадрами и выездом за границу». Но я иду не в этот отдел, а в «Отдел агитации и пропаганды», куда мне заказан пропуск моим знакомым Станиславом Федоровичем.

Станислав писал диссертацию по теории гармонического синтеза в военно-технической академии под руководством Арона. Мы познакомились с ним, когда он по рекомендации Арона стал вторым оппонентом по моей диссертации, потом приятельствовали и даже опубликовали одну совместную техническую ста-

тью. В последующие годы Станислав как-то резко пошел по партийной линии, я встретил его последний раз уже в роли инструктора отдела науки горкома партии. Потом он исчез, его телефон перестал отвечать, а сам он всплыл уже важным чиновником отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС. Это я узнал от Арона, который очень гордился карьерой своего ученика и дал мне когда-то его московский телефон – на всякий случай. Такой случай, как я полагал, теперь и выдался.

Обитель верховной власти вызывает священный трепет, когда она недоступна, и пока ты не вступишь в ее сакральные покои хотя бы в качестве просителя. По-купечески помпезное здание ЦК внутри выглядело довольно обыденно и стандартно – длинные коридоры с кабинетами чиновников по сторонам. Правда, чистота везде идеальная, мягкий свет располагает к вдумчивым размышлениям, двери блестят свежим лаком, мягкие диваны создают уют, ковровые дорожки вдоль всех коридоров радуют глаз яркостью и разнообразием цветов. Необычными были, конечно, охрана у входа, ну и, естественно, буфет, но об этом позже...

Станислав Федорович, крупный вальяжный мужчина, изменился к лучшему – округлился, заматерел. Встретил он меня без начальственного чванства, приветливо, запросто... Мы даже обнялись, вспомнили

аспирантские времена, пошутили на тему раскованных ленинградских девиц конца 60-х, потом сошлись во мнении о редком таланте научного предвидения у АМК – так мы называли Арона Моисеевича Каценбойгена в те далекие аспирантские годы. Наконец, как-то само собой перешли к цели моего визита. «Я так понял из телефонного разговора с тобой, что у АМК проблемы. Что случилось?» – спросил Станислав. Я попытался подробно рассказать всю историю, начиная с замысла кругосветных испытаний и кончая решением райкома и разговором с адмиралом. Где-то в середине моего рассказа какой-то клерк принес кипу бумажек, что-то нашептал Станиславу на ухо и ушел. Станислав стал перелистывать бумажки, ставя свою подпись в некоторых из них.

– Ты извини меня, Игорь, я тут буду просматривать это всё... Знаешь, в отделе накопилось много заявок на заграничные командировки наших деятелей. Прислали для согласования, нужно до вечера принять решение по всем случаям. Но ты продолжай, рассказывай, это всё не мешает мне слушать тебя.

– Ты принимаешь решение «по всем случаям»?

– Нет, ты меня неправильно понял... По всем случаям командирования или частных поездок работников нашей сферы – журналисты, писатели, некоторые крупные артисты...

– А кто занимается учеными и всей технической сферой?

– Это не в нашем отделе, это либо в оборонке, либо в науке, а иногда и в отраслевых отделах.

Я продолжил свой рассказ под отрывочное бурчание Станислава: «Ишь, гусь, повадился в Англию...», «Ну, этот пусть съездит...», «Этому всё неймется, пусть посидит здесь...», «Отдохнуть иногда надо...», «Ну, это будет полезно...», «Плохо стал работать, но...», «Пора и честь знать...» При этом Станислав не скрывал уровня своей власти, называл фамилии довольно известных людей. Как бы советуясь со мной, ворчал: «Ну, что делать с ним, ума не приложу...» – и называл имя очередной знаменитости. Наверное, хотел покрасоваться передо мной, а главное – заочно перед АМК. По мере нашего общения моя оценка возможностей Станислава Федоровича быстро возрастала, но... надежда на его помощь таяла еще быстрее. К концу своего рассказа я понимал, что он мог бы запросто решить нашу с Ароном проблему, однако... вряд ли захочет этим заниматься. Когда я закончил, Станислав сам подвел итог: «Всё ясно, ситуация близка к стандартной, если не считать уровень и важность вашей разработки... Чем я могу помочь?» Я определил свою просьбу так: во-первых, хотелось бы узнать не уклончивую, а четкую формулировку причины запре-

та на поездку АМК за границу, и, во-вторых, если это возможно, изменить решение и позволить АМК самому довести работу до конца, учитывая уровень и значимость нашей разработки. «Ты, Станислав, как никто другой, понимаешь важность выявления всех особенностей работы системы перед запуском ее в серийное производство», – подсластил я пилюлю. Станислав долго молчал, продолжая перебирать бумажки на своем столе, а потом предложил: «Знаешь, Игорь, мне нужно навести кое-какие справки... Ты пойди в нашу столовую, пообедай. Там, кстати, неплохой буфет, можешь кое-какой дефицит с собой взять. Короче, приходи... часа через полтора-два, я постараюсь...»

В столовой я съел отлично приготовленный филе-миньон с грибами, картофелем фри и свежим салатом и выпил две бутылки чешского пива. Потом прогулял по коридорам, вернулся в буфет и начал думать, что бы такое взять с собой... Фантазии, конечно, не хватало – заказал баночку черной икры, полкило твердокопченной колбасы, головку французского сыра, сайру, анчоусы и еще что-то... Потом задумался: брать ли ананас?

Внезапно замелькали в памяти пять надписей: «Отпусти народ мой», а потом – как кагэбэшники запикивают молодых ребят в тюремную машину с решетками... Стало тошно... «И сказал Господь Моисею: пой-

ди к фараону и скажи ему – так говорит Господь: отпусти народ Мой...» Здесь логово фараона, пусть он отпустит и МОЙ народ – я, кажется, прошептал, словно в бреду: «Отпусти народ мой!» Буфетчица в белоснежном чепчике непонимающе посмотрела на меня и переспросила, что я еще желаю взять...

Когда она назвала неправдоподобно низкую цену моего заказа, я, очнувшись, сказал: «Извините, я забыл бумажник в кабинете, приду позднее... Извините...» – и быстро ушел, хотя она, мне слышалось, предлагала взять заказ, а заплатить потом.

Когда я вернулся в кабинет Станислава, выражение его лица не оставляло надежды на благополучный исход моей миссии. Поразила первая же фраза – она была как две капли воды похожа на то, что сказал когда-то Шихин, когда Арон просил его взять в аспирантуру Гуревича. По-видимому, откуда-то сверху им всем продиктовали этот штамп для внутреннего пользования – «сейчас очень сложно с еврейским вопросом».

– Дело сложное, Игорь, не буду от тебя скрывать. Ты же сам знаешь, как сейчас напряженно с еврейским вопросом, сионизмом и прочим... АМК просто попал под этот общий каток, ничего, как говорят, личного...

– Какое Арон Моисеевич имеет отношение к сию-

низму? Это же бред какой-то... Он известный ученый, работает над секретными проектами, член партии, в конце концов.

– Между нами, Игорь... В досье АМК указано, что он предпочитает – так и записано «предпочитает» – брать в аспиранты евреев, названы фамилии... Якобы он готовит из них ученых для будущей работы... понятно где... Сказано также о переписке с зарубежными учеными-евреями. Еще знаешь, что там отмечено, – я об этом не знал... Якобы АМК копает свою генеалогию и гордится своими еврейскими предками.

– А там не сказано, что среди его зарубежных родственников были Карл Маркс и Генрих Гейне? Плюс – несколько известных большевиков с дореволюционным стажем...

– К сожалению, в этом антисиионистском раскладе заслуги предков и родственников не имеют никакого значения.

– Но ведь ты, Станислав, понимаешь, что все эти доносы об аспирантах-евреях – сплошное вранье. Мы с тобой тоже бывшие аспиранты АМК, наш секретарь парткома – его ученик. Как ты понимаешь, он такой же еврей, как и мы с тобой. А эта чушь относительно переписки АМК с учеными-евреями... Он очень удивился бы, что кто-то считает, сколько евреев среди ученых в его переписке, что кто-то заносит это в баланс

его мнимого сионизма. Потому что сам этим не интересуется и даже не знает, кто среди них еврей, а кто ирландец или француз.

– Согласен с тобой, Игорь. Я тоже считаю, что это всё упражнения на заданную тему, но тема-то убойная... Скажу тебе совершенно откровенно: если бы АМК придерживали здесь по любой другой причине, я бы мог помочь. Подчеркиваю – по любой другой... А по линии сионизма ничего сделать не могу. Очень сожалею, но не могу – так и передай АМК.

– Ничего я ему передавать не буду. Он вообще не знает о моей поездке к тебе. Я сам хотел разобраться во всём этом, извини, дерьме... Разобрался с твоей помощью, и за то спасибо. АМК идеалист, ему в отличие от таких прагматиков, как мы с тобой, нелегко будет пережить этот ушат лжи и лицемерия от власть имущих из своей родной партии.

Помолчали каждый о своем... Я был поражен примитивным идиотизмом тех, кто принимает здесь решения. Станислав – было видно – не хотел выглядеть в моих глазах, а главное – в глазах АМК, частью этой тупой машины. Как-то само собой получилось, что я внезапно рассказал ему о сегодняшнем происшествии у входа в гостиницу «Метрополь». «Получается, что эти парни правы – евреям действительно следует уезжать в Израиль, не правда ли, Станислав?» –

спросил я, закончив свой рассказ. Станислав наклонился ко мне через стол, как бы приготовившись произнести что-то сугубо конфиденциальное, поднял палец к потолку и едва слышно сказал: «Если бы евреи знали, что и как о них говорят там, они бы не просто уезжали, а... убегали...» Он откинулся на спинку кресла и добавил: «Но я тебе об этом не говорил».

Остаток того дня в Москве я пытался не оставаться наедине с самим собой. Поначалу собрался было провести вечер у друзей, но на душе было слишком пакостно. Поехал на вокзал, купил с помощью носильщика за взятку билет на «Красную стрелу». Потом пошел в Консерваторию. Последний раз я был там, уж не помню сколько лет тому назад, на выступлении Ростроповича, он играл концерт Прокофьева для виолончели с оркестром – наверное, давал один из последних своих концертов до высылки за границу. Тогда Мстислав Леопольдович был уже в опале – как рассказывали зарубежные «голоса», за то, что приютил Солженицына на своей даче в самый разгар гонений на писателя. Сегодня давали концерт Мендельсона для скрипки с оркестром, играл Леонид Коган – с трудом удалось купить с рук билет с двойной переплатой. Этот мендельсоновский концерт начинается такой чудной мелодией, после которой что-то божественное в душе возрождается... хотя бы на некото-

рое время.

После концерта начало вызревать во мне некое нестандартное движение души, которое, в конце концов, изменило течение жизни. В буфете «Красной стрелы» я выпил коньяка, чтобы приостановить или заглушить это губительное движение, но коньяк не помог... Не стоял я на мысе Сагриш рядом с Генрихом Мореплавателем, не был летописцем подвига Магеллана – пора выбросить на помойку эти кругосветные фантазии. Нет у меня такого шанса, а тот, который мне подсовывают, пусть засунут себе в... Не получилось, не задалось – точка! И когда уже под утро на подъезде к Ленинграду то движение души после мендельсоновского концерта оформилось в ясное и твердое решение, я вдруг почувствовал огромное облегчение, которое приходит к человеку, принявшему решение после долгих и мучительных сомнений. Говорят, что человек, принявший решение, поднимается по ступенькам нравственной лестницы выше того, кто решение еще не принял. Не знаю, как с «лестницей», но ясности цели и твердости в поступках принятое решение, безусловно, прибавляет.

В тот день я действовал четко и целеустремленно. Сначала пошел в поликлинику к своему приятелю-врачу и получил у него справку о том, что нахожусь в состоянии тяжелой депрессии, вызванной

нервным истощением и постоянными головокружениями на почве расстройства вестибулярного аппарата, что нуждаюсь в полном покое и лечении, в том числе санаторном. Всё это было почти правдой за исключением пассажа о вестибулярном аппарате, но, как мне сказал приятель, – кто разберется в причинах головокружения... Потом написал от руки заявление и служебную записку с приложением копий справки из поликлиники, вложил их в отдельные конверты и надписал имена адресатов. В заявлении на имя начальника отдела А. М. Кацеленбойгена я просил предоставить мне очередной отпуск и отгулы за неиспользованные прежде отпускные дни в связи с необходимостью срочного санаторного лечения. В служебной записке на имя Генерального директора М. Т. Шихина я просил освободить меня от обязанностей руководителя линейных испытаний известного изделия из-за ухудшения состояния здоровья и невозможности выполнять соответствующие функции в условиях длительного морского плавания. Мне не хотелось встречаться лично с адресатами и выслушивать их заповеди, проповеди и отповеди – не то было настроение; пусть сначала прочитают мои послания и выпустят первый пар без меня. Поэтому я вызвонил Аделину, встретился с ней неподалеку от ящика и попросил положить мои послания в запечатанных конвер-

тах на столы секретарей Арона Моисеевича и Митрофана Тимофеевича без каких-либо объяснений и обсуждений – она неохотно согласилась сделать это под мое честное слово, что объясню ей всё позже.

После этого я поехал домой, зашел по дороге в гастроном за закуской: хлеб, масло, селедка, маринованная морковка и квашеная капуста, лук и банка кабачковой икры. Хотел купить сосиски для Томаса, но их не было – впрочем, сэр советские сосиски не любит, считает, что там слишком много целлюлозы. Купил ему какие-то мясные обрезки. Придя домой, накормил Томаса, вычистил его горшок, выключил телефон и открыл бутылку водки...

Я, вероятно, напился бы в ту ночь до белой горячки, если бы... не пришла Аделина. Это не стало для меня неожиданностью, я подозревал, что, не дозволившись, она придет, и, честно говоря, хотел этого. Она доложила, что письма доставлены адресатам без приключений. Пришлось подробно рассказать всю историю моей поездки в Москву, за исключением собственных нравственных терзаний, а потом еще раскрыть содержание писем руководству. Аделина почти не прерывала меня, а потом спросила: «Что ты хочешь ИМ доказать?», и я, помнится, ответил: «Никому ничего я не собираюсь доказывать – пусть ОНИ воспринимают это в меру своей испорченности. Хо-

чу доказать только самому себе, что я не тварь дрожащая, а нечто более высокое... в процессе эволюции...» Она крепко сжала мою голову руками и сказала: «Да, это нетривиально, даже не ожидала... Это мужской поступок, довольно редкий в наши времена». Я был уже сильно пьян: «А еще я хотел бы доказать, но не им, а конкретно тебе, Адочка, что я мужчина...» Как славно, что есть хотя бы один понимающий тебя человек – думал я той тревожной, пьяной ночью...

Неприятности начались утром... Была суббота, Аделина уговорила меня включить наконец телефон: «Если Арон Моисеевич не дозвонится до тебя, он придет или пришлет кого-нибудь – я бы не хотела фигурировать при этом... Или позвони ему сам». Едва я вставил шнур в розетку, раздался звонок. Это был Арон.

– Ты в своем уме, Игорь? Кто тебя просил ездить в Москву и просить за меня?

– Откуда ты знаешь, что я ездил в Москву?

– Мне еще вчера звонил Станислав, рассказывал о твоих подвигах. Пойми, Игорь, ты ставишь меня в неловкое положение.

– Ничего подобного, Арон. Если я кого и поставил в неловкое положение, то только самого себя. Я ни о чем от твоего имени не просил и ездил исключительно в своих личных целях. А Станислав – предатель,

он в курсе, что ты ничего не знал о моей поездке... Прикрывает свою задницу на всякий случай... Что он тебе сказал?

– Сказал, что ты просил помочь с нашим вояжем, объяснял, что ничего сделать не может, извинялся... Но дело не в нем, а в адмирале – он в ярости, звонил вчера поздно вечером, сказал, что ты отказался от поездки. Это правда?

– Да, правда, я понял, что не смогу руководить этой работой.

– Это совершенно исключено, Игорь... Мог бы, по крайней мере, посоветоваться со мной. Ты хочешь провалить проект? Адмирал требует, чтобы я заставил тебя забрать твоё заявление. Немедленно приезжай на работу, здесь обо всём и поговорим...

– Но сегодня выходной...

– Я на работе, дел невпроворот, а тут еще ты выкидываешь фортели... Кстати, отпуск я тебе не дам, не время сейчас для отпусков.

– Тогда я пожалуйюсь в профком, у меня справка...

– Знаю я твои справки и твой «вестибулярный аппарат»... Не отпущу тебя в отпуск, ты здесь нужен.

– Я действительно чувствую себя скверно, Арон, не могу сейчас приехать... Если не возражаешь, могу приехать к тебе домой сегодня вечером.

– Хорошо, приезжай домой... Но с позитивным на-

строем, без причуд и капризов.

Аделина слышала весь разговор с моей стороны и, ничего не спрашивая, заключила: «Они дождут тебя в любом случае. Поэтому не залезай в бутылку, не упорствуй – это может очень плохо кончиться для тебя». Ее слова заставили меня немедленно принять еще одно нелегкое решение... Я ответил: «Что они могут сделать со мной? Уволить? Да ради бога – пойду работать доцентом или на завод, там больше платят. Но нет, не уволят, сочтут это поражением для себя. А я не отступлю... Понимаешь, Аделина, не отступлю! Говорю это тебе как свидетелю, чтобы потом у меня не было возможности изменить решение, не потеряв лица...» Аделина спросила с недоверием: «Ты так ценишь мое мнение о тебе?» Я молча кивнул...

К вечеру мне удалось оклематься. Я привел себя в порядок, надел парадный костюм с галстуком и отправился к Арону, словно на официальный прием. По дороге заехал в цветочный магазин и выпросил у знакомой продавщицы огромный букет хризантем, который, как она сказала, был отложен для какого-то генерала. За это пришлось пообещать ей свидание с предсказуемым финалом, но... чего не пообещаешь кому угодно ради любимой женщины... К Арону я специально пришел пораньше, чтобы поговорить с Наташей наедине – некоторые детали московских встреч

не хотелось ему рассказывать. Историю с «Отпусти народ мой» и разъяснения Станислава по еврейскому вопросу обязательно расскажу Наташе, но не Арону – так задумал я поступить.

Как хороша она была с букетом моих любимых сиреневых и солнечных хризантем! А ведь уже не так молода, мать двоих детей, но по-прежнему безумно соблазнительна... Может быть, только для меня? Для идиота, придумавшего себе этот мучительный недо-стижимый фантом...

До прихода Арона я успел рассказать Наташе во всех подробностях и о событиях тех роковых суток, и о сопровождавших эти события эмоциях. Рассказал всё от момента приезда в Москву до отправки писем Арону и адмиралу. Она начала было давать оценку случившемуся, говорила мне какие-то тревожные слова о непредсказуемых последствиях, но я торопился сделать ее своей союзницей до прихода Арона.

– Давай, Наташа, расставим все точки над *i*. Они перекрывают Арону кислород. Это чисто антисемитская акция, хотя и прикрытая фиговыми листками антисионизма и прочих бредней. Не знаю, как далеко это зайдет, но света в конце туннеля не вижу. Я не могу всё прямо рассказать Арону, не могу нанести такой удар по некоторым его незыблемым иллюзиям. Раскрываю это тебе, потому что... потому что ты сильная,

и, в принципе, всё сама понимаешь...

– Спасибо за комплименты, Игорь, но, мне кажется, Арон довольно спокойно воспринял последние события и совершенно искренне передал тебе, так сказать, бразды...

– Арон идеалист... Это я сказал Станиславу, а ты и сама знаешь. Он, думаю, не вполне осознаёт масштаб этой антисемитской истерии, пытается найти рациональное в политике его, извини, поганой партии, старается закрыть глаза на очевидные уродства...

– Но что я могу...

– Я верю, Наташа, что ты можешь... Главное – ты не зарываешь голову в песок, не желаешь пребывать в мире неведения. Помоги Арону выйти из этого мира. Не знаю, как сложится судьба, но... нельзя строить реалии будущего на иллюзиях настоящего.

– У Арона весь мир вращается вокруг его работы, очень трудно убедить его, что есть что-то более важное... Вот и в случае с тобой он считает, что ты неправ, что вы с ним обязаны завершить эту разработку, что, отказавшись возглавить испытания, ты, извини за резкость, предаешь ваше общее дело.

– Это не так, Наташа... Они хотят с моей помощью заменить Арона, а если говорить без обиняков, просто устранить его и притом выполнить все свои обещания высокому начальству. Не выйдет... Я не стану

орудием этой нечистой игры... Увольте, как говорят...

– Я тебя понимаю... Наверное, сама поступила бы так же, но...

– Тогда помоги мне, Наташа, помоги убедить Арона, что это делается отнюдь не против него и нашей работы. Я боюсь, что меня он и слушать не будет, объясни ему, что я иначе не могу. Ты, наверное, не помнишь... Я как-то сказал здесь у вас, что, мол, посмотрим еще, кого они выберут – беспартийного русского или партийного еврея...

– Прекрасно помню это твое бестактное замечание, но списала его с учетом того, что ты был пьян.

– Пьян или не пьян, но я оказался прав – они выбрали меня. Но просчитались, я им не буду подыгрывать. Я сейчас трезв и прошу тебя, Наташа, помочь мне убедить Арона.

– Но ведь это мечта твоей жизни – кругосветное путешествие! Как ты можешь отказаться? Ведь другой такой возможности может и не быть.

– Нелегкий выбор, согласен... Но я понял для себя, что не смогу совместить ту мечту с позором. Есть, наверное, границы, которые не следует переступать даже ради мечты всей жизни, некие, знаешь, фундаментальные границы... Вот, например, у меня есть еще одна несбыточная мечта... Чтобы ты, Наташа...

Увлечшись фантазиями, я едва не проговорился о

самом тайном... но Наташа, к счастью, прервала меня, молчаливо приложив палец к губам, – в прихожей слышались шаги Арона...

Разговор с Ароном в его небольшом домашнем кабинете, выгороженном из спальни книжными шкафами до потолка, был тяжелым. Арон поначалу наговорил всевозможных резкостей, которые я покорно выслушал. Он безжалостно определил мои действия как предательство, напирал на то, как много нами вложено в этот проект и как глупо срывать его на завершающей стадии из-за каких-то непонятных амбиций. Настаивал, чтобы я изменил свое решение, говорил, что не сможет так быстро найти мне замену, что я ставлю его в глупое положение и т. д. и т. п. Я вяло защищался, возражая, что предательством с моей стороны было бы принять аморальное предложение начальства, что наш вклад в этот проект останется решающим при любом раскладе, что надо дать возможность довести это дело до конца тем, у кого нет никаких моральных обязательств перед ним и мной... Предложил даже кандидатуру на роль руководителя испытаний – исполнительного и толкового инженера с безупречной анкетой. Мои возражения не убедили Арона, он жестко настаивал на моем если не покаянии, то отступлении... Но чем дальше в тупик заходил наш спор, тем больше мне казалось, что Арон не хочет и

даже опасается моего отступления, что на самом-то деле он пытается своей жесткой риторикой подавить в самом себе одобрительную реакцию на мою неожиданную выходку. Не знаю, чем бы закончилась наша бесперспективная полемика, но Наташа вмешалась, как всегда, вовремя и... решительно пригласила нас к ужину.

За накрытым столом уже сидели дети – дочь Алина и сын Даниил. Кольнуло: у меня ведь тоже дочь и сын, но как это всё далеко от семейной идиллии... Замысел Наташи я разгадал сразу – спустить дело на тормозах, смягчить конфликт в теплой семейной обстановке. Это ей вполне удалось, разговор сам собой перешел на детей. Алина была молоденькой копией матери, а Даниил явно унаследовал черты отца – идеальный расклад. Когда я это заметил, Наташа сказала: «Я никогда не была такой красивой, как Алиночка», на что Арон ответил: «Зато ты теперь красива как никто». Алина счастливо улыбалась, а Даниил молча ковырял в тарелке, не проявляя ни малейшего интереса к мнению окружающих о себе. Арон рассказал, что унаследованный детьми характер прямо противоположен унаследованной ими внешности – дочь по характеру пошла в отца, а сын в мать. Алина очень чувствительна к мнению окружающих, избегает конфликтных ситуаций и не склонна к лидерству. Даниил,

напротив, решителен и задирист, верховодит в своем классе, первый в математике, но... недавно подрался, сильно побил своего одноклассника, так что родителей вызывали к директору. Наташа ходила к нему...

– Почему подрались? – спросил я.

– Дураков бить надо... до кровянки, – буркнул Даниил.

– Не все в состоянии правильно произнести нашу семейную фамилию, – деликатно объяснила Наташа.

– Ну, и что думает по поводу правильного произношения директор?

– Он, мне кажется, вообще не думает. Я его предупредила, что если он не научит своих педагогов и учеников уважительно относиться к правильной русской речи, то я побью его сама.

– Довольно непедagogичное заявление, – прокомментировал Арон.

– Вся эта антисемитская публика понимает педагогику в свете последних инструкций парторганов. Я ему прямо сказала, что рожу расцарапаю за своих детей – такую «педагогику» он, кажется, хорошо понимает, отстал пока, посмотрим...

Арон во время ужина вроде бы расслабился, помягчел. А когда я собрался уходить, говорил уже без прежней резкости, без напора, а скорее, размышлял.

– Ты полагаешь, что твой протеже сможет без тебя

довести до ума новый декодер?

– Уверен, что сможет. И потом – почему без меня? Я не отказываюсь помогать по делу... Но не мешало бы подключить Гуревича, он отлично понимает весь алгоритм. Кстати, у него получились оценки надежности системы, близкие к ожидаемым.

– Ты обдумай, Игорь, еще раз всю ситуацию. Такой возможности – обогнуть шарик больше никогда не представится. Не плюй в колодец, как говорят... Еще не поздно всё вернуть на круги своя.

– Я непременно всё обдумаю, Арон, но... сейчас хочу в отпуск.

– По твоему заявлению получается почти полтора месяца. Это совершенно исключено. Могу дать одну неделю.

– Дай две недели.

– Десять дней, не больше.

– Хорошо, и на том спасибо, – согласился я, смекнув, что десять дней с выходными – это и есть две искомые недели.

У порога мы расстались вполне дружески. Я пожимал Арону руку, а сам смотрел на Наташу. Она стояла чуть сзади, опираясь на его плечо. В ее глазах появилось нечто обнадеживающее – смесь симпатии с лукавством. Боже, как я хочу эту женщину... Знаю – «не желай жены ближнего твоего», тем более не посягай

на жену друга. Знаю, знаю...

Глава 8. Филиппинский архипелаг

На Массаве, крохотном безвестном островке Филиппинского архипелага, найти который на обычной карте можно только с помощью увеличительного стекла, Магеллан снова переживает один из великих драматических моментов своей жизни... Прежде чем самому ступить на берег, Магеллан, осторожности ради, посылает в качестве посредника своего раба Энрике, резонно полагая, что туземцы отнесутся к человеку с темной кожей доверчивей, чем к кому-либо из бородатых, диковинно одетых и вооруженных белых людей.

И тут происходит неожиданное. Болтая и крича, окружают полуголые островитяне сошедшего на берег Энрике, и вдруг невольник-малаец начинает настороженно вслушиваться. Он разобрал отдельные слова. Он понял, что эти люди говорят ему, понял, о чем они спрашивают. Много лет назад увезенный с родной земли, он теперь впервые услышал обрывки своего наречия.

Достопамятная, незабываемая минута – одна из самых великих в истории человечества: впервые за то время, что Земля вращается во вселенной,

человек, живой человек, обогнув весь шар земной, снова вернулся в родные края! Несущественно, что это ничем не приметный невольник: величие здесь не в человеке, а в его судьбе. Ибо ничтожный раб-малаец, о котором мы знаем только, что в неволе ему дали имя Энрике, тот, кого бичом с острова Суматра погнали в дальний путь и через Индию и Африку насильно привезли в Лиссабон, в Европу, – первым из мириад людей, когда-либо населявших землю, через Бразилию и Патагонию, через все моря и океаны вернулся в края, где говорят на его родном языке; мимо сотен, мимо тысяч народов, рас и племен, которые для каждого понятия по-своему слагают слово, он первый, обогнув вращающийся шар, вернулся к единственному народу с понятной ему речью.

В эту минуту Магеллану становится ясно: его цель достигнута, его дело закончено. Плывя с востока, он снова вступил в круг малайских языков, откуда двенадцать лет назад отплыл на запад; вскоре он сможет невредимым доставить невольника Энрике обратно в Малакку, где он его купил. Безразлично, произойдет ли это завтра или в более позднее время, сам он или другой вместо него достигнет заветных островов. Ведь в основном его подвиг завершился в минуту, когда впервые на вечные времена было доказано: тот, кто

неуклонно плывет по морю – вслед ли за солнцем, навстречу ли солнцу, – неизбежно вернется к месту, откуда он отплыл.

То, что в течение тысячелетий предполагали мудрейшие, то, о чем грезили ученые, теперь, благодаря отваге одного человека, стало непреложной истиной: Земля – кругла, ибо человек обогнул ее!
Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

Я зарекся оставаться в городе на время моего краткосрочного отпуска. Надо было куда-то уехать... В ящике начались непредсказуемые процессы, никто фактически не работал, и вся энергия огромного коллектива уходила на трение – перемалывание скандала, вызванного запретом на поездку Арона за границу и моим отказом заменить его. Немногие, на самом деле, понимали суть случившегося, но все видели, что адмирал, как говорили, облажался. У Шихина действительно начались неприятности – об этом я узнал от Кати. Митрофана Тимофеевича вызывали в Горком партии, потом в Министерство в Москву... Испытания «Тритона» задерживались, заказчик негодовал, Иван Николаевич потирал руки – можно было только гадать, не приложил ли он эти руки к процессу

дискредитации адмирала. Не хотелось во всём этом участвовать, надо было куда-то уехать... В профкоме предложили горящую путевку в Петергоф – там в бывших петровских конюшнях оборудовали Дом отдыха для трудящихся. Место это прелестное, прямо в парке Александрия, у знаменитой полуразрушенной еще с войны Капеллы, поблизости от бывших царских коттеджей, но... комнаты на четверых, да и к городу слишком близко. Хорошо было бы уехать на пару недель в какой-нибудь уединенный пансионат в Прибалтике. Позвонил своему влиятельному приятелю в Таллинн, но и он с пансионатом помочь не мог, однако дал адрес и телефон частной квартиры в Пярну. Так поздней осенью попал я в этот прелестный эстонский городок на берегу Рижского залива.

Роскошные песчаные пляжи были пустынные, как и огромный парк на исходе осеннего листопада – так необходимые мне тогда и, как казалось, вполне достаточные милости природы. Я наслаждался тишиной и одиночеством, в местной библиотеке взял романы эстонских классиков в переводе на русский – великолепная литература, между прочим, у этого маленького народа. Русских, а вернее – советских, здесь не любят, считают их оккупантами. Очень много обид накопилось, в ресторане могут и в обслуживании отказать под разными предлогами, если заказываешь на

русском. Но я приспособился – нашел небольшое кафе, подружился с очаровательной официанткой с певучим именем Мария Оя. Муж Марии работал в этом кафе поваром, я объяснил ему, что тоже имею определенные претензии к советской власти и на роль «окупанта» определенно не тяну, после чего проблем не было. А какие взбитые сливки подавала мне Мария Оя...

Так прошла неделя... Никакой связи с Ленинградом не было, никто не знал, куда я уехал, и это способствовало тому, чтобы еще одну неделю «в глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои». Но однажды и эта кратковременная милость природы внезапно замутилась. «Игорь, дружище! Какими судьбами...» – услышал я знакомый басок у себя за спиной на парковой дорожке. Это был мой приятель еще по аспирантским годам, его звали Рудик – уменьшительное от Рудольфа. Мы с ним познакомились в свое время на курсах повышения математической квалификации инженеров на мехмате Ленинградского университета. Однако истинные таланты Рудика лежали отнюдь не в математических науках.

Рудик был красавцем, косил под знаменитого голливудского актера Кларка Гейбла из «Унесенных ветром», для чего соорудил себе такую же, как у Гейбла, прическу, требовавшую для поддержания своей

формы и блеска значительных бриолиновых усилий. Он производил ошеломляющее впечатление как на неопытных девиц, так и на выдавших виды дам и превратил охоту на них в некий вид спорта со своими своеобразными рекордами и чемпионскими титулами... Как рекордсмен и заслуженный мастер этого вида спорта, Рудик не чурался славы и желал, чтобы о его достижениях знали окружающие. Время от времени на доске в нашей университетской аудитории, в нижнем правом ее углу, появлялся небольшой, но жирный крестик. Посвященные знали, что это знак нового спортивного успеха Рудика – он овладел очередной жертвой, указанной ему подчас наугад одним из приятелей ближнего круга. Рудик был неразборчив в выборе объектов своей охоты, но, как честный спортсмен, боролся по «гамбургскому счету», и можно было не сомневаться – он честно выполнил свою задачу, и «жертва» осталась довольной... Однажды на одной из наших вечеринок он увидел Наташу и загорелся познакомиться с ней поближе. Я знал, что означает его «поближе», знал, что Наташа вскоре будет на дне рождения своей сослуживицы – знакомой Рудика, знал, что Арон в командировке. Нечто черное и гадкое поднялось внутри меня тогда, и я намекнул Рудиду, что Наташа будет на том дне рождения одна... Пару недель ходил в мутном состоянии осознанной

подлости, с ужасом ожидая появления жирного крестика на доске. Рудик пропустил пару лекций, а затем появился в больших на пол-лица темных очках. Я его ни о чем не спрашивал, но он, конечно, понимал мой интерес и в перерыве, когда мы стояли на лестнице, снял очки. Рудик был честным спортсменом, он умел принимать поражения – под одним глазом у него сиял еще не совсем заживший фингал, а под другим виднелись следы царапин. «Она ненормальная идиотка?!» – то ли спрашивал, то ли утверждал он, обратившись ко мне без всяких объяснений. Я неопределенно пожал плечами и ушел без выражения соболезнований – мне не нужны были подробности. Главное было предельно ясно – Наташа выдержала испытание, которому я, подлец, подверг ее.

Говорят, что часто мы ненавидим того, кто вольно или невольно стал свидетелем или соучастником наших неблаговидных поступков – другими словами, проецируем на другого собственные недостатки, которые, на самом деле, ненавидим в себе. После того эпизода с Наташей я стал отдаляться от Рудика. Он тоже несколько разочаровался во мне, когда я отказался участвовать с ним в групповом сексе по формулам 2×1 и 2×2 с переменной партнеров... Рудика почему-то задело и обидело мое замечание о том, что подобные формулы и есть тот самый пресловутый

разврат в грязном смысле этого слова и что я предпочитаю заниматься «этим» в интимной обстановке. Короче, после окончания курсов мы больше никогда не встречались, хотя, признаюсь, Рудик был мне интересен маргинальным проявлением тех языческих инстинктов, которые, чего греха таить, бурлили тогда и во мне. Но всё же для меня существовала дистанция между инстинктами и их реализацией.

И вот, надо же, встретились здесь, в парке на берегу Балтики. Рудик внешне изменился не к лучшему, располнел, но изрядно поредевшую причёску «а-ля Гейбл» всё ещё поддерживал. Оказалось, что он отдыхает в местном санатории вместе... со своей женой. Я попытался пошутить, что, вероятно, «не со своей», но Рудик мою иронию не принял и пригласил зайти к ним и познакомиться с его женой, которая на сносях. Вот так история... Чего стоят мои сентенции о разврате и прочих подобных материях, если он, Рудик, женат и вскоре будет иметь ребенка, а я... Под благовидным предлогом я отказался от приглашения посетить санаторий, мы пошли в мое кафе к Марии Оя, посидели, выпили вина... Рудик явно собирался продолжить общение со мной, но, к счастью, они с женой на следующий день уезжали в Ленинград, и я понадеялся, что продолжение не последует – увы, напрасно... При прощании он вдруг спросил: «Как пожива-

ет Наташа? Ну, та жидовочка... помнишь? Ты вроде бы работаешь с ее мужем». Я ответил: «Если ты имеешь в виду Наташу Кацеленбойген, то она в отличной форме, но позволь заметить – Наташа по национальности русская, а ее муж Арон по национальности еврей». Рудик понял, что я не поддерживаю его терминологию: «Ну, извини, если не так выразился...» На этом мы попрощались довольно холодно...

Откуда это в нашем народе – неистребимый, подкорковый антисемитизм? Ну, про стародавние времена, еще при царях – в большинстве антисемитах, объясняют, что, мол, попы православные всучивали доверчивому народу байку про Господа нашего Иисуса Христа, которого зверски замучили до смерти кровавыми евреями. Ну, байки, конечно, дело занимательное, но народ-то не дурак – как он мог поверить в этот бред поповский? Конечно – с кем поведешься, от того и наберешься, особенно если ты темный, забитый и необразованный... Но вот что интересно: российские интеллектуалы, элита просвещенная, «достоговольные» писатели, гоголи-моголи всякие подчас покруче темного мужика оказались в еврейском вопросе – паноптикум какой-то антисемитский. И пошла погромная охотнорядская мразь гулять по России, вызывая необъяснимую, алогичную ненависть к евреям:

Над толпой откуда-то сбоку
бабий визг взлетел и пропал.
Образ многострадального Бога
тащит непротрезвевший амбал.
Я не слышал, о чем говорили...
Только плыл над сопеньем рядов
Лик еврейки Девы Марии
Рядом с лозунгом: «Бей жидов!»

Мне эти строки запомнились, я их даже записал, однако не помню, когда и кто из наших классиков это сочинил – очень выразительно получилось.

Но теперь-то времена другие... Теперь у нас все сплошь атеисты. Евангельские истории никто всерьез не воспринимает, религиозное юдофобство, казалось бы, давно изжито, да к тому же три поколения советских людей вроде бы с молодых ногтей воспитаны «в духе интернационализма». Вместе с евреями народ русский пережил тяжелейшую войну с немецким фашизмом, и, наверное, евреи и русские пострадали в той войне больше кого бы то ни было... Ожидалось многими: после той великой победы над нацизмом, после Нюрнбергского процесса от антисемитизма и следов у нас не останется. Увы и ах – товарищ Сталин вместе с другим германским барахлом перетащил в Союз нацистский расовый антисемитизм, вероятно, в качестве военных репараций. Сталинские «сподвиж-

ники и продолжатели» построили в Совке любопытную хитроумную систему дискриминации евреев, в которой слово «еврей» не только не фигурировало, но даже считалось неприличным. Все знали, как функционирует эта система, но страх перед всемогущим партийным монстром повязал всех обетом молчания. Молчание это было, однако, зловещим... Все народы Советского Союза, все нации от А до Я – от абхазов до якутов, даже небольшие народности Севера, имели свою национальную историю и культуру, все, кроме евреев. Скудость информации о евреях компенсировалась дворовым ликбезом, где любопытным популярно объясняли, что евреи – это жида. Но народ-то наш не дурак, как он мог повестись на такое фуффло? Конечно, у каждого антисемита есть свое объяснение. Вот, например, один мой знакомый не любит евреев, потому что его сосед-еврей слишком долго сидит по утрам в коммунальном сортире... Это, конечно, весо-мо... Но народ-то наш не дурак – неужели он верит, что мы живем в коммуналках из-за евреев? Нет, здесь что-то другое, здесь что-то вроде психического заболевания на генетической основе...

Психически здоровых у нас, слава богу, тоже немало, и каждый из них – личность, а не особь из толпы... Наташа – личность! У нас с ней не так уж много похожего в характере, но кое-что коррелирует жестко,

вероятно, на генетическом уровне. Например, неприязнь к антисемитам. Она как-то сказала: «Некоторые думают, что я защищаю евреев, потому что у меня муж еврей. Это неправда... Я сама такая, я такая от природы...» Она действительно проявляет естественное для интеллигента яростное неприятие юдофобства в любых его проявлениях, в чем я мог убедиться неоднократно...

Как-то, помню, случился очередной юбилей образования СССР, ну, типа – «Славься отечество наше свободное – дружбы народов надежный оплот...». В нашем ящике кто-то в парткоме придумал оформить по этому поводу праздничный стенд с портретами наших выдающихся сотрудников разных национальностей. Стенд в парадном обрамлении выставили на видном месте у входа в техническую библиотеку. Под портретами крупно написали Ф.И.О. персонажа, его национальность, должность и т. д. Например, «Филимонов Юрий Васильевич – русский, к.т.н., зав. лабораторией», «Литвинчук Леонид Александрович – украинец, к.т.н., главный конструктор проекта», «Мурджикнели Георгий Георгиевич – грузин, начальник планового отдела», «Дагиров Гирей Исламович – дагестанец, начальник опытного производства» и т. д. и т. п. Под портретом Арона было написано «Кацеленбойген Арон Моисеевич – доктор технических наук, началь-

ник отдела».

Я увидел эту мерзопакость первым, пожал плечами, сплюнул... но рассказал Арону. Он не проявил никакого интереса к данному сюжету, но... поведал о нем Наташе. Та позвонила мне в ярости... Она просила пойти к начальству и потребовать разъяснений. «Если в нашей стране неприлично быть евреем, пусть так и напишут на своем поганом стенде», – говорила она. Мне очень не хотелось общаться по этому вопросу с начальством, и я пытался отговорить ее: «Вникни, с кем ты собираешься дискутировать национальный вопрос... Стенд готовили рядовые партийные холуи, они применяют слово „еврей“ исключительно в негативном смысле, их так воспитали. Холуи убрали это слово из подписи под портретом Арона, чтобы показать, как глубоко они его уважают, несмотря на то что он еврей. Самым сложным будет объяснить исполнителям, что кто-то хочет быть евреем и что кого-то может обидеть отсутствие упоминания о его еврействе». Для убедительности добавил, что в недавно изданной Академией наук книжке с подробной биографией Альберта Эйнштейна нет упоминаний о его еврейском происхождении. «Как видишь, Арон попал в неплохую компанию», – пытался я отшутиться, но Наташу мои доводы не убедили. Она настаивала: «Либо они вставят в текст национальность Арона, либо за-

мажут национальности всех остальных. В противном случае я обращусь в более высокие инстанции...»

Что было делать – я пошел к секретарю парткома Ивану Николаевичу. Ваня сделал большие глаза – он якобы впервые слышит об этом стенде. Я сказал: «Ваня, разберись, пожалуйста, какие долбоебы делали стенд. Тебе лично нужен скандал? Пусть добавят только одно слово „еврей“ под портретом Арона, и всё будет улажено... Иначе информация пойдет выше, причем отнюдь не от меня и не от Арона, но пойдет, поверь мне». Ваня, было видно, озабочился и заверил меня, что разберется с этим вопросом сегодня же. Следующим утром я первым делом пошел в библиотеку, чтобы убедиться, что в стенде ничего не изменилось – так я предполагал. Но действительность оказалась причудливее моих ожиданий – стенд просто исчез, и никто из окружающих не знал, кто и когда его похитил и где спрятал! Есть стенд – есть проблема; нет стенда – нет проблемы! Я тут же пошел в партком, но секретаря парткома на месте не оказалось, а Екатерина Васильевна сказала, что никаких распоряжений от Ивана Николаевича по поводу стенда не поступало и что она узнала о его исчезновении от меня. «А был ли стенд, Игорь Алексеевич?» – спросила она с женским лукавством. Я доложил об этом неожиданном повороте дела Наташе. Она подвела итог: «Анти-

семиты, подонки, трусы... Еще, наверное, мужчинами себя считают...»

Вот такая она, Наташа!

Еще запомнился случай в Павловском парке. Как-то осенью мы с Ароном и Наташей поехали в Павловск полюбоваться здешним уникальным по красоте багряно-золотым листопадом. На лужайке перед дворцом была развернута небольшая сувенирная ярмарка. Пока мы с Наташей обсуждали творение Чарльза Камерона в стиле классицизма, Арон отошел к небольшому столу со значками, вазочками и тарелками под «Гжель» и другими безделушками. Там торговал, как я потом разглядел, тощий жидкобородый молодец с какими-то аляповатыми нашивками вместо погон, явно косивший под казака. Арон, мы видели, о чем-то говорил с ним недолго, а потом вернулся какой-то понурый... «Этот тип, видите ли, не продает ничего... жидам... то есть евреям...» – Арон пытался произнести фразу с иронией, но это у него не получилось. Я, тугодум, еще не принял решения о том, как поступать в данном случае, а Наташа уже стремительно двинулась в направлении «казака». Дальнейшее было сокрушительным – она взялась двумя руками за край стола и резким движением вверх опрокинула его, так что тарелки, значки и прочее барахло посыпалось на землю, звеня и разбиваясь... Парень

заорал, замахал руками и попытался ударить Наташу. Мы с Ароном бросились ей на помощь, я схватил продавца за ворот и проскрежетал: «Если ты, ублюдок грёбанный, немедленно не уберешься отсюда вместе со своим барахлом, я тебя, недобитка фашистского, упеку за антисоветскую пропаганду в общественном месте лет на пять по статье...» Сжимая ворот его френча, я назвал наугад номер какой-то мифической статьи уголовного кодекса. Это подействовало, «казак» заткнулся и быстро стал собирать в мешок остатки своего товара, а мы поспешили уйти... Поездка, конечно, была испорчена, но я был восхищен Наташиной решительностью.

Вот такая она, Наташа!

Мы, однако, отклонились от темы моего отпуска в Пярну, впрочем, отклонились незначительно, потому что именно здесь, в Пярну, то тайное, что питал я к Наташе, внезапно раскрылось, стянулось в роковом узле и... развязалось!

Я еще не успел стряхнуть с себя неприятный осадок от общения с Рудиком, как получил от него телеграмму. Ее принесла во время обеда Мария Оя – телеграмма была отправлена из Ленинграда на мое имя по адресу кафе. Вот ее текст: «Наташа прибывает завтра в Пярну на конференцию по гриппу тчк Удачи тчк Рудольф». Вот оно как – Рудик всё понял и ре-

шил вернуть мне свой долг. По-видимому, он располагает точной информацией – я видел в городе объявление о Всесоюзной конференции по гриппу, а Наташа работает биологом в Институте гриппа у академика Смородинцева. Нет сомнений, что всё достоверно, но... как отвратительно это напоминание Рудика о моем давнем аналогичном непристойном подарке ему. Первое движение было – порвать телеграмму и немедленно уехать из Пярну, чтобы не уподобляться Рудольфу, а еще в большей степени – прежнему самому себе, тому, кто когда-то снабдил Рудика подобной информацией. Но, с другой стороны, это же трусливое бегство... бегство от самого себя – поступок безвольный, малодушный. Я никуда не уехал, я остался...

Не составило особого труда узнать, где поселили участников конференции, и вечером следующего дня я стоял с традиционным букетом хризантем у дверей Наташиного номера в гостинице «Пярну». Она удивилась моему появлению больше, чем я ожидал, и мне пришлось сочинить целую легенду, в которой присутствовали и моя интуиция, и замысел самого Провидения, и прочие нематериальные силы... От предложения пойти поужинать в ресторане Наташа отказалась, сославшись на позднее время. В итоге мы остались в ее номере, долго сидели друг напротив друга за

небольшим письменным столом с гостиничными брошюрами и телевизором. Разговор наш помню смутно, а дневниковых записей о том вечере, конечно, не осталось. Я рассказывал о своем одиноком местном ничегонеделании, которое скрашивалось эстонскими классиками, а она – о своем докладе на конференции и о последних новостях на службе у Арона. Он, по ее словам, нервничает по поводу происходящего в ящике – вопрос с испытаниями нашей разработки завис, начальство занято проблемами своего выживания, адмирал большую часть времени проводит в Москве в попытках отстоять свою позицию... Наташа посмотрела на часы: «Извини, Игорь, но уже поздно, а я хотела бы еще раз просмотреть тезисы завтрашнего доклада...» Я вдруг подумал, что совсем уж глупо уйти сейчас просто так: «Я, наверное, должен сказать тебе, Наташа, именно сегодня то... то, что раньше не решался сказать и... вряд ли решусь в другой раз...» Она прервала меня и ответила очень убедительно, хорошо ответила, так, что я запомнил это дословно:

«Ты ничего никому не должен, Игорь. Я всё... или, скажем, почти всё знаю, чувствую... И кое-что понимаю в этой жизни... Не надо говорить того, что нарушит равновесие наших с тобой отношений и твоих отношений с Ароном, не надо

высказываний, о которых и ты, и я будем потом сожалеть. Помнишь Тютчева...

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...

Прошу тебя, Игорь, не „изрекай“ того, что поставит и тебя, и меня в неловкое положение...»

То, что произошло после тютчевских строк, оставило в моей памяти сумбурный след, который трудно воспроизвести словами...

Внезапно погас свет... Наташа вскрикнула от неожиданности, встала и отошла в другой конец комнаты – я видел контуры ее фигуры на фоне окна, слабо освещенного уличным фонарем. Кажется, тогда у меня всё-таки мелькнула мысль о Провидении, дающем мне шанс, но мысль мелькнувшая есть та же ложь... Темнота подчас радикально меняет ситуацию, в темноте можно сказать и сделать то, что при свете абсолютно невозможно и запрещено. Темнота затушевывает неловкость и скрывает стыдную правду, она ослабляет рациональность зримого и усиливает вседозволенность осязаемого... Я подошел к Наташе и безмолвно обнял ее, она не сопротивлялась, ее руки мягко легли на мою голову... Я говорил какие-то

слова, торопился, чтобы успеть сказать: «Конечно, „мысль изреченная есть ложь“, хотя бы потому, что слова бессильны выразить то, „чем ты живешь“, но я буду презирать себя, если не скажу сегодня, что люблю тебя, что обожаю тебя с того момента, как увидел впервые... Знаю, что ты знаешь это, но не могу не сказать... Сказать просто так, без всяких претензий, надежд и иллюзий... Прости меня за это...»

Внезапно ярко вспыхнула люстра, мгновенно осветив неловкость и ненужность происходящего, в точном соответствии со знаменитой тютчевской фразой. Наташа быстрее меня овладела собой и почти спокойно, как будто ничего не было, сказала, что мне действительно пора уходить. Точку в этом сюжете поставил телефонный звонок. Наташа сняла трубку, кого-то выслушала и ответила: «Конечно, конечно...» Она объяснила, что звонила коридорная и предупредила: время пребывания посторонних в гостинице истекло. Я проговорил какие-то нелепые извинения и ушел.

Коридорная видела, что я пришел с букетом цветов. Оперуполномоченный на днях инструктировал ее — цветы в гостинице являются признаком аморального поведения. Гордая высокой начальственной ролью строгой блюстительницы нравственности советских людей, она кивнула мне понимающе...

В программе конференции Наташин доклад был назначен на вторую половину следующего дня. Когда я пришел в фойе зала заседаний, сидевшая за регистрационным столом девушка вопросительно посмотрела на меня – у меня не было значка участника конференции. «Я хотел бы послушать доклад Кацеленбойген о влиянии интерферона на иммунную систему», – было мое объяснение. Девушка глянула в свой блокнот и сказала: «Натаалья Ивановна попросила перенести ее доклад на утреннее заседание... Она уехала автобусом в Таллинн сразу же после обсуждения».

В каком-то сумеречном состоянии я вернулся на квартиру, собрал вещи, положил на стол ключи, а под вазочку на столе – деньги в счет оплаты оставшихся дней, захлопнул дверь, завел своего «Жигуленка» и уехал в Ленинград. Наташа покинула конференцию из-за меня – какая глупая, какая отвратительная история... Наташа покинула конференцию из-за меня? Почему? Чтобы избежать еще одной встречи со мной? Почему? Она боится меня или... себя? В первом случае я – свинья, во втором – идиот...

Всю дорогу до Таллина, а это заняло почти три часа, я терзал сам себя. Что я скажу Арону? Если Наташа расскажет Арону о встрече со мной в Пярну, то идиотизмом было бы не упомянуть об этом в разго-

воре с ним... А если не расскажет? Тогда, упомянув Арону об этом, я подставляю Наташу... Но самым чувствительным было бы пытаться согласовывать с Наташей наши действия – как будто мы с ней в заговоре против Арона. Какая пакостная ситуация... Настроение было препоганое, но, въезжая в город, я сказал себе – хватит... Пошел в ресторан и не торопясь поужинал. Из Таллина в Ленинград ехал уже ночью, в темноте, разорванной светом фар, а темнота, как известно, умиротворяет... Подъезжая поутру к городу, я совсем успокоился – в конце концов, этот гордиев узел разрублен и ничего, кроме раскрытия моей жгучей тайны, которая была для Наташи секретом Полишинеля, собственно говоря, не случилось...

Сэр Томас встретил меня недовольным урчанием – он неодобрительно относился к моим отлучкам, а еще больше к тому, что я перепоручал свои прямые обязанности по его обслуживанию посторонним лицам из соседней квартиры. Позвонил на работу Кате, попросил ее перезвонить мне попозже вечером, потом выключил телефон, постелил тахту и уснул почти мгновенно. Моей последней мыслью было: Наташа ничего Арону не расскажет...

Глава 9. Остров Себу

После трех дней благополучного плавания по морской глади 7 апреля 1521 года флотилия приближается к острову Себу... С первого же взгляда на гавань Магеллан убеждается, что здесь он будет иметь дело с раджей или владыкой более высокого разряда и большей культуры... Он приказывает дать приветственный залп из орудий – нужно с самого начала произвести надлежащее впечатление, внушить, что чужеземцы повелевают громом и молнией... В следующее воскресенье закатным светом блистает счастье Магеллана – испанцы празднуют величайшее свое торжество. На базарной площади острова воздвигнут пышный балдахин; под ним на доставленных с кораблей коврах стоят два обитых бархатом кресла – одно для Магеллана, другое для раджи. Перед балдахином сооружен видный издалика алтарь, вокруг которого сгрудились тысячи темнокожих людей в ожидании обещанного зрелища. Магеллан инсценирует свое появление с нарочитой, оперной пышностью. Сорок воинов в полном вооружении выступают впереди него, за ними знаменосец, высоко вздымающий шелковое знамя императора Карла, врученное адмиралу в севильском

соборе... затем размеренно, спокойно, величаво шествует Магеллан в окружении своих офицеров. Как только он вступает на берег, с кораблей гремит пушечный залп. Устрашенные салютом зрители пускаются наутек, но так как раджа, которому заранее предусмотрительно сообщили об этом раскате грома, остается невозмутимо сидеть на своем кресле, то они спешат назад и с восторженным изумлением следят за тем, как на площади водружается исполинский крест и их повелитель вместе с наследником престола и многими другими, низко склонив голову, принимает «святое крещение»...

Весть о чудесных пришельцах быстро распространяется. На следующий же день обитатели других островов толпами устремляются на Себу; еще несколько дней, и на этих островах не останется ни одного царька, который не присягнул бы Испании и не склонил голову перед святым кропилом.

Более удачно не могло завершиться предприятие Магеллана. Он достиг всего. Пролив найден, другой конец Земли нащупан. Новые богатейшие острова вручены испанской короне, несметное множество языческих душ – христианскому Богу...

Господь помог рабу своему. Он вывел его из тягчайших испытаний, горше которых не перенес ни один человек. Беспредельно проникся теперь Магеллан

почти религиозным чувством уверенности. Какие мытарства могут еще предстоять ему после мытарств уже перенесенных, что еще может подорвать его дело после этой чудесной победы? Смиренная и чудодейственная вера в успех всего, что он предпримет во славу Господа и своего короля, наполняет его.

И эта вера станет его роком.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

Адмирала Митрофана Тимофеевича Шихина уволили накануне Нового года, одновременно Генеральным директором предприятия был назначен Секретарь парткома Иван Николаевич Коробов. Митрофан Тимофеевич бесславно заканчивал свою многолетнюю и многотрудную начальственную карьеру; Иван Николаевич наконец-то возносился на такую номенклатурную вершину, с которой открывались немыслимого величия карьерные дали. Митрофан Тимофеевич сполна познал и бренность служения режиму, который как вознес, так и сбросил, и эфемерность милостей этого режима; Иван Николаевич, напротив, приготовился к новому рывку в служении режиму, открывшему ему свои обильные закрома – он теперь хорошо

знал, что такое милости природы и как их взять.

Некоторые детали процедуры смены начальства я узнал, конечно же, от Екатерины Васильевны. В то время Катя зачастила ко мне на квартиру в рабочее время, вынуждая придумывать совещания у смежников, поиски материалов в библиотеке Академии наук и прочие благоглупости... С неожиданной откровенностью она говорила мне о своих семейных проблемах: Сева начал выпивать, и это обострило его и без того тяжелые отношения с тещей. В те дни Катя сама коснулась прежде запретной темы – нашего сына, которого я не имел права даже видеть. Витя через год должен был пойти в первый класс. «У него глаза голубовато-серые, как у тебя, – вдруг сказала она, а потом добавила: – Слава богу, у меня тоже серые, а то ведь у Севы карие». Я спросил: «Мама знает?...» Катя ответила куда-то в сторону, что нет, не знает, и заторопилась – Иван Николаевич просил срочно подготовить личные дела своих возможных преемников в парткоме. Я подумал, что мне тоже не следовало бы злоупотреблять хорошим отношением Арона. Впрочем, на фоне царившего в то время в ящике безваттного и неконструктивного всеобщего разгильдяйства наши с Катеньшей «академические занятия» проходили бурно и продуктивно – во всяком случае, я всё время был в курсе текущих дел на вершине институт-

ского Олимпа. Арон удивлялся моей осведомленности, но делал вид, что ничего не знает об источнике, — я, конечно, был благодарен ему за то, что он смотрел сквозь пальцы на мои отлучки, после которых степень информационной энтропии «неожиданно» и резко снижалась...

Адмирала сняли с должности с тяжеловесной формулировкой — «за срыв установленного правительством срока испытаний оборонного изделия, явившийся следствием допущенных ошибок в кадровой политике и организации подготовки испытаний», то есть в переводе с номенклатурного на русский — за назначение руководителями испытаний заведомо невыездного еврея Кацеленбойгена и безответственного беспартийного Уварова. Впрочем, мы с Ароном были, скорее, поводом, а не причиной увольнения адмирала, — лишь всем видимой вершиной айсберга. Как рассказывала мне Катя, в райкоме и горкоме давно недовольны Шихиным — он, по их высокопартийному мнению, недостаточно управляем и «много о себе воображает», полагаясь на свои московские связи.

Взять хотя бы эту историю с картошкой... Инструктор райкома, молодая ответственная дама «себе на уме», звонит Шихину и вежливо ему предлагает выделить дополнительных сотрудников на уборку картофеля, который вот-вот сгниет на ленинградских по-

лях под проливным дождем. А Митрофан Тимофеевич вместо того, чтобы немедленно приступить к исполнению ответственного задания партии, которая, как известно, есть наш ум и всё прочее, приводит саботажные отговорки и позволяет себе шуточки типа «бросим на полигонах стрелять, пойдем там картошку собирать»... Да еще вопросы провокационные начинает задавать – мол, а кто будет обороной родины заниматься? Ситуация далее обостряется тем пикантным обстоятельством, что райкомовская милая дамочка прежде работала комсомольским секретарем у Митрофана Тимофеевича и, согласно злоязычным сплетням, не иначе как благодаря его отнюдь не бескорыстной протекции очутилась в самом Райкоме. В итоге адмирал разговаривает с инструктором Райкома руководящей партии в грубовато-ернической форме, позволяя себе намеки на прошлые совместные радости... А на мягкие замечания о недопонимании им важности своевременного сбора картошки на данном этапе развития социалистического сельского хозяйства отвечает бесцеремонно, что он своих матросов бросал на фронт борьбы за картошку еще в те далекие времена, когда дама еще под стол пешком ходила. Короче: дама после разговора с адмиралом идет к своему начальнику, который есть сам Первый Секретарь райкома КПСС, и докладывает, что комму-

нист товарищ Шихин не понимает политику партии и, более того, противопоставляет ей, партии, свои узковедомственные интересы. Секретарь райкома вызывает на ковер Секретаря парткома предприятия Ивана Николаевича, а тот окончательно топит Митрофана Тимофеевича – дескать, он, И. Н. Коробов, лично и неоднократно указывал Генеральному на важность борьбы за выполнение плана по сбору картофеля, равно как и на то серьезнейшее обстоятельство, что трудовой энтузиазм научных сотрудников и инженеров предприятия на совхозных и колхозных полях нужно и вполне можно совместить с выполнением и перевыполнением планов по разработке новейших образцов техники для обороны страны! После этого Первый Секретарь райкома звонит Второму Секретарю горкома с жалобой на систематическое игнорирование коммунистом Шихиным партийных распоряжений, и Секретарь горкома проставляет в соответствующей графе личного дела номенклатурного работника М. Т. Шихина очередную галочку с указанием даты и сути поступившей жалобы, чтобы потом, когда дело на этого «неприкасаемого и непотопляемого» вполне созреет, никто не обвинил бы его, Секретаря горкома, в отсутствии бдительности...

Неужели адмирал не понимал, что гребет против течения? Митрофан Тимофеевич принадлежал к по-

слевоенной когорте партийцев-хозяйственников высшего уровня, от которых зависели реальные проекты и фактическая реализация производственных планов страны – они считали себя непотопляемыми броненосцами, на палубах которых держится всё остальное, включая всевозможные идеологические надстройки. Партия, конечно, самое-самое главное! Но парткомы, райкомы и прочее – это всё, с точки зрения «броненосцев», нужно по преимуществу для партсобраний, политсеминаров, стенгазет, партвызисаний и первомайских демонстраций трудящихся, а к реальным производственным делам всё это касательства не имеет... Ошиблись, однако, митрофаны тимофеевичи, недооценили партию, прозевали тот исторический момент, когда она решила всё под себя подмять, в том числе и замшелых «броненосцев». Когда Митрофан Тимофеевич это понял и оценил масштаб грозящих ему неприятностей, было поздно – материал на него уже ушел в соответствующие московские инстанции и вышел за рамки местных интриг. «Врагу не сдастся наш гордый „Варяг“» – адмирал поехал в Москву, где у него были высокопоставленные приятели на самой Старой площади. Узнав от них о скверном состоянии своих дел, он решил пойти ва-банк и попросил приятелей организовать ему встречу с самим Генеральным секретарем ЦК КПСС. Де-

ло в том, что во время войны Митрофан Тимофеевич, будучи политруком на Черноморском флоте, пересекался с будущим Генсеком – тоже политруком – на Малой земле, а потом даже оказался свидетелем шалостей последнего с машинистками и связистками в штабе армии, так что после войны они некоторое время обменивались веселыми дружескими поздравительными открытками ко Дню Победы и 7 ноября. Короче говоря, Митрофан Тимофеевич рассчитывал на содействие своего фронтового приятеля, ныне ставшего трижды Героем Советского Союза и «выдающимся деятелем мирового коммунистического движения». Он несколько раз возвращался в Москву, подолгу сидел в приемных своих бывших приятелей, которые, в конце концов, прямо сказали, что Генсек не может его принять по причине большой занятости – это был для адмирала окончательный и скандальный отлуп.

Роль Ивана Николаевича в падении адмирала прописывалась неотчетливо – Екатерина Васильевна говорила об этом неохотно. Конечно, на уровне местных партийных властей Ваня сделал всё возможное для затопления «броненосца», но, когда дело переместилось в высшие московские сферы, он вел себя осмотрительно, со своим мнением не высывался, давая возможность всей истории самой прийти к

почти очевидному финалу – назначению Ивана Николаевича Коробова на должность Генерального директора. Впрочем, подозреваю, что Ванина жена Валентина Андреевна приложила ручку к этому делу и через своих московских покровителей из органов содействовала созданию желательного для Вани антипартийного имиджа адмирала. Такой имидж, конечно, абсолютно не соответствовал действительности. Но кого интересует правда, справедливость и прочие абстрактные материи в номенклатурном клубке змей?

Последней акцией «тонущего броненосца» был приказ о передаче испытаний «Тритона» в другой отдел. Арон очень переживал по этому поводу, называл это преступным самодурством, но... почему-то не предпринял никаких ответных действий. Теперь-то понятно почему, но об этом потом... Что касается меня, то я, соглашаясь с оценкой Арона, вместе с тем был доволен таким развитием событий. Я давно уже понял, что нам с Ароном не следует сверлить дырки в парадных пиджаках, ибо награды ждут не нас в полном соответствии со знаменитой советской формулой последствий крупного государственного проекта – «наказание невиновных, награждение непричастных». В конце концов, мы, разработчики этой новой системы, свою задачу решили, выше такого творческого достижения еще никто не поднимался, а плода-

ми этой разработки, ясное дело, будет позволено воспользоваться не нам – ведь мы в немилости у природы... Я не испытывал ни зависти, ни антипатии к тем, которые «в милости» и вследствие этого вскоре отправятся в кругосветное плавание вместо нас с Ароном, – равнодушие ко всему происходящему овладело мной.

Руководителем испытаний «Тритона» на просторах мирового океана был назначен мой приятель Артур Олегович Лановой – помните, тот, кто подарил мне в свое время монгольскую газету «СОЦИАЛИСТЕ ХУДО АЖ АХУЙ». Артур Олегович приходил к Арону Моисеевичу, в присутствии меня и Гуревича деликатно оправдывался: он никакого отношения к подготовке приказа Шихина не имеет, сожалеет о таком повороте дела, тем более что из-за этого откладывается защита его докторской диссертации, но... ничего не поделаешь – он вынужден подчиниться приказу начальства и рассчитывает на наше содействие... Арон обещал Артуру помощь, сказал, кивнув на нас с Валерием, что Уваров и Гуревич помогут по всем вопросам, даже утешал Артура, что, мол, докторская диссертация только выиграет от его участия в столь важных испытаниях – в общем, проявлял евангельское всепрощение и смирение. Мы с Валерием молчали. Когда Артур ушел, Арон сказал с мрачным видом: «Ну,

что молчите? Не вздумайте саботировать помощь Артуру Олеговичу... Мы заинтересованы, чтобы испытания прошли успешно». Гуревич промолчал, а я ответил: «Не собираюсь ничего саботировать, но и надрываться ради них не буду. Пусть сами разбираются в технике, которую согласились испытывать. Кстати, чем глубже самостоятельно вникнут в алгоритмы работы системы, тем больше шансов на успех испытаний. Придется начальникам еще малость подождать — сами виноваты».

Никаких торжественных собраний по поводу ухода Митрофана Тимофеевича на «заслуженный отдых» не проводилось. «Вверенное ему предприятие», как любил говорить адмирал, было теперь на плохом счету у начальства, которому подвернулся удобный случай свалить все неудачи на бывшего Генерального директора. Никто из руководства не желал хотя бы поблагодарить новоявленного пенсионера за многолетнюю службу — традиционное совковое хамство. Митрофан Тимофеевич покинул свой кабинет незаметно и словно исчез из жизни. Арон рассказывал потом, что однажды случайно встретил адмирала — осунувшегося и какого-то пришибленного — в коридоре Дома ученых. Бросился к нему, обнял за плечи: «Митрофан Тимофеевич, здравствуйте! Как вы?» Адмирал вяло ответил: «Спасибо, Арон Моисеевич, что признали» —

и мелко заторопился вдоль стеночки... Митрофан Тимофеевич был из непригодных для пенсионного существования – оказавшись не у дел, такие быстро хиреют... Рассказывали, что он в скором времени умер.

Иван Николаевич въехал в кабинет Генерального директора без помпы, так же тихо, как Митрофан Тимофеевич из него выехал, даже мебель не поменял, как это обычно принято у начальства. Приказы бывшего изменять не спешил, никого не стал увольнять или перемещать, даже адмиральскую секретаршу Нину Ивановну оставил при себе, а Екатерину Васильевну – при парткоме. Вообще демонстрировал новый стиль руководства, при котором абсолютная диктатура партии якобы сочетается с демократичной поддержкой творческой инициативы сотрудников. На презентацию нового Генерального директора из Москвы приехал заместитель министра. Он говорил, что разработка и внедрение ряда образцов новой техники непозволительно задерживаются, что многие изделия предприятия не соответствуют современным требованиям обороны страны, а «некоторые разработки, чего греха таить, отстают по своему техническому уровню от зарубежных образцов». Замминистра завершил свою речь мощным аккордом: «Товарищи, министерство намеренно сосредоточило под началом вашего Генерального директора огромный

творческий и производственный коллектив, насчитывающий вместе со смежниками десятки тысяч сотрудников – это большое доверие, но и серьезная ответственность. Партия и правительство ожидают от вашего коллектива неукоснительного выполнения в срок производственных планов, решительного преодоления отставания в тех областях оборонной техники, которые вверены вам и лично вашему новому Генеральному директору Ивану Николаевич Коробову». Ваня в своей «инаугурационной» речи заявил, что коллектив предприятия вполне способен не просто преодолеть имеющееся отставание в разработке новых образцов оборонной техники, но и совершить решительный прорыв – достигнуть показателей, еще неизвестных в мировой технике. Слово «прорыв» Ваня повторил несколько раз в словесных сочетаниях, включавших всевозможные упоминания партии и правительства, – он явно обозначал этим ключевым словом свою новую техническую и партийную политику на предприятии.

Я слушал вполуха все эти возвышенные заклинания, а сам думал, что немногим в зале известна поразительная по своему драматизму и удивительная во всех отношениях история темного деревенского парнишки, топтавшего когда-то грязь деревни Щелино привязанными к валенкам старыми галошами,

а ныне ставшего Генеральным директором крупнейшего Научно-производственного объединения общего приборостроения – властителем многотысячного коллектива, важным начальником, которому личный шофер подает по утрам сверкающий никелем роскошный черный лимузин «Чайка». Это сюжет из сказочных русских былин или воплощение знаменитой американской мечты? Американская мечта – «сделать самого себя», то есть самостоятельно раскрыть свой талант, добиться успеха и процветания в жизни путем упорного, сколь угодно тяжелого труда... Разве это не есть путь восхождения Ивана Николаевича? Что-то, однако, мешало принять в данном случае модель «американской мечты». Где здесь особый талант... какая такая самостоятельность, да и «тяжелый труд» как-то не рифмовался с Ваниной партийной карьерой... Успех, правда, налицо... Сумеет ли Ваня развить его или хотя бы удержать? Знаю – у него нет технических идей для заявленного во всеуслышание «прорыва», но, может быть, он сумеет собрать талантливую команду с идеями... Скорее всего, у него ничего с «прорывом» не получится – уровень не тот у нашей отечественной микроэлектроники. А вот рывок вверх, в Москву, в Министерство или, бери выше, в ЦК КПСС для Вани вполне реален и предсказуем, но только сделать этот рывок следует до провала с «про-

рывом» – на гребне успеха методом «ударной возгонки» взойти на такую вершину, где «милости природы» ничем не ограничены и никакой провал уже не грозит...

В те зимние месяцы после вступления в должность Иван Николаевич, как казалось, половину времени проводил в Москве. Катя рассказывала мне некоторые подробности, но они неинтересные, – Ваня укреплял свои позиции в министерстве, в военно-промышленной комиссии Совмина, в высших партийных органах, готовил поддержку своим «наполеоновским планам», даже якобы был принят самим Министром обороны. Подозреваю, что весь этот сценарий тщательно проработала сама Валентина Андреевна – ее рука просматривалась во многих эпизодах. Хотя, с другой стороны, было видно, что Иван Николаевич приобрел свою собственную партийную хватку и что его зависимость от направляющих инструкций многоопытной жены заметно ослабела.

К весне Иван Николаевич достаточно укрепился и был готов к некоторым решительным действиям. Всё началось с двух сенсационных событий. Во-первых, секретарем парткома предприятия был назначен Илья Яковлевич – бывший помощник Ивана Николаевича; во-вторых, Валентина Андреевна добровольно покинула пост начальника Первого отдела и уволи-

лась «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу». Время, когда евреи становились партийными начальниками, давно уже кануло в Лету, и назначением Ильи Яковлевича наш новый босс четко демонстрировал, что во внутренней политике ящика он имеет карт-бланш от партийного руководства. Кроме того, этим назначением Ваня обезопасил себя от тех парткомовских интриг, которым сам подвергал бывшего Генерального директора, – Илья Яковлевич был безмерно преданным ему человеком, который к тому же по понятным причинам не мог рассчитывать на дальнейший карьерный рост. Совершенно другой была история с Валентиной Андреевной – ее глубина вскрыется не сразу, не скоро... Формальной причиной увольнения Валентины Андреевны была пресловутая семейственность, лицемерно осуждавшаяся в партийных верхах. Пока супруги руководили двумя формально независимыми структурами предприятия, на семейственность смотрели сквозь пальцы, но теперь, когда супруг стал начальником своей половины, это могло неблагоприятно отразиться на его положении, и Валентина Андреевна, для которой карьера мужа всегда была целью приоритетной, согласилась на семейном совете пожертвовать своей должностью, дававшей немалую власть и много прочего – деяние, безусловно, благородное, но, увы, кое-кем не вполне

оцененное, а напротив, корыстно использованное... Валентина Андреевна, однако, не осталась не у дел – включив свои связи в «компетентных органах», она перешла на довольно ответственную работу в ОВИР Главного управления МВД по Ленинграду, что открыло ей некоторые новые возможности... скажем так, в сфере частного сыска.

Вскоре после ухода Валентины Андреевны случилось еще одно необычное событие: Иван Николаевич издал приказ о создании на предприятии нового подразделения с вычурным названием «Отдел информационной поддержки перспективных разработок». Начальником отдела была назначена... Аделина Григорьевна Смиловицкая. Подробности этого карьерного достижения Аделины я узнал от Кати. Екатерина Васильевна всегда была в курсе всех закулисных дел нашего ящика и по степени информированности уступала только Валентине Андреевне. Теперь она естественным образом переместилась на первое место. Сообщив мне, что, мол, «твоя Аделина стала большим начальником», Катя добавила: «Теперь она в непосредственном подчинении Ивана Николаевича. Ему так удобнее шуры-муры с ней крутить...» Я пытался возразить в том смысле, что, дескать, не следует серьезную реорганизацию информационной службы сводить к бытовой интрижке... Катя только мах-

нула на меня рукой и сказала пророчески: «Валентина Андреевна сама разберется с этой реорганизацией...» Мне не нравились Катины предположения о мотивах повышения Аделины. Не то чтобы я ревновал Аделину к Ване. Ревность – не из моей оперы. Здесь было другое – какие-либо внеслужебные отношения между Аделиной и Ваней входили в противоречие с моими представлениями о сбалансированной картине нашей жизни, в которой эти персонажи пребывали в различных непересекающихся пространствах. Попростому мое неприятие возможной связи Аделины и Вани называется стремлением выдать желаемое за действительное. Впрочем, в те бурные времена даже такое скандальное событие тонуло в потоке всевозможных пертурбаций, которые так или иначе затрагивали всех нас.

Судьба отдела Арона и моей лаборатории оставалась неопределенной. После передачи «Тритона» в отдел Артура с нас взятки гладки, хотя, на самом деле, у меня и Валерия много времени уходило на технические консультации сотрудников Артура. Новое руководство, казалось, о нас забыло... И слава богу – «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Тем удивительнее был звонок из кабинета Ивана Николаевича. «Игорь, привет! Ты не смог бы зайти ко мне завтра вечером, часам к семи? Дело

есть...» – запросто, по-приятельски прошуршал Генеральный директор. Я, удивленный, ответил в тон: «Конечно, Ваня, без проблем...» Приглашение последовало напрямую, не через секретаршу, да еще на позднее время, после конца рабочего дня, вероятно, что-то серьезное – рассуждал я про себя. Хотел было посоветоваться с Ароном, но потом передумал – надо прежде понять, что замыслил босс.

На следующий день, без четверти семь, я подходил к кабинету Генерального по уже пустынному директорскому коридору, увешанному портретами выдающихся советских ученых и конструкторов в нашей области техники. Внезапно из его приемной буквально вырвалась, едва не сбив меня, возбужденная и слегка растрепанная Аделина... «Черт знает что...» – выпалила она, остановившись передо мной и поправляя прическу.

– Аделина, что случилось? Позволь полюбопытствовать, что ты тут в такое позднее время делаешь?

– Наверное, то же, что и ты, Игорь... Бесполезно трачу свое свободное время по вызову шефа.

– И чего же хочет добиться шеф от красивой сотрудницы в послерабочее время? Того же, «чего хотел добиться друг моего детства Коля Остен-Бакен от подруги моего же детства, польской красавицы Инги Зайонц»?

– Не знаю, чего хотел Остенбакен, но Иван Николаевич задумал совершенно фантастическую перестройку информационной службы, неограниченный доступ ко всем зарубежным техническим публикациям на всех языках и прочее... А хочет он, чтобы я учила всех вас английскому языку.

– «Свежо предание, но верится с трудом», а идея прекрасная... Я готов первым записаться на твои занятия. А чему сам шеф хочет учиться у тебя? Бьюсь об заклад, что не английскому. Быть может, «науке страсти нежной, которую воспел Назон»...

– Невежа ты, Уваров... Хочешь испортить мне и без того скверное настроение?

– Отнюдь... Я хочу совсем другого, хочу тебя и не более того, Аделиночка, «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать», соскучился...

– Только не изображай из себя страдающего от неразделенной любви затворника – это тебе не идет. Признайся: если бы случайно не встретил меня здесь, то и не вспомнил бы... Другие достойные пассии, наверное, стоят в очереди «одежды с себя срывать»...

– И всё-таки... Как насчет объединиться без философско-поэтических изысков?

– Без философских изысков можешь пригласить меня к себе, но боюсь, что сэр Томас будет возражать.

– Сэра я беру на себя, приходи завтра вечером, буду ждать... Принеси, если можешь, почитать что-нибудь из нового. Кстати, давно не собирались у тебя. Как поживает Иосиф Михайлович?

– У меня сейчас собираться нельзя – родители еще не уехали на дачу, а об остальном расскажу завтра. Пока!

С этим обнадеживающим «пока» я толкнул дверь в кабинет Ивана Николаевича.

Здесь нужно пояснить, что двери кабинетов больших начальников были двойными. Первую дверь обычно открывала секретарша, пропуская вас ко второй двери, которую надлежало открыть самому. Двойная дверь помимо чисто утилитарной функции – предотвратить подслушивание происходящего в кабинете – играла и роль некоего двойного психологического фильтра, за которым входящий оставлял свою гордыню и все другие атрибуты завышенной самооценки. «Оставь надежду, всяк сюда входящий», – вертелась у меня в голове знаменитая надпись над воротами дантовского Ада.

На самом деле, кабинет нашего Генерального мало чем отличался от тысяч других начальственных офисов по всему гигантскому социалистическому лагерю. Огромный стол с мраморными письменными приборами, бронзовым бюстом Ленина и массой разно-

цветных телефонов располагался на фоне сверкавшего полированными стеклами книжного шкафа во всю стену высотой до потолка. Центральную часть шкафа занимали четыре издания полного собрания сочинений В. И. Ленина – всего около 150 томов. По количеству отпечатанных экземпляров книги Ленина занимали твердое второе место во всем мире сразу вслед за Библией. Далее в шкафу располагались два издания полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса – всего около 100 томов. В боковых секциях шкафа размещались все три издания Большой советской энциклопедии – всего около 150 томов. Там же хранились книги, подаренные Генеральному директору именитыми авторами и посетителями. Шкаф этот книжный открывался один раз в неделю с вполне утилитарной целью только одним человеком – уборщицей, протиравшей пыль. Несмотря на это, шкаф играл важную роль в формировании должного имиджа начальника, ибо «всяк сюда входящий» немедленно осознавал, какая бездна мудрости окружает сидящего за столом человека, на плечах каких гигантов мысли стоит тот, кому «вверено данное предприятие». Сияющие под лучами солнца из огромных окон или под светом хрустальной люстры разноцветные тома с золотым тиснением на корешках создавали величаво-оптимистический фон всему

происходящему здесь. Слева от стола директора висел, как положено, цветной портрет очередного вождя в парадном маршальском мундире, увешанном от кадыка до пупка сверкающими золотом и бриллиантами орденами и геройскими звездами. Под портретом и вдоль левой стены размещались стенды с фотографиями изделий предприятия, благодарственными письмами военачальников, космонавтов и других важных особ. Выставка завершалась красивым переходящим Красным знаменем Совмина с золотыми кистями в стеклянном футляре. Справа, вдоль четырех трехстворчатых окон во всю высоту зала, располагался длинный стол заседаний, обитый светло-зеленым сукном. Портреты трех бородатых основоположников – Маркса, Энгельса и Ленина – висели в простенках между окнами. «Где же висел портрет четвертого основоположника – безбородого товарища Сталина, ведь простенков между окнами всего три?» – озаботился я дурацким вопросом, направляясь по длинной красно-золотистой ковровой дорожке навстречу вставшему из-за стола Ване.

В огромности кабинетов крупных начальников, равно как и в непомерно большой длине ковровой дорожки от входа до их письменного стола, есть глубокий смысл, они призваны выполнять чрезвычайно важную психологическую и воспитательную функцию. «Всяк

входящий» в этот властный пантеон и «всяк идущий» долго-долго по длинной роскошной ковровой дорожке непременно должен, с одной стороны, глубоко осознать свое ничтожество перед мощью власти, а с другой – успеть сполна оценить предоставленную ему этой властью милость и понять огромность своей ответственности перед лицом, восседающим за бесконечно далеким столом...

Я в тот раз не успел «осознать и оценить», потому что Ваня встретил меня на полпути, дружески потряс руку, доверительно обнял за плечи и по-приятельски уселся напротив меня за столом для посетителей. Бесшумно, словно по телепатическому сигналу, Нина Ивановна внесла большой поднос с двумя коньячными бокалами, тарелочкой с тонко нарезанным лимоном и двумя изящными вилочками, с кофейным прибором на две персоны из тончайшего фарфора и витиеватой вазочкой с миндальными пирожными. Элегантная серебряная подставка с красивыми цветными салфетками завершала это изысканное великолепие. «Зря говорят, что у большевиков плохой вкус...» – успел я подумать.

Мы пригубили коньяка, пожевали лимон, сделали по паре глотков кофе, а я нахально съел миндальное пирожное. Ваня при этом говорил, что адмирал «конечно, наломал дров» с «Тритоном», но что теперь

было бы ошибкой «давать задний ход»... Пусть, мол, Артур Олегович, как ему предписано адмиралом, занимается «рутинными испытаниями готового изделия, а тебе с Ароном Моисеевичем больше подходят новые разработки»... Когда мы вторично пригубили коньячные бокалы, Ваня поднял палец вверх и сказал загадочно и значительно: «Вашему отделу предназначено быть на острие технического прорыва, который предстоит осуществить нашему предприятию!» Я наконец проговорил: «Ваня, не тяни кота за хвост... Ни за что не поверю, что ты пригласил меня для обсуждения партийных лозунгов...»

Ваня с пониманием посмотрел мне прямо в глаза, сказал, что действительно пригласил меня не для этого, а потом... сделал совершенно ошеломительное заявление, которое, вероятно, могло бы изменить скудное течение моей жизни: «Я, Игорь, предлагаю тебе должность заместителя Генерального директора предприятия по научной работе». Потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть вызванный этим предложением шок, и я машинально съел еще одно миндальное пирожное... Далее последовал диалог, в котором я всячески отказывался от сделанного мне предложения, а Иван Николаевич убеждал принять его, легко опровергая мои вялые контраргументы.

— Такой должности, насколько известно, у нас не су-

ществует, – начал я с ерунды, чтобы выиграть время и прийти в себя.

– Да, правильно, ее не было, а теперь будет... У нас техническую политику определяли главные конструкторы изделий, а я считаю, что должен быть центр, формирующий общую концепцию и основные направления научной работы. Мы ведь не завод, а научно-производственное объединение. Вот этот центр я и предлагаю тебе возглавить.

– Не представляю себя в роли научного шефа, опыта маловато... Эта роль скорее подходит для АМК, с ним бы следовало поначалу посоветоваться...

– Кончай скромничать, Игорь... И хватит прятаться за спину АМК – пора тебе свою собственную научную линию проводить. Кстати, если ты еще не знаешь, Арон Моисеевич отказался от моего предложения быть замом по науке, сказал, что планирует для себя академическую карьеру.

– Ты предлагал Арону должность своего зама и он отказался?

– Да, отказался и рекомендовал на эту должность тебя. Но я, откровенно говоря, и без рекомендации АМК хотел бы видеть тебя своим замом.

– За что такая честь?

– За то, что ты лучше других понимаешь суть научно-технических задач в той области, куда нам нужно

прорваться, причем прорваться не второгодниками, а в лидерской позиции. Эта область, как ты догадываешься, – цифровая мобильная радиосвязь.

Ваня замолчал и долил в бокалы коньяка, мы отпили еще по глотку. Я сам давно думал о том, что именно в этой области предстоят грандиозные технические прорывы, и был поражен, как правильно Ваня определил направление главного удара. Как вырос этот партсекретарь – подумал я. Мы-то всё время варимся в этой цифровой проблематике, но, оказывается, и он, сидя в начальственных кабинетах, тоже пришел к тем же выводам. Или Арон ему это всё подсказал? Нет, здесь одной подсказки недостаточно, здесь еще некоторое собственное видение необходимо – молодец Ваня. Может быть, и в самом деле попробовать возглавить этот Ванин прорыв из отстающих в лидеры... Может быть, пора наконец перестать тащиться по проложенной другими лыжне и обогнать их всех обходным рывком, напрямую, по целине... – я же знаю ту обходную тропинку. Расчистить ее, расширить, проложить самым лыжню, по которой потом пойдут за нами нынешние лидеры. Но я продолжал гнуть свою линию...

– Думаю, Ваня, что с моим заместительством ничего не получится – я ведь беспартийный...

– А вот это не твоя забота, решу вопрос как-нибудь

без тебя... Твоя забота только одна – вывести предприятие на ведущие позиции в отрасли, создать научный задел для цифровых мобильных систем следующего поколения. Только об этом беспокойся... и думай только об этом...

– Но я не могу оставить свою лабораторию, не вижу сейчас подходящей замены.

– Зачем же оставлять лабораторию? Сделай из нее стратегический исследовательский центр предприятия.

– И зарплаты две? – всё еще пытался отшутиться я, но Ваня оставался серьезным.

– Две не обещаю, но одна будет такая, что не пожалеешь... Если хочешь, выделим твою лабораторию из отдела АМК, сделаем ее самостоятельным подразделением.

– А вот этого не надо, у меня достаточно свободы и в рамках отдела АМК. Кстати, думаю, что без научной поддержки Арона Моисеевича прорыва не получится.

– Ну, как знаешь... Результаты будем спрашивать с тебя.

Разговор перешел в некое более-менее конструктивное русло – какими будут взаимоотношения зама по науке с главными конструкторами и прочее... Было видно, что Ваня всё тщательно продумал, что это достаточно серьезно – просто так отмахнуться не по-

лучится. В итоге я попросил Ваню дать мне время подумать. Согласившись, он ответил, что времени у нас нет, и предложил принять решение через два дня – сторговались на одной неделе. Ваня уважительно, как своего будущего зама, проводил меня до дверей. Что-то муторное относительно Аделины толкнулось внутри, и уже у порога я вдруг выпалил: «Кстати, в будущем следовало бы подчинить отдел информационной поддержки непосредственно заму по науке, не правда ли?» Ване мой пассаж явно не понравился, и, пожима мне руку, он сказал мрачновато: «Аделину оставь в покое... Это к науке отношения не имеет...» Уже в коридоре я задумался о загадочном смысле Ваниной реакции на заброшенный мной крючок. Что означает «оставить Аделину в покое» – неужели он что-то знает? И что такое «это», не имеющее отношения к науке?

Дома собрался было позвонить Арону, но потом решил перенести разговор с ним на утро – нужно самому принять какое-нибудь решение. Моим слушателем в тот поздний вечер перед сном был только сэр Томас. Я рассказывал ему о том колоссальном вызове, который предъявляет мне руководство научной работой огромного предприятия... В непроницаемом тумане будущего мне виделись контуры совершенно новых систем цифровой мобильной радиосвязи. Кон-

туры были не вполне ясными, размытыми, но основные блоки проступали достаточно контрастно – эмпирическое ведение и теоретическое видение словно двумя пучками света выхватывали из темноты облик будущих цифровых систем... В подобных делах мы с Ароном, может быть, впереди всех – это наш конек. Огромные возможности промышленного института позволяют оседлать его. Томас одобрительно урчал – он стал первым, кто узнал наброски моего плана «преобразования природы» и доведения ее милостей до каждого индивидуума, а я вскоре заснул, не раздеваясь и не приняв никакого решения...

Утром на работе рассказал Арону в подробностях о предложении нового Генерального директора. Он ничуть не удивился и сказал то, что я, собственно, и ожидал от него услышать – предложение Генерального открывает передо мной колоссальные перспективы, дает возможность реализовать наши теоретические идеи, а посему это предложение следует безоговорочно принять. На мой вопрос, почему же он не принял аналогичное предложение, Арон ответил туманно – мол, ему поздновато внедряться в сферу высокой административной деятельности, а напротив, пора подумать о тихой академической гавани... Я сказал: «Арон, ты что-то не договариваешь, это не по-товарищески. Не сомневаюсь, что ты – лучшая канди-

датура на роль научного шефа предприятия. И уверен, что и ты, и начальство прекрасно это понимают. В чем же дело? Почему остановились на мне, почему приняли такое паллиативное решение?» Он ответил: «Ты не прав, Игорь. Твое назначение замом по науке – это не паллиатив, а единственно правильное стратегическое решение. Я рад, что Ваня принял именно его. А мотивы моего отказа от этой роли не имеют никакого отношения к сути дела – так что твое „это не товарищески“ я не принимаю. Если потребуется моя помощь, ты ее всегда получишь – не сомневайся». Я молчал, и Арон продолжил, как бы пытаясь рассеять мои сомнения и сгладить резкость этого «не принимаю»:

«Посмотри последние публикации – в Америке, Европе, Японии и даже в бывшей российской провинции Финляндии энергично взялись за технологию мобильной радиосвязи. Там в фирмах уже поняли – за этим будущее. Похоже, они уже знают, что это будет цифровая технология. А чем мы хуже? Наши результаты по оптимальному приему сигналов и по кодированию решают, я думаю, многие проблемы... Скажу больше: в теоретической проработке мы лидируем. И вот тебе предлагают перейти от слов к делу – возглавить реализацию этих теоретических достижений,

причем не на пустом месте, а на базе огромного промышленного предприятия. После всего сказанного есть ли еще какие-нибудь возражения?»

У меня не было возражений, но и полного согласия не было, и я рискованно сказал: «Хотелось бы поговорить об этом с Наташей – у нее технические детали не заслоняют человеческих. Можно, я приду на днях вечером к вам?» Арон кивнул согласно: «Приходи сегодня». Договорились на завтра – я вовремя вспомнил, что этим вечером и, скорее всего, ночью у меня будет Аделина.

Аделина принесла магнитофонные бобины с записями песен Окуджавы, Галича и Высоцкого и тамиздовскую контрабанду: «Бодался теленок с дубом» Солженицына и «Зияющие высоты» Зиновьева. Мне было интересно поговорить с Аделиной об этих авторах, и я отложил обсуждение наших «производственных новостей» на потом...

Булата Окуджаву я знал уже со второй половины 60-х – мне казалось, что он продолжил линию удивительной песенной лирики Юрия Визбора, который буквально ошеломил советского человека очень простыми, но непривычными словами и мотивами на вечные темы. Однажды у туристского костра я задал друзьям вопрос, как говорится, на засыпку: «Почему

мы поем „Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою“ Визбора, а, например, не „Сердце, тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить“ Лебедева-Кумача с прекрасной мелодией Дунаевского?» Помнится, тогда бурная дискуссия не привела к согласию. А теперь туристы запели у костров Окуджаву – наверное, это предпочтение вызвано теми же скрытыми причинами, что и в случае Визбора. Аделина не согласна с моим восприятием песен Булата Окуджавы, она считает, что это прежде всего высокая поэзия, которая, увы, недостижима для других бардов. «Вот послушай», – сказала она и прочитала на память:

Чем дальше живем мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза.
То берег, то море, то солнце, то вьюга,
То ласточки, то воронье...
Две вечных дороги – любовь и разлука —
Проходят сквозь сердце мое...

«Здесь же целая жизнь, – сказала Аделина и добавила: – Моя, во всяком случае». Я не возражал и про себя подумал: и моя тоже. «У пессимиста Окуджавы, заметь, тоже про сердце, как и у оптимиста Ле-

бедева-Кумача, только наполнение сердца у них разное. Вот тебе и ответ на вопрос, почему у костров поют Окуджаву, а не Кумача. Коротко говоря, потому что у Кумача – версификация, а у Окуджавы – поэзия».

В оценке бардовского творчества Александра Галича мы с Аделиной были на удивление едины. Меня, правда, больше задевала острая, без скруглений, какая-то угловатая и беспощадная антисовковая сатира Галича, когда он высвечивал сквозь напущенный властью туман неведения неприглядные картины нашего бытия, трудно поддающиеся излечению гнойные язвы. Например, это:

И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание – золото.

И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!

Мы-то знаем – доходней молчание,
Потому что молчание – золото!

Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Или вот это, жуткое, пророческое:

Чтоб не бредить палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь – «КВ»-коньячок,
А впоследствии – чаек, пастила,
Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют»,
И сидят заплечных дел мастера
И тихонько, но душевно поют:
«О Сталине мудром, родном и любимом...»
Был порядок – говорят палачи,
Был достаток – говорят палачи,
Дело сделал – говорят палачи, —
И пожалуйста – сполна получи.

Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,

Бьют по рылу палачи палачей.
Как когда-то, как в годах молодых —
И с оттяжкой, и ногою в поддых,
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном,
Созывают «неотложных» врачей
И с тоской вспоминают о Нем,
«О Сталине мудром, родном и любимом...»
Мы на страже – говорят палачи.
Но когда же? – говорят палачи.
Поскорей бы! – говорят палачи —
Встань, Отец, и вразуми, научи!

Аделине больше нравилась философская ирония
Галича, или, скорее, его ироничная философия, наве-
янная, например, бесхитростным измерителем уров-
ня продуктов жизнедеятельности советских творче-
ских работников в ассенизационной яме у входа в их
дом отдыха в Серебряном Бору:

Всё было пасмурно и серо
И лес стоял, как неживой,
И только гиря говномера
Слегка качала головой.
Не всё напрасно в этом мире,
(Хотя и грош ему цена!),
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!

Пожалуй, больше всего мы спорили о Владимире Высоцком, и, наверное, поэтому весь тот вечер прокручивали его записи. Я воспринимал раннего Высоцкого и массовый интерес к его блатным песням достаточно прохладно. А потом меня вдруг зацепил, захватил его страстный и горький от безнадежности вскрик-призыв – «укажите мне край, где светло от лампад, укажите мне место, какое искал, – где поют, а не стонут...». Это он обращается ко всем нам... к нам из смрадного дома-барака, где «долго жить впотьмах привыкали мы... в зле да шепоте, под иконами в черной копоти... скисли душами, опрыщавели... да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались...»

И из смрада, где косо висят образа,
Я, башку очертя гнал, забросивши кнут,
Куда кони несли да глядели глаза,
И где люди живут, и – как люди живут.

«То, что поет Высоцкий, настоящая поэзия?» – спрашивал я. Аделина отвечала: «О, да, настоящая, редкая... Вот послушай это пронзительное»:

Нынче вырвалась, словно из плена, весна,
По ошибке окликнул его я —

Друг, оставь покурить – а в ответ тишина,
Он вчера не вернулся из боя.

Аделина отпила из бокала. Возбужденная, она опьянялась и вином, и стихами, может быть, стихами даже больше, чем вином, ее оценки становились трансцендентными: «Те, кто сегодня вытирает о него ноги, будут когда-нибудь валяться у него в ногах, или... у подножий памятников ему – запомни это предсказание. Только это случится не скоро, когда поэт найдет место, „где люди живут, и – как люди живут“, или... уйдет, не найдя такого места...»

Лучистые глаза Аделины, казалось, увлажнились... Это было трогательно и прекрасно, это было непреодолимо притягательно... Сэр Томас спрыгнул с тахты и вышел – он понял, что эту ночь ему придется провести на кухне...

Утром меня разбудил звонок Арона – он не ведал, как мне хотелось поваляться в то субботнее утро, свободное от работы, тем более что со мной в постели было очаровательное создание, важнейшая и лучшая из милостей природы – женщина! Я высвободил левую руку из-под головы Аделины и спросонья поздоровался: «Шабат Шалом». «Я, собственно, хотел уточнить, будешь ли ты у нас сегодня вечером?» – спросил Арон. «Конечно буду, что за во-

прос... – сказал я и вдруг неожиданно для самого себя добавил: – Арон, можно я приду со своей... приятельницей? Ты ее знаешь, она работает...» Арон прервал меня: «Приходи, с кем пожелаешь... До вечера...» – и повесил трубку.

– Любопытно, с кем это ты собрался в гости к Арону Моисеевичу?

– С тобой, конечно...

– Мог бы, по крайней мере, спросить, пойду ли я с тобой.

– Почему же не пойдешь? Арон и Наташа – интеллигенты, как говорят, высшей пробы. Другое дело, конечно, если у тебя сегодня свидание, например, с Иваном Николаевичем... – с вызовом сказал я, но Аделина мой вызов не приняла.

– И кем ты меня собираешься представить?

– По твоему выбору – коллегой по работе, другом детства, двоюродной сестрой по материнской линии, троюродной племянницей по отцовской линии или, в конце концов, любовницей... Готов даже на такой рискованный вариант как невеста – вполне добропорядочно.

– Не смейся своих интеллигентных друзей, Игорь. Все перечисленные варианты, кроме любовницы, нелепы, а посему неприемлемы. Особенно смехотворной на фоне твоей личности выглядит роль неве-

сты – этакой дуры провинциальной, клюнувшей на голубые глаза, как у Пола Ньюмена. Любовница, в принципе, подходит, но тогда следует уточнить, какая по рангу – например, главная любовница или любовница второго плана... Слушай, друг мой, – пожалуйста, не делай из меня идиотку...

– Обещаю не делать... Но очень хочу познакомить тебя поближе с этой семьей. Мне кажется, что вы с Наташей найдете много общего...

Аделина снова пристроила свою головку на моей руке, и я решил, что пора рассказать ей о Ванином предложении.

– Что бы ты сказала, если бы я стал замом Генерального директора по науке?

– Я бы сказала, что это из области ненаучной фантастики.

– Тем не менее наш с тобой шеф не далее как позавчера сделал мне такое предложение.

– Шутишь? – спросила она и приподнялась, чтобы лучше видеть выражение моего лица.

– Это была бы глупая шутка... Тебя же шеф назначил на начальственную должность, и ты согласилась. Почему он не может поступить таким же образом со мной?

– Это несопоставимо... Зам Генерального по науке – это номенклатурная партийная позиция, утвержда-

ется как минимум в горькое партии.

– Мне неинтересно, как они это делают, Аделина. Я должен дать Ване ответ через несколько дней. Соглашаться или нет, «быть или не быть – вот в чем вопрос»!

Она резко приподнялась, сбросила с себя одеяло, встала во весь рост, обнаженная, во всем своем роскошестве, и произнесла только одно слово: «Потрясающе!» Потом накинула мой халат, открыла дверь в коридор, впустила в комнату утомленного одиночеством Томаса, присела ко мне и сказала:

– Иван Николаевич ведет себя как древнерусский удельный князь, которому ордынский хан разрешил своевольничать в своем уделе без всяких ограничений. По-видимому, ему действительно дали карт-бланш. Это потрясающе – он считает возможным назначить на должность своего зама не просто беспартийного, а беспартийного с антипартийной ориентацией да еще с сомнительной репутацией в сфере советской морали. Потрясающе! Ты должен немедленно, не откладывая, принять его предложение, согласиться, пока это всё не рассеялось «как дым, как утренний туман». Это же уникальная возможность сделать карьеру в совковом эпицентре и при этом «ни единой долькой не отступить от лица»... Это, в конце концов, возможность сделать самого себя, реализовать

свои идеи – потрясающе! Я даже не понимаю, о чем здесь думать. Ты что – собираешься диссидентствовать или уехать в Израиль? Ты живешь в этой стране и благодаря редкому стечению обстоятельств у тебя появилась возможность сделать здесь серьезную научную карьеру. В чем сомнения? Набирай номер телефона Ивана Николаевича и попроси, чтобы к понеделнику подготовили твой кабинет... с хорошенькой секретаршей в придачу.

– Предпочел бы в роли секретарши старую многопытную гримзу... А мои сомнения лежат, как ты выразилась, в «сфере советской морали», ибо ты, Адочка, похоже, серьезно увлечена былинным обликом Ивана Николаевича.

– Дурак ты, Уваров! Зачем такому дураку досталась такая хорошая голова? Наслушался сплетен своих бесплатных агентов женского пола...

– Если серьезно, то меня несколько смущает радикальная Ванина идея технологического прорыва. Смогу ли я вписать свои вполне реальные замыслы в его экзистенциальные планы мировой технологической революции в нашем ящике?

– Увы, Игорек, не сможешь, но это не имеет значения... Никакой мировой революции, никакого научно-го или технического прорыва в нашей системе быть не может. Тяжелый застой при постоянном выкрики-

вании ободряющих лозунгов типа «реорганизация», «модернизация», «интенсификация», «прорыв» и т. д. и т. п. – вот ее удел. Думай побольше о себе, постарайся использовать внезапно появившуюся возможность, чтобы продвинуть то, что без этого было бы нереальным. Ведь у тебя есть идеи...

– Не могу согласиться с тем, что у нас никакой прорыв невозможен. А как же первый спутник, Гагарин... Это разве не прорыв?

– Который закончился тем, что американцы вошли в тот самый прорыв и полетели на Луну, а мы остались здесь...

В конце концов мы отложили дискуссию о научно-технических перспективах Совка в стадии развитого социализма – Аделине нужно было съездить домой, переодеться и прочее...

Арон ничуть не удивился, увидев Аделину вместе со мной. «Здравствуйте, Арон Моисеевич», – сказала она и сделала нечто вроде книксена. «Добро пожаловать, Аделина», – он подал ей руку по праву старшинства. «Здравствуйте, Наталья Ивановна», – сказала она без книксена Наташе, появившейся вслед за Ароном. Наташа оглядела Аделину с ног до головы, взглянула на меня, изображавшего молчаливый пенёк, кивнула одобритительно и сказала: «Приятно познакомиться с вами». Как я и ожидал, Наташа и Аделина состо-

ковались без проблем – они ушли вместе на кухню готовить ужин, и уже через несколько минут мы услышали оттуда смех, который обычно сопровождает легкий дамский обмен мнениями о знакомых мужчинах. Арон тем временем завел разговор о предложении Ивана...

– Это очень серьезное предложение, Игорь, и ты сделаешь не менее серьезную ошибку, если откажешься от него.

– Мои сомнения, Арон, в двух пунктах. Первое: опасаясь, что Ванин прорыв обернется, на самом деле, провалом, из которого он благополучно вылезет, оставив за мной разгребание руин. Второе: как-то не по душе мне участвовать во всех этих партийно-начальственных пропагандистских играх...

– Можно возразить? – прервал меня Арон.

– Жду с нетерпением...

– Начну со второго. Никто не собирается вовлекать тебя в высокие партийные игры – не обольщайся. Тебе предлагают возглавить крупный технический проект и решать в рамках этого проекта исключительно научно-технические проблемы, точка. Теперь о первом. Никто не знает, чем этот проект кончится, – мы не гадалки. Но непреложный факт: ты получишь возможность, повторяю – по крайней мере, возможность, реализовать наши теоретические разработки, как говорят, в железе... Это немало, а по сути, даже очень

много...

– Готовы ли мы к этому? Готова ли наша технология?

– Вот что, Игорь... Я не хотел тебе говорить прежде, но дело в том, что наш заокеанский визави профессор Саймон опубликовал в известном американском журнале теорию кодов, которые открыл ты...

– Плагиат?

– Не думаю... Саймон, судя по всему, независимо пришел к той же идее и разработал теорию, которая охватывает в том числе и наши результаты – такое совпадение творческих процессов и поразительно, и восхитительно. Его результаты, пожалуй, глубже наших, но имеют то же основание. Я уже отправил ему письмо с объяснением твоего приоритета и со ссылкой на наши публикации по этой проблеме. Но, честно говоря, наша позиция по вопросу приоритета очень слабая. Твои авторские свидетельства и диссертация закрытые – на них невозможно сослаться, а открытая статья опубликована в нашем отнюдь не первоклассном ведомственном журнале, который на английский язык не переводится и вследствие этого никем, кроме спецслужб, не читается.

– Что же делать?

– Я рассчитываю на научную порядочность Саймона. Он ученый такого уровня, что ему должно быть

чуждо присвоение чужих результатов. Вы с ним движетесь параллельными курсами, причем поразительно синхронно, что для настоящего ученого не является проблемой, а, напротив, – весьма положительным стимулом... Но я рассказал тебе всё это с другой целью...

– С какой же?

– А вот послушай внимательно и вникай... Саймон недавно перешел в крупнейшую в Калифорнии телекоммуникационную фирму в качестве научного шефа. Сопоставь этот факт с его последними публикациями и сделай простой вывод...

– Они вводят свои главные силы в прорыв, за которым располагается крепость цифровых мобильных систем, не так ли?

– Совершенно верно... Более того, они там ставят задачу решить к концу следующего десятилетия проблему цифровой мобильной связи, то есть не традиционной связи между телефонными аппаратами, а связи между людьми, где бы они ни находились.

– Ты, Арон, клонишь к тому, что под мудрым руководством Вани мы сможем конкурировать с американцами? Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе...

– Если заранее сдаться, то, конечно... нет, не сможем! Но я не думаю, что ты из таких... Моя оценка дру-

гая – мы впереди в теории, а ты, вероятно, лучше всех на этом шарике понимаешь и видишь, как это можно сделать... Посмотри на смелых финнов – они определенно собираются обскакать американцев, это с их-то теоретическим багажом, несопоставимым с нашим. Ты просто не имеешь права отказаться от попытки...

Арон оборвал фразу на полуслове – в комнату вошли с подносами сияющие Наташа и Аделина. «Ты, в конце концов, не имеешь права спасовать перед лицом этой девушки, которая, судя по всему, влюблена в тебя», – успел он тихо сказать мне. Расселись за столом; вопрос с выпивкой решился просто – все предпочитали сегодня водку. Наташа подняла рюмку и сказала: «Ну что, Арон, как у нас заведено, первый тост за того, кто в этом доме впервые, – за вас, Аделина!» Выпили, закусили... Обращаясь к Арону, Наташа продолжила: «Аделина обещала дать нам новые записи Окуджавы, Галича и Высоцкого, а потом – кое-что новенькое из самиздата... Как только Игорь это прочитает». Я с удивлением посмотрел на Аделину – это противоречило ее правилам конспирации: каждый следующий не должен знать предыдущего. Она слегка наклонила голову – мол, всё в порядке...

Наташа была в ударе и взяла на себя роль тамады в нашем маленьком застолье. «Может быть, Аделина, мужчины объяснят нам, почему власти не запре-

щают пользоваться магнитофонами и радиоприемниками – ведь это всё подрывает устои», – сказала она с вызовом. «Уже не могут запретить... В 50-е и 60-е развернута огромная радиотехническая промышленность, придется закрывать заводы и конструкторские бюро», – высказался Арон в своем прагматическом стиле. «Радиоприемники запрещать не надо, гораздо проще глушить всевозможные неугодные голоса в местах компактного проживания населения: парочка глушилок – и большой город ничего, кроме „Говорит Москва“, не может послушать. Кажется, большевики прекрасно расправляются с народом и без запрета радиоприемников – „Свободу“ и „Голос Америки“ можно послушать только в глухой деревне, которая ничем подобным не интересуется и сама по себе никого не интересуется», – подлил я масла в огонь. «Мне кажется, власти вполне намеренно допустили эту магнитофонную стихию – пусть, мол, интеллигенция пар выпускает», – определила Аделина свою немужскую позицию. Обсудили эти точки зрения и договорились съездить как-нибудь подальше от города и послушать голоса из-за кордона. «Похоже, мы уже дружим семьями», – подумал я про себя без энтузиазма.

«Давайте выпьем за Игоря и его успех на новой должности», – предложила тост Наташа. Я пытался возражать, но мой протест не был принят во внима-

ние. Наташа сказала: «Думаю, Игорь, что Арон и Аделина уже высказали тебе свое мнение достаточно подробно и аргументированно. Я согласна с ними и могу только добавить: тебе выпал редчайший шанс, от которого было бы нелепо отказаться, такое не так часто случается в жизни...» Она посмотрела на меня долгим взглядом – мне почудилось в нем нечто невысказанное, понятное только нам двоим... Зачем тогда, в Пярну, свет зажегся так быстро?

– Прекрасный довод, Наташенька, но возникает один-единственный вопрос: почему ты не убедила Арона использовать аналогичный шанс, когда он выпал ему? Арон, бесспорно, лучшая кандидатура на должность научного шефа.

– Я, кажется, уже говорил, что собираюсь через пару лет уйти в институт на преподавательскую работу – профессором кафедры теоретической радиотехники. Было бы неправильно при таком намерении соглашаться на предложение Ивана Николаевича, – пытался объясниться Арон.

– Наверное, пора Арону уходить с секретной работы, которая вносит в жизнь столько ограничений, – добавила Наташа.

– Ну вот, добрались наконец до истины... Прекрасно, друзья мои! Вы свалите в Израиль, а я останусь развивать отечественную науку вместе с Иваном Ни-

колаевичем.

– Только сумасшедший может мечтать об Израиле с вашими допусками к секретам. У нас с Ароном более скромные планы – съездить этим летом в Болгарию, нас приглашает его бывший аспирант, – отклонила мое допущение об Израиле Наташа.

– «Курица не птица, Болгария не заграница» – наверное и с нашими допусками можно съездить. Будете первыми из присутствующих, кто пересечет священные границы нашей родины, – сказал я, понимая, что тема Израиля еще не созрела.

Аделина предложила выпить за хозяев. Подняв рюмку, она сказала с неожиданным пафосом: «Хочу воспользоваться случаем и поздравить вас, Арон Моисеевич, и вас, Наталья Ивановна, с выходом в свет монографии Арона Моисеевича в переводе на английский. Она издана в США очень престижным издательством и уже заказана техническими библиотеками и многими университетами по всему миру». Наташа светилась, Арон скромно поблагодарил Аделину. «Поздравляю, Арон, теперь можешь стать профессором любого университета в любой стране, кроме Саудовской Аравии, куда въезд евреям запрещен, – поднял я рюмку и добавил: – Приготовься к получению гонорара в долларах, буду сопровождать тебя с Наташей в магазин „Березка“ в качестве охранника».

Аделина отрицательно покачала головой: «Увы, все права на издание книги, в том числе на роялти в виде процентов с продаж, принадлежат государству, а конкретно – „Энергоиздату“, который опубликовал книгу на русском». Арон сказал: «Я подписывал согласие на публикацию книги в США в договоре с „Энергоиздатом“, но не помню, чтобы там было что-то относительно роялти». Наташа с иронией заметила: «Нам, советским ученым, глубоко чужда буржуазная забота о наживе». Я поддержал ее: «Ясное дело – „забота у нас простая, забота наша такая, жила бы страна родная, и нету других забот“, но всё же может ли простой советский человек хотя бы увидеть книгу профессора Кацеленбойгена, изданную на диком Западе?» Аделина объяснила: «Для простого советского человека в лице к. т. н. Уварова я заказала два экземпляра книги для нашей библиотеки. Иван Николаевич помог – покупка литературы на валюту строго ограничена. Вообще, публикация такой 600-страничной технической монографии советского автора вне социалистического лагеря – довольно уникальное явление. Я, честно говоря, других примеров и не знаю». Арон подсел к Аделине и завел разговор о переиздании своей книги, а я взялся помогать Наташе готовить чаепитие.

– Не думаю, что тебе, Игорь, нужны еще какие-то слова для принятия решения. Ты, конечно, знаешь эту

фразу, ее приписывают Наполеону: «Нужно ввязаться в бой, а потом посмотрим...» Это характеристика решительного человека, а ты, насколько я знаю, очень решительный...

– Принимаю твою иронию как должное, ибо заслужил это... Я, как ты помнишь, однажды ввязался в бой и тут же его проиграл... А теперь понимаю, что вы с Ароном рано или поздно уедете из страны. И, вероятно, правильно сделаете, но для меня это обернется пустотой.

– Пустоту заполнит Аделина...

– Есть только одна женщина, которая могла бы это сделать... – попытался я развить свою тему, но Наташа пресекла эту попытку с некоторым даже раздражением.

– Выбрось, Игорь, из головы надуманные фантомы, займись делом, которое тебе предлагают...

После чая прощались по-дружески, Арон обнял Аделину, а я – Наташу. Пожимая мне руку, он сказал: «На работе поговорим о твоей докторской диссертации. Лановой и Гуревич уже выходят на финишную прямую, нельзя тебе отставать».

Я проводил Аделину до ее родительской квартиры на Петроградской. Над Невой висела пелена дождя, сквозь него в темноте проступали расплывчатые цепочки фонарей вдоль набережных, подсвеченные

зыбкие контуры белой колоннады на Стрелке Васильевского острова, башня и золотой шпиль Петропавловского собора, словно изломанные в неровных от ветра дождевых потоках. Петербург под дождем – это нарисованный природой шедевр импрессионизма... Я люблю петербургский дождь, колючий, холодный, противный, особенно люблю его дома за письменным столом, когда ветер рвет окна и швыряется ведрами воды в мокрые стекла... Заканчивался этот удивительный и, может быть, судьбоносный для меня день. По дороге домой я думал о Кате и Саймоне... Надо поскорее поговорить с Катей – нехорошо, если она узнает о предложении Ивана Николаевича не от меня. Впрочем, наверное, она уже и так всё знает... Все всё знают, но принимать решение нужно мне. Саймон уже принял решение возглавить американский проект, он идет вслед за мной, потом я иду вслед за ним – как в командной гонке преследования у нас постоянно происходит смена лидера, на которого приходится основная волна сопротивления природы...

В понедельник утром я позвонил Ване и сказал, что через неделю смогу представить ему генеральный план научной работы предприятия. Он ответил, что ждет план с нетерпением, что мой кабинет в директорском коридоре будет к этому времени полностью готов и что в новом штатном расписании преду-

смотрены для меня две дополнительные должности – технического помощника и секретаря. «Нина Ивановна объяснит тебе условия пользования служебной машиной, – добавил он и бодро заключил – Поздравляю, успехов тебе и нам всем!»

Глава 10. Остров Мактан

Во время приготовлений к этому маленькому походу Магеллану впервые изменяют самые характерные для него качества: осмотрительность и дальновидность... На крохотном острове Мактан, расположенном напротив Себу, правит раджа Силапулапу... выдающийся непокорство... Магеллан требует, чтобы правитель Мактана признал... покровительство Испании... Правитель надменно отвечает отказом, у Магеллана, представляющего могущество Испании, остается лишь один аргумент – оружие...

В ту ночь на пятницу 26 апреля 1521 года, когда Магеллан и шестьдесят его воинов сели в шлюпки, чтобы переплыть узкий пролив, по уверению туземцев, на крыше одной из хижин сидела диковинная, неведомая черная птица, похожая на ворона... Но разве может человек, предпринявший самое дерзновенное в мире плавание отказаться от стычки с голым царьком и жалкими его приспешниками из-за того, что неподалеку каркает какой-то ворон?

По роковой случайности этот царек находит, однако, надежного союзника в своеобразных очертаниях взморья. Из-за плотной гряды коралловых рифов

иллюпки не могут приблизиться к берегу; таким образом, испанцы уже с самого начала лишаются наиболее впечатляющего средства: смертоносного огня мушкетов и аркебуз, гром которых обычно заставляет туземцев обращаться в паническое бегство. Необдуманно лишив себя этого прикрытия, шестьдесят тяжеловооруженных воинов... бросаются в воду с Магелланом во главе... По бедра в воде проходят они немалое расстояние до берега, где, неистово крича, заывая и размахивая щитами, их дожидается целое полчище туземцев. Тут противники сталкиваются. Наиболее достоверным из всех описаний боя, по-видимому, является описание Пигафетты:

«...Островитяне всё громче вопили и, прыгая из стороны в сторону, дабы увернуться от наших выстрелов, под прикрытием щитов придвигались всё ближе, забрасывая нас стрелами, дротиками, закаленными в огне деревянными копьями, камнями и комями грязи, так что мы с трудом от них оборонялись... Заметив, что туловища наши защищены, но ноги не прикрыты броней, они стали целиться в ноги. Отравленная стрела вонзилась в правую ногу адмирала... Тем временем почти все наши люди обратились в беспорядочное бегство, так что около адмирала осталось не более семи или восьми человек... Туземцы толпой ринулись на

него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг островитяне набросились на него и стали колоть копьями... Так умертвили они наше зеркало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя»...

Никто не знает, что сделали дикари с трупом Магеллана, на волю какой стихии – огня, воды, земли или всеразрушающего воздуха – предали они его бречное тело. Ни одного свидетельства нам не осталось, утрачена его могила, таинственно потерялся в неизвестности след человека, который отвоевал у бескрайнего океана, омывающего земной шар, его последнюю тайну.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

К сожалению, то время, когда благодаря инициативе Ивана Николаевича я начал «входить во власть», а вернее – продвигать задуманный боссом прорыв в радиоэлектронной индустрии, отнюдь не благоприятствовало нашему дерзкому начинанию. Серость накрывала огромную страну, серость насаждалась принудительно повсюду, в том числе в науке. Появилось много ученых и профессоров без научных открытий и

даже без научных трудов – этого не требовалось. Железнодорожный лозунг «не высовываться» стал принципом жизни. По-видимому, без этих заливших страну потоков серости и без тех неожиданных возможностей, которые открылись для людей, не располагавших никакими талантами, не было бы ни этой, ни других подобных историй.

В те «благословенные» времена нашим могущественным государством в одну шестую всей земной тверди уже много лет правила личность довольно посредственная, если сопоставлять ее с тем высоким местом, которое она, эта личность, вопреки пословице, не красила. В истории такое часто бывает: ведь шапка Мономаха, что прыщ гнойный, – иногда на таком месте вскочит, что стыдно показать. Главной страстью правителя были звания, почести и награды, а еще – автомобили. К описываемому времени он был Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза, Президентом государства, а также фактическим правителем и главнокомандующим вооруженных сил всего социалистического лагеря. Правитель присвоил себе воинское звание Маршала с повешением на шею маршальской звезды в бриллиантах, а также ордена «Победа», сделанного вручную лучшими ювелирами из платины, золота, бриллиантов и рубинов, – этим орденом прежде награж-

дались только выдающиеся полководцы Второй мировой войны. Наш текущий вождь был также Гертрудой, то есть Героем соцтруда, и четырежды Героем Советского Союза с украшением груди пятью золотыми звездами – беспрецедентный случай в отечественной истории, которая такого героя еще не ведала. Он был помимо того Лауреатом международной премии «За укрепление мира между народами» и Ленинской премии по литературе – последнее должно было оттенить многогранность его таланта. Официальный тщательно отретушированный цветной фотопортрет вождя в маршальском мундире с более чем сотней пышных орденов, золотых и бриллиантовых звезд, густо заполнявших огромное пространство от кадыка до причинного места, поражал воображение обывателя. Впрочем, мундир этот из-за тяжести носимым быть не мог, тем более что, на самом деле, правитель был рано впавшим в маразм стариком, который не попадал в дверь, плохо врубался в тему разговора и мог выговаривать только самые простые одно или двусложные слова. Его можно было бы по-человечески пожалеть, если бы это был простой пенсионер. Но он, не зная меры, не ведая, что стал посмешищем, говорил о сложном, и народ должен был догадываться, что «сиськи-масиськи» – это значит «систематически», а «сосиски сраные» – это «социали-

стические страны». А что он делал со словом «азербайджанский» – это нужно было слышать! И все – от школьника до академика – должны были изучать и восхвалять литературные произведения Выдающегося Деятеля, которые, ясное дело, писал не он, а кто-то из членов Союза советских писателей, тоже, кстати, бездарь.

Располагавшаяся вблизи правителя элита и следующие за ней эшелоны номенклатуры безудержной лестью, ирреальным подхалимажем в сочетании с самой беспардонной ложью ограждали свои незыблемые права – деликатесно кушать из спецраспределителей, импортно одеваться в спецмагазинах за спецгосзнаки, лечиться в спецбольницах, отдыхать в спецсанаториях, на госдачах, виллах – всё, конечно, за государственный счет. В Москве правила торгово-партийно-полицейская мафия, в которую входили директор Мосторга со всей своей клиентурой, горком партии со своим огромным аппаратом и сам всесильный министр внутренних дел – генерал и член ЦК КПСС. Последний, кроме того, приторговывал антиквариатом, конфискованным у осужденных им более мелких, чем он, спекулянтов. Дочь Выдающегося Деятеля вместе с приятелями и мужем, которого добрый папочка произвел из простых охранников в генералы КГБ, увлекалась валютой и бриллиантами.

Гниль коррупции, взяточничества и блата покрыла страну «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». В провинциальных российских городах исчезли мясо, рыба, колбаса, сыр, масло, а хороших книг уже не было везде и давно. И всё это вместе взятое называлось «развитым социализмом» или еще круче – «реальным социализмом», словно в насмешку над великой утопией.

Понимал ли я тогда, что, согласившись с предложением Ивана Николаевича, вынужден буду столкнуться с этой застойной системой, с ее непреодолимым сопротивлением всему, что мы задумали? Наверное, в какой-то мере понимал, но... вряд ли до конца...

Устроившись в своем новом шикарном кабинете, я скоро понял, что мое новое положение связано с рядом неинтересных обязанностей и требует постоянной вовлеченности в массу бюрократических дел и процедур. Представление о том, что я буду заниматься, как говорил Арон, «исключительно научно-техническими проблемами», быстро рассеялось. Большую часть времени поначалу занимало выстраивание отношений с начальниками отделов и главными конструкторами. Это было нелегким делом... Не знаю, как бы я справился без моих Аделины и Кати. Аделина помогла мне найти толкового помощника. Именно она подсказала, что таковым должен быть юрист с опытом

в сфере деловых, промышленных отношений. Когда я признал это правильным, Аделина с помощью Иосифа Михайловича нашла подходящего специалиста, который впоследствии очень помог мне избежать правовых ошибок. Сложнее было с секретаршей... Катя предлагала мне своих приятельниц еще по курсам машинописи, но я все подобные предложения отвергал, полагая, что «приятельницы» будут на меня стучать самой Кате. Это мне нужно? В конце концов сам нашел подходящую, не очень опытную, но вполне интеллигентную женщину и... отправил ее на интервью к Екатерине Васильевне.

– Где ты нашел такое чудо секретарского искусства? Она же даже печатает не очень скоро... – сказала Катя.

– Это жена моего сотрудника, печатает медленно, зато без грамматических ошибок... А главное, она не будет стучать на меня.

– Ты знаешь секретарей, которые не стучат на своих начальников?

– Знаю... Это, например, ты, Катенька...

– Я нахожусь в другом измерении, если можно так сказать... У меня другие задачи, но... мне предложили сотрудничать, как только я появилась здесь. Неужели ты этого не понимаешь? Секретарь – это бесценный источник информации для органов, и этим

источником никогда не пренебрегают.

– Не верю, что ты стучала на Арона Моисеевича или Ивана Николаевича.

– Стук стуку рознь... Можно доносы писать, а можно туфту нести про то, что и так всем известно...

– Про меня много туфты нанесено?

– Про тебя слишком много известно, кому надо... Не заблуждайся на этот счет. И про твою Аделину тоже... Блестяще карьеру делает дамочка, на днях выпорхнула из директорской «Чайки», люди видели...

– Ну и что? Директор подвез своего сотрудника...

– Ой, не вешай мне лапшу на уши... Утречком, когда еще птички не запели, директор случайно подхватил ценного сотрудника по пути на работу – какая трогательная история. Валентину Андреевну спроси... Она тут приехала, чуть ли не ворвалась в кабинет Генерального, а потом оттуда крики доносились... аж через две двери – Нина Ивановна рассказывала.

Во мне, наверное, странным образом замешаны циничный практицизм с наивным идеализмом – ну не верю я в совместимость Аделины и Вани. Хотя, в конце концов, какое мне до этого дело? Но – не хочется верить... Передо мной такие проблемы, а мысль отвлекается на ерунду. На следующем совещании с руководителями подразделений предстоит нелегкий разговор о распределении работ по новому проекту.

Откладывать этот разговор было бы неправильно. Конечно, следовало бы обсудить всё с Ароном, но он, как назло, укатил на отдых в Болгарию...

Всё связанное с поездкой профессора Кацеленбойгена с женой на отдых в Болгарию, конечно, является историческим раритетом, наподобие древних апокрифов, не укладывающихся ни в рамки официальной идеологии, ни в анналы советской лживой историографии. Чтобы читателю XXI века хоть что-нибудь в этой истории было понятно, необходимо сделать крошечное геополитическое разъяснение из времен развитого социализма. Дело в том, что в те далекие времена Болгария не только являлась частью социалистического лагеря, но представляла собой его самое надежное и преданное Совку звено. Эта страна, когда-то вызволенная из-под многовекового турецкого рабства российским императором Александром II Освободителем, пребывала под полным контролем московского Кремля, но главное – с энтузиазмом, внешне вполне искренним, принимала это новое иноземное господство. Как и в Совке, границы Болгарии со стороны капиталистического окружения были намертво закрыты железным занавесом. Вследствие всех этих причин Болгария фактически была еще одной республикой в составе Советского Союза, и поездки туда только формально считались поездками за

границу. Тем не менее советские власти неохотно отпускали своих граждан даже в Болгарию – что ни говори, а там не совсем советский воздух, какие-то подозрительные западные вольности, не наша степень контроля за населением, да к тому же несравненно более высокий уровень снабжения продуктами питания и всем прочим, что может вызвать у советского человека нежелательные вопросы или даже, упаси бог, зависть.

Из предыстории следует также заметить, что у Арона были особые отношения с Болгарией – он был научным руководителем трех болгарских аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации в Ленинграде, и Генеральный консул Болгарии считал за честь приглашать его с женой в консульство на торжественные приемы. Последний из болгарских аспирантов Арона несколько раз приглашал его на отдых в Болгарию, но Арон по разным причинам отказывался от этого. Наконец, Панчо – так звали бывшего аспиранта, а ныне доцента одного из Софийских вузов, – прислал Арону новое приглашение, от которого, как говорят, невозможно было отказаться: он уже приобрел четыре путевки в санаторий в курортном местечке Созополь на берегу Черного моря для себя с женой и для Арона с Наташей. Арон колебался, но Наташа настаивала – почему бы не отдохнуть на берегу мо-

ря в красивейшем месте; неприлично, в конце концов, ставить Панчо в глупое положение. Конечно, с ее стороны это был пробный шар – отпустят ли Арона хотя бы в Болгарию?

Итак, профессор Арон Моисеевич Кацеленбойген подал в соответствующие органы заявление с просьбой разрешить ему и его жене поездку на отдых в Болгарию по приглашению своего бывшего аспиранта с приложением копии текста приглашения, характеристик с места работы и двух длиннющих анкет, в которых содержались сведения не только о заявителях, но и об их ближайших родственниках вплоть до «чем занимались до 1917 года». Вслед за этим последовала серия стандартных экзекуций-допросов, должностных максимально сократить количество претендентов на заграничную поездку. Не буду утомлять читателя нудными описаниями «собеседований» – так это называлось – в райкомах партии по месту работы Арона и Наташи, об идиотских вопросах на тему международного коммунистического движения и «правильных» ответах, заимствованных допрашиваемыми из газеты «Правда». Арон обязан был подписываться на эту газету как член партии – про «Правду» шутили, что если бы она называлась «Ложь», то это было бы истинной правдой. Наши герои успешно прошли все эти испытания на стерильность, ибо их интел-

лектуальный уровень заметно превышал уровень казенных экзаменаторов. Наступил момент истины – их пригласили в отдел виз и регистраций Ленинградского управления внутренних дел, как предполагалось, для выдачи виз на поездку...

Всё дальнейшее известно мне в основном из рассказов Наташи, потому что Арон всячески избегал обсуждать эту тему. Их приняла немолодая дама с неулыбчивым, брыластым ответственным лицом, выражение которого не зависело от содержания произносимых ею слов. Она была в форме офицера внутренних войск; Наташа не поняла, какого дама звания, но хорошо запомнила ее имя и отчество, вероятно, вследствие их неординарности – Алевтина Карловна. Назвав свое имя, безмолвно полистав дело Кацеленбойгенов и задав несколько уточняющих вопросов по анкетам заявителей, Алевтина Карловна откинулась на спинку стула и посмотрела строго на просителей. Затем она медленно, по-менторски, с расстановками и паузами, долженствующими помочь просителям усвоить суть изрекаемой премудрости, произнесла несколько фраз, которые Наташа по моей просьбе воспроизвела с максимальной точностью, ибо они, фразы, содержали некоторые интересные философско-этические обобщения, прежде в классических науках неизвестные:

«Комиссия пришла к выводу о нецелесообразности вашей, Арон Моисеевич, совместной с вашей женой поездки в Народную республику Болгария... Дело, видите ли, в том, что мы, советские люди, иногда позволяем себе недостаточно уважительное отношение к нашим зарубежным друзьям... допускаем, так сказать, не деликатность по отношению к ним. Сплошь и рядом мы здесь сталкиваемся, прямо скажем, с бестактным, так сказать, поведением наших советских товарищей. Многие наши зарубежные друзья приглашают нас к себе в гости из вежливости... из вежливости и не более того, а мы... понимаем эти приглашения слишком, так сказать, прямолинейно, принимаем эти приглашения, приезжаем к ним неожиданными гостями, так сказать, как снег на голову, сваливаемся им на голову... Возьмите, например, ваш случай. Ваш аспирант, то есть человек, от вас зависящий, вынужден пригласить вас приехать к нему в гости, естественно, полагая, что вы, так сказать, деликатно откажетесь, а вы вместо этого собираетесь приехать и создать для него и его семьи, в которой, между прочим, двое малолетних детей, массу неудобств. Давайте всё же вести себя, как вежливые, порядочные люди...»

Эта нравоучительная тирада начальницы вызва-

ла шок у просителей – даже Наташа с ее мгновенной реакцией не могла произнести ни слова. Над начальственным столом зависла взрывоопасная тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаг, в которые Алевтина Карловна углубилась, показывая тем самым, что аудиенция окончена. Первым прервал молчание Арон:

– Наша с женой непорядочность в кавычках по отношению к болгарским товарищам – это единственная причина отказа?

– ОВИР не обязан отчитываться перед гражданами о причинах нецелесообразности их поездки за границу, – не отрываясь от бумаг, ответила Алевтина Карловна.

– Кто позволил вам разговаривать с нами в подобном тоне? Перед вами известный профессор, доктор наук, подготовивший для Болгарии трех высококлассных ученых. Он имеет официальные благодарности от консула Болгарии в Ленинграде. И вы считаете возможным и пристойным обвинять его в непорядочности? Да кто вы такая, в конце концов? – очнулась наконец Наташа.

– Вопрос закрыт... Вы, товарищи, свободны...

– Разъясните, кто закрыл вопрос? Не вы ли с вашими пещерными взглядами на этику? Болгарский друг моего мужа много лет приглашает нас в гости, он

уже приобрел для нас путевки в санаторий... Что мы должны сказать ему? Что некая Алевтина Карловна считает его приглашения неискренними?

– Советую вам, Арон Моисеевич, сообщить вашему аспиранту, что, к сожалению, вы не сможете приехать к нему по причине занятости на работе, – подсказала Алевтина Карловна удобный выход из положения, демонстративно игнорируя высказывания жены профессора.

– Я без ваших советов найду, что сообщить в Болгарию. Пойдем, Наташа...

– Государственное хамство, отягченное невежеством чиновницы... – выпалила Наташа, направляясь к выходу.

– Мы сообщим вам на работу, гражданка Кацеленбойген, о вашем неприличном поведении в советском государственном учреждении, – прогремело ей вслед.

Дальнейшие события носили не менее драматический характер. Некоторое время Арон и Наташа пребывали в депрессивном состоянии. Они, конечно, как и все советские люди, понимали возможность и даже большую вероятность того, что им не разрешат съездить за границу, но не ожидали этого в столь грубой и оскорбительной форме. Ведь ОВИР мог отказать им без объяснения причин или, например, со ссылкой на секретность работы Арона, но сделал это иначе – с

нарочитой развязностью...

Человек, изначально наделенный неограниченной в пространстве свободой «по образу и подобию» Создателя, со временем вполне приспособился к пребыванию в ограниченном пространстве. Человек может быть счастлив в маленькой комнатке, в сарае, в бараке, в землянке, в конуре, но... только в том случае, если оттуда есть выход. Он может беззаботно и достойно жить даже в клетке, если дверь в нее не заперта. Чета Кацеленбойген вдруг ощутила себя в огромной клетке, из которой нет выхода. Вероятно, от подобного чувства запертости проистекают все эмигрантские настроения. Предполагаю, что именно в те депрессивные дни Арон и Наташа впервые серьезно задумались об отъезде в Израиль. Рассказывают, что однажды великого дирижера Евгения Мравинского вызвали в Ленинградский обком партии, где ему предъявили претензию — мол, в чем дело, почему от вас убегают за границу лучшие музыканты вашего оркестра? «От меня убегают? — риторически переспросил маэстро и, не дожидаясь ответа, заключил: — Это они от вас убегают!» Арон и Наташа еще не представляли себе, куда они убегут-уедут, если вообще уедут, но точно знали, от кого они уедут. В последней попытке отстаивать свое право на незапертую дверь в клетке они решились на отчаянный шаг неповиновения и с блеском

осуществили его...

Очухавшись от скандального отказа, Арон отправил заказное письмо с уведомлением о вручении на имя высокопоставленного генерала – начальника Управления внутренних дел, а копию письма – Генеральному консулу Болгарии в Ленинграде. К сожалению, черновик этого письма, написанного в те далекие времена от руки на белом листе бумаги, не сохранился. Поэтому я могу только пересказать содержание письма со слов Наташи, которая, не сомневаюсь, была и соавтором, и движителем всего этого дерзкого проекта.

В начале письма Арон излагал уже известную читателю предысторию – о своих болгарских аспирантах, о многочисленных приглашениях провести отпуск в этой стране, об уже приобретенных его бывшим аспирантом путевках в санаторий и т. д. и т. п. Затем он описывал генералу визит в «подведомственный Вам ОВИР», где «Ваша сотрудница по имени Алевтина Карловна» отказала ему и его жене в поездке в Болгарию на том основании, что «приглашение болгарской стороны является неискренним», а его «принятие советской стороной есть проявление непорядочности». Далее Арон гневно осуждал «хамский тон и оскорбительные заявления сотрудницы ОВИРа», равно как и «устроенную ею идиотскую бюрократическую волокиту».

ту вокруг простого вопроса, связанного с элементарным желанием провести отпуск вместе со своими болгарскими друзьями». Арон завершал письмо генералу отнюдь не просьбой о пересмотре дела, а краткой, явной и весьма сильно сформулированной угрозой. Этот выдающийся финал письма Арона привожу полностью со слов Наташи, которую я просил воспроизвести его максимально близко к оригинальному тексту:

«Ваша сотрудница в своем иезуитском стиле порекомендовала мне сообщить болгарским товарищам, что я не смогу приехать из-за занятости на работе. Информировать Вас со всей ответственностью, что я таким образом лгать не намерен. Более того, при первой же возможности я сообщу моим болгарским друзьям, что компетентные советские органы отказали мне и моей жене в поездке на отдых в Болгарию. Вынужден буду также подчеркнуть, что причиной отказа является ложное представление Ваших сотрудников о неискренности пригласивших меня болгарских друзей. Предупреждаю также, что, в случае попыток воспрепятствовать моим контактам с болгарскими товарищами, я вынужден буду обратиться в более высокие инстанции, в том числе международные. Вся ответственность за

последствия будет нести Ваше ведомство».

Никто не знает, дошло ли это послание до Генерального консула Болгарии – скорее всего, не дошло, а было перехвачено и хранится в архивах Госбезопасности. Однако письмо генералу МВД дошло до адресата и, по-видимому, вызвало его острую реакцию.

Собственно говоря, наиболее вероятными были две крайние реакции властей предрежащих на «наглую» угрозу профессора. Первая реакция – немедленно разрешить профессору с женой съездить в Болгарию (делов-то!), попутно разъяснив брыластой идиотке, что интеллигентам следует отказывать по-деликатнее, так, чтобы они, интеллигенты, от отказов удовольствие получали, а не жалобы строчили: мол, так и так, ничего личного против вас, а только исключительно одна лишь забота партии и правительства обо всем на свете, включая вас... Вторая реакция – немедленно поставить вопрос о состоянии психического здоровья уважаемого профессора и поместить его на принудительное лечение, впредь до выяснения всех обстоятельств, в сумасшедший дом на Пряжке, ибо человек в здравом уме и твердой памяти не может сочинять подобные письма и направлять их ответственным государственным деятелям, да еще с копией иностранному послу... Нужно отдать должное генералу МВД – он, судя по всему, принял мудрое реше-

ние, ибо через несколько дней в квартире профессора Кацеленбойгена раздался звонок из ОВИРа. Наташа, взявшая трубку, услышала в ней нежное мурлыканье: «Здравствуйте, Наталья Ивановна. Это Алевтина Карловна из ОВИРа беспокоит... Нельзя ли позвать к телефону Арона Моисеевича?» Наташа ответила, что мужа нет дома. Тогда Алевтина Карловна вежливо, с многочисленными извинениями попросила уважаемую Наталью Ивановну передать уважаемому Арону Моисеевичу, что... Далее последовал текст, который заслуживает дословного воспроизведения:

«Произошло недоразумение, уважаемая Наталья Ивановна... Я, наверное, не вполне четко разъяснила... за что извиняюсь... Арон Моисеевич понял меня неправильно, но я сама в этом виновата, что вам якобы отказано в поездке... Это, конечно, недоразумение... Никто, конечно, не может отказать таким уважаемым товарищам... Ваши документы, конечно, готовы, и Арон Моисеевич может их получить в любое удобное для него время. Позвольте пожелать вам хорошего отдыха в Болгарии, я там бывала, это замечательная страна. Еще раз мои извинения Арону Моисеевичу. Обращайтесь, если будут какие-либо вопросы. До свидания...»

Так чета Кацеленбойген попала в Болгарию и провела там совершенно сказочный месяц. Вначале они

отдыхали вместе с семьей Панчо на прекрасных пляжах Созополя, затем путешествовали по стране, побывали в Софии, Тырново, Габрово, в горах Старой Планины, в изумительном по живописности древнем городке Несебер на Черном море... Все три аспиранта Арона вместе с семьями собрались в конце того месяца в Пловдиве и устроили ему и Наташе торжественное чествование с обильными местными застольями, участием в качестве почетных гостей на настоящей болгарской свадьбе, поездкой в Родопы.

Арон и Наташа, ввергнутые в состояние расслабленной эйфории, едва не забыли, что, согласно ОВИРовской инструкции, им надлежит отмечаться в отделениях милиции по месту пребывания. В том незабываемом инструктаже накануне отъезда из Совка серьезный и напористый офицер КГБ в штатском объяснял, какие недопустимые для советского человека соблазны антисоветского и развратного характера поджидают их за рубежами родины в лице коварных шпионских вербовщиков, бесцеремонных распространителей антисоветской литературы, назойливых проституток и прочих не наших элементов, как осторожно и достойно следует вести себя советскому человеку, чтобы избежать всего этого зарубежного безобразия... Инструктируемые недоумевали – неужели в дружественной Народной республике Болгария име-

ет место подобное антисоветское паскудство, но благодарно промолчали. В заключение инструктор сказал, что по прибытии в Болгарию все должны немедленно – он угрожающе поднял палец – немедленно отметить в отделении милиции по месту пребывания. Будучи под впечатлением этого инструктажа, наши герои, впервые попавшие за границу, намеревались сразу же отправиться в ближайшее отделение милиции прямо из софийского аэропорта. Однако Панчо, встречавший их на своей машине, не без труда убедил дорогих гостей перенести визит в милицию на вечер, ибо, как он объяснил, его жена уже готовит на медленном огне болгарскую каварму – запеченное мясо с луком и со специями, вследствие чего задерживать застолье даже из-за милиции не представляется возможным. Тем вечером Арон и Панчо выпили под роскошную закуску так много болгарской водки – ароматной кизиловой ракии, что поход в милицию пришлось отложить на утро. Однако утром Панчо настоял на раннем отъезде, чтобы добраться до Созополя на берегу моря засветло, вследствие чего милицию пришлось снова отложить. По дороге Арон тоскливо скулил в каждом населенном пункте и вынудил Панчо заехать в какое-то сельское отделение милиции; флегматичный сонный дежурный не мог понять, чего от него хотят заезжие туристы, и, наконец

проснувшись, заявил: во-первых, он не будет подписывать никакие бумаги без начальника, а во-вторых, у него нет ничего такого, что уважаемые гости называют печатью. Потом под влиянием солнца, моря и болгарского улыбчивого гостеприимства Арон с Наташей расслабились и... забыли о милиции. Уже на обратном пути в Софию вспомнили о совковых инструкциях и умолили Панчо заехать в первое же в столице отделение милиции. Столичный милиционер тоже долго не мог понять, что от него хотят, но «из уважения к советским товарищам» готов был на всё и после долгих объяснений расписался в их документах и проставил дату пребывания на подконтрольной отделению территории. Сложность возникла с печатью, которую гости просили приложить поверх подписи. Милиционер утверждал, что печати у него нет, но после долгих слезных уговоров нашел какую-то прямоугольную печатку с непонятной полустертой надписью по-болгарски, которую после обильного смачивания чернилами и приложили к бумагам – все были довольны проделанной работой, и наши герои спокойно уехали восвояси...

Екатерина Васильевна, которой я, конечно, рассказал всю эту историю, не разделяла моих восторгов по поводу блестящего хода, вынудившего органы выпустить Арона с женой за границу. Она утверждала,

что никакое письмо не заставило бы начальство изменить свое решение, и считала, что благоприятный исход дела есть результат вмешательства Валентины Андреевны, тогда уже работавшей в ОБИРе. «Вероятно, – говорила Катя, – Валентина Андреевна каким-то образом узнала об этом деле и лично заступилась за своего бывшего коллегу, которому симпатизировала». Я считал такую версию маловероятной, но кто знает...

Как бы то ни было, Арон вернулся из Болгарии в отличном настроении и сразу же подключился к моему проекту. Он тогда дал хороший совет: не надо вовлекать в это дело весь институт, не надо размазывать работы по всем отделам, а, напротив, следует сосредоточить их в минимальном числе подразделений. «Чем меньше компания, тем содержательнее разговор», – сказал Арон. Я с восторгом принял эту точку зрения и убедил в ее правильности Ивана Николаевича – ему тоже уже поднадоели постоянные попытки наших ретроградных начальников отделов увильнуть от участия в проекте, который он считал своим детищем. В итоге нам удалось сосредоточить основную часть теоретической и опытно-конструкторской разработки новой системы в отделе Арона. Моя лаборатория была усилена Валерием Гуревичем и еще несколькими теоретиками. Благодаря мощному твор-

ческому ядру проекта мы быстро продвигались вперед и вскоре сформулировали технические требования к микропроцессорам будущей цифровой мобильной системы. С помощью Ивана Николаевича отдел микроэлектроники предприятия был переориентирован на разработку новой, еще не виданной у нас технологии.

Короче, наш проект стартовал довольно успешно. Иван Николаевич тут же оповестил местные партийные органы и московское начальство о «прорыве в мировой цифровой системотехнике», имеющем место на вверенном ему предприятии. Я был категорически против этого преждевременного шума-гама, похожего на банальное фанфаронство, но Ваня убеждал меня, что без «шума» он не сможет пробить необходимое для выполнения проекта финансирование. «Разработка микросхем потребует миллионных вложений... Кто даст их нам без поддержки наверху?» – убеждал он меня. Как-то замминистра, которого звали Комир Николаевич, приехал к нам, и Ваня пригласил меня на встречу с ним. Ну, Николаевич – это понятно, а насчет Комира я долго сомневался, но, в конце концов, уразумел – это сокращенное Коммунистический Мир. Комир был, на самом деле, нормальным мужиком без дурацких утопий в голове, заставивших его папу дать сыну столь нелепое претенциозное имя. При-

щурив один глаз, он спросил нас: «Вы считаете, что ваша система не уступает американской?» Я еще не успел раскрыть рот, как Ваня хвастанул: «Не только не уступает, но и превосходит по основным показателям». Я был в ужасе, но возражать боссу в присутствии высокопоставленного гостя не решился. Комир тем временем, ничуть не интересуясь нашими «показателями», очень по-житейски посоветовал: «Не рекомендую вам утверждать официально, что вы превзошли американцев, – все решат, что вы просто врите. Лучше говорите, что вам удалось сделать не хуже американцев, – тогда вам, возможно, поверят». Но Ваню совет высокого гостя не убедил – он продолжал свою высокопарную рекламную кампанию. Ни Ваня, ни я тогда еще не понимали, какая огромная волна завистливого недоброжелательства поднимается вокруг нашего проекта в развращенных властью кругах, считавших любую нестандартную инициативу, любой творческий выброс явной угрозой для своей сытой прикормленной жизни. Комир Николаевич, бывший, на самом деле, нашим доброжелателем, деликатно предупреждал об этом, но мы не в полной мере поняли его...

Арон оценивал ситуацию реалистичнее – он считал, что наши теоретические решения близки к тем, что предлагают американцы, и что мы опережаем

японцев и европейцев, в том числе лидирующих финнов. Он шутил: «Это неудивительно, ведь у рулей русского и американского проектов стоят „близнецы-братья“ – Уваров и Саймон. Это коды Уварова-Саймона работают». Тем не менее Арон сомневался, что отечественные микроэлектронщики сумеют создать схемы на уровне американских, и в этом видел главную нашу проблему. Он говорил: «Иван Николаевич думает решить задачу создания микропроцессоров путем массивных денежных вливаний, но не всегда и не всё можно решить деньгами. Здесь нужны серьезный научный задел, обширный опыт и высочайшая культура производства. Ни того, ни другого, ни третьего у нас нет. Я бы поостерегся выдавать необоснованные авансы – так и скажи своему боссу». Соглашаясь с Ароном, я тем временем сам пытался найти ответ на наш вечный национальный вопрос – что делать? Арон знал искомый ответ: «Оптимальное решение – кооперироваться с американцами...» На мой недоуменный вопрос о том, как это можно себе вообразить, он отвечал: «Очень просто... Ты летишь на самолете „Аэрофлота“ в Нью-Йорк, а затем самолетом „ПанАм“ в Калифорнию с соответствующими полномочиями для переговоров с Саймоном. Вы согласуете детали совместного советско-американского проекта по созданию глобальной цифровой мобильной теле-

коммуникационной системы. В этом проекте стороны выполняют соответствующие их интересам и возможностям работы – кто что лучше умеет делать. Оставляю за скобками вопросы реализуемости данного оптимального решения».

Я вспыхнул: «Ну, а если остаться в скобках реальности, не нести пургу и не ёрничать, то каким будет ответ на вопрос – что же нам делать?»

Арон ответил туманно, с подтекстом:

«В скобках реальности мы должны... пройти самостоятельно столько, сколько сможем... А можем мы немало, хотя, вероятно, и не всё... Чего мы определенно не можем, не имеем права, так это – отказаться от проекта даже в том случае, если видим на пути его реализации непреодолимое препятствие. Чем дальше мы сумеем пройти, тем лучше... Для науки лучше, для будущей технологии лучше...»

С этой странной установкой мы и продолжали работать – упорно продвигались вперед, умело преодолевая множество мелких препятствий, но точно зная, что дорога, в конце концов, неизбежно упрется в непроходимое болото наших реалий. Я понимал, что эти реалии так или иначе проявят себя, но принял концепцию Арона об обязательном движении вперед во что бы то ни стало... Как говорил классик: «Движение –

всё, цель – ничто». В конце концов, как говорил другой классик: «Развитие – есть борьба противоположностей» – вот и будем бороться с противоположностью... исключительно ради развития.

В результате благодаря нашему с Ароном напору и Ваниной административной поддержке в проект вовлекались специалисты смежных отделов – как говорили, фронт работ быстро расширялся. Мне удалось увлечь идеей глобальных цифровых технологий Артура Ланового, и его отдел взял на себя решение системно-сетевых проблем. Участие Артура, однако, тормозилось свалившимися на него тяжелыми обязанностями по подготовке системы «Тритон» к кругосветным испытаниям. Об этом стоит поговорить подробнее...

После отстранения разработчиков этой системы от участия в ее доводке дело продвигалось медленно, а сама идея испытаний «Тритона» на просторах мирового океана постепенно угасала. Бурная энергия сотен людей, вовлеченных в организацию этих испытаний – от высокопоставленных партийных и военных начальников и министерских бюрократов до охранников на дальних северных полигонах, почти полностью уходила на «трение», фактически ничего не производя. «Тритон» всё еще не работал в надлежащем режиме. Мы с Гуревичем помогали команде Ланового осва-

ивать эту новую для них технику, но ни я, ни Арон не могли подключить к этой работе своих сотрудников, занятых в новом проекте. В результате любой сбой «Тритона» приводил к значительным задержкам. Когда Артур Олегович наконец доложил начальству о готовности аппаратуры к кругосветным испытаниям, случились неполадки на передающем радиоцентре, а потом выяснилось, что академический корабль ушел из Одессы с другим заданием. Иван Николаевич находился под дамокловым мечом «Тритона», но по понятным причинам не хотел возвращать все эти «кругосветные дела» в отдел Арона Моисеевича... В конце концов, он придумал вот что: заменить кругосветное плавание испытаниями в советских территориальных водах. Например, корабль с «Тритоном» плавают в Баренцевом море и принимает сигнал с Камчатки, а затем наоборот – корабль с «Тритоном» плавают в Охотском море и принимает сигнал с Кольского полуострова. «И овцы целы, и волки сыты», а главное – в случае неполадок наша команда может немедленно прибыть на испытательный объект без оформления заграничной командировки. Гениальная Ванина идея была поддержана и в верхах, и в низах – начальство получало возможность рассказывать басни о своих успехах, а Артур мог при таком раскладе рассчитывать в случае необходимости на немедленную

помощь тех, кто на самом деле разрабатывал «Тритон», и главное – без задержки защитить докторскую диссертацию. Не скрою, я испытывал некоторое чувство злорадства – не выгорело у Совка с кругосветным путешествием без нас. Арон, конечно, не поддерживал это мое настроение. Он считал решение Генерального директора недопустимым паллиативом и даже провалом всего проекта и переживал по этому поводу – мол, за державу обидно... «Если бы ты, Арон, производил веревки, то, вероятно, не отказался бы передать одно из своих изделий любимой державе, собирающейся повесить тебя с помощью этого самого изделия», – говорил я, перефразируя известное изречение классика марксизма-ленинизма. Под новый год «Тритон» наконец-то отправили секретным вагоном в Североморск вместе с командой испытателей – все вздохнули с облегчением.

Новый год начался скверно. Четверо престарелых советских вождей во главе с самим Выдающимся Делегатом приняли решение о вводе войск в Афганистан. Они приказали убить афганского правителя, по просьбе которого якобы ввели в его столицу советские войска, и поставили на его место своего человека, привезенного из Москвы. Несознательные афганцы, слабо знавшие основы марксизма-ленинизма, почему-то не приняли кремлевскую марионетку и восстали. На-

чалась многолетняя кровавая афганская война. Академик Сахаров резко протестовал, но ему оперативно заткнули рот, выслав вместе с женой в закрытый для иностранцев город Горький. За свои взгляды, не совпадавшие с общесовковыми, академик был лишен всех наград, в том числе трех геройских звезд за создание советского ядерного оружия. Президент Академии наук Александров доверительно сообщил своим коллегам, что имеется указание сверху исключить Сахарова из Академии наук СССР. Лауреат Нобелевской премии Семенов сказал, что подобных прецедентов вроде бы не было. Лауреат Нобелевской премии Капица возразил: «Почему же не было – Гитлер исключил Эйнштейна из германской Академии наук». Благодаря разъяснению академика Капицы вопрос с академиком Сахаровым был закрыт, а сам он вместе со всеми своими протестами быстро забыт, потому что совки с большим «всенародным подъемом» готовились к главному событию года – летним Олимпийским играм в Москве!

Вскоре афганская бойня с нарастающим потоком убитых и раненых «оттуда» была заслонена красочными олимпийскими картинками и засвечена роскошными многоцветными салютами. Всенародный праздник слегка подпортил Владимир Высоцкий, умерший, как назло, в разгар олимпийского веселья... Населе-

ние в целом не очень-то и поняло, кого и что оно потеряло, и... продолжало веселиться.

Но, как говорил классик, «нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка... смерть каждого Человека умаляет и тебя, ибо ты един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

Глава 11. Индийский океан

Печален смотр боевых сил, который производят уцелевшие после выхода из злосчастной гавани Себу...

Пять кораблей с весело развевающимися вымпелами, с многолюдной командой вышли из Севильской гавани... Всего два корабля плывут теперь бок о бок по неведомому пути: «Тринидад», бывшее флагманское судно Магеллана, и маленькая невзрачная «Виктория», которой предстоит оправдать свое гордое имя и пронести в бессмертие великий замысел Магеллана... 8 ноября 1521 года они бросают якорь у Тидора, одного из благодатных островов, о которых всю жизнь мечтал Магеллан... Его суда, его люди узрели обетованную страну, куда он, подобно Моисею, обещал привести их, но куда ему самому не суждено было попасть... Моряки опьянены столь великим счастьем после всех лишений и страданий; они с лихорадочной поспешностью закупают пряности и чудесно оперенных райских птиц... – ведь возвращение не за горами, и богатыми людьми, приобретя за бесценок несметные сокровища, они вернутся на родину. Иные из них, правда, всего охотнее... остались бы в этом земном раю. А потому, когда... выясняется, что только

одно из судов достаточно крепко, чтобы выдержать обратный путь... значительная часть экипажа с радостью принимает эту дурную весть. Остаться обречено бывшее флагманское судно Магеллана «Тринидад»... Теперь, когда вождя нет в живых, его судно не хочет плыть дальше: как верный пес не дает увести себя с могилы хозяина, так и «Тринидад» отказывается продолжать путь...

«Виктория», последнее уцелевшее судно Магеллановой флотилии, начинает свое незабываемое плавание. Это обратное, охватившее половину земного шара плавание старого, изношенного за два с половиной года неустанных странствий, вконец обветшавшего парусника – один из великих подвигов мореплавания... Этот беспримерный львиный прыжок с Малайского архипелага до Севильи начинается в достопамятный день – 13 февраля 1522 года из гавани острова Тидор... В первые дни «Виктория» еще плывет мимо островов... Но мало-помалу последние острова исчезают в голубоватом тумане... и только бескрайний океан окружает судно своей мучительно неизменной синевой. Недели, долгие недели, покуда они плывут в пустыне Индийского океана, моряки видят только небо и море в их ужасающем, гнетущем однообразии. Ни человека, ни корабля, ни паруса, ни звука... Но вот

из тайников корабля выходит старый, хорошо знакомый призрак, тощий, бледный, с глубоко запавшими глазами, – голод. Непредвиденная катастрофа свела на нет все расчеты... – на Тидоре не оказалось соли, и под палящим зноем индийского солнца недостаточно проявленное мясо начинает гнить. Чтобы спастись от зловония разлагающихся туш, моряки вынуждены весь запас выбросить в море, и теперь пищей им служит один только рис, рис да вода... и с каждой неделей всё меньше риса и всё меньше затхлой воды...

У мыса Доброй Надежды... на них налетает бешеный шквал, ломающий переднюю мачту и расщепляющий среднюю. С величайшими усилиями измученные, едва держащиеся на ногах матросы кое-как исправляют повреждения. Медленно, с трудом, тяжело тащится судно вдоль побережья Африки на север... Семьсот центнеров пряностей везет «Виктория»... На борту судна люди претерпевают пытку из пыток, умирая голодной смертью посреди груд пряностей. Каждый день за борт бросают иссохшие трупы.

Тридцать один испанец из сорока семи и трое из девятнадцати островитян еще живы, когда после пяти месяцев безостановочного плавания... обессиленный корабль наконец подходит к островам

* * *

Лановой и Гуревич защищали докторские диссертации в один и тот же день на расширенном Ученом совете ПООПа. Отблеск «Тритона», его легендарная таинственность придавали обоим немалую значительность, возвышали их над обычными соискателями. Артур, только что вернувшийся из Североморска с очередного тура испытаний хранил секретное выражение лица, когда его спрашивали о результатах, и многозначительно отвечал, что всё в порядке. Просочились сведения, что испытания проходят успешно и что главный адмирал флота остался доволен. На самом деле всё было не совсем так за исключением довольства адмирала, которому наши специалисты без труда повесили лапшу на уши – продемонстрировали зашифрованную радиограмму из Камчатки, принятую при благоприятных атмосферных условиях. Мыто с Ароном знали, что во время испытаний возникли проблемы с синхронизацией, из-за которых часть радиограмм пропускалась. Было более или менее ясно, как устранить выявленный дефект, но для этого необ-

ходимо было прервать испытания, против чего категорически возражало руководство... Валерий также пожинал плоды тритоновской славы, ибо был в числе разработчиков системы. Короче говоря, обе защиты прошли весьма успешно: за Ланового проголосовали единогласно, у Гуревича оказалось всего два черных шара. Уже потом, на банкете, Арон выговаривал мне: «Ты, Игорь, вполне мог бы сегодня быть среди соискателей докторской... У тебя достаточно результатов... По моей оценке – больше, чем у них, но твоя лень...» Я вяло оправдывался, однако Наташа неожиданно поддержала меня. «Быть знаменитым некрасиво...» – процитировала она классика и добавила, что, мол, Игорь, сейчас при таком деле, которое важнее званий и степеней...

Банкет ребята устроили совместный, всего приглашенных набралось больше ста человек, сняли ресторан на крыше гостиницы «Ленинград», той, что на развилке Невы и Невки прямо напротив крейсера «Аврора». Там над верхним этажом можно было видеть нашлепку с большим банкетным залом «Петровский», из которого открывался потрясающий вид на разлив Невы и панораму города.

Столы были расставлены в виде огромной буквы «П». За главным столом, в центре, между героями дня с женами сидели Иван Николаевич и Валентина Ан-

дреевна. Там же располагались официальные оппоненты и кто-то из партийного начальства, приглашенного четой Коробовых. Валентина Андреевна старалась придать этому мероприятию торжественное публичное звучание – сразу две докторские диссертации во вверенном ее мужу предприятии! Валерий Гуревич рассказывал, что именно она настояла на банкете в этом месте и помогла всё организовать, используя свои связи, – не всем дозволялось пьянствовать в таком роскошном зале.

Вдоль левой ножки буквы «П» располагались преимущественно гости Валерия, вдоль правой – в основном гости Артура. Тогда я как-то и не заметил этого разделения, потому что многие были приглашены обеими сторонами, но теперь, годы спустя вспоминая тот банкет, вижу ясно – это была историческая развилка, после которой кареты левой и правой половин того знаменательного банкета покатались по разным дорогам, драматически отдаляясь друг от друга. Тогда этого никто не мог предвидеть, хотя самые прозорливые не преминули заметить, что уникальность самого места проведения и роскошь всего театрального действия смахивают на опасный вызов судьбе... Аделина определенно была в числе провидцев. Повидимому, не без стараний Валентины Андреевны ее посадили рядом со мной, и мне показалось, что Аде-

лине это не очень-то понравилось. Я спросил: «Почему у самой красивой женщины в этом самом красивом зале такой невеселый взгляд?» Она ответила, доверительно сжав мой локоть: «Не нравится мне такое веселье, Игорь... Не нравится кричащий разрыв между всей этой помпезностью и сутью – защитой научных работ, пусть даже докторских... Какая-то русская рулетка, что ли?» Смысл этих слов Аделины я понял много позже, а тогда ответил глупостью типа «красота спасет мир». Я человек ресторанный, но, признаться, действительно не помню ничего подобного тому банкету – знаменитые шелковые гобелены «Петровская сюита», изготовленные лучшими художниками специально для этого зала, уникальный столовый сервиз на сто с лишним персон, о котором рассказывали легенды, обслуживание, как на королевском приеме, и прочее... Красота, конечно, спасет мир... когда-нибудь, но не в этот раз... Спасет не без участия женщин, конечно... Я был посажен между красавицами Аделиной и Наташей, а напротив через проход сидела очаровательная Катя – три женщины, которых я любил, и, по крайней мере, две любившие меня. Как и кем планировался этот расклад, я точно не знал, но подозревал склонную к интригам Валентину Андреевну – нашу богиню секретной информации из органов. Вечер обещал немало сюрпризов, и я не был уверен, что все

они будут приятными...

Катя пришла с мужем в красивом вечернем платье с глубоким вырезом вдоль бедра. Я давно не видел ее такой – во время наших тайных свиданий в рабочее время мне доводилось торопливо срывать с нее обыденные деловые костюмчики. «Позвольте представить вам, Игорь Алексеевич, моего мужа Всеволода Георгиевича, – сказала Катя с неоправданным озорством и добавила, обращаясь к нему: – Это, Сева, Игорь Алексеевич – зам Ивана Николаевича по научной работе». Я подал руку крупному мужчине с мрачноватым лицом начинающего алкоголика, не лишенным, впрочем, приятности, – мне показалось, что он задержал мою руку дольше, чем требовалось. Так невыразительно состоялось то роковое знакомство...

Меня, однако, ожидал еще один сюрприз. Когда все уже рассаживались, в зал влетела женщина с букетом цветов; она подбежала к Артуру с поздравлениями и поцелуями, а затем устроилась прямо напротив нас с Аделиной, рядом с Катей и Севой. «Алиса! – определенно зафиксировал я и тут же озабоченно рассудил: – Три действующие любовницы за одним со мной столом – это перебор». И еще подумал, что нельзя не отдать должного виртуозному изяществу той интриги, в которую втягивает меня гениальная Валентина Андреевна – откуда она всё это знает про меня? С Али-

сой мы знакомы сто лет, а впервые встретились на какой-то вечеринке, когда она была еще первокурсницей – очаровательным созданием с тонкой легкой фигуркой, нежным личиком и толстенной русой косой. Мы с Алисой танцевали на той вечеринке, а потом она попросила меня проводить ее домой – мол, боится одна ехать через весь город. Я без особого энтузиазма проводил ее до дома у черта на куличках, потом до дверей квартиры и... как-то совсем незаметно мы оказались наедине... Алиса так стремительно скинула с себя всю одежду, что я, изумленный, подумал: «Девочка без тормозов...» На самом деле тормоза у Алисы были очень твердые, но весьма избирательные. Как она сумела вычислить меня на много лет вперед и тут же, как говорят, застолбить, до сих пор не представляю. Впрочем, тот любовный эпизод не имел поначалу никаких последствий – случайным образом я узнавал, что она вышла замуж, затем развелась и вышла второй раз, после чего уехала с мужем «в глушь, в Саратов». И вот через несколько лет, когда я по совместительству руководил аспирантами, пришла ко мне элегантная дама, в которой я, конечно, распознал повзрослевшую Алису. Она умоляла меня взять ее в аспирантуру, клялась, что будет работать столько, сколько потребуется – до изнеможения... Я согласился и, надо сказать, не ошибся –

Алиса написала с моей помощью и успешно защитила неплохую диссертацию. Все три года ее аспирантуры наши отношения не выходили за рамки деловых, но после защиты она сказала, что бесконечно благодарна мне, что я радикально изменил ее жизнь к лучшему, что она мечтает отблагодарить меня, но знает только один способ, как это сделать... С тех пор Алиса дважды в году приезжает в Ленинград, каким-то неизвестным мне способом снимает номер в неплохих гостиницах и... сообщает номер своей комнаты. Встречается ли она там же со своим приятелем Артуром, я не знаю, но не исключаю... Короче, следует ожидать сообщения о месте нашего очередного свидания – констатировал я.

Официально банкет начался с краткого вступления Арона Моисеевича, который единодушно был назначен тамадой. Арон утверждал, что не любит этого, поскольку, мол, обязанности тамады отвлекают от «вкусной еды и вкусных застольных разговоров», но на самом деле, как мне казалось, в нем жил несостоявшийся актер, талант которого неожиданно и блестяще раскрывался в подобной банкетной стихии. Арону удавалось на несколько часов объединять распадавшуюся на части огромную компанию, придавать действию увлекательную динамику с непрерывной чередой тостов, незаметно и деликатно им управляемых.

Как умелый режиссер, он сразу же обозначал некое связанное с событием неожиданное или даже забавное обстоятельство и навязывал обществу некоторые ключевые слова, позволявшие всем бесконечно импровизировать на заданную тему. В тот раз таким обстоятельством был «крейсер Аврора, стоящий на бессменной вахте под окнами ресторана»... Иван Николаевич, которому, естественно, предоставили первое слово, явно был в ударе и достойно развил тему. Он не преминул отметить, что «наши диссертанты – люди, вышедшие из простого народа», что «исторический залп „Авроры“ открыл перед ними прежде недоступные простым людям возможности», которыми они успешно воспользовались и достигли в науке «самых высоких вершин». Ваня закончил свою речь предложением выпить за дальнейшие успехи новых докторов наук, а также, красиво добавил он, «за успехи нашего советского народа, мирный труд которого находится под надежной охраной стоящего под этими окнами легендарного крейсера „Аврора“». Все с удовольствием выпили и закусили. Аделина сказала кулуарно: «Я бы не советовала нашему народу полагаться на боевую мощь „Авроры“». Насколько помнится, единственное серьезное Цусимское сражение, в котором этот корабль участвовал, он проиграл и, жестоко побитый, еле уполз восвояси. Другое дело –

стрелять по беззащитному царскому дворцу». Наташа возразила: «Побитый, перебитый, отнюдь не геройский... а как жизнь свою устроил! Все его боевые соратники давно на свалке металлолома, а он, посмотрите в окно, целехонький гордо стоит в красивейшем месте города при обслуге и всеобщей заботе... И всё это за один выстрел и то холостой, как говорят».

Тема многогранной или, как сказал Артур, многомерной связи диссертантов с «Авророй», умело поддерживаемая тамадой, доминировала и в разговорах, и в тостах. Доминировала тоже «многомерно» – от «исторического выстрела крейсера „Аврора“, открывшего новую, социалистическую эру в истории человечества» до розовых щечек крылатой богини утренней зари Авроры, скачущей на колеснице вслед за предрассветным ветерком. Вспоминали еще многочисленные анекдоты о крейсере «Аврора», впрочем, не очень остроумные... Арон рассказал всем легенду о том, что вечером 25 октября 1917 года на борту крейсера появилась ослепительно прекрасная женщина в белоснежном платье. «Именно она приказала сделать исторический выстрел – это, конечно же, была богиня утренней зари Аврора, пожелавшая стать и богиней зари русской революции», – красиво закончил он под аплодисменты публики. Аделина тихо заметила: «Арон Моисеевич забыл добавить, что по той

же легенде руки красавицы в белом платье были по локоть в крови».

Говорили, конечно, не только об «Авроре». Мы с Ароном обменялись публичными комплиментарными тостами на тему достижений нашей науки. Он предложил выпить за меня с неожиданными комментариями: «Уважаемые друзья и коллеги! Хочу информировать вас, что совсем недавно я получил письмо от выдающегося американского ученого Джошуа Саймона...» В зале мгновенно наступила тишина – все замерли, ожидая сенсационного заявления. Арон выдержал интригующую паузу и продолжил:

«Доктор Саймон пишет, что с интересом ознакомился со сделанными специально для него переводами наших публикаций на английский язык. Он убедился, что описанный им в недавней статье метод передачи информации изобретен ранее советским ученым И. А. Уваровым... Доктор Саймон добавляет, что – цитирую буквально – „приоритет русских в этом вопросе отныне не вызывает сомнений“. Саймон далее добавляет, что намерен отразить этот факт в своей новой монографии, одну главу которой он переписал после ознакомления с нашими публикациями».

В этом месте напряженную тишину прервали аплодисменты, инициированные Иваном Николаевичем:

«Научная школа нашего предприятия получает мировое признание!» Арон продолжил свой тост: «Доктор Саймон выражает в своем письме готовность сотрудничать с русскими учеными и просит передать доктору Уварову пожелания успехов в работе, что я с удовольствием делаю и прошу всех присоединиться ко мне». Арон подошел с бокалом вина, и мы чокнулись. Он сказал, что гордится моими успехами, а для всех громко добавил: «Я написал доктору Саймону письмо с благодарностью за объективную оценку вклада наших ученых и предложил называть новый метод кодированием по Уварову-Саймону». Все снова зааплодировали, а я удостоился сразу двух нежных поцелуев в левую и правую щеки от Аделины и Наташи и двух воздушных поцелуев от Кати и Алисы, после чего попросил дать мне слово, как говорится, алаверды... Свой короткий тост я записал в дневнике дословно, вот он:

«Иван Николаевич сказал, что научная школа нашего института получает мировое признание, но давайте зададимся вопросом: чья это заслуга? Отвечаю на него совершенно определенно – наша научная школа создана Ароном Моисеевичем Кацеленбойгеном, точка! Сегодняшние виновники торжества, с блеском защитившие докторские диссертации, Генеральный директор нашего предприятия, ваш

покорный слуга и многие другие являются его прямыми учениками и, надеюсь, продолжателями его научных традиций. Если добавить к научным достижениям Арона Моисеевича его блестящие способности тамады, то нельзя не признать, дорогие друзья, что нам с вами в жизни повезло работать, переживать неудачи и праздновать свои достижения вместе с этим выдающимся человеком... Но, как говорили классики, за спиной каждого великого мужчины стоит не менее великая женщина. Поэтому поднимаю тост за... жену Арона Моисеевича – красавицу Наталью Ивановну!»

Мой спич был принят с большим энтузиазмом, а у Наташи, как мне показалось, даже увлажнились глаза.

– Хотел бы сказать о тебе много больше, но, боюсь, меня неправильно поймут, – сказал я Наташе.

– Ты сказал очень хорошо об Ароне – спасибо. Не все понимают, кто тот великан, на чьих плечах они стоят.

– Я знаю, кто не дает согнуться этим плечам.

– Брось, Игорь, не преувеличивай мою роль. Несгибаемый стержень заложен в Арона природой...

– Почему он не рассказал мне о письме Саймона?

– Он хотел сделать тебе сюрприз – чтобы эта новость не была обыденной, а прозвучала в какой-то

торжественной обстановке, чтобы все о ней знали. Судя по реакции, это ему удалось сполна – даже Иван Николаевич был приятно удивлен...

– Иван Николаевич узнал о содержании письма раньше Арона Моисеевича, – вдруг вмешалась в разговор Аделина.

– Откуда ты это знаешь?

– Знаю – неважно откуда... Не думаешь ли ты, что письмо из Америки доставляют в нашей благословенной стране прямо адресату?

– Думаю, что такое письмо сначала читают там, где положено... Но при чем здесь Ваня?

– Копии подобных писем присылают ему оттуда, «откуда положено», для согласования окончательного решения: передавать оригинал адресату или принять другие меры – например, арестовать этого самого адресата...

– Могла бы предупредить меня...

– Не могла, не знала содержания письма, но знала, что принятое решение ничем не грозит вам с Ароном Моисеевичем, – иначе, конечно, предупредила бы...

– «Иначе» – это как? За что в данном случае можно, например, арестовать адресата, как ты говоришь.

– Есть чекистская поговорка: «Был бы человек, а статья найдется». Тебя, Игорь Алексеевич, можно было бы при необходимости запросто упечь, например,

за сотрудничество с ЦРУ, агентом которого нетрудно «назначить» доктора Саймона. Код Уварова-Саймона – это же не просто доказательство подобного сотрудничества, но и признание такового, если не самооговор... Разглашение государственных секретов под видом научных публикаций – тоже неплохо звучит. Правы чекисты – «статья найдется».

– Наслушалась ты, Аделина Григорьевна, ужасов от нашего общего друга Иосифа Михайловича. Не надо преувеличивать...

– Конечно, преувеличивать не надо, но по сути Аделина права, – подключилась к разговору Наташа. – Меня, честно говоря, эта переписка с Америкой тоже напрягает...

– А я считаю, что публикация наших работ и ссылки на них за рубежом – наша охранный грамота, не в пастернаковском смысле, а в исходном незамысловатом. Смотрите – аналогия, конечно, далекая, но, если бы произведения Солженицына не были известны и даже опубликованы на Западе, его бы сгноили здесь безоговорочно... А так – покрутились, повертелись и... выслали за границу.

– Наивный способ перемещения за границу, нечто вроде телекинеза... – начала было возражать Аделина, но заиграл оркестр, и я пригласил ее на первый танец.

Первый танец на банкете дает возможность зафиксировать, кто с кем пребывает, так сказать, официально. Иван Николаевич танцевал с Валентиной Андреевной, Арон с Наташей, Сева с Катей, я с Аделиной. Чтобы выявить действительно неравнодушных друг к другу, равно как и всевозможные тайные связи, следует проследить за парами второго или даже третьего танца... У меня была сложная задача – следовало протанцевать со всеми тремя любовницами, чтобы ни одна из них не обиделась и вместе с тем не выявила других. А еще хотелось обнять хотя бы в танце Наташу... Кроме того, танцевальный перерыв дает возможность пообщаться с кем надо в интересах дела, да так, чтобы никто не придал этому значения – мои намерения непременно сделать это ограничивались, однако, количеством выпитого коньяка.

Перед тем как пригласить на танец Катю, я затеял разговор с ее мужем. Помню, что Сева, уже в сильном подпитии, произвел на меня странное впечатление. Я расспрашивал его об участии в совместных с нашим ящиком работах. Он отвечал вполне толково и грамотно, но как бы сквозь зубы, с неким непонятным вызовом. Это было неприятно, но ради Кати я терпел его конфронтационный тон, который в другом случае давно бы вывел меня из себя. Неужели он о чем-то догадывается? Если так, то это скверно... «Не возража-

ете, Всеволод Георгиевич, если я приглашу вашу жену на танец?» – наконец спросил я. Он, явно нарываясь на скандал, ответил на мой риторический вопрос так, что это можно было счесть неприличием: «Вы во всех случаях спрашиваете у мужей разрешения?» Едва сдержавшись, я кивнул утвердительно и протянул руку Кате. «Неужели он знает? Если знает, то, скорее всего, от тещи... Скверная история», – вертелось в голове.

– Что с твоим Севой? Почему он так напряжен и агрессивен?

– Не обращай внимания, слегка перепил... Как и ты, кстати...

– Не кажется ли тебе, что он знает... – начал было я, но Катя меня резко одернула.

– Ничего он не знает. Это у него такая защитная реакция. Против таких, как ты...

– «Таких, как я» – это как понимать?

– Подумай, чем ты от него отличаешься, – этим всё и объясняется... Ты не такой, как он, – отсюда агрессивность, но такой, каким он, возможно, хотел бы быть, – отсюда напряженность. Ты неженатый, успешный, у тебя нет проблем с женщинами – это для него чуждое, недоступное...

– Почему же недоступное? Он что же – слабоват в...

– Понимай, Игорь, как хочешь, а мне этот разговор неприятен... Давай лучше поговорим о твоей Аделине.

– А мне эта тема неинтересна. Катя, ты что... ревнуешь меня к Аделине?

– Я ее жалею... И тебе бы пожалеть девушку, поддерживать ее. Она сама против Вани не устоит – слишком силы неравные. А он закусил удила. Вот-вот сорвется... И тогда... Никто не знает, что тогда Валентина Андреевна устроит.

– Не думаю, что всё так серьезно, и не вижу своей конструктивной роли в этом шекспировском сюжете.

– Ты такой же, как Аделина, – эгоистичный, самодостаточный. Вы похожи, женись на ней – сразу разрубишь несколько узлов. Сам знаешь, какие это тяжелые узлы...

– Не люблю похожесть и одинаковость, обожаю противоположность, – сказал я и прижал ее к себе. Во мне нарастало желание, и Катя почувствовала это...

– Прекрати, Игорь, люди увидят... – Катя взглянула мне прямо в глаза с милой полуулыбкой, в которой были и смущение, и тайный призыв...

– Катеньш, ты же прекрасно знаешь, что прекратить это можно только одним способом... – прошептал я.

– Всё равно – прекрати... Лучше иди и поговори

с Валентиной Андреевной – она мигом охладит твой пыл.

Расправившись с эмоциями, я подошел к начальственному столу, поздравил еще раз докторов наук. Артур сказал, что у него теперь будет больше времени на новый проект. «Что с „Тритоном“?» – спросил я, и он ответил: «„Тритон“ возвращается для доработки. Сам знаешь, какие там проблемы, – надеюсь на помощь твоих людей». Я, конечно, знал, «какие там проблемы» – слабое владение командой Артура тритоновской техникой, но не стал огорчать его в тот праздничный день. Валерий тоже подтвердил: теперь у него будет больше возможностей для работы. «Я не подозревал, что подготовка к защите докторской отнимет столько времени и сил – составление и печать текста, вписывание формул, размножение рисунков, издание автореферата, организация множества отзывов... – пожаловался Валерий и добавил: – Такое впечатление, что там наверху придумали столь утомительную антинаучную процедуру, чтобы лишить ученых времени на реальную научную работу». Я посоветовал Валерию не доводить до сведения ВАКа эту свою точку зрения.

Разговор с Валентиной Андреевной получился довольно странным. Я, конечно же, хотел выведать, что происходит у нее с Иваном Николаевичем. Дело бы-

ло отнюдь не в простом любопытстве – все понимали, что крушение их семейных отношений вызовет непредсказуемые негативные последствия. Один зарвавшийся Ваня, забыв, кто его взрастил, похоже, не вполне отдавал себе отчет в этом. В ящике упорно циркулировали слухи о скандале в семье Коробовых и даже о близком разрыве. Говорили, что Ваня серьезно увлекся другой женщиной, значительно моложе своей жены, а Катя утверждала, что этой женщиной является Аделина. По ящику расползалось множество примитивных сплетен – то ли Генеральный купил своей любовнице квартиру, то ли только мебельный гарнитур... Я не верил всему этому, но тревога возрастала – мне было ясно, что Валентина Андреевна с ее взрывным темпераментом и обширными связями с властью и имущими всего этого не потерпит. Было ясно также, что она знает много больше, чем все наши сплетники, вместе взятые. Воспользовавшись ее поздравлениями по поводу «кода Уварова-Саймона», я затеял разговор, надеясь издалека, незаметно выйти на интересующую меня тему. Спросил, как наш с Ваней проект цифровой мобильной связи смотрится и оценивается извне, так сказать, внешними нетехническими органами. Валентина Андреевна очень сдержанно сказала, что наш проект в целом поддерживается как «полезная инициатива в направлении интен-

сификации экономики», а потом вдруг добавила то, о чем нам с Ваней говорил замминистра: «Только не колите всем глаза своим проектом... Это мой личный совет». Я понял, что слухи о разногласиях в семье Коробовых не напрасны. Пытаясь направить разговор в желаемое русло, я спросил: «Вы не согласны с Иваном Николаевичем в этом вопросе?» Она ушла от ответа: «Мое мнение по вашим производственным делам теперь не имеет никакого значения». Потом Валентина Андреевна извинилась и вроде бы направилась в сторону, но внезапно развернулась и подошла ко мне вплотную. Я увидел ее искаженное лицо и понял, что сейчас будет сказано нечто ужасное. Она проскрипела мне в ухо: «Вы, Игорь Алексеевич, разумный человек... Предостерегите свою приятельницу от необдуманных поступков... Пусть прекратит играть с огнем...» Я тут же спросил, что имеется в виду. Но Валентина Андреевна мгновенно овладела собой, лицо ее разгладилось: «Она поймет, что имеется в виду, — не сомневайтесь».

Я, кажется, мгновенно протрезвел... Алиса подавала мне недвусмысленные знаки, одновременно танцуя с Артуром, но мне было не до знаков... Пошел в туалет, помыл руки, сполоснул лицо холодной водой. Неужели Катя права? Неужели Аделина пошла на близость с Ваней? Как иначе понимать явную угро-

зу Валентины Андреевны? Может быть, она имела в виду антисоветскую литературу, книги, которые Аделина приносит мне и другим? Этот утешительный вариант, однако, не слишком правдоподобен. Конечно, агенты докладывали Валентине Андреевне о такого рода занятиях сотрудников еще во время ее работы у нас, но, чтобы вызвать такую реакцию... с такой злобной гримасой, здесь нужно что-то личное... Надо предупредить Аделину об опасности. Только не сегодня – праздник как-никак.

Когда я вернулся в зал, Арон призывал всех к столу, все рассаживались, подавали горячее. Я тоже сел на свое место, что-то дрожало внутри и требовало выхода. Наклонившись к Аделине, прошептал: «Ты сегодня в плохом настроении, я беспокоюсь за тебя». Она ответила: «Спасибо, ничего особенного – просто меня раздражает этот пир во время чумы. Тебе кто-то что-то напел? Не мегера ли – наша доморощенная богиня мщения?» Я спросил снова: «Ты уверена, что у меня нет оснований беспокоиться за тебя?» Она, видимо, обратила внимание, что я произнес «за тебя», а не «за нас», промолчала, взяла в руки вилку и принялась за судака в кляре. Некоторое время все молча занимались отменными горячими блюдами под однообразные тосты виновников торжества за своих официальных оппонентов, которых в данном случае было

шесть человек...

Наташа вдруг сказала: «Артура в ВАКе утверждают быстро, не сомневаюсь... Он, кстати, вполне это заслужил. А вот с Валерием могут быть осложнения, которых он отнюдь не заслужил. Что-то не припомню я последнее время новых докторов наук из гуревичей – времена сейчас неподходящие». Аделина перегнулась через меня и тихо сказала Наташе: «Между нами – у Валерия дядя с семьей уехал в Израиль, долго сидел в отказе... Вполне могут прицепиться». Я вмешался в разговор: «Милые дамы, не накаркайте... У Валерия блестящая работа, никто не посмеет бросить в нее камень».

Аделина переменила тему и спросила:

– Кто эта миленькая болоночка напротив, что всё время пялится на нас?

– Эта болоночка, между прочим, кандидат технических наук, моя бывшая аспирантка, – вступился я за Алису.

– Тогда ясно... Еще одна уваровская пассия, сексуальная страдалица...

– Страдалиц за этим столом не вижу, а уваровская пассия, позволь заметить, сидит рядом со мной.

– А еще две пассии, сидящие напротив, гипнотизируют тебя. Позволь мне не участвовать в этой конкурентной борьбе...

Я не успел ответить – Аделина поднялась и куда-то быстро ушла. Наташа наклонилась ко мне:

– Не пора ли тебе, Игорьь, как-то отрегулировать отношения с Аделиной?

– Предлагаешь мне жениться на ней?

– Это было бы идеальным вариантом для вас обоих. Аделина любит тебя, но никогда не согласится быть картой в твоей общей колоде...

– Я, между прочим, согласен на эту козырную карту, но дело требует согласия обеих сторон, и я не уверен, что противоположная сторона согласится. Аделина считает меня патологически непригодным для семейной жизни.

– Вижу, что она обиделась на тебя. Что случилось?

– Наташа, у меня к тебе просьба: пожалуйста, сходи и посмотри, где Аделина. Я немножко беспокоюсь...

Наташа понимающе кивнула, сказала что-то тихо Арону и пошла к выходу. Арон придвинулся ко мне:

– Эта защита, я надеюсь, придаст ускоряющий импульс нашему проекту. В нем теперь еще два новых молодых доктора наук. Всем теперь будет понятно, как мощно прикрыты алгоритмические и системные вопросы этого проекта.

– Ты считаешь, что в ВАКе всё пройдет гладко? Не делим ли мы шкуру неубитого медведя?

– Я, Игорьь, не помню ни одного срыва с нашими

диссертантами.

– Насколько я знаю, у адмирала всё было схвачено в ВАКе.

– Это, может быть и так, но главное в другом: там знают, что от нас выходит только качественный научный продукт.

– Извини меня, Арон, но я не верю, что там принимают решение лишь по качеству продукта.

– Наши вера или неверие в данном случае не помогут. Давай лучше подумаем, как дальше развивать контакты с Саймоном.

– Не знаю, как развивать и... честно говоря, не верю в возможность этого. Совместная работа с американцами, да еще при нашей закрытости – не верю...

– Есть блестящий пример совместной советско-американской работы. Ты его прекрасно знаешь – это проект «Аполлон-Союз». Готовили проект совместно, технические вопросы решали вместе, потом полетели вместе. При этом, обрати внимание, с нашей стороны принимали участие ракетно-космические предприятия не меньшей, чем у нас, секретности.

– В случае «Аполлона-Союза» работало политическое решение, принятое сторонами на высшем уровне. А кто в верхах сочтет политически полезным наше с тобой сотрудничество в Саймоном? Не вижу таких

лиц или организаций.

– В том-то и дело – надо донести до верхов, что наше лидерство в создании глобальных цифровых мобильных сетей не менее важно, чем достижения в космосе. И еще – что без кооперации с американцами проблему эту решить не удастся.

– Представляю себе, как Саймон приезжает к нам, как мы принимаем его в нашем секретном ящике под бдительным наблюдением агентов КГБ. А что, собственно говоря, мы можем показать ему? Микропроцессоров-то у нас нет...

– Саймона меньше всего интересуют наши микропроцессоры, у него они уже есть. Его интересуют алгоритмы и результаты моделирования систем. А это ты, Игорь, сможешь ему показать где угодно – например, в Доме ученых с великолепным видом на Петропавловскую крепость. Вообще, главное здесь – личные контакты Саймона с Уваровым.

– С удовольствием встречусь с ним в ресторане Дома ученых вместе с Аделиной в качестве переводчика. Однако, на самом деле, думаю, что подобная личная встреча возможна только в том случае, если нас с Саймоном запихнуть в капсулу «Аполлона-Союза» и запустить в космос. Правда, при таком сценарии непонятно, что делать с Аделиной...

– Такая шутка, как мне кажется, понравится Саймо-

ну, особенно в отношении Аделины – надо будет написать ему об этом... Но если говорить серьезно, то я хочу добиться встречи с руководством Академии наук. Надеюсь, академик Потельников поддержит нас...

Наша дискуссия была прервана появлением Наташи. Она сказала: «Вероятно, Аделина уехала, ее видели в холле внизу... Игорь, может быть, тебе надо поехать к ней?» По существу, Наташа была права – я испортил вечер Аделине и, вероятно, себе тоже... Но ответил другое: «Не думаю, что это хорошая идея, Наташа. У меня сегодня всё не клеится, и еще один спор с Аделиной ничем хорошим не кончится. Пусть вся эта муть уляжется... Мне надо поговорить с ней серьезно, но не сегодня». Я налил себе полфужера вина, залпом выпил и оглядел зал...

Все были в хорошем подпитии. Мужа Кати Севу как-то совсем развезло – он выкрикивал невнятные проклятия неизвестно кому, потом потребовал шампанского, его присутствие стало тяготить окружающих. Я сказал Кате: «Надо отвезти Севу домой, пошли – я помогу тебе». Мы спустились на лифте вниз, поддерживая его с двух сторон. Меня ждала внизу служебная машина, шофер помог усадить грузного Севу на заднее сиденье, и я сказал: «Отвези Екатерину Васильевну с мужем домой и помоги ей, пожалуйста... Потом можешь быть свободен – я возьму такси». Се-

ва, что-то бормоча, пытался вылезти из машины, я расслышал: «А тебе я это еще припомню...» Потом он отвалился на заднем сиденье и затих. Вспыхнула безумная мысль – отвезти его, пьяного в хлам, домой, а ее забрать на ночь к себе... Я прошептал: «Люблю тебя, Катеныш...» Она поняла, о чем я думал, оттолкнула: «Уйди, Игорь, не мучай меня... Уйди к черту». Потом быстро, разметав полы платья, села на переднее сиденье и почти выкрикнула шоферу: «Поехали...»

Я вернулся в банкетный зал и сразу же откликнулся на предложение Алисы выпить. Начальство и Арон с Наташей уже ушли, диссертанты стоя принимали последние поздравления. Народ расходился, но оркестр еще играл, и мы с Алисой исполнили танго, потом выпили еще... Я был сильно пьян и сказал, что мне пора домой. Алиса взялась проводить меня до такси. Мы спускались на лифте, потом шли каким-то длинным коридором, открывали какую-то дверь, но я это уже плохо помню...

Проснулся я от солнечного света в двуспальной кровати в незнакомой комнате. Из ванной раздавался звук льющейся воды, а затем какие-то шорохи. Прикрыв глаза ладонью, я смотрел на дверь – кто же оттуда выйдет... Алиса выпорхнула в халатике, распахнутые полы которого открывали ее свежeweымытое бе-

ло-розовое тело с рыжим пушком посередине: «Доброе утро, милый». Я сжал виски, встал, завернулся в простыню и подошел к окну, чтобы понять, где нахожусь.

Прямо напротив, через русло Невки, стоял сияющий в лучах весеннего солнца крейсер «Аврора» с победоносным Андреевским флагом на мачте, гордо реющим под рассветным ветерком скачущей на колеснице богини утренней зари Авроры.

Голова болела, поташнивало...

«Вот „делать жизнь с кого“, с этого железного непьющего импотента», — тоскливо подумал я.

Глава 12. Острова Зеленого Мыса

Как ни кратко временно и опасно было пребывание у Зеленого Мыса, однако именно там усердному летописцу Пигафетте удалось наконец пережить в последнюю минуту одно из чудес... новизна которого будет волновать и занимать внимание всего столетия.

Моряки, отправленные на берег для закупки съестных припасов, возвращаются с поразившей их вестью: на суше четверг, тогда как на корабле их уверяли, что сегодня среда. Пигафетта чрезвычайно удивлен, ибо в течение всего длившегося без малого три года странствия он день за днем вел свои записи. Без единого пропуска отсчитывал... всю неделю, – неужели он пропустил один день?..

Неуклонно плывшие на запад моряки каким-то непонятным образом выронили из календаря один день, и рассказ Пигафетты о столь странном явлении ошеломляет всех образованных людей. Обнаружена тайна, о существовании которой не подозревали ни греческие мудрецы, ни Птолемей, ни Аристотель, раскрыть которую удалось только благодаря плаванию Магеллана:...

земной шар не покоится недвижно в мировом пространстве, а равномерно вращается вокруг собственной оси, и тот, кто, плывя к западу, следует за ним в его вращении, может урвать у бесконечности крупицу времени.

Эта вновь познанная истина... волнует гуманистов шестнадцатого века примерно так же, как наших современников теория относительности. Петр Ангиерский немедленно заставляет некоего «мудрого человека» объяснить ему это удивительное явление и затем сообщает о нем императору и папе. Так, в отличие от других, привезших на родину только вороха пряностей, Пигафетта... привез из долгого плаванья драгоценнейшее из всего, что есть на свете, — новую истину!

Но еще судно не возвратилось на родину. Еще ветхая «Виктория», напрягая последние силы, тяжело кряхтя, медленно, устало тащится по морю. Из всех, кто отплыл на ней с Молуккских островов, на борту осталось только восемнадцать человек, вместо ста двадцати рук работают всего тридцать шесть... Ветхие доски вышли из пазов, вода неустанно просачивается во всё расширяющиеся щели... День и ночь чередуются изнуренные матросы у двух насосов... Люди изнемогают; подобно лунатикам, шатаясь, бредут к своим постам уже много ночей не спавшие

матросы... Они работают из последних сил... Наконец 4 сентября 1522 года с марса раздаётся хриплый возглас радости: дозорный увидел мыс Сан-Висенти. Здесь начинается Европа, начинается родная земля... Вперед! Вперед! Ещё только два дня, две ночи осталось терпеть! И – наконец! – все вбегают на палубу и, дрожа от счастья, теснятся друг к другу – вдали серебристая полоса, зажатая твёрдой землей, – Гвадалквивир... Отсюда три года назад они отправились под предводительством Магеллана, пять судов и двести шестьдесят пять человек. А сейчас – одно единственное невзрачное суденышко бросает якорь у той же пристани, и восемнадцать человек сходят с него, тяжело опускаются на колени и целуют... землю родины. Величайший мореходный подвиг всех времен завершился в день 6 сентября 1522 года.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

Тот достопамятный докторский банкет состоялся весной, лето прошло довольно спокойно в текущей работе, кстати – весьма продуктивно, в ожиданиях чего-то хорошего. Всё начало обваливаться осенью, по-

добно наказанию, предсказанному на пире царя Валтасара таинственной надписью – «исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Недобрые предчувствия нашего «пира во время чумы» реализовались одно за другим в самом ужасном, хотя и вполне предсказуемом, виде.

Аделину арестовали в сентябре, Ваню сняли с должности в ноябре, докторскую диссертацию Валерия отклонили в декабре. Я не знал и до сих пор не знаю деталей той подковерной деятельности в верхах, которая привела ко всем этим событиям, но твердо уверен, что, по крайней мере, за первыми двумя катастрофами стояла Валентина Андреевна – это была ее месть Ивану Николаевичу за супружескую измену, которую она возвела в ранг предательства.

Я узнал об аресте Аделины от Иосифа Михайловича. Секретарь, помню, вошла ко мне в кабинет во время совещания с главными конструкторами и сказала на ухо, что меня спрашивает некто Иосиф Михайлович и что он настаивает на немедленном разговоре по неотложному делу. Я извинился, вышел в приемную и взял трубку.

– Здравствуйте, Иосиф Михайлович. Что случилось?

– Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Нам нужно срочно встретиться.

– У меня сейчас совещание. Нельзя ли перенести встречу на вечер?

– К сожалению, нельзя.

– Что всё-таки случилось?

– Жду вас, Игорь Алексеевич, через час в Михайловском саду у Русского музея. Поверьте, я бы не стал отвлекать вас от работы по пустякам.

– Хорошо, я приеду...

Мне пришлось еще раз извиниться перед коллегами и уехать, поручив Галине Александровне подобрать удобное для всех время продолжения совещания.

Я оставил машину на набережной Екатерининского канала, пошел пешком вдоль набережной к храму Спаса на Крови и через ворота знаменитой решетки вошел в Михайловский сад. Был разгар осеннего листопада – в «баgreц и золото одетые» вековые деревья обрамляли обширную поляну в красных, желтых и зеленых узорах, разлитых перед мощными белыми аккордами колоннады Русского музея. Красота здесь, хочется сказать банальное, – неземная, хотя, если вдуматься, – очень даже земная, на других планетах, наверное, невозможная. Сзади, прямо над причудливой решеткой и кронами деревьев, – золотые и бирюзовые купола Спаса, кровью рожденные, чудом уцелевшие. Такую красоту даже варвары-большеви-

ки пожалели, не взорвали – воистину красота спасает мир! Разворачиваем медленно панораму вдоль поляны в даль Марсова поля, к слиянию Мойки и Фонтанки, где начинается Летний сад. Еще чуть-чуть круче, и взгляд упирается в еще одно, противостоящее Спасу чудо, – изящные извивы Михайловского замка под золотым шпилем. Я шел на встречу с Иосифом Михайловичем, понимая, что ничего хорошего ждать от нее не следует, шел преднамеренно медленно, оттягивая тот момент, когда эта красота обернется уродливой реальностью, и, увидев его на скамеечке сада, подумал: «Красота, конечно, спасет мир, „жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе“».

Иосиф Михайлович выглядел постаревшим, я впервые заметил и обвисшую кожу его шеи, и красные пятна на щеках, как бывает у гипертоников. Он хотел было подняться навстречу, но я остановил его, присел рядом, пожал протянутую руку. Первая же его фраза была шокирующей, хотя, если вдуматься, я давно опасался чего-то подобного: «Аделину арестовали сегодня утром у нее дома». Мы некоторое время молчали, переваривая каждый по-своему смысл сказанного. Суть несчастья медленно доходила до меня, выталкивая из привычной колеи успокоительно-го неведения. За вывалившимся наружу отвратитель-

ным и раздражающим ведением кралось неискреннее, но спасительное самооправдание. Значит, Аделина не послушалась меня. Тогда, после банкета, я рассказал ей о предупреждении и угрозе Валентины Андреевны, я умолял ее быть осторожной и в отношениях с Иваном Николаевичем, и во всех этих делах с самиздатом. Но, судя по всему, Аделина вела себя недостаточно осмотрительно, а может быть, это уже не имело никакого значения – может быть, мстительное колесо было уже раскручено. И тогда... и тогда я не виноват...

– Где Аделина сейчас?

– Она в Крестах, на днях ей будет предъявлено официальное обвинение.

– В чем ее обвиняют?

– Банальная история... Я пока не знаю точно, но, по-видимому, ее собираются судить по статье 190-1 УК РСФСР «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Попросту говоря, за распространение антисоветской литературы.

– Цветаева и Мандельштам – антисоветская литература?

– Не старайтесь убедить меня, дорогой Игорь Алексеевич, что подобные преследования противоречат нашей конституции. Конституция у нас самая лучшая

в мире, написана для заграницы, а внутри страны правосудие работает по понятиям Старой площади, которые таковы, что всё отпечатанное не советскими издательствами является антисоветским. Кстати, при обыске у Аделины найдены не только тамиздатовская поэзия, но и самиздатовские романы Пастернака, Солженицына и других наших классиков, а это, как вы знаете, официальная антисоветчина.

— Что же делать?

— Для этого я вас и позвал... Вы должны немедленно, сразу после нашего разговора поехать к себе домой и избавиться любым доступным способом от книг, доставленных вам Аделиной, а также от других книг, подпадающих под те понятия, о которых я только что говорил. Дело в том, что при обыске у Аделины изъяты записные книжки, а там, как вы понимаете, есть информация о вас. Поэтому не исключаю возможность обысков у вас и у всех других, упомянутых в ее записных книжках...

— Плевать я хотел на эту гэбэшную шушеру, меня они не посмеют тронуть! — заявил я с пафосом, понимая тем не менее, что порю чушь. Иосиф Михайлович укоризненно и даже с некоторой жалостью посмотрел на меня, как на слабоумного.

— Игорь Алексеевич, дорогой мой, избавиться от антисоветских книг нужно не только для вашей соб-

ственной безопасности, но и для смягчения положения Аделины. Неужели вы этого не понимаете? Она не сможет отрицать чтения антисоветчины, но сможет отрицать факт ее распространения. На этом я намереваюсь строить ее защиту в суде. Поэтому очень важно, чтобы при обысках по адресам из ее записной книжки сыщикам не удалось ничего найти. Это сейчас главное – я постараюсь предупредить возможных держателей самиздата из числа друзей Аделины и надеюсь, что вы мне поможете в этом.

– Бедная девочка... Я могу ее увидеть?

– Я уже встречался с Аделиной в качестве ее официального адвоката. Она держится хорошо... Поскольку вы не являетесь ее родственником, то будет весьма затруднительно получить свидание. Скажу откровенно, Игорь Алексеевич: любое ваше официальное появление или участие в процессе может существенно ухудшить дело. Не дай бог, они попытаются увязать «антисоветскую деятельность» Аделины с вашим достаточно высоким положением. Тогда раскрутят на полную катушку, а в худшем случае еще и шпионаж припишут... Поэтому прошу вас, воздержитесь от попыток встретиться с ней или любого другого участия в этом деле.

– Они могут увязать Аделину с другим лицом, занимающим несравненно более высокое положение. Вы

понимаете, Иосиф Михайлович, кого я имею в виду?

— Понимаю, Игорь Алексеевич, но, насколько знаю, следствие пока никак не связывает дело Аделины с упомянутым лицом.

— Тем не менее хочу, чтобы вы знали, откуда ветер дует, — это может оказаться полезным в вашей стратегии защиты. Я уверен, что навела «око государево» на Аделину жена нашего Генерального директора Валентина Андреевна, причем сделала это исключительно по личным мотивам. Может быть, такой ракурс поможет оправдать Аделину, перевести ее «антигосударственную деятельность» в разряд бытовых интриг типа «оговора на почве ревности»...

— Не думаю, что это возможно. «Око государево» имеет свои задачи и понятия. По этим понятиям абсолютно не важно, кто навел или настучал. Кстати, в данном случае возможны несколько источников «стука», хотя не исключаю, что ваша знакомая сыграла роль, так сказать, спускового крючка...

— Я предупреждал Аделину, что курок взведен. Как неосмотрительно она себя повела...

— Не хотелось затрагивать эту болезненную тему, но поскольку вы ее упомянули... Я давно понял, что Аделина только с виду уверенная в себе, самодостаточная женщина и прочее... На самом деле она всё время искала опору в жизни и... не могла ее найти. Не

смогла найти и в вас, Игорь Алексеевич, — уж простите за откровенность. Ее неосмотрительные и, я бы сказал, неуверенные поступки последнего времени во многом этим объясняются. Не собираюсь вас винить, упаси бог, вы могли и не знать всего и недооценивать многое. То, что случилось с Аделиной, на самом деле, следствие извращенной морали нашего общества в целом — не более того...

Я молчал, подавленный... Всё вокруг словно поблекло, посерело, а роскошный фасад Русского музея выглядел неуместно помпезным. Иосиф Михайлович обещал держать меня в курсе дела и сказал, что может передать Аделине мою записку. Я тут же, сидя на скамейке, пытался написать несколько вариантов, но у меня ничего не вышло — тексты получались либо слезно-пафосными, либо наигранно веселыми. В конце концов, я порвал последний вариант и сказал Иосифу Михайловичу: «Пожалуйста, расскажите Аделине о нашей встрече и скажите, что я ее люблю, действительно люблю...» Он обещал передать это и настоял, чтобы я, не заезжая на работу, поехал домой.

Дома я первым делом собрал крамольную литературу и задумался, что с этим делать, — рука не поднималась разбросать книги по помойкам. В конце концов, упаковал всё в три посылки, вложил записки с просьбой сохранить эту литературу для потом-

ков, надписал вымышленные обратные адреса, потом развез посылки по трем отделениям связи и отправил их Алисе в Саратов, своим дальним родственникам в Баку и приятелю в Таллинн – по всем этим адресам, как я полагал, никто ничего искать не станет. Я, конечно, понимал нулевой уровень своей компетентности в сфере конспирации, но мной владел не здравый смысл, а злоба и ненависть ко всей этой гнилой совковой махине, которая заставляет меня избавляться от любимых книг.

Конец того года был напряженным и тревожным.

Два-три раза в неделю я либо встречался с Иосифом Михайловичем, либо звонил ему с телефонов-автоматов – в последнем случае мы обсуждали ход судебного дела Аделины эзоповским языком, не произнося имен. Его предположения подтвердились – обвинение строилось на распространении антисоветской литературы, причем никакие различия между, скажем, Солженицыным и Ахматовой, между Пастернаком и Мандельштамом не принимались во внимание, следователей не интересовали литературно-поэтические нюансы – всё сваливалось в одну антисоветскую кучу. Иосиф Михайлович дал понять мне, что нейтрализовать всех, кому Аделина передавала самиздат, к сожалению, не удалось – слишком большой материал был накоплен компетентными органами по

доносам сексотов. Тем не менее он намекнул, что «рука, спустившая курок, явно просматривается в этом деле» и что «выстрел еще не достиг всех целей». Мне оставалось только догадываться о тайном смысле этих аллегорий. Иосиф Михайлович еще раз настоятельно просил меня не участвовать никоим образом в деле, я обещал, но не полностью выполнил свое обещание – посетил родителей Аделины. Они были запуганы и поначалу едва разговаривали со мной, подозревая, что я секретный агент органов. Пришлось раскрыть им ряд эпизодов наших встреч с Аделиной в их квартире, прежде чем они расслабились и поверили мне. Два интеллигентных человека всё еще не оправились от пережитого – рано утром трое агентов вломились в квартиру, перевернули всё, сбросили с полки все книги, выбросили одежду из чемоданов и набили их изъятými книгами, машинописными рукописями, кассетами, а потом... всё это увезли вместе с дочерью. Два немолодых человека пережили сталинщину – и тридцатые годы, и сороковые-пятидесятые, потом они прочитали и «Архипелаг Гулаг», и рассказы Варлама Шаламова, и многое другое, но оказались совершенно не готовы к ЭТОМУ, к тому, что ЭТО пришло в их собственный дом. Они хорошо знали, как ЭТО происходило с миллионами людей, но знание не дает облегчения, когда ЭТО приходит кон-

кретно к вам в своем невыносимо жестоком, грубом, хамском облиции. Булгаковские швондеры и шариковы продолжали глумиться над интеллигенцией. Родители Аделины были сокрушены и растоптаны... Я пытался закрыть тяжелую тему ареста и перевести разговор в нейтральное русло, но мне это удалось не сразу. «Аделина работала над кандидатской диссертацией, но эти забрали все ее рукописи», – рассказал мне Григорий Семенович, служивший редактором в Лениздате. Я этого не знал и стал выспрашивать подробности. Оказалось, Аделина писала диссертацию по дневникам Достоевского – сложнейшая и даже болезненная тема русской литературы. Работала в одиночестве, без поддержки и официального аспирантского статуса. Я содрогнулся: почему она ничего не говорила мне о своей работе, почему не искала во мне той опоры, о которой говорил Иосиф Михайлович? Как мало я знал о ней, как плохо понимал...

Суд состоялся, помнится, в октябре, еще при Иване Николаевиче в должности Генерального. В течение двух месяцев, вплоть до того момента, как он исчез, я несколько раз затевал с ним разговор об Аделине. Подспудно надеялся на какое-то содействие Вани, наивно полагал, что он при своих партийных связях сможет как-то облегчить ее участь. Помню, при первом разговоре я сделал вид, что ничего не знаю об

аресте Аделины, спросил, почему она не выходит на работу... Ваня уклонялся от прямого ответа, как и я делал вид, что не в курсе событий. Я понял, однако, две вещи: во-первых, он всё знает, а во-вторых, палец о палец не ударит, чтобы помочь. Потом, когда все уже знали об аресте, у меня была пара откровенных разговоров с Ваней на эту тему. Мы ведь когда-то приятельствовали и немало сделали друг для друга, а теперь были в одной упряжке проекта цифровой системы – нашего общего детища. Ваня дал понять, что знает о моих с Аделиной отношениях. Я прямо спросил: «Откуда?», и он объяснил, что от нее самой. Я взорвался:

– Она тебе рассказывала о своей личной жизни? Вы были так близки?

– На первый вопрос я уже ответил, а от ответа на второй, друг мой Игорь, позволь воздержаться.

– Извини, Ваня, это действительно не мое дело. Чего нельзя сказать о Валентине Андреевне...

– С Валею мы разводимся, это всё осталось в прошлом...

– Ты не торопишься, Ваня? Теперь-то, когда всё так трагически обернулось...

– Этого захотела сама Валя...

– Скажи мне, Ваня, откровенно... Арест Аделины – ее рук дело? Скажи только «да» или «нет», меня не

интересуют подробности.

Ваня тогда долго молчал, и я понял, что это означает «да», но он отрицательно покачал головой в смысле «нет», а сказал: «Не знаю». Как это типично для нашей эпохи: думать одно, говорить другое, делать третье. Долгая партийная тренировка научила Ивана Николаевича не говорить лишнего. «Промолчи – попадешь в первачи». Удивительным было другое: за полтора месяца до падения Ваня, похоже, не понимал, что топор занесен и над ним... Мои прямые попытки побудить его вмешаться в дело Аделины и использовать свои связи упирались в глухую стену – это было бесчеловечно, но вполне объяснимо. В дополнение к тем понятиям Старой площади, о которых говорил Иосиф Михайлович, в Ваниной партийной среде существовало еще одно глубинное понятие, вбитое десятилетиями насилия: органы госбезопасности всегда правы, и любое противодействие им есть деяние антипартийное. Любопытно, что Ваня разъяснил мне это почти теми же словами, что когда-то сказал Станислав на Старой площади относительно сионизма: «Пойми, Игорь, сейчас очень напряженно с диссидентами, самиздатом и тому подобным... В любом другом уголовном случае я бы мог посодействовать, а по линии распространения антисоветских публикаций ничего сделать не могу».

По-видимому, им там в райкомах и горкомах дают похожие инструкции относительно всего, «с чем у нас напряженно» и во что вмешиваться не рекомендуется. А может быть, сами чутким ухом улавливают, что к чему... Не знаю...

Подробности судебного заседания по делу Аделины Григорьевны Смиловицкой мне неизвестны – да и стоят ли они особого внимания? Из рассказов Иосифа Михайловича следовало, что процедура эта оригинальностью не блистала и мало чем отличалась от сотен подобных дел, описанных в самиздатовской литературе и в передачах по «Свободе» и прочим зарубежным голосам. Иосиф Михайлович запретил мне приближаться к залу суда, как он выразился, «на расстояние выстрела ручного противотанкового гранатомета», но свою защитительную речь со мной репетировал. Защита была построена на двух основных тезисах. Первый тезис: обвиняемая, как профессиональный филолог, считала необходимым знакомство с русской литературой во всей ее полноте и отнюдь не связывала это знакомство с какими-то политическими или идеологическими предпочтениями; она, как литературовед, изучала разных писателей и поэтов: Шолохова и Солженицына, Твардовского и Ахматову и прочих. Тезис второй: редкие случаи, когда обвиняемая давала почитать своим знакомым, скажем, Сол-

женицына, а не, скажем, Шолохова, были связаны исключительно с тем обстоятельством, что произведения Шолохова у этих знакомых уже имеются, а отнюдь не потому, что произведения Солженицына являются антисоветскими. Иосиф Михайлович витиевато развивал эти защитительные тезисы, рисуя портрет заиклившей на литературе аполитичной идиотки, не сумевшей понять политической разницы между «гениальным соцреализмом М. А. Шолохова и бездарной антисоветской стряпней А. И. Солженицына». Если обвиняемая формально и совершила противоправные действия, то, на самом деле, не понимала, что творит. Иосиф Михайлович рассказывал, что хотя он согласовал с Аделиной поведение, укладывающееся в рамки созданного им портрета, но она едва не испортила весь спектакль. Противореча версии защиты, Аделина заявила: «Шолохов украл „Тихий Дон“ у белогвардейского казачьего офицера, вследствие чего этот роман является антисоветским по определению». Иосиф Михайлович шутил, что мог бы использовать фантастический пассаж Аделины в качестве доказательства ее неадекватности, но побоялся перегнуть палку, чтобы обвиняемую не упекли в психушку. Иосиф Михайлович в целом был доволен итогом – Аделине дали два года поселения, правда, в отдаленных районах. Он пояснял, что обычно в подобных

случаях дают четыре года поселения или два года колонии общего режима.

Путиами неисповедимыми, но символическими, дни отъезда Аделины на поселение совпали с днями, когда Иван Николаевич был снят с должности и исчез – совершенно в стиле чекистской конспирологии Валентины Андреевны. То памятное утро я провел с Иосифом Михайловичем в разговорах о приговоре суда, а когда во второй половине дня пришел на работу, Галина Александровна принесла телеграмму из Министерства с приказом о назначении меня «временно исполняющим обязанности Генерального директора» ПООПа в связи, как там было сказано, «с переводом И. Н. Коробова на другую работу». Всё это – и осуждение Аделины, и увольнение Вани, и мое новое назначение – свалилось на меня только частично неожиданно, но от этого не менее тяжело. Ретроспективно вспоминаю, что именно тогда я впервые перенес на ногах то, что потом врачи называли гипертоническим кризом и предвестником хронической сердечной болезни. Прочитав приказ, я позвонил Арону. Он сказал: «Немедленно звони в министерство... Ты должен подтвердить получение приказа и получить всю необходимую информацию о причинах и обстоятельствах твоего назначения». Я позвонил в Москву заместителю министра Комиру Николаевичу и спросил его

первым делом, с чем связан перевод Ивана Николаевича на другую работу и на какую именно. Он ответил кратко, в начальственном стиле, что Ивана Николаевича не перевели на другую работу, а уволили с работы «в связи с его несоответствием занимаемой должности», и что он ждет меня завтра в своем кабинете в десять часов утра. После разговора с Комиром я попросил Галину Александровну срочно заказать мне билет на «Красную стрелу» по горкомовской броне и пригласить ко мне секретаря парткома.

С Ильей Яковлевичем я встречался редко, все партийные дела он, естественно, вел непосредственно и Иваном Николаевичем. Теперь он впервые пришел ко мне в кабинет и сразу же сказал, что знает о моем назначении «временно исполняющим обязанности Генерального директора».

— Мне сообщили из райкома партии... Ваша кандидатура, Игорь Алексеевич, согласована министерством с горкомом партии.

— При чем здесь горком — я беспартийный.

— Такого уровня должности утверждаются только с согласия партийных органов, это прерогатива правящей партии, ибо так записано в нашей Конституции, — важно сказал Илья Яковлевич.

— Ладно, бог с ней, с вашей... конституцией. Скажите лучше, что с Иваном Николаевичем, где он?

– Думаю, что он сейчас в Москве, не знаю точно, но он звонил мне и просил оказать вам всяческое содействие в работе.

– В приказе сказано, что Иван Николаевич переведен на другую работу. Что вы, Илья Яковлевич, знаете об этом?

– В партийных инстанциях в настоящее время подыскивают Ивану Николаевичу новое место работы – это всё, что я знаю.

– Что значит «подыскивают»? Разве Иван Николаевич не пошел на повышение, разве не для этого он в Москве?

Я здесь, конечно, слукавил, прикинулся, что мне неизвестно об увольнении Вани. Мне хотелось вывести у секретаря парткома истинные причины этой акции и главное – связана ли формально Ванина карьерная катастрофа с Аделиной. Но Илья Яковлевич с большевистской твердостью держал язык за зубами, и единственное, что мне удалось у него выведать, был прямой выпад против нашего проекта новой цифровой системы – якобы в закрытом приказе по министерству И. Н. Коробову вменялось в вину «нецелевое использование бюджетных средств на проекты, не имеющие отношения к профилю предприятия, в ущерб разработкам по прямым заказам Министерства обороны». Поняв, что больше ничего не выве-

даю, я попросил Илью Яковлевича подстраховать меня в новой должности: «Я, конечно, оставляю за собой все вопросы научной работы предприятия и связанные с ней опытно-конструкторские разработки, испытания, опытное производство, связи со смежниками, сдачу проектов заказчикам и прочее, но прошу вас, Илья Яковлевич, взять на себя административно-хозяйственные заботы». Он обещал помогать мне, правда, без особого энтузиазма. Я встал, поблагодарил его и протянул руку для прощания. Илья Яковлевич задержал мою руку, словно давая понять, что хочет сказать еще что-то, но не решается. «Вы, Илья Яковлевич, хотите что-то добавить?» – спросил я и увидел, как вдруг помягчело его суровое партийное лицо. Опустив глаза, словно стесняясь, он сказал:

– Да, хотел бы добавить, что с большим уважением и искренней симпатией отношусь к Ивану Николаевичу – нас связывают годы совместной партийной работы.

– Разделяю ваше отношение к Ивану Николаевичу – нас связывают годы совместной научной работы.

– Хочу еще сказать, Игорь Алексеевич, что вижу в вас продолжателя партийного и научного курса Ивана Николаевича и... безмерно рад возможности содействовать вам в этом. Не собираюсь вмешиваться в вашу научно-техническую политику, но опасаясь, что вы

не вполне осознаёте сложность вашего положения...

– Спасибо, Илья Яковлевич, но в чем вы лично видите сложность?

– В формулировке вашей новой должности содержится одно нехорошее слово – «временно». Лучше было бы, если бы они написали «исполняющий обязанности Генерального директора» без этого «временно», а еще лучше, если бы просто назначили вас Генеральным директором без всяких дополнительных слов.

– Не знаю министерских процедур, но допускаю, что такова обычная бюрократическая практика.

– Думаю, Игорь Алексеевич, что тут особый случай... Если вы позволите быть совершенно откровенным, я попытаюсь разъяснить...

– Валяйте, Илья Яковлевич, чего уж тут юлить – мы с вами за одним общим рулем...

– Вы, Игорь Алексеевич, беспартийный, и это не только большая редкость на столь высокой должности, но и главное препятствие... – уж извините меня – для ее сохранения. Мне кажется, что те, кто написал в приказе слово «временно», именно это и имели в виду... Вам нужно поскорее, я бы сказал – немедленно, вступить в партию, и тогда все препятствия отпадут.

– Полагаете, что меня примут в партию с учетом всех нюансов моей биографии?

– В члены КПСС принимает местная партийная организация, и я как секретарь парткома гарантирую, что мы проведем вас без проволочек, немедленно после подачи вами соответствующего заявления. Рекомендации вам дадут Арон Моисеевич и Артур Олегович – я предварительно заручился их согласием.

Я поблагодарил Илью Яковлевича, не вполне искренне сказал, что подумаю, а сам содрогнулся – вот и наступил в моей жизни еще один момент истины! Опять и снова: «Быть или не быть – вот в чем вопрос».

Проводив Илью Яковлевича, уже у дверей кабинета я вдруг решил проверить его чувство юмора и озорно сказал:

«Вот смотрите, Илья Яковлевич, как это всё может обернуться: я вступлю в партию, чтобы получить желаемую должность Генерального директора, а министерство возьмет и назначит другого на эту должность или, скажем, горком партии не утвердит мое назначение в связи с моим малым партийным стажем... Получится – поменял шило на мыло. И что тогда прикажете делать?»

Илья Яковлевич доказал, что чувство юмора у него есть:

«Не беспокойтесь, Игорь Алексеевич, в таком очень маловероятном случае я лично позабочусь

о немедленном исключении вас из партии. А основание для этого вы мне сами подскажете...»

До отъезда в Москву у меня оставалось всего несколько часов, а следовало еще переговорить с Ароном, заехать к родителям Аделины и передать ей письмо, а еще... получить приватную информацию о деле Ивана Николаевича от Кати. Назначать Кате свидание на стороне уже не было времени, и я, пренебрегая элементарной конспирацией, попросил своего секретаря, с которой у меня сложились вполне доверительные отношения, срочно пригласить ко мне Екатерину Васильевну из парткома: «Галина Александровна, пожалуйста, сделайте это... без излишней огласки...» Не прошло и десяти минут, как она безмолвно пропустила ко мне в кабинет Катю и закрыла за ней дверь.

– Поздравляю, Игорь Алексеевич, рада за тебя... Теперь ты стал настоящим начальником, который может, не утруждая себя, приглашать рабынь прямо в свой кабинет.

– Катя, мне не до шуток. Через несколько часов уезжаю в Москву, мне срочно нужны достоверные сведения о причинах отставки Ивана Николаевича. Что ты знаешь об этом?

– Не так уж много... Если бы ты женился на Аделине, ничего бы не было – ни ее ареста, ни отставки

Ивана Николаевича. Я же тебя предупреждала...

– Не только ты... Валентина Андреевна тоже предупреждала... Правда, без рекомендаций, на ком мне жениться. А я, по-видимому, мало восприимчив к советам, высказанным в угрожающем стиле. Ты, Катенька, как мне казалось, любишь меня. Зачем же тебе моя женитьба на Аделине?

– И мне казалось когда-то, что ты любишь меня, но... у меня нет никаких шансов выйти за тебя замуж – это мне не кажется, это я знаю. А остальное не столь важно... Ты не допускаешь, Игоречек, что я советовала тебе жениться на Аделине именно потому, что люблю тебя?

– Это, конечно, трогательно, но... смахивает на фрейдовские бессознательные инстинкты.

– Бессознательные инстинкты – это ты про себя?

– Катя, меньше всего я склонен сейчас спорить или, не дай бог, ссориться с тобой. Помоги мне разобраться с причинами увольнения Вани. Что они пишут в официальных партийных документах? Неужели, как ты говоришь, такого уровня решение принято из-за Аделины?

– Конечно, нет... В официальных бумагах ни слова об Аделине. Главное – там наверху не понравилось отношение Ивана Николаевича к военным заказам. Кто-то важный из Минобороны с подачи наших

нажаловался, что ваш с ним проект мешает выполнять оборонные заказы. А твоя Аделина – это средство давления по линии аморалки. Если бы они раскрутили аморалку, да еще с антисоветчиной в придачу, то Ивана Николаевича надо было бы исключать из партии, а они марать партию не желают и его из номенклатуры исключать тоже не хотят.

– Ну, да, конечно... Аморалка – это же так понятно, так мило, с кем не бывает. Короче – свой человек. А чтобы припугнуть, что мол, если будешь рыпаться, раздуем и раскрутим по этой линии, вполне подходит. Правильно я понимаю партийную этику?

– Более-менее...

Мне становилась вполне ясной картина событий вокруг Вани и то опасное кольцо неприятия и недоброжелательства, которое сжимается вокруг нашего проекта. Катя прояснила это лучше других. Я торопился, поблагодарил ее и напоследок спросил, как обстановка дома. Она ответила, что всё по-старому – мама болеет, не всегда адекватна, Сева пьет и злобится на маму... «И на меня, само собой...» – добавила Катя и продолжила:

– Теперь, когда ты стал Генеральным, у Севы, боюсь, будет обострение.

– А я-то здесь при чем?

– Чувствую, что Сева что-то подозревает. Не знаю,

откуда ветер дует. Этой нашей жене в отставке вроде бы ничего не известно, да и не нужно ей это... Хотя кто знает, что ей злоба на весь мир подскажет. Не знаю... Одна радость – Витя. Становится опасно похожим на тебя...

– Фотография с собой есть?

– Нет, как-нибудь в другой раз покажу.

– Хорошо... Извини, мне пора...

Катя встала: «Удачи тебе, Игорь. Это будет нелегко...» О, если бы мне не надо было немедленно уезжать... Почему в этом мире нужно делать не то, что хочется? Я вышел с ней в приемную, попросил Галину Александровну проводить Екатерину Васильевну, вызвать мне машину и заказать в Москве номер в гостинице «Ленинградская».

Письмо Аделине я написал уже в квартире ее родителей. Они еще толком не знали, куда ее направят и какие будут пункты пересылки. Иосиф Михайлович обещал всё разъяснить завтра, но просил собрать побольше теплых вещей. Письмо Аделине получилось очень коротким:

«Дорогая Аделина! Сегодня уезжаю в Москву по срочному вызову в связи с переводом И. Н. на другую работу и моим временным назначением на его место. Знаю, что в Министерстве предстоит трудный разговор по поводу наших

работ. Напиши мне сразу же по прибытии на место, сообщи адрес для переписки (на телефон я не рассчитываю). Планирую навестить тебя летом во время отпуска, если, конечно, ты этого захочешь и если тебя не отпустят раньше, как это предсказывает Иосиф Михайлович. Обещаю приехать к тебе непременно в любую точку нашей огромной родины, какую только укажешь. Не верь тому, что во мне нельзя найти опору, – тебе можно! Обнимаю, твой И.»

Времени заехать к Арону уже не оставалось, и я позвонил ему перед отъездом на вокзал из дома. Ввел в курс дела, объяснил, что, судя по всему, главный пункт обвинений, выдвинутых против Ивана Николаевича, – это наш проект цифровой мобильной радиосвязи:

– По-видимому, этим проектом мы задели чьи-то столичные амбиции или выставили каких-то высоких чиновников в нежелательном свете – мол, где же были вы с вашим перспективным планированием.

– В таком случае ты, Игорь, должен заявить начальству, что мы готовы сотрудничать с московскими коллегами, что отнюдь не собираемся присваивать все лавры себе... Что подобная кооперация, в конце концов, усилит позиции страны в этой области техники.

– Дело в том, Арон, что они подводят дело под нецелевое использование госсредств, что, мол, наш

проект продвигается в ущерб оборонным заказам. Не знаю, как с такой демагогией бороться.

– Как со всякой демагогией – правдой и логикой. Не мне тебе объяснять, что наш прорыв в технологии цифровых систем окажет огромное влияние на развитие в том числе и военной радиотехники – вот это им и объясни.

– Думаю, что многие и без нас это понимают, среди них, например, Комир Николаевич. Но боюсь, что для самого высокого начальства важнее всех наших технологий какие-то непонятные нам интриги между министерствами, типа кто главней и тому подобное... Что с Академией наук? Они нас поддержат?

– Я написал о нашем проекте академику Потельникову. Он, к сожалению, отказался участвовать в этом деле, сослался на то, что уже давно не занимается подобными проблемами, посоветовал обратиться к членкору Сихорову... Короче – страна советов, никто не хочет брать на себя элементарную ответственность.

– Еще короче, Арон, – это социалистическое болото, в котором даже выдающиеся ученые не желают разобраться в сути проблемы, боятся рискнуть, пережевывают партийную жвачку – «экономика должна быть экономной». Что же делать?

– Постарайся убедить министерское начальство,

что успех нашего проекта даст стране не меньше, чем успехи в космосе. Объясни: лидирующая позиция в цифровой технике радикальным образом изменит стратегическое положение страны в мире, значительно улучшит ее экономические показатели, позволит избежать нарастающей зависимости от зарубежной технологии, особенно и в первую очередь в современных вооружениях.

— Хорошо было бы, чтобы ты, Арон, это им сказал... У меня «метание бисера» перед кем, сам знаешь, плохо получается.

Арон долго молчал, прежде чем произнести свою следующую фразу, которую я впоследствии записал с максимальной точностью:

«Вызвали к начальству тебя, Игорь, а не меня, и правильно сделали. Ты официальный глава крупной промышленной фирмы, и тебе предоставлена возможность твердо отстаивать свою техническую политику. Знаю, что ты не любишь пафосные слова, но тем не менее позволь сказать вот что... На данный исторический момент от тебя, от твоего успеха или неуспеха в Москве зависит будущее отечественной радиоэлектроники. Либо она пойдет вверх и займет лидирующую позицию в мире, по крайней мере, наравне с американской, либо в застойном режиме превратится во

вторичную, „цельнотянутую“, как говорят, отрасль техники на побегушках у военных заказов. Такова объективная картина – хочешь ты того или не хочешь».

С таким мощным и возвышенным напутствием уехал я в Москву. Умница Галина Александровна каким-то образом сумела забронировать мне купе на одного в СВ вагоне – понимала, как важно в последний момент в одиночестве обдумать цепочку убедительных аргументов... Я действительно стал было мысленно выстраивать эту цепочку, пока поезд проезжал мимо Ижорского завода – помните это огромное металлургическое предприятие, где производились сверхпрочные корпуса ядерных реакторов, брони минги, броня для танков и линкоров... Скорый поезд идет мимо этого завода размером с маленькую европейскую страну минут двадцать. Такого времени мне хватило, чтобы решить... немедленно лечь спать – никакие логически обоснованные конструкции не помогут в борьбе с гигантским министерским монстром. Всё, о чем меня могут спросить, я знаю, всё, что надо сказать, тоже знаю, и поможет мне только импровизация в совершенно непредсказуемой обстановке. Да еще, может быть, поспособствует Провидение, в существование которого мы не верим, но, как утверждают мудрецы, Оно помогает в равной мере всем

праведным – как тем, кто в него верит, так и тем, кто не верит.

Утром я заскочил в гостиницу «Ленинградская» рядом с вокзалом, размещенную в помпезном небоскребе с роскошными интерьерами и доступную для проживания только большим начальникам, круто блатным и еще, наверное, подпольным цеховикам... В шикарном номере под гигантской люстрой, бронзы которой хватило бы еще на один памятник основоположнику, привел себя в порядок, переменял рубашку, повязал галстук, вызвал через консьержа такси и поехал в министерство.

Москва... Как много в этом слове насилия и жестокостей нашего века слилось, как много страдания людского в нем отозвалось. Мне часто приходилось бывать в столице – в основном по делам службы. Фантом абсолютной, непререкаемой власти давит здесь на меня. Это давление ослабевает по мере отдаления от Кремля, но не исчезает нигде. На Красной площади ощущение того призрака болезненно обостряется, вероятно, еще из-за устроенного здесь большевиками огромного кладбища, где упокоилось так много преступников и убийц. Наверное, москвичи в суете повседневной жизни не замечают этого вездесущего властного призрака, привыкли к нему, а я не могу привыкнуть. Но... нельзя не признать – призрак призраком, а

карьеру, большую карьеру нужно, конечно же, делать в Москве, причем чем раньше, тем лучше. Юноше, обдумывающему житье, решающему, «делать жизнь» когда и где, скажу, не задумываясь: делай ее всегда в Москве. Питерским провинциалам здесь нелегко пробиться, а того, кто слишком зарвался, могут и окоротить. Делайте, молодые люди, карьеру в Москве, не теряйте время в своих провинциях. Вот, например, Иван Николаевич... Ведь мог с равным успехом поехать из своей деревни как в Ленинград, так и в Москву. Поехал, однако, в Ленинград, многого добился, высоко взлетел, хотел еще выше прорваться, но из Москвы взяли, да и подрезали крылья. А ведь именно здесь, в самом Большом театре, завязывал он первый узелок своей блестящей карьеры, однако всё равно подрезали...

Я успел выпить кофе в министерском буфете и без пяти десять был в приемной замминистра. Комир Николаевич, в хорошем настроении, явно избегал неприятной темы отставки Ивана Николаевича и сразу же после положенных приветствий свернул на наш с Ваней проект. «Как состояние ваших дел соотносится с американцами?» — спросил он. Я сказал, что в системно-сетевых вопросах и в разработке микропроцессоров американцы впереди, а мы лидируем с небольшим отрывом в алгоритмах обработ-

ки сигналов и их моделировании, и пояснил: «У нас уже работает макет одной цифровой радиолинии со всеми необходимыми преобразованиями от абонента до абонента, но, когда дело дойдет до миниатюризации, боюсь, американцы нас обойдут. Впрочем, в микроэлектронике стараниями Ивана Николаевича у нас тоже есть значительное продвижение». Потом мы обсуждали наш проект, наверное, часа два с парой небольших кофейных перерывов. Комир окончил Бауманское училище, там же защитил кандидатскую диссертацию, неплохо разбирался в технике. Детали нашей беседы, упаси бог, я пересказывать не буду. Пишу ведь не для узких специалистов, а для простых людей, как у нас принято говорить. А людям совсем не интересно, какие методы уплотнения каналов связи мы обсуждали, какие многомерные коды и какие алгоритмы обработки шумоподобных сигналов рассматривали. Перспективно говоря, люди не знают и знать не хотят, как работает их мобильный сотовый телефон, и правильно делают – не их это забота. Быть может, только историкам науки и техники была бы интересна та наша беседа с Комиром Николаевичем, ибо в том разговоре, верите или нет, были предсказаны некоторые важные черты будущей глобальной цифровой мобильной радиосвязи. Но мы пишем не для историков – бог им, блаженным, в помощь!

Я, конечно, выложил собеседнику все возможные аргументы в пользу проекта, в том числе подсказанное Ароном – и решающую роль в создании современных вооружений, и аналогию с прорывом в космосе. В связи с последним у нас и состоялась дискуссия с переходом на дело Ивана Николаевича.

– Сравнение с космосом, Игорь Алексеевич, является, на мой взгляд, ненужным преувеличением – кесарю кесарево, а богу богово.

– Возможно, и ненужным, Комир Николаевич, но отнюдь не преувеличением. В будущем люди будут звонить по телефону не в квартиру или кабинет абонента, а непосредственно конкретному человеку, где бы он ни находился. Это сейчас выглядит фантастикой, как и космос 20 лет назад, но это стратегическая цель и нашего, и, думаю, американского проектов. Достижение такой цели изменит жизнь на планете радикальным образом, изменит как ничто другое... Если к тому же, как мы с вами прикидывали, процентов двадцать мирового рынка мобильных телефонов будут иметь марку нашей страны, то сотни миллионов людей на планете станут покупать и держать их в руках... А это, в свою очередь, и экономический успех, и престиж государства, то есть того самого кесаря, на которого мы с вами работаем.

– О светлом будущем, Игорь Алексеевич, мы с ва-

ми поговорим как-нибудь в другой раз, а на данный момент подобный космический пафос Ивана Николаевича явился одной из причин его отставки. Я же предупреждал вас с ним: не высовывайтесь без нужды с преждевременным хвастовством...

— Мне казалось, что Ивана Николаевича вы снимаете за недостаточное внимание к оборонным заказам. Разве это не так?

— И это тоже... В Минобороны просто в ярости, что на их средства выполняются невоенные НИОКР. Их там накрутили какие-то недоброжелатели Ивана Николаевича, а наш министр не может не считаться с этим — ВПК как-никак, сами понимаете... На завтра у меня назначена встреча с их полномочным представителем, ответственным генералом. Вот здесь, в этом кабинете... Прошу любить и жаловать... Вот вы генералу и расскажете о светлом будущем, которое ждет его ведомство в случае успеха вашего проекта. Учтите — разговор будет нелицеприятный.

— К «нелицеприятностям» мы, Комир Николаевич, привычные и готовые...

— Поймите, Игорь Алексеевич, я поддерживаю вас, двумя руками за ваш проект, но дело непростое. Постарайтесь убедить генерала в двух вещах: во-первых, ваш проект не только не вредит заказам его ведомства, а, наоборот, существенно, их продвигает, и

во-вторых, работы по этому проекту выполняются одной лишь вашей лабораторией и не отвлекают другие подразделения от их важных разработок. Я на следующей неделе докладываю этот вопрос министру, хорошо было бы, чтобы военные не вставляли палки в колеса...

– Если я сумею склонить вашего генерала на нашу сторону, Ивана Николаевича восстановят в должности?

– Нет, ни в каком виде! Там дело слишком далеко зашло и по партийной линии, и по моральному облику и тому подобному – вам лучше знать...

– Что же с Иваном Николаевичем будет?

– Да ничего страшного не будет, не беспокойтесь за него. Дадут партийное взыскание и пошлют директором какого-нибудь заводика на периферии...

– Могу я лично ему чем-либо помочь?

– Только отстаиванием вашего совместного проекта – может, на старости лет будет что вспомнить... А мне нужна для доклада министру ваша служебная записка со всеми теми подробностями проекта и аргументами в его пользу, которые вы мне привели. Секретарь покажет вам комнату для работы... После того как напишете, сдайте текст секретарю для перепечатки – мне завтра утром нужно иметь этот материал до встречи с генералом. Только, прошу вас, Игорь

Алексеевич, поскромнее, поскромнее... без «догоним и перегоним Америку» – такое давно уже не модно.

На этом мы попрощались до завтра, я сходил пообедать в министерскую столовую, а потом засел за докладную в отведенной мне отдельной комнате. Поначалу не писалось – трудно было сочетать изложение технических результатов и достижений с самоуничижительным стилем, которого требовало министерское начальство. Просидел за этим делом допоздна, но, кажется, сделал всё как надо. Сдал свою совсекретную рукопись под расписку дежурному секретарю и с головной болью уехал в гостиницу. В номере принял таблетку пенталгина, позвонил в Ленинград Аронову и Иосифу Михайловичу. В свой дневник я в тот поздний вечер ничего не записал, устал...

Ночью мне приснилось, что я ищу и не могу найти министерство... Спрашиваю прохожих, как пройти туда, объясняю, что у меня важная встреча с важным генералом, но никто не знает, где мое министерство. Пытаюсь найти такси, но машин на улице почти нет, а когда наконец нахожу, выясняется, что не знаю точного адреса, а по описанию шофер ехать отказывается. Улицы вокруг становятся грязными, в лужах и рытвинах... «Это Москва?» – спрашиваю я пробегающего мимо оборванца, но он не знает, Москва ли это. Решаю пойти на Красную площадь – оттуда я наверня-

ка найду дорогу к министерству, но никто не знает, где Красная площадь. Наконец какой-то вороватый упырь берется проводить... Заглядывая мне в глаза, он бормочет что-то про евреев, «которые жида», потом признаётся, что не знает, куда идти, но просит денег и напоследок заявляет, что он и есть тот генерал, которого я ищу... Всё видится совершенно реальным с безобразными подробностями, так что я испытываю чувство облегчения, когда под утро просыпаюсь и осознаю – это лишь сон. Встреча с генералом назначена на вторую половину дня, и у меня достаточно времени, чтобы спокойно принять душ, переодеться и позавтракать в ресторане. Но к чему этот ужасный сон?

Генерала звали Василий Иванович – лет пятидесяти с хвостиком, среднего роста с массивной седоватой головой и не улыбчивым морщинистым лицом. Василий Иванович был в штатском и ни разу не обмолвился о своем воинском звании. Комир Николаевич играл роль добродушного хозяина, желающего всем мира и согласия. После положенных рукопожатий он открыл совещание благодарностью в мой адрес за содержательную докладную записку, с которой и он, и Василий Иванович ознакомились, – по его тону я понял, что угодил начальству. Затем Комир сказал, что у Василия Ивановича, «естественно, есть вопросы» и предоставил тому возможность задать их. С

первого же слова скрипучий голос генерала показался мне раздраженным, а тон – недоброжелательным. Это обычно вызывает у меня реакцию, противоположную той, на которую рассчитывают, – не испуг и смирение, а, напротив, озлобленное противодействие. Вот максимально приближенная к действительности реконструкция того разговора по моим записям и тому, что осталось в памяти.

– У меня нет вопросов по деталям вашего, Игорь Алексеевич, отчета о проделанной работе, там всё более-менее ясно. Вопрос в другом: из вашего отчета следует, что всё предприятие, которое ориентировано руководством исключительно на создание военной техники, занято одним проектом, имеющим весьма сомнительное отношение к указанной технике.

– Ничего подобного из моей пояснительной записки не следует. Это отнюдь не отчет о проделанной работе, как вы, Василий Иванович, изволили выразиться, а справка о состоянии наших и мировых работ в одном определенном, но очень важном, на наш взгляд, направлении радиотехники – точно в соответствии с распоряжением Комира Николаевича.

– Да, Василий Иванович, я просил Игоря Алексеевича отразить в служебной записке этот специальный вопрос, не затрагивая деятельность предприятия в целом.

– Но наше ведомство интересуется не специальный вопрос, а именно деятельность предприятия в целом, – раздражаясь, прокрипел генерал.

– Результаты работы предприятия есть в отчетах по всем НИОКР, равно как и в переданной промышленности документации для серийного освоения изделий. Что не устраивает ваше ведомство в этих результатах? – пытался оставаться спокойным я.

– Бывшее руководство вашего предприятия увлеклось фантастическими проектами в ущерб разработкам конкретных образцов аппаратуры для армии и флота. Я уже не говорю о нецелевом использовании госсредств, выделенных для этих конкретных разработок.

– Если вы имеете в виду Ивана Николаевича Коробова, то он самым тщательным образом относился к выполнению заказов вашего министерства. Могу это засвидетельствовать со всей ответственностью. И фантастический, как вы изволили выразиться, проект он задумал не в ущерб другим разработкам, а, напротив, для резкого повышения технических характеристик новых вооружений. Я, как мне представляется, показал это со всей определенностью в записке, которую вы читали.

– Читал, читал... У вас, Игорь Алексеевич, всё красиво выглядит, а в реальности сроки выполне-

ния НИОКР и передачи разработок в промышленность срывались, условия техзаданий нарушались. Тем временем самодеятельность вашего бывшего Генерального, оказывается, процветала...

– Я, как вы, Василий Иванович, знаете, входил в бывшее руководство предприятия и несу равную с бывшим Генеральным директором ответственность. Давайте уйдем из области расплывчатых обобщений – какие у вас конкретные претензии к предприятию? Какими конкретно разработками или изделиями вы недовольны?

– Да извольте, сколько угодно... Вот, например, «Тритон»...

– Про «Тритон», Василий Иванович, я знаю всё и досконально, так как именно в моей лаборатории эта система разрабатывалась. Да к тому же Главным конструктором системы был мой руководитель Арон Моисеевич Кацеленбойген. «Тритон», могу вас заверить, превосходит американскую систему и вообще не имеет аналогов в нашей радиоэлектронной индустрии. Можете гордиться этим изделием... Оно прошло испытания в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, доработано по результатам испытаний и готово к передаче в промышленность.

– Гордиться-то мы умеем, но вот факты, Игорь Алексеевич, – сроки испытаний и сдачи изделия со-

рваны, программа испытаний не выполнена, а кругосветное тестирование замещено неубедительными линейными испытаниями в территориальных водах. Более того – как стало известно, непосредственные разработчики «Тритона» еще до окончания этой работы были переброшены на новый проект, не имеющий к «Тритону» никакого отношения.

У меня потянуло в затылке, как бывает при подскоке кровяного давления. Острое чувство несправедливости генеральских обвинений концентрировалось в приступ ярости. Перед глазами вдруг запрыгал тот урка из отвратительного ночного сна, желавший числиться генералом. Я молчал... Василий Иванович счел это признаком моей растерянности и некомпетентности и удовлетворенно заерзал на стуле... Комир Николаевич, правильно расценив смысл моего молчания, пытался заполнить паузу общими рассуждениями об ошибках прежнего руководства ПООПа, которые определенно будут исправлены новым руководством. Я, наконец, вышел из штопора и начал набирать высоту:

«Позвольте, уважаемые коллеги, внести ясность в вопрос о судьбе „Тритона“, затронутый Василием Ивановичем. Действительно, испытания изделия на всей акватории мирового океана были сорваны и доводка изделия

непредвиденно задержана. Причина этого – отстранение непосредственных разработчиков от испытаний изделия и его последующей доработки с передачей означенных функций другому отделу, который к разработке „Тритона“ не имел никакого отношения. Все эти действия инспирированы отнюдь не предыдущим руководством в лице И. Н. Коробова, а пред-предыдущим, то есть М. Т. Шихиным. Контр-адмирал Митрофан Тимофеевич Шихин отстранил Главного конструктора разработки доктора технических наук Арона Моисеевича Кацеленбойгена от участия в испытаниях „Тритона“ не без участия вашего, Василий Иванович, ведомства, которое пошло на этот разрушительный шаг под воздействием органов, не имеющих ни малейшего отношения к созданию новой военной техники. Срывы начались с того момента, когда известные вам органы заблокировали заграничную командировку Главного конструктора изделия „Тритон“. Поэтому, уважаемый Василий Иванович, поищите виновников всех бед „Тритона“ в другом месте... в каком – я, кажется, достаточно ясно указал. В свое время вместо того, чтобы защитить позицию А. М. Кацеленбойгена, ваше ведомство предало его и пошло на поводу у безответственных и бездарных чиновников... Вот вам и вся картина маслом...»

Мой спич вызвал у собеседников нечто вроде шока — эти стены, по-видимому, не часто слышали подобную крамолу. Первым оправился и забормотал какие-то возражения Василий Иванович: «Поищем, поищем... везде поищем — и без кацлинбогенов как-нибудь обойдемся». Он, как мне показалось, намеренно искажил фамилию Арона, и я подумал: «А чем, собственно говоря, по большому счету этот генерал отличается от антисемитской шпаны из моего ночного сна?» Сказал же, конечно, другое: «Если имеется в виду профессор Кацеленбойген, то я с вами вполне согласен — вы, вероятно, действительно обойдетесь без него, а вот отечественная наука вряд ли обойдется». Василий Иванович повысил голос: «У нас незаменимых нет!» Я продолжал гнуть свою линию: «Опять согласен с вами — у вас незаменимых нет, а в науке есть. Эйнштейна уже сто лет никто заменить не может». Комиру Николаевичу пришлось прервать эту опасную дискуссию, он попытался перевести разговор в конструктивное русло: «В дополнение к вашей, Игорь Алексеевич, докладной записке сформулируйте, пожалуйста, каким образом вы как новый руководитель предприятия собираетесь исправить положение... Каковы ваши, так сказать, принципы дальнейшего руководства?» Мне снова пришлось произнести длинную речь, в которой витиевато сочеталось то,

что я думаю на самом деле, с тем, что от меня хотели услышать. Вот краткое ее изложение, сохранившееся в моих дневниках:

«Главный принцип весьма простой – неукоснительное выполнение требований заказчика как по срокам, так и по характеристикам изделий. В соответствии с этой приоритетной задачей предприятия я намерен немедленно вернуть в отдел Кацеленбойгена все работы, связанные с сопровождением производства и развитием аппаратуры „Тритон“. Не менее важным считаю разработку новых технологий, о которых, возможно, заказчик и не мыслит. У нас сложился мощнейший научный центр, включающий нескольких активных докторов наук, который способен и даже обязан выйти за рамки текущих требований и добиваться максимально возможных показателей в новой аппаратуре. Предприятие должно и может опережать требования заказчиков, прокладывая свежую колею, а не плестись за лидерами с помощью цельнотянутого заимствования зарубежных технологий. В связи с этим я намерен продолжить работы по глобальной цифровой радиосвязи, привлекая к ним сотрудников нескольких лабораторий и отделов. Хочу подчеркнуть: это будет делаться отнюдь не в ущерб оборонным заказам, а, напротив, с целью

скорейшего внедрения в них новейших цифровых технологий».

Маневр Комира Николаевича, подкрепленный моим монологом, удался – заговорили наконец о деле по существу. Нараставшая конфронтация была погашена – мои тезисы понравились, против них нечего было возразить. Василий Иванович оказался интересным собеседником, когда дело касалось конкретных разработок, а не философствований на общие темы. Так что в конце встречи мы распрощались вполне дружелюбно. Комир Николаевич попросил меня задержаться, а сам пошел проводить генерала. Не знаю, о чем они говорили по дороге, но Комир вернулся в хорошем настроении и сказал, вдруг перейдя на «ты»: «Не дрейфь, Игорь Алексеевич, – ты на самом деле понравился генералу. Он сказал про тебя, что, мол, этот парень и на х... может послать начальство, а это в генеральском лексиконе очень высокая оценка, типа наш человек». Я возразил в том смысле, что меня отнюдь не радует быть «их человеком». Комир похлопал меня по плечу: «Ладно, не хорохорься. Сейчас главное – твою программу у министра утвердить. Поэтому садись и пиши еще одну докладную – теперь о работах предприятия в целом, о стратегии руководства и всё такое, что нам здесь излагал. Представь, что хочешь убедить самого министра». Я вяло возра-

зил, что до отъезда собирался еще успеть в «Таганку» на спектакль о Высоцком. «„Охоту на волков“ посмотришь в следующий раз, – сказал Комир Васильевич и добавил, проведя пальцем по горлу: – Мне твои тезисы вот как нужны для доклада министру». Пришлось подчиниться и допоздна просидеть за составлением докладной; по существу, это был набросок программы моей работы в роли Генерального.

Разрядиться на новом спектакле Любимова о Владимире Высоцком не получилось, и заказанный мне по большому благу билет достался, наверное, кому-то другому. Самого Высоцкого я видел в «Гамлете» где-то за год до его смерти. Он играл датского принца в своей эксцентричной, до предела накаленной манере. Знаменитый монолог «Быть или не быть – вот в чем вопрос» в его исполнении никакого вопроса не содержал. Это было не раздумчивое философское размышление, а резкий вызов судьбе, предлагающей только два одинаково неприемлемых решения. После смерти Высоцкого Театр на Таганке никогда не ставил «Гамлета» – тот редкий случай, когда «незаменимые» всё-таки были.

Разрядиться довелось, однако, той ночью в «Красной стреле» по дороге в Ленинград – удивительные приключения норовят сопровождать меня. В двухместном купе со мной ехала дама забальзаковского

возраста – не то чтобы особо интересная, но ничего... «Ничего» – самое загадочное слово русского языка, но носители языка, не сомневаюсь, поймут, в каком смысле я использовал это слово в данном контексте... Дама представилась Тамарой Павловной, но мне показалось, что это не настоящее ее имя, а некий псевдоним для дорожного знакомства. Я уже был научен – никогда не раскрывайтесь перед кратковременными попутчиками, ибо неизвестно, чем это всё обернется. Поэтому сам представился Виктором Федоровичем, доцентом кафедры марксизма-ленинизма Ленинградского института культуры, – такой никому не интересный род деятельности заведомо ограждал меня от нежелательных расспросов. Завязался обычный дорожный разговор. Тамара Павловна была москвичкой, работала в «планово-финансовой области», как она выразилась, и ехала в Ленинград по служебным делам. Она не отказалась от рюмочки коньяка, который я заказал у проводника. Всё шло к «спокойной ночи», когда на мой вопрос о цели командировки в Ленинград Тамара Павловна сказала, что едет проверять финансовую деятельность одного ленинградского предприятия. «Там, видите ли, уволили Генерального директора за нецелевое использование средств заказчика. Надо всё это проверить, – сказала она и добавила с усмешкой: – Там мне вряд ли об-

радуются». Я насторожился... Из дальнейшего разговора, подогреваемого коньяком и осторожно направляемого мной в заданное русло, выяснилось: Тамара Павловна едет раскапывать финансовые злоупотребления в моем ПООПе с целью закопать бывшего Генерального директора Ивана Николаевича. Я подивился своему удачному решению законспирироваться и деликатно вышел из купе, чтобы дать возможность даме устроиться на ночлег, а самому обдумать неожиданный поворот дела Ивана Николаевича.

Когда я вернулся в купе, свет был выключен, и Тамара Павловна, как мне показалось, тихо спала. Я начал было раздеваться, когда она вдруг строго сказала: «Надеюсь, вы не собираетесь снимать брюки при даме». Я слегка опешил и спросил: «Вы, Тамара Павловна, предпочли бы, чтобы я спал в брюках?» Она приподнялась и ответила: «Я бы предпочла, чтобы вы вели себя как можно деликатнее». В соответствии с этим пожеланием я далее вел себя предельно деликатно, не проявлял абсолютно никакой грубой мужской инициативы и даже не стал самостоятельно снимать брюки, ибо этим умело занялась моя проворная спутница. Во всем последующем вплоть до мощного финала в темпе *molto allegro* она проявила себя инициативным, решительным и профессионально умелым партнером... Уже засыпая, я подумал, что,

кажется, решил проблему нецелевого использования средств заказчиков на своем предприятии – бьюсь об заклад, что проверяющая организация теперь со стопроцентной гарантией утвердит необходимое положительное заключение в пользу моего друга Ивана Николаевича. Попытался еще представить себе выражение лица Тамары Павловны, когда она узнает, что ненароком переспала в поезде с Генеральным директором проверяемого предприятия, но не успел это сделать – заснул... Когда я проснулся на подъезде к Московскому вокзалу, у Ижорского завода, Тамара Павловна сидела одетая и аккуратно прибранная с готовым чемоданчиком под рукой. С презрительным выражением лица она заметила: «С вашими доцентскими обязанностями, конечно, торопиться некуда, но вставать всё-таки придется». Потом взяла свой чемоданчик, сухо сказала: «До свидания» – и вышла, плотно задвинув дверь купе. Никакого нового свидания ни она, ни я, конечно, не хотели, хотя мне было бы любопытно поговорить с ней в моем кабинете...

Заехав домой и выслушав все вполне обоснованные старческие жалобы и претензии сэра Томаса, я немедленно связался с Ильей Яковлевичем и сообщил ему, что согласно имеющимся агентурным сведениям к нам прибыл финансовый ревизор из Москвы. Разъяснил нашу позицию по вопросу расхода-

ния средств, попросил срочно привести в порядок соответствующую документацию и принять ревизора по высшему разряду. «Да, еще одно, Илья Яковлевич: обязательно покажите ревизору, как только он появится, нашу доску почета. Пусть видит, какие ученые, специалисты и передовики производства у нас работают – это вы можете сделать как никто другой», – сказал я в конце разговора. На доске имеется мой портрет: если Тамара Павловна упадет в обморок, то пусть рядом будет Илья Яковлевич. Люблю работать с коммунистами – они в отличие от беспартийных, которым на всё наплевать, хотя бы боятся исключения из партии и поэтому исполняют распоряжения начальства неукоснительно. Потом я позвонил Галине Александровне и попросил пригласить ко мне в кабинет начальника планово-финансового отдела через час. Дальше события с Тамарой Павловной развивались точно по разработанному мной сценарию. Уже на следующий день Илья Яковлевич доложил, что ревизор оказался женского пола – проверяющую даму зовут Ириной Анатольевной, она из финансово-контрольной службы Министерства обороны и имеет воинское звание подполковника. Судя по его рассказу, опытная подполковница у нашей доски почета в обморок не упала: «Ирина Анатольевна весьма заинтересовалась вами, Игорь Алексеевич, расспрашивала о

вас, даже полюбопытствовала, женаты ли вы. Не хотите ли лично встретиться с ней?» Я ответил, что если Ирина Анатольевна того пожелает, то, конечно, милости просим... и попросил Илью Яковлевича ежедневно докладывать мне о ходе проверки. На протяжении недели я отслеживал ревизорскую деятельность и убедился: милейшая подполковница попалась на удочку и делает всё необходимое для оправдания наших так называемых «нецелевых расходов». В финале позвонил Илья Яковлевич: «Ирина Анатольевна закончила работу, материалы будут отправлены спецпочтой, а результаты будут сообщены нам через десять дней. Ирина Анатольевна удовлетворена уровнем сотрудничества наших служб. Ее срочно отзывают в Москву, она уезжает прямо сейчас и просит передать вам благодарность за теплый прием и помощь в работе». Я попросил передать ей трубку...

— Здравствуйте, Тамара... простите, Ирина Анатольевна. Какова ваша общая оценка работы нашего планово-финансового отдела?

— Здравствуйте, Виктор... простите, Игорь Алексеевич. В целом производит хорошее впечатление, вся документация ведется строго по инструкциям. Ряд замечаний я сделала в рабочем порядке. Думаю, что мое руководство согласится с положительной оценкой.

– Не сомневаюсь, что после вашего квалифицированного заключения вопрос о нецелевом использовании средств заказчика будет снят. Спасибо вам... Если нужна наша помощь в приобретении билета в двухместном купе, мы сделаем всё необходимое...

– Спасибо, Игорь Алексеевич... за внимание. Обратно я лечу самолетом... Илья Яковлевич проводит меня до аэропорта.

– Да, так-то оно лучше – и быстрее, и без необходимости общения с назойливыми попутчиками... Счастливого полета.

Вот таким образом решил я первую свою задачу на посту Генерального директора – снял с Ивана Николаевича тяжелое обвинение в нецелевом использовании госсредств. Конечно, для старшего лейтенанта запаса, каковым был я, лестно переспать с подполковником, но приписывать эту ничем не заслуженную честь только себе было бы чрезмерным тщеславием. И тем не менее, может быть, и неосознанно, но я помог Ивану Николаевичу, а цель, как известно, оправдывает средства...

Вторую задачу – забрать разработку «Тритона» у Артура и вернуть ее Арону – я тоже решил быстро. Приказ об этом был сформулирован максимально деликатно, чтобы не задеть самолюбие Артура: «Возложить обязанности по промышленной доводке

и модификации изделия „Тритон“ на отдел, возглавляемый д. т. н. А. М. Кацеленбойгеном». Никаких упоминаний о провалах отдела к. т. н. А. О. Ланового в приказе не было. Ни Арон, ни Артур не возражали, хотя и не проявили восторга по этому поводу. Для Артура «Тритон» был обузой, но он связывал эту разработку с утверждением своей докторской диссертации. «Тритон» был детищем Арона, но «возвращение блудного сына» налагало на его отдел дополнительную немалую нагрузку.

Эти две акции, кажется, были последними моими достижениями в том году. Под новый год одновременно пришли две вести из Москвы – одна хорошая, а другая чрезвычайно скверная: Высшая аттестационная комиссия при Совмине СССР присвоила ученую степень доктора технических наук Лановому Артуру Олеговичу; Высшая аттестационная комиссия при Совмине СССР отклонила диссертацию Гуревича Валерия Семеновича как не удовлетворяющую требованиям к работам на соискание ученой степени доктора технических наук.

Глава 13. Гвадалквивир

Толпами устремляется в Севилье народ на берег Гвадалквивира; все хотят... «поглазеть на это единственное судно, чье плавание является удивительнейшим и величайшим событием, когда-либо совершившимся с тех пор, как господь сотворил мир и первого человека». Потрясенные, смотрят горожане, как восемнадцать моряков покидают борт «Виктории», как они, эти пошатывающиеся, едва бредущие скелеты один за другим колеблющимся шагом сходят на сушу, как слабы, измождены, истомлены, больны и обессилены эти герои, каждый из которых за три бесконечных года плавания состарился на добрый десяток лет. Ликование и сочувствие окружают их...

В благоговейном молчании шпалерами теснится народ вдоль дороги, стремясь увидеть, как восемнадцать оставшихся в живых моряков босиком, в белых саванах, с зажженными свечами в руках, шествуют в церковь Санта-Мария де ла Виктория, чтобы на месте, где они простились с отечеством, возблагодарить господа за то, что он сохранил им жизнь среди столь великих опасностей и допустил возвратиться на родину.

Снова гремит орган, снова священник в полумраке собора вздымает над головами преклонивших колена людей дароносицу, похожую на маленькое сияющее солнце... И восемнадцать моряков едва слышно, трепетными устами читают молитву за упокой души своего предводителя и двухсот павших из экипажа армады.

На огненных крыльях разносится тем временем по всей Европе весть о благополучном их возвращении, сперва вызывая безмерное удивление, а затем столь же безмерный восторг. После плавания Колумба ни одно событие не вызывало у современников подобного воодушевления. Пришел конец всякой неуверенности... Неопровержимо доказано, что Земля – вращающийся шар, а все моря – единое, нераздельное водное пространство. Бесповоротно отмечена космография греков и римлян, раз навсегда покончено с нелепой басней о ходящих на голове антиподах. Навеки установлен объем земного шара и тем самым, наконец, определены размеры той части Вселенной, которая именуется Землей; другие смелые путешественники в будущем еще восполнят детали нашей планеты, но в основном ее форма определена Магелланом, и неизменным осталось это определение по сей день и на все грядущие дни. Земля отныне имеет свои

границы, и человечество завоевало ее. Великой гордости преисполнился с этого исторического дня испанский народ. Под испанским флагом начал Колумб открытие мира, под испанским флагом завершил его Магеллан. За четверть века человечество больше узнало о своем обиталище, чем за много тысячелетий. И поколение, счастливое и опьяненное этим переворотом представления о мире, свершившееся в пределах одной человеческой жизни, бессознательно чувствует: началась новая эра – новое время.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

В действиях тоталитарных режимов, во главе которых, как правило, стоят более-менее случайные выскочки, традиционно не хватает деликатности, столь необходимой подвластным индивидуумам для того, чтобы не чувствовать себя полными ничтожествами. Это демократиям и даже наследственным монархиям приходится облекать свои решения и распоряжения репрессивного свойства в мягкую оболочку, подавать их в таком виде и с такими приправами, чтобы минимальным образом задеть личность репрессируемого. Тоталитарный Совок всегда отличался край-

ней грубостью и бестактностью властей предрежащих по отношению к своему населению и особенно к той его части, которая называется интеллигенцией и согласно классовой теории классом отнюдь не является, а представляет собой некую прослойку: между кем и чем – пусть объяснят знатоки марксизма-ленинизма-сталинизма... Конечно, в наши благословенные времена развитого социализма сталинские методы типа «сапогом по морде», «зажимания гениталий в дверном проеме», равно как и другие подобные изыски, почему-то плохо переносимые интеллигентами, уже давно не используются для доказательства их вины. Сейчас всё производится намного элегантнее, но тоже как-то топорно и бездарно.

Топорно и бездарно даже в мелочах...

Московские чиновники прислали решения по диссертациям Артура и Валерия спецпочтой в адрес Ученого совета в один и тот же день, в одинаковых серых конвертах, одинаково надписанных чьей-то равнодушной рукой. В одном конверте лежал пропуск в большую науку, и конверт этот открывал перед адресатом неоглядные радужные карьерные дали. Другой конверт перекрывал адресату кислород, между строк уведомлял адресата о его ненужности нашей науке и с плохо скрываемым злорадством объяснял, что адресат никогда... никогда не будет доктором наук в на-

шей стране. Несправедливый цинизм этих двух конвертов у нас оценили почти все, даже не имевшие никакого отношения к науке. Ведь все знали о прекрасном начале этой истории в один и тот же весенний день, о блестящей защите двух молодых ученых, с которыми люди связывали будущее нашего института... И – вот тебе на! – ужасный скандальный конец истории в один и тот же зимний день. Было в этом акте властей нечто вызывающее и дурно пахнущее – две равноценные диссертации, два молодых ученых одинаково высокого класса, русский и еврей, грубо и демонстративно разведены по разные стороны творческой судьбы. Артура поздравляли с некоторой неловкостью, словно он виноват в провале коллеги, а Валерия утешали тоже неловко и неубедительно – мол, «вы еще докажете...», «всё впереди еще наладится...» и прочие банальности. Артур вел себя безукоризненно и солидарно – его триумф подпорчен несправедливостью по отношению к Валерию. Валерий старался держаться, не проявлять паники, даже шутил, но близко знавшие его видели случившийся необратимый надлом, такой глубокий надлом личности, который не может кончиться тихим конформистским актом – дескать, что же тут поделаешь, се ля ви... Я пытался было его утешить, предложить конструктивную линию поведения, но он отмахнулся:

«Завязывать надо, Игорь Алексеевич, завязывать...» Тем не менее мне удалось организовать встречу с Валерием в квартире Арона и Наташи, где по согласованию с Ароном ту конструктивную линию предполагалось обдумать и согласовать.

Арон пребывал в тяжелом состоянии, я никогда не видел его таким – он метался между гневом и недоумением, он как будто перестал понимать происходящее. Научная школа профессора Кацеленбойгена считалась безупречной, никогда прежде не было срывов с диссертациями его аспирантов и учеников, а работу Валерия он ставил выше всех прежних работ в нашей области.

Арон твердо стоял на том, что Валерий должен подготовить обстоятельный и строго доказательный ответ на отрицательный отзыв анонимного оппонента и с этим ответом принять участие в дискуссии с анонимщиком на заседании экспертной комиссии ВАКа. Арон считал возможным переломить таким образом ситуацию и добиться положительного решения.

Я придерживался противоположной позиции: дискуссия с «черным оппонентом» бессмысленна, ибо его критика и отрицательная оценка работы Валерия политически мотивированы и не имеют никакого отношения к науке, вследствие чего вступать со всей этой компанией в борьбу, делая вид, что это научный спор,

бессмысленно и унинительно.

Из головы не выходила слегка замазанная, но вполне читаемая фраза из отзыва на диссертацию Валерия: «Родственники В. С. Гуревича уже уехали в Израиль, и нет никаких оснований готовить еще одного ученого высшей квалификации для враждебного нашей родине сионистского государства». Из этого «патриотического» пассажа с антисемитским душком однозначно следовало: черному оппоненту была предоставлена для критического разбора не только диссертация соискателя ученой степени, но и секретные сведения о его семье, а именно, о дяде Валерия, подавшего заявление на выезд в Израиль. Руководители погромной операции с высокими учеными званиями и научными степенями, по-видимому, сочли нецелесообразным доводить до сведения соискателя это не вполне научное возражение оппонента и поручили секретарше, отправлявшей письмо, вымарать данную фразу, но она, секретарша, отнеслась к поручению халатно – фраза была замазана плохо и при желании читалась без труда... Меня еще кольнуло, что там, в Высшей аттестационной комиссии, не озаботились просто перепечатать отзыв, исключив из него неудобную фразу про сионизм. Впрочем, возможно, это было сделано преднамеренно – пусть, мол, гуревичи свое место знают... Конечно, я подавал свою точку зрения

в очень смягченной форме, понимал, что, в конце концов, Валерию придется самому решать вопрос «быть или не быть», то есть ехать или не ехать в Москву для неравной схватки с черной сотней. Наша тройственная встреча на квартире у Арона должна была помочь ему принять правильное решение.

Перед той встречей мне удалось получить от работавшего в ВАКе приятеля копию дела Валерия. Копия имела двойной гриф секретности, во-первых, как документ секретной ваковской кухни и, во-вторых, как документ о закрытой докторской диссертации. На титульном листе дела, составленного инспектором ВАКа, помимо грифов секретности значилось:

Экз. 2, № 219506

Гуревич Валерий Семенович

1949 г. рождения, еврей, б/п.

Для читателей, далеких от совковой «аббревиатуристики», подскажу, что б/п означало «беспартийный», а еще более четко – «не член КПСС», что наряду с вынесенным на титул «еврей» давало членам инквизиторской комиссии очень важную точку отсчета для последующего «научного анализа». Далее в многостраничном тексте кондовым канцелярским языком излагались ход и результаты защиты диссертации, отзывы промышленности, сведения о практическом использовании, отзыв черного оппонента, обсуждение

диссертации на комиссии. «Ба! Знакомые всё лица!» – говорил классик, а вслед за ним восклицал и я, читая это сочинение. Ба, многие знакомые лица с генеральскими и полковничьими погонами, «цвет советской науки», как любят говорить по телевизору. Знал я по публикациям и главного заплечных дел мастера, выступившего в роли черного оппонента. После раздумий решил не показывать этот документ никому, даже Арону – ничего нового в сложившуюся картину, кроме списка действующих лиц и исполнителей, он не вносил, а приятеля своего, нарушившего служебный долг, можно было ненароком подвести. Короче – на нашей тройственной встрече я выступал в роли пессимиста, который, как известно, является просто-напросто хорошо информированным оптимистом.

Арон начал наш разговор в наступательно-оптимистичной манере:

– Согласитесь, коллеги, что отзыв черного оппонента выведенного яйца не стоит, опровергнуть его аргументацию не представляет труда. Ваше дело, Валерий, отнюдь не закончено, борьба только начинается, и я уверен – вы сможете победить. Нужно противопоставить оппоненту строго научный анализ с акцептацией на новизну математических результатов и их практическую значимость. Мы с Игорем готовы помочь вам. Мой совет – готовьтесь к поездке в Москву

самым тщательным образом. Им там на самом-то деле нечего противопоставить вашим результатам, которые, кстати, хорошо известны, используются и в промышленности, и в научных исследованиях.

— Арону Моисеевичу трудно возразить, — начал возражать я. — Но мне кажется, что любые, сколь угодно тонкие научные возражения будут бить мимо цели, поскольку дело это не научное, а политическое... Черные полковники разводят наукообразие, делают вид, что возражают по существу, а на самом деле просто разбавляют псевдонаучными разглагольствованиями полученный сверху политический заказ.

— Что же ты, Игорь, предлагаешь? Вообще ничего не делать, не сопротивляться, принять всё, как неизбежность...

— Отнюдь... Нужно попытаться убедить тех, кто спустил тот политический заказ ваковским службистам, убедить власть имущих, что исполнители, которым указали «попридержать», сильно перестарались и фактически губят отечественную науку. Нужно апеллировать к тем, кто выше этих наемных убийц.

— Как ты себе это представляешь и кого имеешь в виду? — спросил молчавший до сих пор Валерий.

— Арон Моисеевич мог бы написать письмо в твою защиту в Президиум Академии наук, а я готов связаться с одним из отделов ЦК — в конце концов, они ответ-

ственно за всё, что происходит в этой стране.

– Подобные превентивные шаги только разозлят членов экспертной комиссии, исключат путь компромисса, – возразил Арон.

– Компромисс возможен с теми, кто его желает. У нас не тот случай... Мягкое, верноподданническое поведение здесь не сработает, тут либо они победят, либо мы – середины нет и быть не может. Мы можем победить, только убедив начальство, что эти деятели перегнули палку. Так мне кажется...

– Если не ответить на отзыв черного оппонента, у них будут все основания заявить: диссертант согласен с его выводами.

– Зачем же не отвечать... Ответить нужно обязательно, но кратко и жестко, не подыгрывая им в якобы научной дискуссии. Заявить четко, что критика оппонента есть бред собачий от первого до последнего слова... ну, в интеллигентной форме, конечно.

В таком духе мы продолжали разговор. Валерий больше слушал, но, в конце концов, именно он сформулировал решение, и оно было интегральным: «Я напишу ответ анонимному оппоненту по существу вопроса, как рекомендует Арон Моисеевич, и приму участие в дискуссии, если меня пригласят, но буду признателен, если вы параллельно предпримете шаги в мою поддержку, о которых говорил Игорь Алексее-

вич».

С этим, вероятно, разумным паллиативом мы сели за стол, приготовленный Наташей и женой Валерия Бэллой. То застолье, казалось бы, не содержало ничего необычного, но потом, по прошествии времени, я понял, что это был переломный момент в судьбе всех его участников, момент, когда накопленное годами напряжение привело к слому. А поскольку каждый человек, как говорил классик, является частью огромного материка, то сломы частных судеб, сливаясь воедино, становятся судьбой материка, ломают его, разрушают в целом. Если говорить о материке нашей советской науки, то его разрушение началось много раньше и закончилось много позже описываемого события, но примерно на это время пришелся тот слом, который привел к ликвидации научных коллективов, катастрофическому развалу научных школ и прочим процессам, объединенным впоследствии физиологическим термином «утечка мозгов». Мы тогда за красиво накрытым столом не понимали всего этого в полной мере. Мужская часть компании поднимала тосты за успех, за победу, за справедливость, за борьбу и прочее, скрывая свою неуверенность за красивыми словами. Удивительно, но женщины сумели тогда интуитивно предугадать последствия того слома, о котором мы, мужчины, казалось бы, знали много больше.

Наташа и Бэлла без энтузиазма поддерживали наши с Ароном боевитые тосты – они тогда уже нащупали путь, не имевший ничего общего с нашей программой борьбы и побед. Из долгого разговора за столом мне запомнились некоторые ключевые мысли, которые я зафиксировал тогда в дневнике. Бэлла сказала: «Они нас выдавливают отовсюду, теперь – из страны... Выдавливают, как пасту из тубика, а мы барахтаемся, всё стараемся не выдавиться, задержаться, остаться на любых условиях. Может быть, пора помочь им и побыстрее выдавиться из тубика?» Все тогда как-то примолкли, задумались, а Наташа сказала:

«Есть еще один вариант с тубиком... Знаете – когда выжатый тубик выбрасывают на помойку, в нем еще остается кое-что. Вот так-то, друзья, – желающие продержаться в тубике до конца могут попасть, в конце концов, на свалку. Ну да ладно, бог с ним – с тубиком... В чем я уверена – Арону и Валерию надо в любом случае менять работу, избавляться от секретности... Хотя бы для того, чтобы не остаться в том выжатом тубике».

В этом месте я, помнится, полушутливо возмутился: «Решительно возражаю против оставления меня в тубике. Никак не ожидал от тебя, Наташа, такой негуманности. Это что же получается, хавейрем идн, – вы свалите в Израиль, а я останусь здесь один на

один с развитым социализмом в виде выжатого тюбика? Несправедливо, товарищи евреи». Наташа ответила с пророческой интонацией: «Все там будем, в том числе и ты, Игорь, – поверь мне». Но, как говорил классик, «нет пророков в своем отечестве» – было не вполне ясно, где это там, и опасную тему замяли, пошутили о полезности моих познаний в еврейском языке, расслабились... Только Наташа вдруг продолжила:

«Теперьшняя докторская степень обесценена, присваивают ее сплошь и рядом каким-то случайным партийным и хозяйственным выскочкам за должность высокую, по указаниям сверху, просто по блату – карикатура какая-то. У нас в институте появился доктор биологических наук из секретного института, никто не знает ни одной его научной работы, никто не знает даже тему его докторской диссертации, как, кстати, и кандидатской. Похоже, ему прямо так взяли и присвоили степень доктора. Как говорят, по совокупности трудов праведных... Мне кажется, кандидатская степень пока еще не опошлена в такой мере, как докторская, – она без этих совокупностей и совокупляемостей...»

Валерий отреагировал резко, нервно, на высоких нотах:

«В этой стране нельзя рассчитывать на

серьезную научную карьеру с кандидатской степенью. В слове „кандидат“ есть что-то недоделанное, незавершенное, школярское – „кандидат в члены...“, „кандидат в мастера спорта“... Кандидат наук – это „кандидат в науку“, что ли? Никогда не соглашусь на такое...»

Последнее предложение он едва ли не выкрикнул срывающимся голосом. Валерий потом отчаянно и мужественно боролся – нужно отдать ему должное. Эту борьбу по уровню ее практической бессмысленности можно было бы назвать донкихотством или борьбой с ветряными мельницами. Но эти самые ветряные мельницы были в данном случае не благородными рыцарями науки, а убийными механизмами всесильного государственного аппарата. На протяжении полугода Валерий был жестко вовлечен в эту контрпродуктивную борьбу и почти не выдавал новых результатов. Мы с Ароном, конечно, сквозь пальцы смотрели на такое снижение эффективности работы ученого, понимали его состояние – достаточно было представить себя в его шкуре...

Меня захлестнула волна текущих директорских забот и тяжелой борьбы за существование проекта цифровой радиосвязи. К тому же личные дела не радовали...

От Аделины долгое время не было писем, а Иосиф

Михайлович что-то темнил, обнадеживал, что, мол, всё в порядке, но так и не мог объяснить мне, куда же ее сослали. Он утверждал: всё под его личным контролем, материалы для условно-досрочного освобождения готовятся, но я чувствовал – в чем-то наш выдающийся адвокат просчитался и не всё идет так гладко. Встречи с родителями Аделины были тягостными, они сильно сдали, болели, постарели...

Катя, не любившая прежде рассказывать мне о своих семейных делах, теперь всё больше раскрывала их во время наших свиданий. У Севы случались запои, во время одного из них он устроил драку и ударил тещу. Я, конечно, предложил вмешаться и поставить его на место, хотя, на самом деле, не был к этому готов, но Катя, естественно, категорически отказалась, потому что это, как она сказала, «окончательно взорвет ситуацию с непредсказуемыми последствиями». Она словно предчувствовала что-то непоправимое в своей судьбе и во время наших как всегда бурных свиданий вела себя с какой-то выстраданной, необузданной страстью, как будто каждое свидание было последним. Катя наконец-то принесла фотографию нашего сына Вити, протянула ее мне, но задержала в своей руке и не отпускала, пока я не посмотрел ей в глаза. До конца дней своих не забуду эти глаза словно с влажными росинками в зрачках; в них

не было слез, в них было всё сразу – скорбь, мольба и любовь... Она тогда ничего не добавила к этому взгляду, промолчала, а я вздрогнул от внезапно пришедшей в голову странной и зловещей аналогии – это же взгляд мадонны Микеланджело в его *La Pietà*! Потом постарался поскорее избавиться от прекрасного и жуткого наваждения, забыть его, не вспоминать... Я теперь мог видеть своего парнишку всякий раз, когда открывал ящик домашнего письменного стола, заметил в себе вызревание некоего чувства, сильно задушенного прежде моей беспорядочной жизнью, которое, наверное, называется отцовским. Это незнакомое чувство, казалось бы, вело к единственно правильному решению – взять Катеньша с сыном к себе, а после развода жениться на ней. Как у Генерального директора, у меня была возможность получить большую квартиру в хорошем месте, возможность, о которой мне несколько раз напоминал Илья Яковлевич и которой я до сих пор пренебрегал... Мне всё чаще представлялась жизнь с Катеньшей и сыном в той гипотетической квартире, но, как говорил классик, «привычка свыше нам дана, замена счастию она» – к счастью я был не готов.

Раз в месяц приезжала Алиса из Саратова. Она теперь прямо из аэропорта направлялась ко мне на квартиру, избегая тем самым сложностей с гостиница-

ми. Ее идиотический оптимизм в сочетании с заземленным прагматизмом – и то, и другое в остром сексуально-развлекательном соусе – отвлекали меня от горестных размышлений о своем бытии, которое, как известно, не только определяет, но и отравляет сознание. Через пару дней, которые Алиса посвящала опустошению ленинградских магазинов, я на поезде отправлял ее домой, загруженную до предела продуктами, – в саратовских магазинах совсем не было мяса, колбасы, рыбы, сыра...

Иван Николаевич исчез и не подавал никаких признаков своего существования. От Ильи Яковлевича, который, как всегда, знал всё, я услышал, что Ваню перевели директором мясокомбината в Оренбургскую область – партия свои кадры ценит и не сдает, комбинат большой и очень важный. Партия, конечно, наказала Ваню за своевольничанье, но вместе с тем подтвердила старое партийное правило: настоящий партиец может руководить чем угодно – от радиоэлектронной фирмы до мясокомбината. Ему, партийцу, собственно говоря, всё равно, чем руководить, ибо у него выработано главное – партийное чутье. Я узнал адрес Ваниной работы и написал ему письмо, но он не ответил. Мне хотелось порадовать его продвижением нашего проекта, но Ваня, судя по всему, решил завязать с прошлым раз и навсегда – удиви-

тельная, фантастическая судьба этого человека продолжала свое непредсказуемое движение.

Наш с Ваней проект тем временем тяжело поднимался в гору, но того ускорения, которое поначалу придал ему Ваня, конечно, уже не было – я не располагал и десятой долей его влияния в высоких партийных и министерских кругах. Разработка теперь фактически замыкалась на одной лаборатории в отделе Арона. Для моделирования этой сложнейшей системы нам остро не хватало современных компьютеров – в министерстве обещали помочь, но кроме обещаний пока ничего не было. Еще хуже складывались дела с микроэлектроникой. Наши разработки собственных микропроцессоров требовали больших инвестиций, но министерство резко сократило финансирование. Я поехал в Москву и объяснил Комиру Николаевичу, что без собственной научно-производственной базы в этой области мы либо останемся на уровне математических моделей системы, либо вынуждены будем закупать зарубежные микропроцессоры, что при планируемых масштабах внедрения потребует еще больше средств, чем мы просим сейчас. Комир, в свою очередь, объяснял мне, что денег на всё не хватает, что мы должны исходить из реального бюджета, что экономика должна быть экономной, и прочие благоглупости... Я настаивал на своем, и тогда он подтащил ме-

ня к себе через стол за рукав пиджака и лихорадочно зашептал:

«Ты что, Игорь Алексеевич, не видишь, в каком состоянии экономика страны? В Рыбинске, Горьком, Куйбышеве, на Урале и в Сибири людям жрать нечего... Ты видел, что по утрам делается в гастрономе на площади трех вокзалов – мешочки целыми поездами прибывают со всей страны, чтобы закупить сосиски для себя, своих родственников и сослуживцев. Периферийные предприятия освобождают от работы специальные бригады колбасников, оплачивают им дорогу в Москву и обратно. Цены на нефть и газ падают, нам нечего продавать за границе, а валюта нужна на неотложные государственные и партийные дела. А ты здесь про микропроцессоры мне толкуешь...»

Я взвился и зло прошептал ему прямо в лицо:

«О том и толкую, Комир Николаевич, что помимо газа и дров следовало бы нашей великой державе продавать заграничным покупателям современную электронику, как это японцы да финны делают... А у нас, между прочим, и голов талантливых побольше, чем у них, и научные школы посерьезнее, и промышленность посильнее. Только вот умное государственное руководство у нас почему-то в дефиците, как и

вышеупомянутые, извините, сосиски сраные».

Комир отпустил мой рукав, откинулся в кресле, его лицо приняло обычное доброжелательно-деловое выражение:

– Окстись, Игорь Алексеевич, думай, что говоришь... Есть сведения, что новый американский президент развернет гонку вооружений в космосе. Понимаешь, чем это обернется для нашей экономики? А ты о сосисках...

– О сосисках, между прочим, вы первым заговорили, а я всё больше о микроэлектронике. Не понимаю, что мы сможем противопоставить американскому оружию в космосе без современных радиосистем и микропроцессоров.

– Тебе и флаг в руки, Игорь Алексеевич... Мы здесь тебя поддерживаем, но в рамках возможного. Хочу тебя обрадовать: мы нашли возможность выделить твоему предприятию лучшую в мире ЭВМ, последний, можно сказать, крик моды, – обсчитывай теперь свои разработки на мировом уровне.

– Ушам своим не верю, Комир Николаевич! Спасибо большое! Что за машина?

– Машина секретная, но тебе скажу: новейший американский суперкомпьютер фирмы «Дижитал».

– Потрясающе! Как это возможно – ведь они ввели запрет на поставки таких компьютеров в соцстраны?

– И против лома есть приемы, а против запретов есть контрмеры... Это, как ты понимаешь, работа не нашего ведомства, а как они там в органах такое проворачивают – не нашего ума дело. Наверное, через третьи страны перекупили... или увели, не знаю. Цени заботу партии и правительства – на министерство один такой компьютер выделили, и министр распорядился отдать его тебе – пусть, мол, Уваров побыстрее считает да заказы наши выполняет...

– Ценю, искренне ценю, Комир Николаевич... Когда ждать подарок?

– Это тебе по Первому отделу сообщат. Готовь секретное помещение для компьютерного красавца и подбери группу обслуживания, квалифицированную, но небольшую, чтобы трепу было поменьше, чтобы все, кому не лень, там не болтались... Посторонних на пушечный выстрел не подпускать к машине и болтать об этом поменьше...

В целом, конечно, тот мой визит в министерство оказался провальным – в увеличении финансирования моего проекта было отказано. Столь горькую пилюлю слегка подсластили, во-первых, новым суперкомпьютером и, во-вторых, очень сильным отзывом в поддержку диссертации Гуревича, подписанным самим заместителем министра. Этот отзыв Комир Николаевич обещал послать в ВАК спецкурьером в краси-

вой министерской папке с золотым тиснением. Об отзыве замминистра я немедленно по приезде из Москвы рассказал Валерию, Арону и членам Ученого совета, а о суперкомпьютере – пока только Арону, которого попросил подобрать группу программистов и электронщиков для будущей работы с новой машиной.

Арон, в свою очередь, поделился со мной невеселыми новостями по делу Гуревича. Он связался с двенадцатью влиятельными профессорами с просьбой поддержать Валерия, публикации которого они хорошо знали. Все они согласились, что работы Гуревича соответствуют уровню доктора наук, что он открыл новое важное направление, все ахали и охали по поводу ваковских несправедливостей, но только двое безоговорочно согласились написать отзывы, остальные вежливо увильнули, сославшись на занятость, плохое знакомство с предметом дискуссии и тому подобное. Арон обратился также к академику Потельникову, с которым был лично знаком, написал ему подробное письмо, подчеркнул, что диссертация Гуревича является прямым развитием и обобщением теории, которую в свое время разработал академик, указал, что теоретические результаты диссертанта используются научным сообществом и у нас, и за рубежом, что они внедрены в новейших системах. Академик ответил Арону коротким письмом, состоявшим из двух пунк-

тов. Во-первых, он далек от рассматриваемых в диссертации вопросов; во-вторых, навел справку в ВАКе и убедился, что там всё производится по правилам и никаких нарушений нет. Арон был расстроен, внезапно осознав не только свое бессилие, но и неспособность близкого ему круга талантливых ученых остановить произвол, творимый властями в той науке, которая была обязана им своим существованием. Абстрактное «против лома нет приема» вдруг обрело зримые, удручающие контуры. На этом фоне полученный мной отзыв замминистра казался неожиданной победой, и впечатленный этим Арон попросил меня связаться со своим бывшим аспирантом Станиславом Федоровичем, который все еще работал в Отделе Агитации и пропаганды ЦК: «У вас с ним более простые и доверительные отношения, ты можешь поговорить с ним на дружеском уровне. Если из аппарата ЦК последует хотя бы неформальный запрос, это может изменить дело...»

В один из приездов в Москву я позвонил Станиславу в ЦК, сказал, что у меня нетелефонный разговор, и напросился в гости. Станислав с женой жили в высотном доме, построенном еще при Сталине для всевозможного начальства и приближенных ко двору. Они радушно приняли меня со всем размахом цэковского гостеприимства – стол ломился от дефицита, а вы-

пивка была сплошь заграничная. Жена Станислава – забыл ее имя – оказалась милой блондинкой с улыбчивым лицом, которое к тому же светилось приветливостью и добротой. Короче – обстановка обнадеживала, и я, расслабившись, настроился на успех, а в застольной беседе всё норовил обозначить свою тему, ради которой пришел, вытащить Станислава из-за стола для конфиденциального разговора. Когда мы уже выпили немало шотландского виски без содовой, он наконец сам попросил рассказать о цели моего визита и добавил, что у него нет секретов от жены. Я рассказал всю историю с диссертацией Валерия, изложил мнение Арона на сей счет и закончил так:

«Видишь ли, Станислав, дело вот в чем... Если бы речь шла об одном человеке и его ученой степени, я не стал бы беспокоить тебя и обращаться в столь высокий орган. Но в данном случае решается судьба серьезного нового направления в теоретической радиотехнике, в котором у нас благодаря работам Валерия есть возможность оказаться в мировых лидерах. И это направление усилиями ВАКа сейчас дискредитируется, подрывается, если не сказать больше – закрывается».

Эта пафосная фраза, впрочем – вполне обоснованная, по-видимому, произведена Станислава определенное впечатление. Он расспрашивал о деталях ма-

тематического аппарата, развитого Валерием, и его практической полезности, а в конце спросил, чем же можно объяснить негативное заключение Высшей аттестационной комиссии. Я упомянул, что в экспертном совете в основном представители другого направления теории, что им далеки те реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся при разработке новой аппаратуры. Передо мной стояла сложная задача, я не хотел из тактических соображений акцентировать еврейский аспект этого дела и напирал на борьбу различных научных школ. В конце концов, не важно, под каким соусом ЦК вмешается в дело, лишь бы обозначил свою заинтересованность в положительном решении. Но Станислав не удовлетворился моими сложными объяснениями и всё пытался выудить у меня истину – простую и понятную причину столь негативного отношения к работе Валерия. В конце концов я был вынужден озвучить ту сакраментальную фразу из отзыва черного оппонента о родственниках Валерия, уехавших в Израиль, и о прочем «сионизме»... Станислав насупился, выпил залпом остаток виски из стакана и... окончательно протрезвел. Я посмотрел на его жену – улыбка сбежала с ее лица, ставшего строгим, она молча встала и ушла на кухню. Я понял, что моя миссия провалилась... Станислав нравоучительно сказал:

«Вот видишь, Игорь, что получается... Советская власть открыла перед ними все возможности, предоставила им невиданные права – образование, научная работа и прочее... А они? Они, пользуясь этими правами, уезжают во враждебное нам сионистское государство, чтобы работать там против нас под патронажем американских спецслужб. Это, Игорь, есть предательство, измена родине в интересах еврейского буржуазного национализма, сионизма и его покровителей...»

Я ушам своим не верил – Станислав вдруг заговорил в совершенно несвойственной ему манере дешевой совковой пропаганды. Я знал его другим, не мог он так думать.

– О чем ты, Станислав, говоришь, какое отношение Валерий имеет к сионизму?

– Самое прямое – его родственники уже там... ВАК, как я полагаю, не желает брать на себя ответственность за дальнейшие действия соискателя Гуревича.

– Если у государства есть претензии к Гуревичу по линии сионизма, то этим должен заниматься КГБ, а не ВАК. Зачем же гробить науку, которая не имеет ни национальности, ни государственной принадлежности? Или ты хочешь сказать, что ВАК стал подразделением КГБ...

– Я хочу разъяснить тебе, Игорь, что борьба с сию-

низмом – не узковедомственная задача, это политика партии, которая выше ведомств. И, заметь, не партия инициировала этот процесс, евреи сами начали уезжать во враждебное государство, и партия вынуждена жестко реагировать на это.

– То есть евреи сами во всём виноваты – знакомая мелодия... Помню по рассказам родителей, что во времена Дела врачей ее тоже напевали, но кажется, тогда никто в Израиль не уезжал, не правда ли? Вечная проблема: что было раньше – курица или яйцо? Из яйца в виде пресловутого сионизма советских евреев вылупилась курица – антисемитская политика правящей партии, так ведь у тебя получается... Но тогда непонятно, откуда появилось яйцо... Если заглянуть в историю, то наше кондовое русское юдофобство существовало и тогда, когда и слова-то такого «сионизм» не было... Не правда ли, Станислав?

Мой друг Станислав вдруг стукнул левым кулаком по столу, так что испуганная жена прибежала из кухни. Он почти закричал на меня, держа на вилке дрожащую рулетку из семги:

«Партия, позволь напомнить, всегда боролась с антисемитизмом – почитай Ленина... После Октября евреи получили невиданные ранее права, доступ к руководящим должностям в партии и государстве. Но партия всегда боролась

и будет бороться с любыми проявлениями буржуазного национализма. И если наши евреи из науки склонны к сионизму, то пусть пеняют на себя. Чего им не хватает? Всё есть – работа, квартиры, дачи, машины, ан нет – Израиль им подавай, да еще непременно с ученой степенью доктора наук в придачу».

Он говорил еще что-то лозунгами из арсенала своего Отдела Агитации и пропаганды ЦК КПСС, но я уже не слушал его, попытался остановить: «Ты, Станислав, помнится, объяснял, что евреям следует убежать из этой страны». Он швырнул рулетку из семги мимо тарелки и выкрикнул: «Ничего подобного я не мог говорить!» Я посмотрел на жену Станислава, безмолвно стоявшую у стола. «Вам чай или кофе? А может быть, мороженое на десерт или пирожное – у нас свежие пирожные из „Метрополя“», – проговорила она испуганно. Я встал и сказал: «Нет, спасибо... Мне, пожалуй, пора, а то опоздаю на поезд. Всё было очень вкусно – спасибо вам большое за теплый прием». Станислав тоже встал, показывая, что не задерживает меня. У дверей он сказал: «Мой дружеский совет – не влезай в эту историю. Пойми: поддерживая Гуревича, ты идешь против течения, против очень сильного течения...» Я кивнул несколько раз: «Да, да, конечно...» Он протянул руку, я вложил в нее свою –

мы прощались, ясное дело, навсегда, мы окончательно расходились по разные стороны баррикад.

Весна того года была холодной, в апреле еще ходили в демисезонных пальто и теплых куртках, а в праздник 1 Мая я возглавлял колонну предприятия на демонстрации в утепленном плаще. Весна была тревожной, в начале года умер главный идеолог партии, и председатель КГБ начал расчищать путь к вершине власти с громкого уголовного дела против директора московского Елисеевского магазина, который снабжал всю партийно-государственную элиту столицы дефицитными вкусностями. Высокопоставленные клиенты директора магазина разбежались по своим норкам и временно затаились, а его самого показательно расстреляли. При тотальной нехватке продуктов питания по всей стране это выглядело оправданным – вот, мол, из-за кого продукты стали недоступны народу. Ясно было, что при нынешнем плачевном состоянии здоровья «выдающегося деятеля международного коммунистического движения» грядут перемены, и главный кагэбэшник показывал направление этих перемен.

Я заметил в себе увядание того энтузиазма, с которым когда-то, еще при Иване Николаевиче, начал вхождение во власть и разработку новой радиосистемы – я плыл по течению, ощущая себя временщи-

ком. «Не мое это дело, не мое», – твердил сам себе, ждал, когда это поймут другие, и тогда всё само собой образуется. Нельзя сказать, что у нас не было успехов. Мы освоили замечательный американский компьютер, провели на нем полноценное моделирование новой системы, получили очень обнадеживающие и даже «потрясающие», как сказал Арон, результаты. Макеты важнейших частей системы тоже работали, но дальше был тупик. Отставание в микроэлектронике препятствовало промышленной реализации проекта, а тяжелый гриф секретности не давал возможности опубликовать результаты разработки. Мы понимали, что по ряду показателей достигли лучших результатов, чем известные из американских публикаций, но мы не имели возможности даже объявить об этом. Ощущение тупика раздражало и подавляло, а мне стало просто скучно...

История моего смещения с должности Генерального директора могла бы составить сюжет политического триллера, если бы был интерес распутать все использованные при этом хитросплетения партийно-государственных интриг, но такого интереса у меня не было и нет. Комир Николаевич тогда уверял, что министерство к этому не причастно, хотя приказ о моем снятии и назначении другого лица был подписан им самим. «Мы были довольны вашей работой, мы пы-

тались вас отстоять, но там нам отказали...» – оправдывался он, указывая пальцем на потолок. Он явно избегал конкретики – кто меня пытался отстоять, и где это там, и кто там был против, – а я и не настаивал на подробностях. Илья Яковлевич намекал, что в это дело вмешались какие-то мифические силы из самого ЦК КПСС. Я, грешным делом, подумал на Станислава, но это было маловероятно – он, скорее всего, теперь поостережется обозначать свои связи со мной. По словам Ильи Яковлевича, инициатива исходила от местного горкома. «Я же вас, Игорь Алексеевич, предупреждал, что надо вступить в партию, а вы не послушались», – сетовал он, горестно разводя руками. Я верил в искренность и Комира Николаевича, и Ильи Яковлевича, я был им полезен, и они по-своему ценили меня. Не они сделали это... Огорчали, конечно, анонимные доносы, о которых мне рассказала Катя. В одном из них автор писал, что я, «используя служебное положение, принуждал к сожителю члена парткома»... – дальше указывались ее имя, отчество и фамилия и зачем-то... номер партийного билета, правда, ошибочный. В другой анонимке указывалось, что я, «используя служебное положение, катал на служебной машине своих многочисленных любовниц», – правда, имена любовниц анонимщик деликатно опустил.

Время идет, события нашего «великого» прошлого забываются, и молодой человек XXI века, наверное, не очень-то и верит моим рассказам. Поэтому, исполняя свой долг перед историей, которая обязана учить чему-нибудь хотя бы кого-нибудь, привожу здесь подлинный анонимный донос второй половины XX века, сохраняя всю его первозданную, истинно народную логическую и стилистическую прелесть, равно как и грамматику с пунктуацией. Анонимка, копию которой мне подарила, конечно, Катя, была адресована нашему министру в Москву с копией в Смольный, в комиссию партийного контроля Ленинградского горкома КПСС:

«Считаем нужным довести до Вашего сведения, что творится в головном предприятии отрасли.

Дело так называемого проекта цифровых систем, в котором оказались замешаны беспартийный Генеральный директор И. А. Уваров и его покровитель член КПСС А. М. Кацленбоген, которые учили сотрудников жить и работать, и до сих пор продолжают это делать, так как в итоге до сих пор не наказаны.

Дело было так: бывший Генеральный директор член КПСС И. Н. Коробов для собственной наживы открыл на предприятии свою лавочку, под видом новых технологий выбивал

государственные средства, заставлял всех работать, деньги делил со своими поделщиками Уваровым, Кацленбогеном, членом КПСС А. О. Лановым и беспартийным В. С. Гуревичем, который только что защитил диссертацию и она находится в ВАК на утверждении. После разоблачения И. Н. Коробова его сменил его приятель по пьянкам и прочим бабским делам И. А. Уваров, который продолжил получать деньги и немалые для чего выделил секретную комнату и завез туда неизвестные станки, где никто не знает какие махинации производятся и куда простым людям ходу нету. Но Кацленбоген, Лановой и Гуревич свободно туда ходят и неизвестно что делают.

Партком с секретарем членом КПСС И. Я. Марголиным покрывает Уварова и компанию так как находится в доле при деле и его помощница член КПСС Е. В. Гринева состоит в любовной связи с беспартийным Уваровым, хотя их всех надо было бы уволить, если бы вопрос решался в духе XXVI Съезда Партии.

И получается, что прав тот, у кого больше прав! И никакой справедливости нет и не будет. Просим Вас разобраться в этом вопросе».

Нельзя не отметить возвышенное эпическое начало этого доноса и, конечно, великолепную философскую концовку анонимки в стиле Экклезиаста – «прав

тот, у кого больше прав! И никакой справедливости нет и не будет». Правда, глубокая патетика этой сентенции, достойной лучших страниц Библии, снижается заключительной обывательской просьбой.

Да, пишем, пишем доносы... Сплошная грамотность совкового населения обернулась боком – все начали писать доносы. К образованным служащим и творческой интеллигенции добавились теперь грамотные рабочий класс и колхозное крестьянство. Феномен доносительства еще ждет научного исследования, некоторые его аспекты до сих пор мало изучены: много доносов пишут домохозяйки и дворники, профессора предпочитают писать доносы друг на друга, равно как и члены Союза советских писателей, больные любят доносить на своих врачей, а студенты – на своих преподавателей, члены партии опережают беспартийных по количеству доносов, академики даже беспартийные предпочитают писать доносы в ЦК КПСС, почему-то много пишут артисты и балерины, маршалы и прапорщики. Доносы пишут на соседей по коммунальной квартире и даче, на сослуживцев, на друзей, на своих начальников и подчиненных, что вполне объяснимо, но встречаются необычные случаи доносов на родственников, на родителей и детей, на мужей и любовников, на жен и любовниц... Пишут даже на совершенно незнакомых людей, если, на-

пример, все знакомые уже посажены. Первоосновами доносительства чаще всего бывают корысть, чувство собственной неполноценности, зависть и злобный характер – пишут по заказу и наводке начальства или других компетентных органов, чтобы выслужиться, пишут для повышения по службе, из мести, ради комнаты в коммуналке, ради дачи в элитном поселке, из-за места в очереди, по мизантропству и общей злобе, из ревности или зависти, пишут просто так, чтобы всем было хуже. Но в Совке чрезвычайно развито и совершенно бескорыстное, ничем не оплаченное доносительство по чисто патриотическим мотивам, подобное акту идолопоклонства, или даже доносительство по любви – по любви к советской родине, к родной Коммунистической партии и ее вождям. Благодаря письмам с доносами эпистолярный жанр литературы расцвел и стал у нас воистину народным искусством со своей неповторимой лексикой и грамматикой, а также со своеобразными приемами сокрытия лжи под маской заботы о трудящихся, о мире во всем мире и прочими литературными изысками. Ни одно массовое патриотическое движение, инициированное в Совке компартией и комсомолом, не имело такого масштаба и размаха, как доносительство. Один классик справедливо заметил: «Вот теперь всё валят на Сталина... А кто написал десятки миллионов

доносов?» Ответ на этот риторический вопрос простой – десятки миллионов доносов написали мы сами, народ наш советский... Конечно, изверг немало постарался, чтобы людей этого «христианнейшего из миров» превратить в аморальных доносчиков и сексотов, но разве можно всё сваливать на внешние обстоятельства. А где была у тех миллионов душа, которую вдохнула в бренное тело человека некая божественная сила? А чем занималась такая непостижимая субстанция, как совесть, долженствующая оберегать нас от совершения подлостей? Впрочем, с душой и совестью у совков тоже были серьезные проблемы...

Эту оду доносительству я сочинил, чтобы подчеркнуть важную, основополагающую роль доносов в совковой государственной системе, но в моем деле многочисленные и сплошь анонимные доносы серьезного значения не имели. Моя отставка не являлась результатом чьих-то персональных интриг, она была запрограммирована в том механизме отбора кадров, который определяет номенклатурные перемещения в этой стране. На должность Генерального директора вместо меня был назначен мой друг Артур Олегович Лановой, который, конечно, по всем показателям соответствовал требованиям того номенклатурного механизма. Именно от него я узнал об этом решении.

Артур приехал из командировки в Москву и прямо с вокзала заявился ко мне в кабинет. Он был чем-то взволнован, его руки нервно ползали по крышке стола, он испытывал какую-то неловкость, мялся и говорил что-то на отвлеченные темы, пока я прямо не спросил, что случилось. Тогда Артур рассказал, что в Москве его неожиданно вызвали к министру, который в присутствии своего заместителя Комира Николаевича с ходу предложил ему возглавить ПООП: «Как ты понимаешь, Игорь, я немедленно спросил про тебя... Они сказали, что ты был назначен временно исполняющим обязанности Генерального директора и теперь вернешься на должность зама по науке. Комир Николаевич еще добавил, что в министерстве ждали утверждения моей докторской... Что ты по этому поводу думаешь?» Я в тот момент ответил не сразу, мне было нелегко... Это не было шокирующей новостью, но задело, что я узнаю ее не от министерского руководства, а от своего бывшего подчиненного. Мы с Артуром никогда не конкурировали в науке, мы занимались разными проблемами, наши отношения всегда были дружескими, но теперь... Теперь – я понял это сразу же, понял, как говорят, всеми фибрами – непреодолимая пропасть разверзлась между нами, и она, эта пропасть, будет только расширяться. Все мои последующие действия и слова были следствием тако-

го понимания:

– Я думаю, Артур, что ты должен принять предложение министра – вполне разумное и обоснованное, на мой взгляд. Что касается меня, то я с готовностью передам тебе эту нелегкую ношу и вернусь к науке, которую порядком забросил.

– Спасибо за понимание, ты настоящий друг. Поверь мне, Игорь, я не имею ни малейшего отношения ко всему этому делу, не предпринимал никаких действий в данном направлении, и для меня вызов к министру был полной неожиданностью. Я говорил им, можешь проверить, что нет никого, кто лучше тебя понимал бы суть проблем, стоящих перед нашим предприятием, но они...

– Что они? У них есть претензии ко мне? Скажи честно, Артур, – это важно для нашей совместной работы.

– Скажу тебе честно: у меня сложилось впечатление, что всё это, во всяком случае, относительно тебя, не является самостоятельным решением министерства... Это навязано им сверху, не знаю откуда...

– И гадалки не надо – парторганами предопределено и навязано. Свобода воли у нас давно замещена указаниями свыше, как в христианской ортодоксии...

Мне, конечно, было бы любопытно последить всю процедуру собственного смещения с должности, но

Артур, похоже, действительно ничего не знал, и сюрреалистические разъяснения Ильи Яковлевича о вмешательстве высших партийных сил так и остались единственной зацепкой.

Артур тогда очень нервничал: как будто не меня, а его уволили. Тем не менее мы в общих чертах обсудили процедуру передачи власти и вопросы технической политики. Он сказал, что хочет видеть меня в качестве своего зама по науке, просит, чтобы я остался в этом кабинете. Я ответил, что подумаю, хотя уже тогда решил вернуться в лабораторию и никогда больше не влезать во власть – не мое это дело... Перед тем как мы распрощались, я сказал, что у меня к новому Генеральному директору две личные просьбы: не препятствовать продолжению работ по цифровой радиосистеме и поддержать Валерия в деле с ВАКом. Артур обещал и то, и другое, но я не поверил ни тому, ни другому – мне показалось, что он уже витает в каких-то заоблачных далях, из которых мои просьбы выглядят делами мелкими и второстепенными...

После того разговора с Артуром события моей жизни развивались стремительно...

В мае пришел приказ из министерства об освобождении меня «от обязанностей временно исполняющего обязанности» – буквально так и было сказано – и о назначении Артура Генеральным директором. Я

позвонил Комиру Николаевичу, сказал, что хочу вернуться в лабораторию и продолжить научную работу. Он вяло возражал: «Хотелось бы видеть вас, Игорь Алексеевич, в роли зама по науке...» Но я объяснил, что Артуру Олеговичу будет сложно работать со мной в качестве зама из-за моего несговорчивого характера. Я просил еще поддерживать и впредь работы по цифровой системе. Комир обещал... Мы с ним никогда больше не общались.

В июне я окончательно распрощался с начальственным кабинетом и возвратился за свой стол у окна в углу лаборатории. Мои старые настольная лампа и перекидной календарь всё еще стояли на нем. Календарь я убрал в шкаф – он напоминал мне времена, когда я выдавал настоящие научные результаты. Из своей роскошной начальственной жизни я не взял ничего за исключением Галины Александровны, которую оформил техником в свою лабораторию.

В июле я взял отпуск на полтора месяца, получил отпускные, передал сварливого сэра Томаса и деньги на его содержание добросердечным соседям, попрощался с Ароном и любимыми женщинами, слухавил, что, мол, еще не знаю, куда поеду, а сам упаковал вместе с вещами пару книг по творчеству Достоевского, московскую водку, армянский коньяк, ленинградские конфеты, купил билет на самолет до Мага-

дана и... улетел к Аделине.

Глава 14. Вальядолид

Тем временем посланный дель Кано гонец принес в вальядолидский замок весть о благополучном возвращении «Виктории». Император Карл только что вернулся из Германии – одно за другим переживает он два великих мгновения мировой истории. На сейме в Вормсе он воочию видел, как Лютер решительным ударом навеки разрушил духовное единство церкви; здесь он узнаёт, что одновременно другой человек перевернул представление о вселенной... Император в тот же день, 13 сентября, посылает дель Кано приказ... явиться ко двору... Всю славу, все почести, все милости пожинает именно тот, кто в решающую минуту пытался помешать Магеллану совершить его подвиг, недавний предатель Магеллана – Себастьян дель Кано... Император возводит его в рыцари и присваивает ему герб, увековечивающий дель Кано как свершителя бессмертного подвига... Но еще более чудовищным становится несправедливость, когда награды удостоивается и Эстебан Гомес – тот, кто дезертировал в самом Магеллановом проливе... Да, именно Эстебан Гомес, столь нагло отрицавший сделанное Магелланом открытие... Вся

слава, весь успех Магеллана волею злокозненной судьбы достаются именно тем, кто во время плавания всех ожесточеннее старался подорвать дело его жизни...

Но самое трагическое: подвиг, которому Магеллан принес в жертву всё и даже самого себя, видимо, совершен понапрасну... Западным путем, который он открыл, почти не пользуются; пролив, найденный им, не приносит ни доходов, ни выгод... Почти все испанские флотилии, пытавшиеся повторить дерзновенный подвиг морехода, терпят крушение в Магеллановом проливе; боязливо начинают обходить его моряки... А когда президент Вильсон в Вашингтоне нажатием электрической кнопки открывает шлюзы Панамского канала... Магелланов пролив становится и вовсе лишним... И поныне побережье Америки от Патагонии до Огненной Земли слывет одним из самых пустынных, самых бесплодных мест земного шара...

Но в истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя... И в этом смысле подвиг, совершённый Магелланом, превосходит все подвиги его времени. Подвиг Магеллана кажется нам особенно славным еще и потому, что он не принес в жертву

своей идее, подобно большинству вождей, тысячи и сотни тысяч жизней, а лишь свою собственную. Незабываемо... великолепное дерзновение пяти крохотных, ветхих кораблей, отправившихся на священную войну человечества против неведомого; забываем он сам, у кого впервые зародился отважнейший замысел кругосветного плавания... Ибо, узнав после тщетных тысячелетних исканий объем земного шара, человечество впервые уяснило себе меру своей мощи...

Полузабытое деяние Магеллана убедительней чего-либо другого доказывает в веках, что идея, если гений ее окрыляет, превосходит своей мощью все стихии... и претворяет в действительность... недостижимую, казалось бы, мечту сотен поколений.

Стефан Цвейг, «Магеллан»

* * *

В этой части своего правдивого рассказа я хочу наконец-то перестать морочить голову фантомами путешествий в виртуальном пространстве, а пойти, как говорят, навстречу пожеланиям читателей и описать реальное путешествие в далекий и совершенно недоступный туристам край под названием Колыма. Мо-

жет быть, мои старания не пройдут даром и кто-нибудь вместо того, чтобы толкаться на пляже южного курорта, захочет посетить этот край, бывший земным филиалом небесного ада на протяжении четверти века.

Помимо известных читателю обстоятельств и естественного чувства, названного классиком «нетерпением сердца», меня влекло на Колыму нереализованное по «техническим причинам» страстное желание совершить кругосветное путешествие. Конечно, подмена такового на комфортабельном лайнере поездкой на Колыму может быть воспринята как саркастическая насмешка над обществом развитого социализма. На это могу возразить «антисоветским злопыхателям», что расстояние от Ленинграда до Магадана столь огромно, что съездил туда и обратно – вот тебе и треть земного экватора. Из чего нетрудно уразуметь: с точки зрения расстояния три хождения на Колыму равны одному кругосветному путешествию. Так размышлял я теплой летней ночью по дороге в ленинградский аэропорт «Пулково», проявляя высшую степень толерантности к советской свободе, которая, как известно из классиков, есть «осознанная необходимость».

Когда от Аделины пришло письмо, я первым делом взглянул на обратный адрес и ужаснулся – Ма-

гаданская область. Мы тогда уже читали и Солженицына, и Шаламова; описанный ими кошмар колымских концлагерей еще не рассеялся во тьме неведения, накрывшей последующие жизнерадостные поколения. Я позвонил Иосифу Михайловичу и едва ли не потребовал немедленного свидания. Мы встретились на том же месте в Михайловском саду, где он сообщил мне об аресте Аделины, и я с ходу почти закричал: «Как вы могли допустить, что девушку отправили на Колыму?» Иосиф Михайлович, как всегда, был невозмутим, предложил мне присесть и успокоиться. Смысл его последующих разъяснений сводился к следующему. Отдаленность поселения от Ленинграда не имеет значения в данном случае. Значительно важнее два других фактора: бытовые условия поселения и перспектива скорейшего условно-досрочного освобождения. По условиям Колымы лучше, чем Архангельск или Коми. «Оставьте ваши представления о Колыме сталинских времен, почерпнутые из мемуаров бывших зэков. Там давно уже нет лагерей, все они ликвидированы лет двадцать назад», — убеждал он меня. Потом Иосиф Михайлович, не вдаваясь в непонятные мне детали, намекнул, что вызволить Аделину из Колымы ему будет легче, чем из любого другого места. Я поверил и понял, что меня ждет увлекательная поездка — Аделина очень просила приехать.

Поначалу собирався оформиць командировку на наш Камчатский полигон и по дороге заехать к ней в поселок где-то под Магаданом, но потом решил, что это перебор – под видом оплаченной государством командировки на секретный объект поехать к своей любимице, отбывающей наказание за антисоветскую деятельность.

В половину первого ночи реактивный самолет ТУ-154 – лучший, заметьте, пассажирский авиалайнер Советского Союза, следующий рейсом Ленинград-Петропавловск-Камчатский, круто оторвался от ленинградской земли и ушел в небо. Это самый протяженный внутрисоюзный маршрут – 13 часов полета, 13 часов густо спрессованного времени. Ни расстояния, ни масштабов этого громадного пути не чувствуется – всё «съедает» чудо самолета, летящего на высоте 10 км со скоростью 960 км в час. И только мысленно представляешь бесконечные просторы Сибири и Дальнего Востока, над которыми пролетаешь. Ведь еще несколько десятилетий назад сюда почти невозможно было добраться. Первые массовые поселенцы – советские политзэки-каторжане – поступали в район нынешнего Магадана в трюмах пароходов и барж через дальневосточные порты. Пассажирской авиации тогда не существовало, а наземного пути сюда не было. И сейчас здесь на тысячи километров ни одной

железной дороги – вечная мерзлота. Автомобилем до Магадана можно добраться по одной-единственной дороге, идущей из Якутска, – по легендарной Колымской трассе, построенной на костях каторжан в буквальном и переносном смысле. Я изъездил эту трассу, я пропитался этой трассой. Если идет дождь, то грязь – черно-серая, липкая – покрывает автомобиль сверху донизу. Если же сухо, то пыль – желто-серая, густая – сплошным непробиваемым облаком стелется над дорогой и всем, что слева и справа. Водители почти ничего не видят, фары помогают слабо.

Это, впрочем, из более позднего опыта, а пока я лечу в комфортабельном салоне авиалайнера, и обязательная стюардесса подает ужин: красную икру, салат, телятину, булочки, специи, кофе, пирожное – всё в изящной упаковке. Аэрофлот «стирает грани между городом и деревней», между партийно-государственной номенклатурой, которая все это ест повседневно, и простым советским человеком, давно забывшим, что подобное обслуживание существует в природе. Вероятно, причина такого «стирания граней» в том, что номенклатура достаточно высокого уровня вынуждена летать вместе с плебсом. Рядом со мной в самолете расположилась веселая компания – двенадцать интеллигентных мужчин среднего возраста. Симпатичные ребята, бородатые очкарики. Пооче-

редно потихоньку пьют из одной фляжки взятую с собой водку. Говорят, что едут рыбачить на Колыму, но по всему видно, что это легенда прикрытия. В Омске во время перекура знакомлюсь с ними поближе. Выясняется, что они – научные работники и преподаватели одного из ленинградских вузов. Едут в свой отпуск на заработки и относятся к той категории людей умственного труда, который возможен только в стране победившего социализма. Называют данную категорию трудяг шабашниками. Удивился бы я тогда, узнав, как вскоре переплетется моя судьба с этими ребятами при самых неожиданных обстоятельствах...

Из Ленинграда в Петропавловск-Камчатский самолет летит с тремя посадками: в Омске, Братске и Магадане. Сразу после Омска кормят еще раз и опять хорошо. В Братске уже вторая половина дня, отлично видны плотина Братской ГЭС и Братское море. А затем снова полет над бесконечной тайгой Якутии и Дальнего Востока – последние, длинные, утомительные часы... Наконец идем на посадку в Магадане, пробиваем сплошную облачность, снижаемся между низкими темно-серыми тучами и темно-серой мокрой землей в сплошном потоке дождя. Тупой удар о взлетно-посадочную полосу, резкое торможение, остановка... Самолет подруливает к невзрачному зданию аэропорта, подают трап, но никого не вы-

пускают. В салон четким шагом входит молоденький солдат с зелеными нашивками, идет вперед и, щелкнув каблуками сапог, разворачивается лицом к пассажирам: «Пограничная охрана Комитета государственной безопасности. Прошу приготовить документы».

Так я вступил на землю Магадана – столицы Колымского края, на землю, воспетую в каторжных песнях и проклятую тысячами политзаключенных. Я вступил на землю очень красивую и чудовищно изуродованную, блеск и нищета которой затянуты в единый неразрывный узел великолепным и отталкивающим, но одним-единственным общим словом – золото!

В Магадан я, собственно говоря, не попал – это закрытый пограничный город, и въезд в него разрешен только по спецпропускам. Что в этом городе секретного и граница с чем там проходит, я так и не понял ни тогда, ни позже – до «ближнего зарубежья», например, до Аляски или до Японии, здесь тысячи неприступных километров. Впрочем, ребята из шабашников разъяснили, что на частной машине или даже на рейсовом автобусе вполне можно съездить в город, если, конечно, повезет с пограничным контролем и тебя не арестуют за нарушение священной советской границы. Я собирался непременно побывать в Магадане, но отложил это мероприятие по трем причинам. Во-первых, я жутко устал от бессонного перелета –

не умею спать в самолете. Во-вторых, шел проливной дождь при температуре чуть выше нуля, поэтому теплое помещение аэровокзала показалось более привлекательным, чем сомнительная поездка в Магадан, при том что в гостиницу закрытого города наверняка без блата не устроишься. В-третьих, накануне из одного здешнего лагеря бежал опасный рецидивист, портрет которого непрерывно передавали по местному телевидению. Из-за этого по всей трассе до города стояли автоматчики и шла повальная проверка документов. Любопытно, что в киоске аэропорта я не смог купить карту Магаданской области. Распоряжением пограничной охраны КГБ продажа карт была временно запрещена на всей территории области; преступник, дескать, не должен иметь возможность воспользоваться картой – нелепое предположение, что беглец нуждается в картах. Все говорили, что его скоро непременно поймут, однако история эта имела самое неожиданное продолжение...

Аэропорт в Магадане стандартный, вполне приличный, есть скамейки, но не всем хватает. В буфете изобилие рыбы – палтус, треска, кета и прочее... Я пытался уснуть, сидя на скамейке, но у меня это не получилось. Купил билет на ближайший рейс до Сусумана – он отправлялся в девять утра. Утром упал туман, и рейс на Сусуман перенесли на два часа, а потом

еще на два. Наконец объявили посадку. Из Магадана в Сусуман летит старый винтовой АН-24, время полета полтора часа. Европейская цивилизация с аккуратными стюардессами и изящно упакованным завтраком осталась позади. В салоне устрашающий грохот моторов идребезжание всех частей машины. Несмотря на это, я уснул в жестком развинченном кресле еще до взлета и проснулся в момент посадки – сказались две бессонные ночи.

Аэропорт в Сусумане чисто символический – взлетно-посадочная полоса и какое-то деревянное строение. Под проливным дождем выгрузили багаж, и я тут же промок, получая его. К счастью, удалось быстро договориться с шофером крытого грузовика – он взялся отвезти меня в город и устроить на ночлег у себя дома. Из окна машины видны невзрачные строения, грязная дорога, унылый болотистый пейзаж. Наверное, утешаю я себя, в солнечную погоду всё это выглядит привлекательнее. Шофер Коля привез меня в свой домик с низкими потолками и поместил в небольшой комнате с вешалкой, столом и двумя стульями, металлической сетчатой кроватью, покрытой теплым одеялом, и... о счастье, с печкой – я промерз до костей. Натопили печку углем, сели за стол, я открыл бутылку «Московской водки» из Ленинграда. Так встретила меня колымская земля...

Сусуман – второй город в Магаданской области, огромном крае размером в две Франции при населении примерно 400 тысяч человек. По-якутски это слово означает «долина ветров». Не знаю, как относительно ветров, но здесь между горными цепями и отдельными вершинами, которые называют сопками, действительно лежит обширная равнина с многочисленными бурными, кристально чистыми и холодными речками, которые, сливаясь, образуют великую полярную реку Колыму. Климат в Сусуманской долине беспощадный. Зимой здесь редко бывает меньше, чем минус 30 по Цельсию, а случается, доходит и до минус 60! До всемирного полюса холода, находящегося в Якутии, отсюда около 150 км. Автомобили зимой заводятся только в теплом гараже и ездят с двойными стеклами – иначе всё замерзает мгновенно. Жуткий мороз сопровождается постоянным низким туманом, из-за которого ничего не видно. Зимой многие не работают – нет условий. Земля, скованная страшными тисками мороза, промерзает на большую глубину и превращается в ледяной бетон. Летом этот ледяной панцирь не успевает полностью растаять, и лед лежит под поверхностью земли постоянно. Это явление называется «вечной мерзлотой». Здесь ничего нельзя проложить неглубоко под землей – ни водопровод, ни кабель связи – всё разрывается вечной мерзлотой.

Летом верхний слой почвы оттаивает и превращается в топкое болото, из которого выползают миллиарды комаров, слепней и прочей кровососущей гадости, которая осатанело набрасывается на всё живое. Температура в течение трех летних месяцев довольно высокая, сопки и долины покрываются травой и редким мелколесьем. Но уже в октябре летняя жара сменяется заморозками и реки начинают замерзать.

И вот в этот страшный и малопригодный для жизни край, в этот уголок земного ада всемогущий властитель вселенной, словно в насмешку над человеком, сыпанул, дразнясь и играясь, то, что больше всего влечет созданные им алчные существа, – золото. Всемогущий зарыл его в сопках и по берегам холодных рек, он рассыпал его в долинах, смешал с речным песком, замаскировал под простые камни. Говорят, что золота здесь несметное множество – ходи, ищи и бери, если сумеешь добраться сюда, не погибнув в пути, если сможешь выдержать нечеловеческие условия колымской природы.

Если кто-то, однако, захочет сравнить историю освоения этих богатств с эпопеей Золотой лихорадки на берегах американской реки Клондайк, то найдет мало общего, ибо Клондайк и Колыма – «две большие разницы». Знакомые нам с детства по рассказам Джека Лондона суровые приключения американских

авантюристов, искателей золота, напоминают бабушкины сказки про недоброго серого волка по сравнению с лежащими за пределами человеческой психики смертельными испытаниями, которые пришлось на долю советских золотодобытчиков. Страшная и великая Колымская трагедия не нашла достойного описания в литературе отнюдь не потому, что среди колымских мучеников и жертв не было талантливых людей, подобных Джеку Лондону, а потому, что все они погибли. Со сведенными от голода, холода и болезней ртами сгинули безмолвно в колымской мерзлоте и писатели, и ученые, и неизвестно какие еще будущие таланты... Только один чудом выжил и рассказал, как это было, – Варлам Шаламов. Рассказал, как за несколько недель молодой здоровый человек превращался на Колымских приисках в изможденного доходягу, в смертельно больного дистрофика на пути в могилу на братском кладбище.

Первыми начали осваивать здешние золотоносные края тысячи каторжников-политзаключенных, которых привозили сюда в 1930-е годы на пароходах из южных дальневосточных портов и сгружали на пустынных берегах холодного и мрачного Охотского моря. По решению Политбюро ЦК ВКП(б) освоение края было поручено органам НКВД, которые создали гигантский лагерный промышленный комплекс «Даль-

строй». На месте будущего города Магадана НКВД основал Северо-восточный исправительно-трудовой лагерь, сокращенно «Севвослаг», или СВИТЛ.

Если бы великий Данте жил в наши времена и обладал фантазией советских вождей, то он поместил бы страшный последний круг ада именно сюда – в СВИТЛ. Как великий поэт смог предвидеть «свитловское» реальное воплощение страшнейших пыток последнего круга земного ада, остается творческой загадкой гения. Грешников этого круга поэт увидел впаянными по горло в вечный лед застывшего озера.

Зимой не скованы такими льдами
толстенными ни в Австрии Дунай,
ни Дон под хлада небесами,
как было здесь; и если б невзначай
скалы альпийские упали
на этот лед, не треснул бы и край.

О, да – такой вечной мерзлоты, как в СВИТЛе, нет нигде на земной поверхности, и именно в эту ледяную землю «впаял» советский режим тысячи тысяч отнюдь не грешников, а, напротив, по преимуществу безвинных порядочных людей, не похожих на возвращенных режимом совков. Страшна была открывшаяся пророку участь этих людей...

С дрожащими от холода губами
лицо пониже каждый наклонил
и горечь сердца выдавал глазами.
Я взглядом всех по кругу обводил;
заметил двух, друг к другу так прижатых,
что каждый волосы свои с другим слепил.

Рассказывают, что из первых тысяч заключенных, доставленных сюда поздней осенью 1932 года, колымскую зиму мало кто пережил – почти все умерли, но это не остановило «мужественных строителей социализма» из органов НКВД. Из тысяч завезенных сюда в следующем 1933 году выжило чуть больше, что крайне вдохновило чекистов на «новые трудовые свершения», и, начиная с 1934 года, планы партии по строительству Колымской магистрали и добыче золота неизменно выполнялись и перевыполнялись благодаря неубывающему потоку каторжников, навечно терявшемуся в вечной мерзлоте колымской земли.

Рассказывают легенды о том, как много здесь было золота в те далекие времена, так много, что для его добычи поначалу не требовалась никакая техника. Якобы зэк мог без всякого инструмента за день собрать по берегам Колымы консервную банку золота, за что ему полагалась дополнительная пайка хлеба. Сейчас золото добывают иначе, но и теперь весь этот край живет и работает ради золота. Всё производство,

все силы направлены на это, хотя многое, конечно, изменилось и место каторжников заняли вольнонаемные искатели заработков. Но неистребимый налет убогости и нищеты, как вечное клеймо, пробивается здесь повсюду сквозь блеск золота, благодаря которому всё это создано, а еще больше погублено.

В Сусумане я пробыл два дня. Выяснилось, что тот уголовник, который бежал из лагеря и которого столь интенсивно искали в Магадане, — местный сусуманский житель и до сих пор не пойман. Он отсидывал пожизненный срок за убийство мужа своей любовницы — якобы убил его, а затем вместе с любимой разрезал на мелкие части и т. д. без подробностей... Вот такие страсти кипят здесь при столь низких температурах. В страшном сне не мог я предвидеть тогда, что подобное может случиться в моем ближайшем окружении. В городе живет примерно 16 тысяч человек. В летнее время года здесь не нужно электрическое освещение — ночью на улице и в помещениях светло так, как не бывает даже в разгар белых ночей в Ленинграде. Отсутствие темноты подчеркивает убожество этого места. Во время моего пребывания здесь почти непрерывно шел дождь, вследствие чего было невообразимо грязно. Тот, кто знает только европейскую грязь, с трудом сможет представить себе грязь колымскую. Это сплошная черно-серая жижа, в которой ботинок

или сапог утопает по щиколотку. Такая же черная жижа покрывает все автомобили. В городе строят новые пятиэтажные дома, все на сваях, которые вбиваются в грунт под слой вечной мерзлоты. Дома как бы парят в воздухе, однако ощущения легкости не создается, по-видимому, из-за общего неопрятного фона. На всём лежит отпечаток временности, характерный для всего этого края. Лучшее впечатление производят местные продовольственные магазины. Ассортимент продуктов в них значительно богаче, чем в российской провинции. Мясо, в том числе импортное, например, австралийская баранина, продается совершенно свободно, без ограничений. Два раза в неделю продают колбасу, иногда бывают сыр и масло. Молоко есть почти всё время. Много рыбы, свободно продается треска, иногда завозят свежую кету. Хуже, конечно, с овощами и фруктами — они появляются эпизодически и стоят безумно дорого. Микроскопическая порция салата из свежей капусты или капустные щи оказываются дороже, чем солидный бифштекс.

Мой хозяин Коля продолжает опекать меня, конечно, не бесплатно. Узнав, что я собираюсь в Мяунджу, и критически осмотрев мою одежду и ленинградские ботиночки, он повел меня на местный склад экипировки золотодобытчиков. Там мы купили совершенно роскошное новое обмундирование: сапоги кирзовые,

сапоги резиновые, «элегантные» черные под цвет местной грязи штаны и куртку, «прекрасный» прорезиненный плащ синего цвета с поясом, а главное – предмет под названием «накомарник». Представьте себе широкополую шляпу черного цвета, к которой пришито нечто вроде плотной дамской вуалетки по всей окружности. Всё это сооружение одевается на голову, и сквозь черную вуаль просвечивает лицо и пробиваются борода и усы, у кого они есть. Вид отвратительный и устрашающий, но, как мне было разъяснено, от комаров предохраняет полностью. Впоследствии я, признаться, почти не пользовался накомарником – в основном из эстетических соображений, а кроме того, при высоких температурах через него трудно дышать. Я предпочитал намазываться всевозможными антикомариными эмульсиями – действуют они безотказно, но воняют...

Коля помог найти шофера, который согласился подбросить меня по Колымской трассе за 100 км от Сусумана в поселок с прелестным названием Мяунджа. И вот мы едем на выдавшем виды газике по Колымскому тракту. После проливных дождей тракт грязен, размыт, весь в лужах и рытвинах, но говорят, что это к лучшему – когда он сухой, то можно задохнуться от пыли. Колымский тракт – конечно же, уникальная дорога, – можно сказать, великий тракт, великий – я

не оговорился – по нескольким причинам. Во-первых, это единственная дорога, связывающая отдаленный Колымский край, как здесь говорят, с «материком». Во-вторых, наверное, ни по одному шоссе в мире не перевезено столько золота, как по этой грязной дороге. Ну, и главное – дорога построена политическими заключенными сталинского режима, она в определенной мере является вечным символом этого режима. Тысячи каторжан пробивали этот путь среди сопок и болот, долбили мерзлую землю кайлами, ломami и лопатами, рыли ямы под столбы для электрических и телефонных проводов, таскали тачками мерзлую землю и камни. Они умирали здесь от невыносимого холода зимой и от беспощадного гнуса жарким летом, умирали от голода и непосильного труда, от болезней, пуль и издевательств вохровцев. Здесь говорят, что Колымская трасса построена на костях политзаключенных, и это не фигура речи, а страшная истина. Это великое деяние тысяч невинно осужденных мучеников никогда не отметит «справедливая» история.

Тем временем мы огибаем невысокую сопку, и за поворотом открывается вид на Мяунджу. Волнительно и тревожно стало на душе – совсем скоро я увижу Аделину. Какой она стала, как мы встретимся? Со стороны Колымского тракта поселок выглядит живописно. На фоне фиолетовых сопok веером разбегают-

ся разноцветные дома: ярко-красные, голубые, желтые. Здесь объясняют, что яркая окраска домов нужна, чтобы находить их в кромешном тумане зимой. Красиво... но, когда подъезжаешь к поселку поближе, бросаются в глаза все язвы, типичные для этого края в целом – неухоженные улицы, грязные полуразвалившиеся строения непонятного назначения, сараи, свалки мусора – короче говоря, весь тот налет временности и рвачества, который характерен для всего Колымского края. Впрочем, в Мяундже убогость местной жизни проявляется, наверное, в меньшей степени.

Шофер довез меня до длинного одноэтажного барака, растянувшегося на сотню метров вдоль главной улицы поселка, – здесь согласно почтовому адресу живет Аделина. Водитель помог мне внести вещи в помещение и согласился подождать, пока я определюсь. Темноватый коридор со множеством дверей по бокам уходит вдаль, пустынно... Стучусь в первую попавшуюся дверь, выходит крупный парень в трусах, с полотенцем на шее. «Скажите, пожалуйста, в какой комнате живет Смиловицкая», – вежливо спрашиваю я. «А ты кто такой?» – отвечает он без пиетета. «Я ее родственник», – отвечаю максимально кратко и сдержанно. Парень оглядывает меня, потом шофера с ног до головы и, как бы убедившись в правильности

своих худших подозрений, с легким матерком через каждые два слова делает длинное заявление, краткий смысл которого сводится к тому, что «таких родственников здесь раком до Магадана не переставишь». Видя мою интеллигентскую растерянность, шофер вступает в разговор и отвечает парню на его языке, эмоционально, с неповторимым сочным матом вместо междометий. Очень приблизительно его ответ можно было бы перевести на русский следующим образом: слушай ты, пень засранный... кончай выеживаться... а то я тебя сейчас самого раком употреблю; человек, можно сказать, из самой Москвы приехал... устал с дороги... с тобой, деревенщина, вежливо разговаривает... а ты на простой вопрос резину натягиваешь... — и так далее. Похоже, парню речь шофера понравилась — сразу видно, свой человек, местный. «Тебя как зовут-то, москвич?» — сбавив тон, вполне миролюбиво спрашивает он. Я называю свое имя, он протягивает руку и представляется: «Паша я, шоферу здесь. Тоже, между прочим, из Калуги, сосед твой, москвич. Ты не обижайся, всякие тут ходят, Адюшей интересуются, кобелируют, мать их...» Мир восстановлен, и Паша толково объясняет, что Адюша сейчас на работе в ресторане, рассказывает, как ее найти, и даже любезно предлагает оставить вещи у него.

Ресторан Мяунджи находится в самом центре по-

селка напротив клуба-кинотеатра с мощной пошлой колоннадой коринфского ордера. Едва сдерживая свое нетерпение, я сел за ближайший ко входу столик в почти пустом зале и спросил подошедшую официантку, нельзя ли позвать Аделину Смиловицкую. Она оценивающе оглядела меня и молча ушла. Томительно тянутся мгновения... Аделина, в белом халате и поварском колпаке, вбежала стремительно... Я едва успел встать, как она бросилась мне на шею. Обнимая и целуя, захлебываясь радостью и слезами, жарко зашептала: «Милый мой, спасибо, что приехал. Я так ждала тебя... Всем сказала, что ко мне приезжает муж. Ты уж, пожалуйста, сыгрой роль ревнивого, строгого супруга. Потом всё объясню...» Роль супруга мне пришлось исполнить тут же без репетиции и вхождения в образ. Из помещения кухни начали выходить какие-то тетki и девицы в не совсем свежих халатах, а затем появился заведующий заведением, лысоватый субъект в старомодном двубортном пиджаке с вычурным пестрым галстуком. Аделина представляла мне всех по очереди, но я никого не запомнил из-за умственного напряжения, вызванного стремлением сохранять важность на лице своего персонажа. Меня она представляла всем и каждому в отдельности однообразно и солидно: «Мой муж – Игорь Алексеевич, кандидат наук». Представляла скороговоркой с уда-

рением на слове «муж» для убедительности. Заведующий долго тряс мою руку, говорил, как коллектив рад моему приезду. Он играл роль радушного хозяина совсем неубедительно, но тем не менее разрешил Аделине уйти с работы немедленно и еще взять два выходных дня «по такому случаю». «Приходите вечером отужинать у нас», – пригласил он напоследок.

Мы, конечно, никуда в тот вечер не пошли, а заперлись в комнате Аделины. Я открыл бутылку армянского коньяка, Аделина выставила приготовленный в ресторане холодный ужин. Потом пили чай с ленинградскими конфетами. Разговор шел мозаичный, сумбурный – как здесь и что у вас, что с тем и кто с этим, что есть и что будет... Аделина отрастила волосы, спадавшие теперь вдоль похудевшего лица, стала, на мой взгляд, еще красивее. Я сказал ей об этом... Она благодарно улыбнулась и рассказала, как тяжело было пережить первую колымскую зиму, работая уборщицей на электростанции, – ей часто приходилось ходить на работу пешком в лютый мороз.

– Степан Степаныч помог, взял меня на работу в ресторан, нарушил, можно сказать, режимные правила. Здесь начальство считает, что нам, ссыльным, легкую работу давать нежелательно, потому что воспитательный эффект ослабевает, – объяснила она.

– Хороший человек твой Степан Степаныч, – неуве-

ренно отреагировал я.

– Еще тот гусь лапчатый... Хотел, чтобы я спала с ним за это...

– Ну, и как?

– Невежа ты, Уваров... Ведь знаешь, что я не могу... Попадешь сюда за антисоветскую пропаганду, тогда сам узнаешь, как это всё происходит. Тут везде крутятся охотники до сладкого, сил нет отбиваться, но если позволишь, без лишних подробностей... Короче, пока твоя крепость устояла.

– Извини... но как крепость дальше оборонять? Может быть, набить ему морду? Я это запросто органирую...

– Ни в коем случае... не дразни гусей... Даже вида не показывай, что знаешь об этом. Он уже поутих, узнав, что муж ко мне приезжает. Здесь у начальства любопытный моральный кодекс. Незамужняя женщина, по их представлениям, не имеет права отказать им, а замужняя может, по крайней мере, возразить. Самое смешное, что их жены тоже придерживаются подобной философии.

– Жена Степана Степаныча поддерживает его притязания на тебя?

– Про жену ничего не знаю, но сам шеф исповедует местную начальственную философию в крайних ее проявлениях. Он даже теоретически не понимает, как

и почему незамужняя женщина может отказать ему, но зато советский брак воспринимает как священную корову. Он, на самом деле, не верил, что у меня есть муж, считал, что это мои отговорки. Кажется, и сейчас не очень-то верит – ведь в моих документах нет свидетельства о браке. Но твое появление, надеюсь, его успокоит. Потому и устроила этот спектакль. Ты уж извини, что я так цинично использую тебя...

– Аделина, скажи мне... Как далеко распространяются мои супружеские права и обязанности?

– Очень далеко, бесконечно...

Она прильнула ко мне и снова зашептала неровно: «Я так соскучилась... Не представляешь, как я ждала тебя. У меня голова кружится от нетерпения. Я не могу больше ждать, не могу больше...» В ту первую ночь в Маяндже я убедился в этом сполна...

Аделина живет в комнате на двоих; ее соседка – тоже ссыльная, немолодая медсестра из местного медпункта – деликатно переселилась на время моего приезда в другую комнату. Бытовые условия здесь сносные – я опасался, что будет намного хуже. Все удобства расположены в середине общего коридора – мужской и женский туалеты, умывальники с горячей и холодной водой, большая общая кухня, а главное – горячий душ, работающий круглосуточно. Население барака на треть состоит из осужденных на поселение,

остальные – временные жильцы из числа вольнонаемных, приехавших сюда на заработки. Здесь платят больше, чем на «материке» – за северный тяжелый климат, за отдаленность и... не знаю, за что еще, но значительно больше. Запомнилось безликое множество каких-то погрязших в борьбе за деньги мужчин и женщин. Народ этот в основном тихий, непьющий – хулиганство и воровство здесь большая редкость. У всех другие цели и сверхзадачи – заработать побольше денег и поскорее же уехать на «материк». Не всем, однако, это удается, некоторые погрязают в борьбе за деньги, запутываются в долгах, на многие годы застревают здесь, а то и становятся постоянными жителями. Короче, как у классика, – «люди гибнут за металл». В те дни на Колыме я вел дневник урывками, многое из памяти стерлось...

Запомнился, конечно, Паша, с которым мы познакомились так выразительно. Он приехал вместе с женой из Калуги, чтобы заработать на квартиру и машину на «материке». Паша потом возил нас с Адюшей, как он ее называл, по колымским дорогам и сопкам, и мы подружились. Он был виртуозным матерщинником, но главное – совершенно естественно, без грубости переходил за грань, как говорят, нормативной лексики и, по моим наблюдениям, даже не имел четких представлений об этой грани. Аделина восприни-

мала его речь с профессиональным интересом, с пониманием неполноты своего университетского филологического образования. Соседка Аделины по комнате с редким именем Изольда была почти что местная, из Якутска – тысяча километров здесь за расстояние не считается. Она была замкнутой молчаливой женщиной, о своей семье и себе почти ничего не рассказывала, что вполне устраивало Аделину, которая не переносила вынужденных разговоров с неблизкими ей людьми. Из редких обмолвок Изольды – проживание в одной комнате совсем уж без общения невозможно – Аделина поняла, что, работая медсестрой в якутской больнице, Изольда напутала что-то с лекарством. К несчастью, ее пациент оказался родственником какой-то местной шишки, и случай подвели под преступную халатность. Еще запомнились четыре девицы из Башкирии, приехавшие подзаработать и, если повезет, найти мужей, желательно из числа золотодобытчиков. Золотодобытчиков здесь, в Маяндже, кстати, нет – они живут отдельно от всех в своих временных поселках, что, вероятно, предотвращает махинации с золотом.

Мы с Аделиной вышли из барака на свет божий через сутки, и она наконец-то показала мне место своей ссылки. Маянджа – поселок городского типа при большой электростанции, которая называется Аркоголин-

ская ГРЭС. Это чудовище пожирает в сутки тысячу тонн угля, который возят сюда на гигантских 40-тонных самосвалах «Белаз». Благодаря близости к электростанции поселок обладает рядом преимуществ по сравнению с другими населенными пунктами Сусуманского района – одного из наиболее заселенных мест Колымы. Главное из этих преимуществ – неограниченное количество горячей воды в любое время года, а отсюда – тепло, возможность помыться и ряд других бытовых удобств. В поселке несколько улиц, застроенных, главным образом, двухэтажными домами. В центре, как я уже рассказывал, клуб-кинотеатр, ресторан и всевозможные административные здания поселковой власти. Всё это построено в свое время заключенными, а спроектировано теми, кто пытался подсластить грязь и вонь советского ГУЛАГа грекоподобной архитектурой, долженствующей отразить величие свершений народа под руководством партии. До середины 1950-х годов здесь был большой концлагерь. Теперь живут только вольные работники и ссыльные поселенцы. Во всей округе не осталось ни одного концлагеря, а последний переоборудован в лечебно-трудовое учреждение для алкоголиков со всей Магаданской области – их здесь лечат два года. В Мяундже, как и в Сусумане, строят безликие пятиэтажные дома на сваях. Для экономии все трубо-

проводы располагают над поверхностью земли – иначе из-за вечной мерзлоты нужно было бы зарывать их слишком глубоко. Трубы эти, обмотанные каким-то грязным теплосберегающим тряпьем в заплатках, уродуют и без того неприглядный окружающий пейзаж.

Вечером пошли поужинать в ресторан. Аделина была ослепительно хороша. Она надела свое ленинградское платье, а меня уговорила надеть белую рубашку с галстуком, позаимствованным у Паши, – внешний вид мужа должен был соответствовать его серьезному общественному положению, анонсированному женой. Мне же, на самом деле, нужно было договориться, чтобы Степан Степаныч отпустил Аделину в отпуск на неделю. Основную часть его небольшого кабинета при кухне занимал роскошный раскладной диван из дефицитного югославского мебельного гарнитура, на котором, судя по всему, избранницы шефа исполняли свои прямые «служебные обязанности». Наши переговоры шли на вполне дипломатическом уровне с выражением всевозможных знаков уважения к высокому положению договаривающихся сторон. Степан Степаныч поинтересовался, где я служу, и я ответил, что «служу начальником подразделения на одном из закрытых предприятий министерства общего машиностроения». Я сказал именно так намеренно потому, что каждый ответственный со-

ветский работник знал то, чего никто не должен был знать, – под этим нелепым названием скрывается совершенно секретное ракетостроительное ведомство. Судя по уважительному кивку, Степан Степаныч это знал.

Он затем начал деликатно намекать, что, мол, в документах Аделины ее «семейное положение не нашло достаточного отражения», но я прервал его и с пафосом провозгласил, что главное в нашей советской действительности – это реальное состояние дел, а не бюрократические бумажки, и что, мол, это всё можно будет со временем уладить. Похоже, он вполне удовлетворился моими разъяснениями, почему-то не обратив внимания на несоответствие секретной работы мужа со ссыльным статусом жены. Впрочем, наверное, сообщил о своих подозрениях кому надо. Но меня это мало волновало, и я перешел к делу, предварительно вручив Степану Степанычу коробку ленинградских конфет для его «уважаемой супруги». Я еще намекнул, что готов «компенсировать естественные убытки предприятия», но Степан Степаныч дал понять, что деньги его абсолютно не интересуют, то есть что у него их немерено, и что он «сидит здесь совсем не для этого». Я в этом месте беседы покосился на диван, показывая, что вполне понимаю, «зачем он здесь сидит». Дело продвигалось в правильном на-

правлении, было видно, что шеф готов на уступки. Для закрепления сделки я, подняв указательный палец вверх и кивнув на потолок, сказал, что если ему потребуется моя помощь, то он вполне может на нее рассчитывать и что Аделина в любой момент свяжет его со мной. Степан Степаныч после этого сказал, что, «конечно-конечно, по такому случаю пусть отдыхает» и что он «лично всё оформит как надо». Мы затем расшаркались и разошлись вполне удовлетворенные друг другом. В результате Аделина и я получили неделю свободы в пределах Сусуманского района, однако главное было в другом. Отныне шеф не только оставит ее в покое, но и будет защищать от притязаний других – в этом я был глубоко убежден. Я сказал Аделине: «Если теперь крепость падет, то исключительно вследствие предательства внутри самой крепости», а она в ответ еще раз обозвала меня невежей.

Банальное, но вечное: как мало человеку нужно для счастья! Как относительно условия, при которых наступает ощущение полного счастья! Я вспоминал, как мы с Аделиной мчались по Приморскому шоссе в Ленинграде в ту ночь нашего первого свидания, какое незабываемое чувство гармонии и радости бытия распирало меня тогда. И вот теперь мы трясемся по пыльному Колымскому тракту в кабине Пашиного грузовика, и я вижу – сейчас то же самое происходит с

Аделиной... И ничто не может убить в ней это чувство.

Дорога вьется по обширной долине вдоль берегов бурных каменистых рек, взбирается на невысокие перевалы и вновь сбегает вниз. Природа здесь не лишена красоты и даже величавости. Повсюду на горизонте невысокие горы, мягкая волнистая линия сопков разных размеров и цветов. Те, что поближе, – зеленые; те, что подальше, – фиолетовые. В пасмурную погоду это напоминает пейзажи Рокуэлла Кента. Если подняться на сопки по горной дороге, то они походят на предгорья Карпат, только растительность не такая обильная, как на юге, и очень много засохших деревьев, убитых мерзлотой. В солнечную погоду вокруг довольно яркие краски, зеленые луга и болота, поросшие неяркими северными цветами золотистого цвета.

Слева и справа от дороги прииски, поселки золотодобытчиков, стоянки старателей, производственные территории по добыче золота. Бригадой старателей называют здесь группу вольнонаемных золотоискателей, которые добывают золото любым доступным им способом, а затем сдают его государству. Найти золото вне такой бригады, подконтрольной начальству, весьма опасно, ибо за попытку утаивания золота наказание только одно – расстрел. Всё, что создано здесь человеком, выглядит неприглядно, резко контрастирует с чистотой природы. Поселки состо-

ят из убогих грязноватых покосившихся домов. Везде неубранные дворы, масса полуразвалившихся сараев, свалки, остатки досок, угля, ржавого железа... Спрашиваю у Паши: «Почему никто не заботится об элементарной чистоте и порядке в своем доме, дворе?» Он объясняет, что здесь никто не считает себя постоянным жителем. Поэтому на всём окружающем лежит отпечаток временности, непостоянства. Поразительно: золотодобытчики, люди небедные, живут в убогих домишках без «удобств», ходят по нужде на улицу.

Я заметил, что в этих краях нет стариков и почти нет пожилых людей – никто не намерен связывать свою жизнь с этими местами навсегда. Часто говорят, что без молодежи нет перспективы. Теперь я думаю, что земля без стариков тоже обречена на деградацию. Даже если в ней добывают золото. Как-то, не помню, по какому случаю, один классик разъяснил, кто имеет право на землю на этой планете. По его словам, земля, обогреваемая лучами Солнца, принадлежит не народам и государствам, а Богу, а Он сдает ее людям в аренду. И если некий народ не может поддерживать красоту и процветание земли, сданной ему Всевышним в аренду, то он не имеет божественного права на ее владение! Глубокий смысл и справедливость этого утверждения я осознал на берегах вели-

кой сибирской реки Колымы.

Павел работал шофером в каком-то тресте по обслуживанию Колымской трассы, развозил рабочих-ремонтников и стройматериалы, инструмент и оборудование, знал трассу как свои пять пальцев. В перерывах между служебными езками он всю неделю возил нас по этой дороге. Завозил на ближние сопки и в дикие, красивые места на берегах рек. Оставлял нас там и предупреждал: «Гуляйте... Через полтора часа приеду... Чтобы были на этом месте» – далее обычно следовал легкий матерок для закрепления информации в памяти и для придания предупреждению большей строгости. Я возил с собой в рюкзаке радиоприемник – знаменитую советскую «Спидолу», и мы могли во время прогулок слушать заграничные радиоголоса на коротких волнах, которые, отражаясь от ионосферы, проникали в эти сопки через тысячекилометровые дали. Увидев приемник, Паша сначала выругался ненормативно, а потом добавил почти нормативной лексикой: «Чтобы никто эту ху... ю не видел. Срок хотите намотать?» Я обещал, что никто не увидит... Прокрутив диск настройки через весь безмолвный диапазон ультракоротких волн, мы начали понимать, как далеко от современной цивилизации стоит этот край земли – только собственный шум извергал динамик приемника, словно шум

космоса на необитаемой планете. Ощущение необитаемости усиливалось безмолвием сине-зеленых сопок, странными неземными золотистыми цветами на болотцах, прозрачной холодной, какой-то неживой водой в речках. И только редкие плохо слышимые звуки человеческих голосов на коротких волнах успокаивали – нет, мы здесь, на планете Земля. Под вечер Паша отвозил нас в Мяунджу, где мы первым делом принимали душ, смывая дорожную пыль и антикомариную эмульсию, а затем отправлялись ужинать в ресторан. Посещение ресторана имело еще и воспитательное значение – местные «кавалеры» должны знать, что у Аделины есть постоянный мужчина, то ли муж, то ли жених, но постоянный, строгий, ревнивый сожитель.

Однажды, где-то к концу недельного отпуска Аделины, я поинтересовался, кого Паша развозит каждый день по трассе. Он сказал: «Шабашники из Ленинграда, веселая компания – всё песни поют, на два месяца подрядились столбы телефонные ставить по трассе, по 12 часов вкалывают... матерщинники непробойные...» В Пашиных устах это была весьма положительная характеристика, но я подумал, не та ли это компания, которая летела со мной в самолете. «Где ленинградцы живут?» – спросил я Пашу. Он ответил, что живут они в поселке Каменистый. Тогда я попросил Пашу узнать у ребят, не помнят ли они Игоря, ле-

тевшего с ними в Магадан одним рейсом. На следующий день он сказал: «Они тебя помнят, приглашают приехать в воскресенье отмечать День военно-морского флота». Попадание в яблочко – так мы с Аделиной оказались в Каменистом в компании ленинградских шабашников.

Празднование Дня Военно-морского флота проходило в большой комнате еще недостроенного общежития, тесно заставленной стоявшими почти вплотную железными кроватями, с огромным накрытым клеенкой столом посередине. Стол был обильно уставлен нехитрыми закусками из местной столовой – хлеб, масло, картошка со сметаной, блинчики с мясом и творогом, соленые огурцы, рыбные консервы... Гвоздем закусочной программы было горячее блюдо – макароны по-флотски. Сидевших за столом обносил с двумя бутылками водки в руках – по полстакана каждому – бородатый мужчина в очках, которого звали Моисеем. Прежде чем налить в очередной протянутый стакан он густым красивым басом осведомлялся, имеет ли данный «отдыхающий» – так шабашники называли себя – отношение к военно-морскому флоту. Все отвечали на этот вопрос положительно, изоцрясь в фантазиях по поводу своих морских приключений. В процессе обноса и употребления водки шел шутейный спор о том, кому наливать раньше, причем

все крепко ругали обносившего, который добродушно огрызался, но отдавал предпочтение тем, кто носил морские тельняшки. Было видно, что этот ритуал имеет у ребят давние корни.

Наше с Аделиной появление вызвало бурный восторг компании, и Моисей заявил, что «высокие гости» немедленно получают по полстакана, «хотя и не имеют к военно-морскому флоту никакого отношения». Аделина возразила: «Если бы вы, господа, знали, КАКОЕ отношение имеет Игорь к военно-морскому флоту, то, вероятно, отдали бы ему все свои стаканы», а я стал шутейно отнекиваться... Все одобрительно загалдели, а могучий, плечистый мужчина с огромной вьющейся шевелюрой по имени Виктор, которого все уважительно именовали Бугром, заключил: «Наши люди. Наливай, Моисей!»

Душой компании, очевидно, был бритый мужчина, которого все называли Вовой, – у него было крупное, по-мужски красивое лицо и добрые смеющиеся глаза. Задним числом вспоминаю: Володя был удивительно похож на впоследствии знаменитого актера Сергея Гармаша. «Запевай, Коля, нашу...» – сказал он красивому мужчине с густой светлой бородой. Коля взял гитару, и компания запела, как видно было, всем им хорошо знакомую песню:

Лишь женщине, лишь женщине подвластна
Любовь без крыши и любовь без дна.
Без женщины, без женщины напрасно
Стучит к нам осень и звонит весна!
Принцессы отдавались нищим,
Возжелали принцы падших дам.
Всех любви огромные глазища
Завлекали в свой священный храм
Бог ночей – лупатый филин, филин,
Филин видел много на веку:
Как в альковах плакали графини,
Золушки смеялись на лугу.
Последней пулей карабина
Женщина стреляла по любви.
Долго стон стоял над морем синим:
«Ты, Любовь, меня с собой возьми!»
Но в ответ лишь эхо, эхо, эхо,
Эхо поспешало по волнам.
А любовь, подстреленная, тихо,
Тихо черным лебедем плыла.
Лишь женщине, лишь женщине подвластна
Любовь без крыши и любовь без дна.
Без женщины, без женщины напрасно
Стучит к нам осень и звонит весна!

Я шепнул Аделине: «Мне нравится это – женщины подвластна любовь без крыши и любовь без дна». Она сказала: «Это верно, но банально». Я возразил: «Банально, но трагично – любовь без ограничений; не

знаешь, что ждать от этого...» Она продолжила свое: «Если ждать плохого, оно случится даже от любви».

Меж застольных разговоров и тостов пели и другие песни – мелодичные, лиричные, каждая со своим неожиданным смысловым оборотом. Я впервые слышал их и подивился, что это мне нравится. У Моисея был сильный красивый баритон, Володя и Коля пели хорошо, выразительно, а остальные «товарищи отдыхающие» подпевали, кто как мог. Я тихо сказал Аделине: «Какие красивые ребята, смотри – не влюбись в кого-нибудь». Она прошептала мне: «Ты всё равно красивее, хотя и невежа». Автором всех песен оказался Володя. Аделина раньше меня поняла это и затеяла с ним разговор о поэзии. Я же отвел в сторону Моисея и попросил его объяснить, кто есть кто. Сам Моисей был старшим инженером кафедры электродинамики, бригадир «отдыхающих».

Витя оказался доцентом кафедры экономики, гитарист Коля – начальником лаборатории метрологии, поэт-бард Володя – главным инженером института. Бригада шабашников включала значительный срез штатного состава советского высшего учебного заведения, от старшего инженера до начальника научно-исследовательской лаборатории и от ассистента до доцента кафедры. Примерно половина бригады имела ученую степень кандидата наук. Я был оше-

ломлен и сбит с толку этой картиной, мне была совершенно непонятна мотивация этих образованных профессионалов – зачем они проводят свой отпуск за тяжелой и грязной физической работой, да еще в таких бытовых условиях? Моисей на мой недоуменный вопрос ответил так: «Лично у меня нет другой возможности провести два месяца в году в компании такого интеллектуального уровня. Я здесь заряжаюсь на весь год, а в следующем году только и жду, когда мы соберемся снова...» Этот ответ показался мне неубедительным; пытаюсь найти более прагматичный ответ, я присел к Виктору. Он пояснил: «Как экономист, могу сказать только одно – деньги. Мы ездим на шашлыки, чтобы заработать». Я всё еще недоумевал: «Неужели игра стоит свеч – сколько здесь можно заработать?» Витя показал на высокого крупного мужчину, сидевшего напротив, и сказал: «Вот наш финансовый босс Михаил, спросите у него». Миша, как я уже знал, был старшим научным сотрудником; он ответил уклончиво: «Вступайте в бригаду, Игорь, и узнаете, сколько можно заработать. Ваша зарплата в почтовом ящике, думаю, рублей четыреста... Обещаем, здесь побольше получите». Володя с другого конца стола вдруг подключился к разговору: «Не верьте им, Игорь! Не верьте, что ради денег сюда приехали. Это всё прикрытие, нежелание раскрыть свой авантюрный ро-

мантизм... Просто-напросто сбежали от казенщины, от нудных собраний при начальстве, парткоме и прочая...» Все вдруг втянулись в эту тему, которая, вероятно, была для них важной.

— Ну, знаете, это уж чересчур насчет денег... Если бы хорошую зарплату платили, мне бы и на партсобрании не запахло было посидеть, и на пляже полежать...

— От одуряющего городского быта тоже нужно иногда отвлекаться...

— Отвлекаться — да, но не иначе как в хорошей компании...

— Уход от обыденного — это, конечно, мотив...

— Главное — песни попеть вдоволь...

— А я считаю, что кандидат наук хоть раз в жизни должен испытать себя в экстремальных условиях. Ломиком помахать вместо авторучки...

— Товарищ Сталин тоже так считал, поэтому и сигнал сюда интеллигентов ломami махать да тачки таскать... Заботился о «здоровом теле со здоровым духом», который, однако, здоровому телу надлежало тут испустить.

— А теперь интеллигенты сами сюда едут песни петь и выправлять экономику, угробленную пролетариатом... Романтизм гребаный...

Я вдруг принял неожиданное решение: «Знаете,

товарищи отдыхающие, мне нравится идея сменить авторучку на лом, проверить себя в экстремальных условиях. Я здесь получил приглашение присоединиться к вашей бригаде. Принимаю его, если компания не будет возражать... Но только на один день, у меня отпуск на исходе». Мое предложение было принято в целом одобрительно, но с массой саркастических комментариев на тему интеллигента с валидом в кармане, добровольно лезущего яму копать. В конце концов выделили мне на ночь койку, подобрали штаны и кирзовые сапоги («рубашка тебе не потребуется – сам поймешь почему») и согласились, что ко мне больше всего подойдет «временное погоняло – Профессор». Аделина пыталась возражать: «Ты бросаешь меня, это подло». Я сказал: «Тебе всё равно завтра нужно выйти на работу. А я разомнусь, повкалываю с ребятами, а вечером Паша привезет меня к тебе, в полное твое распоряжение...»

Пошел дождь, Моисей сказал: «Ну, вот – завтра хорошо будет грязи...» Аделину провожали до машины всей компанией, перепрыгивая лужи, с бодрой песней, под которую я обнял ее:

Не желаю быть святым,
Не желаю быть святым,
Пастор для души моей не нужен —
Лишь бы ты в осенний дым,

Лишь бы ты в осенний дым
Шлепала со мной по холодным лужам.
Я любовь молю:
Дай мне согрешить.
Если я люблю,
Мне святым не жить,
Мне святым не жить,
Проще сразу в ад...
Над землей кружит
Поздний листопад.
Ты последний лист
Моей осени, что сорвала жизнь,
Наземь бросила,
Наземь бросила
В печь осеннюю.
В моей осени
Ты последняя.
Не желаю быть святым,
Не желаю быть святым,
Пастор для души моей не нужен —
Лишь бы ты в осенний дым,
Лишь бы ты в осенний дым
Шлепала со мной по холодным лужам.

Я вообще плохо сплю на новом месте, но в ту ночь заснул скоро под добрый мужской храп. Пришел благостный спокойный сон... Завтра возвращаюсь к здоровому физическому труду моих предков, голова

словно очистилась от тревог умствования, лопату в руки и вперед – я проспал спокойно до семи утра, когда Моисей мощным голосом возвестил: «Подъем, товарищи отдыхающие!» Все неохотно поднимались после вчерашнего праздника, добродушно поругивая будившего. Я надел казенные штаны и сапоги, свою рубашку, рабочую куртку из синтетики, на голову натянул глубокую сатиновую кепку, в карманы засунул две пары брезентовых рукавиц, и в таком виде пошел вместе со всеми в столовую. Тема – «трудовое утро профессора» – доминировала по дороге... Завтрак был простой, но сытный – тарелка манной каши, творог со сметаной, белый хлеб, повидло, сладкий чай. Обсуждали, конечно, меня: «Профессору – два стакана чая... Не перегружайте Профессора – работать не сможет». Когда вышли из столовой, Паша уже подогнал свой крытый грузовик-фургон, в который все и погрузились. Внутри по бортам скамейки, в середине – ломы, лопаты, топоры, носилки для земли... Паша двигался вдоль Колымской трассы и по указанию Виктора, ехавшего с ним в кабине, останавливался время от времени и высаживал очередного «отдыхающего» у подлежащего ремонту столба. Дошла очередь и до меня, Витя и Миша помогли мне взять лом и две лопаты – штыковую и совковую. Затем Витя подробно разъяснил задачу и технологию, Миша

намазал мне спину вонючей антикомариной эмульсией – «Остальное намажешь сам, когда зверье прилетит». Потом они уехали, пообещав забрать меня на обед через пять часов. Витя крикнул мне уже из машины: «С ломом работай только в рукавицах, иначе сдерешь кожу...» Я оглядел пустынный окружающий пейзаж, оценил сполна прелесть одиночества и принялся за работу. Мне предстояло вырыть яму глубиной примерно полтора метра, а смысл этой работы был вот в чем...

Полвека тому назад заключенные построили здесь линию телефонной связи – врыли в землю деревянные столбы и повесили на них провода. Это было грандиозное деяние – колымские золотоносные прииски, концлагеря и Магадан получили связь с материком. За прошедшие бурные годы погибли или вымерли не только строители, но и обветшали, подгнили и покосились деревянные столбы. Для ремонта линии следовало каждый покосившийся столб откопать, выправить или поставить новый и снова закопать. Этим и занималась бригада научных работников и преподавателей из Ленинграда. Наиболее трудная операция – выкопать для столба яму глубиной полтора метра. Дело в том, что здесь на глубине 40-60 сантиметров расположен слой вечной мерзлоты – смесь смерзшейся глины и камней в сплошном слое льда.

Эту смесь можно разбить только тяжелым пудовым ломом длиной полтора метра. Выкопанный штыковой лопатой и выбитый ломом грунт затем нужно извлечь из ямы специальной совковой лопатой.

Ширина ямы должна быть такой, чтобы грунт можно было извлечь из глубины полтора метра. Вот, собственно, и всё...

Я поначалу стал трудиться весело – верхний слой легко поддавался копанию штыковой лопатой с острым клинообразным концом. Мне даже показалось, что я смогу в стахановском стиле перевыполнить план, но потом открылся слой вечной мерзлоты – штыковая лопата отскакивала от залеженелых камней, и пришлось взять в руки лом... Поднимаешь пудовую махину выше головы, а потом с силой опускаешь ее вниз – ух, и пара камней вместе со льдом откалываются от смерзшейся земли... Еще раз – ух, и еще кусочек отскакивает. Я ухал ломом добросовестно, пот катил по спине и груди, пот заливал лицо... Солнышко припекало, и комары, привлеченные острым запахом человеческого тела, начали пикировать на меня со всех сторон. Пришлось обмазаться целиком и полностью вонючей эмульсией – теперь они кружились вокруг, но пикировать и рвать тело перестали. Отдышавшись, я продолжил махать ломом, но перемены приходилось устраивать всё чаще – руки садни-

ло, ноги и поясница болели... К обеденному перерыву я едва сумел преодолеть слой вечной мерзлоты, глубина ямы оставалась пугающе малой. Когда приехала машина с ребятами, я на шатающихся и дрожащих от слабости ногах едва добрел до нее, и Паше пришлось помочь мне залезть в кузов... Я изображал на своем лице радость трудового энтузиазма, делал улыбку, и ребята деликатно приняли ее за подлинную. Машина тронулась, и они запели о пришельцах из космоса:

Пусть поведут на эшафот,
Камнями забросают,
Мы сердцем верим – UFO
К нам часто прилетают.
Они в ночи гвоздочками
Небесный купол крепят,
Серебряными точками
Нам светят, светят, светят.
Космоса каретой
UFO летит,
Скорость больше света —
UFO летит.
Через пыль созвездий
UFO летит.
С неизвестной целью
UFO летит!

И было столько вызывающего задора в мелодии

этой песни, столько детской наивной простоты в ее словах, что я как будто ожил и орал уже вместе со всеми, что неопознанный летающий объект летит к нам: «UFO летит!» Какая странная компания – высокого уровня зрелые профессионалы с невзрослым романтическим инфантилизмом... Словно и не с этой планеты, а с какого-то UFO... Я сказал об этом Мише, который казался наиболее прагматичным. Он отмахнулся: «Да брось ты... обрыдло всё, отдыхают ребята от городской жизни беспросветной, отрываются, развлекаются, деньги зарабатывают, чтобы долги раздать, – вот и весь UFO...» Приехали в столовую Каменистого, здесь обслуживают быстро, готовят вкусно. Вначале для разминки взяли по стакану густой сметаны с хлебом, затем – мясной борщ, бифштекс с гречневой кашей и омлетом из двух яиц, чай с печеньем и по две кружки компота. Отсутствием аппетита здесь никто не страдает. Всевозможные интеллигентские болезни вроде изжоги, гастрита и прочего тут излечиваются естественным образом – опустошенный тяжелой физической работой желудок переваривает всё безотказно. После обеда двадцатиминутный отдых на зеленой лужайке около столовой. Я лег на спину, вытянул ноги, расслабился, закрыл глаза, задремал – призрак недорытой ямы витал вокруг вместе с пудовым ломом и комарами. Когда приехал

Паша и деликатным матерком пригласил «трудящихся в кузов, мать вашу...», я с трудом заставил себя подняться. Остаток моего первого и последнего дня в роли шабашника прошел в отчаянной борьбе с ямой. Слой мерзлоты закончился и пошла твердая порода без льда – это облегчало углубление ямы, но вытаскивать грунт на поверхность становилось всё труднее. «Невозможно представить, – думал я, – как мог выдержать такую работу полуголодный заключенный в 40-градусную стужу зимой и в 30-градусную жару летом, человек, которого в грязном бараке не ждали ни горячий душ, ни обильная еда. Даже великий Данте не мог себе представить подобных адских мук. Умирали, конечно, все, кто не мог каким-то образом устроиться на более легкую работу». К приезду бригады я почти вырыл эту проклятую яму, но Витя решил перенести установку нового столба на завтра – не хотел подчеркивать, что я не справился с заданием. Вообще все старались приободрить меня, говорили, что для первого раза это «потрясающий успех молодого ученого», а Моисей обратил внимание на чрезвычайно ровные края вырытой ямы: «Сразу видно – профессорская работа!» Провожали меня всей компанией, уговаривали остаться на ужин, обещали сырники со сметаной, блинчики с мясом, глазунью, компот и неограниченное количество чая, но Паша сказал: «Давай по-

ехали, парень, какого хрена тебе здесь... Там Адюша тебя заждалась, пироги напекла». Я извинился, попросил спеть на прощание про UFO и под эти звуки уехал – с болью во всех мышцах, грязный, пропахший потом и антикомариной мазью.

Увидев меня, Аделина заметила: «Все ясно – советский интеллигент познал радость физического труда на свежем воздухе... Как ты себя чувствуешь?» Я еще мог шутить: «Один классик, посетив строительство Беломоро-Балтийского канала, на такой вопрос ответил – „Как живая лиса в меховом магазине“». Аделина отвела меня в душ, потом накормила, уложила в постель, поцеловала в лоб по-матерински и сказала: «Дурак ты всё-таки, Уваров... Лечиться надо... Спи, пока меховой магазин закрыт».

Последующие несколько дней до моего отъезда прошли тихо, по-семейному. Аделина уходила с утра на работу, а я занимался записями в своем дневнике, стараясь сохранить память о моем уникальном путешествии на Колыму с максимальными подробностями. Заходил в ресторан пообедать, демонстрировал свое постоянство при Аделине, а потом гулял по окрестностям, чтобы размять всё еще болевшие после ямы мышцы. Вечером встречал Аделину, и мы проводили остаток дня дома.

Обсуждали, конечно, историю со странной ком-

панией ленинградских интеллигентов-шабашников. Я до конца не понимал их мотивацию, равно как и мотивацию местного начальства, которое платит шабашникам много больше, чем местным пролетариям за ту же работу. Однодневное копанье ямы ничуть не приблизило меня к разгадке этого феномена развитого социализма. Аделина же, напротив, утверждала, что всё здесь предельно ясно:

«Пойми, они не могут заработать в институте даже на самое необходимое для себя и семьи. Прикинь, телевизор стоит примерно три месячные зарплаты квалифицированного инженера, приличный костюм – одну зарплату, заграничные дамские туфли – ползарплаты, а сходить в ресторан вдвоем – четверть зарплаты. Конечно, можно попытаться воровать, как это делают те, кто при власти, при дефицитных товарах или услугах, кто где-то каким-то образом прилатнен. Но это не их путь... Ребята нашли выход – они живут весь год не по средствам, в долг, а в отпуск уезжают на шабашку, чтобы расплатиться с долгами. Плюс, конечно, – оторваться от одуряющего быта и служебной казенщины, самоутвердиться в экстремальных условиях и прочая романтика...»

Я возражал, что тогда не понимаю, зачем местное начальство нанимает доцентов из Ленинграда для ко-

пания ям и каким образом оно умудряется платить им больше, чем местным. Аделина смеялась:

– Добавь еще – оно, местное начальство, оплачивает шабашникам проезд самолетом из Ленинграда до Магадана и обратно, а также все местные необходимые передвижения, плюс проживание в общежитии и питание – вот так ценится работа доцентов на свежем воздухе. Раскрою еще один секрет: при всём том шабашникам платят в несколько раз больше за проделанную работу, чем заплатили бы местному пролетариату.

– Откуда ты всё это знаешь?

– Володя рассказал...

– Ты всё-таки удивительная пройдоха, Аделина, – я провел с ними сутки и ничего не выведал, а ты за двадцать минут расколола неформального лидера... Дамский подход, ясное дело... Но, если уж ты всё разведала, объясни: почему начальство идет на такие расходы?

– Очень просто – у них нет другого выхода. Надо выполнять план, но местные не желают быть стахановцами за обычную зарплату, а если им один раз заплатить больше, то потом работать совсем не будут. Но здесь еще один тонкий момент... Для провинциального начальства привлекательна способность образованных и ответственных шабашников самостоя-

тельно организовать работу. Им не нужно всё разжевывать, всё подносить и доставать, да еще следить, чтобы не напились, пьяными не свалились в яму с переломами ног и рук, чтобы не сожгли по пьянке всю стройку, как в случае с обычным гегемоном.

Мы с Аделиной пытались вписать шабашническое движение в общую картину загнивающего развитого социализма. Я выдвинул гипотезу о том, что диссиденты и шабашники и есть те две силы, которые свалят в конце концов пребывающего в маразме Голиафа. Инакомыслие подрывает идеологию социализма, шабашничество, будучи внешне политически нейтральным, ярче всего другого раскрывает его экономическую неэффективность. Но тогда возникает вопрос: «Почему власти не предпринимают к шабашникам столь же жестких мер, как к диссидентам?» Я сказал Аделине: «Вот смотри, ты как представитель диссидентов отбываешь здесь срок, а шабашники тут же спокойно зарабатывают деньги, — не парадокс ли?» Она ответила: «Всё это временно. Дай срок — наши славные органы разберутся и с шабашниками». Насколько она была права, нам довелось узнать очень скоро...

Привезенные из Ленинграда два тома собрания сочинений Достоевского оказались как нельзя кстати. Аделина всё порывалась читать их, но отложила это

до моего отъезда.

– Спасибо за Достоевского, в этих двух томах его дневники за 1873 и 1876 годы. При советской власти опубликованы впервые, то есть через сто лет после последней дореволюционной публикации. Как ты это достал?

– По блату, конечно... Не представляешь, какие возможности у генерального директора – вызвал секретаря парткома и поручил достать полное собрание сочинений классика через горкомовский распределитель дефицита. Вот и все дела...

– А секретарь парткома поручил достать книги своей помощнице, которая, зная заказчика не только в роли генерального, отнеслась к заданию с особой страстью – не так ли, милый?

– Вместо того чтобы оттачивать на мне свое публицистическое мастерство, расскажи лучше, что нового ты собираешься написать о классике.

– Дневники Достоевского – самая запретная тема, их мало кто читал и почти никто в наши времена не исследовал. Вроде бы есть публикация работы какого-то русского иммигранта в Австралии на эту тему в ученых записках Мельбурнского университета, на Колыме вряд ли доступная... Хочу разобраться сама.

– Да, любопытно было бы посмотреть на лицо Степана Степаныча, если бы ты потребовала достать

тебе это издание для повышения образовательного уровня.

– Степан Степаныч не худший вариант. В столицах такую просьбу сочли бы за попытку антисоветской деятельности...

– Что же такого антисоветского классик понаписал в своих дневниках?

– Немало... Не ведал классик передовой марксистско-ленинской науки, реакционным почвенником был, за царя и православие ратовал, про революционеров нехорошо говорил. А еще – евреев недолюбливал и поляков тоже... Лорда Биконсфильда жидом обзывал. Кажется, Максим Горький назвал Достоевского больной совестью народа нашего – в этом что-то есть, хочу разобраться... Здесь нужен неожиданно свежий взгляд – не знаю, получится ли.

– Ну, про евреев это нашим нынешним вполне подошло бы, не так ли?

– И да, и нет... Всё это, в том числе про евреев, у классика как-то не с марксистских позиций излагается. Похоже, не удосужился классик почитать Карла Маркса, своего современника, – тот тоже не переваривал всё еврейское, хотя, правда, с марксистских позиций...

– Собираешься писать диссертацию на эту тему?

– Диссертации у нас положено писать про соцреа-

лизм Шолохова и других членов, пишущих «по указке сердца, которое принадлежит партии». Просто хочу протереть стекло...

— Какое стекло?

— Один критик говорил, что стекло жизни со временем запыляется, но писатель может протереть его и сделать прозрачным для всех людей. Может, конечно, и замарать то стекло окончательно — это я уже от себя...

Я уезжал рано утром, хотел побывать в Магадане до отлета поздним вечером в Ленинград. Аделина неожиданно расплакалась — это было так не похоже на нее. Она обнимала меня: «Приезжай еще, пожалуйста». Я пытался ее успокоить, сказал, что не сомневаюсь в возможностях Иосифа Михайловича, что он несомненно добьется ее досрочного освобождения еще до зимы. Она, беззащитная, прижималась ко мне, не отпускала: «Всё равно приезжай еще, пожалуйста». Прощание получилось нежным, печальным и тягостным, как всегда в таких случаях, — один уезжает на волю, другой остается в ссылке, и никто не знает, встретятся ли они еще... Это прощание запомнилось надолго и, наверное, многое предопределило в нашем будущем, светлой добротой засветилось, прежде чем черное зло обрушило всё в тот страшный день...

Магадан оказался вполне современным городом на океанском берегу в обрамлении красивых сопок на горизонте, с магазинами, приличной гостиницей, парой ресторанов и даже с троллейбусами на улицах. Зримых признаков земного ада я не обнаружил, ничто здесь внешне не напоминало о бывшей столице Гулага – ад, по-видимому, переместился в другие края. В центре города стояли дома в ампирном стиле позднесталинского неоклассицизма, построенные в 1950-е годы по проектам ленинградских архитекторов, на окраинах – обычные пятиэтажные хрущевки. Я спустился к бухте Нагаева, в которую когда-то приходил первый транспорт с заключенными. Бухта является частью огромного Охотского моря, которое простирается до Камчатки и северных Японских островов. Я впервые стоял на побережье Тихого океана, в его отдаленном глухом углу. Солнце, которое в это время года, как и в Ленинграде, заходит здесь лишь на несколько часов в сутки, скрылось за свинцовыми тучами. Таким же свинцово-серым было всё видимое пространство сурового Охотского моря с уходящими вдаль пустынными берегами Нагаевской бухты. Картина в целом была довольно мрачной. Мне стало тревожно и неуютно.

До отхода автобуса в аэропорт было еще два с лишним часа, я пошел на центральную почту и заказал

разговор с Ленинградом – там было раннее утро, но Арон наверняка уже встал. «Ждите в течение часа», – сказала телефонистка. От нечего делать подошел к окошку «До востребования», на всякий случай показал паспорт и в ответ совершенно неожиданно получил телеграмму от Алисы. Как она сумела вычислить, что я зайду на почту в Магадане, осталось такой же загадкой, как и сама эта женщина. Алиса писала: «Есть возможность провести пару недель комфортабельном бунгало на берегу Волги в Плесе. Встречаемся Горьком или Ярославле, дальше вместе паромом. Сообщите время и место. Целую, твоя Алиса». Я подумал: «А почему бы и нет?» Мне давно хотелось побывать в Плесе, посмотреть оригиналы леви-тановских пейзажей, если они, конечно, сохранились. Алиса обеспечит обслуживание во всех смыслах этого слова по высшему разряду. Сейчас же в аэропорту узнаю, как добраться до Горького или Ярославля, переоформлю билет и дам ей телеграмму до востребования в Саратов. Шальное, грешное течение моих мыслей было прервано громким объявлением, поставившим жирный черный крест и на моих планах, и на всей моей прежней жизни: «Ленинград, шестая кабина».

Слышимость была плохой, и я долго, по возможности громче, спрашивал: «Арон, ты слышишь меня?»

Наконец он ответил:

– Игорь, это ты? Наконец-то ты появился, мы не знали, где искать тебя.

– Извини, Арон, здесь со связью большие проблемы, да и беспокоить вас с Наташей своими заботами не хотелось, но я...

– Игорь, немедленно возвращайся, у нас здесь... у нас несчастье, большое несчастье... Это касается... Это напрямую касается тебя...

Арон говорил каким-то непривычно жестким голосом, требовательно и даже угрожающе. Жуткие картины возможных несчастий возникли перед глазами. Я с трудом выдавил из себя: «Что случилось?» Арон молчал, и я в ужасе произнес еще только одно имя: «Катя?» Арон наконец ответил: «Екатерина Васильевна погибла...» В трубке зашумело, и я что-то кричал, пытаясь пробиться сквозь шум, надеясь, что ослышался: «Арон, Арон, ты слышишь меня, что случилось?» Связь внезапно восстановилась, и Арон четко сказал: «Приезжай поскорее, я не хочу говорить об этом по телефону». Я почти заорал на него: «Нет, я должен знать это сейчас же...» Наконец он ответил почти спокойно, как уже давно переживший всё это: «Никто ничего толком не знает, Игорь. Всеволод Георгиевич пришел к нам на проходную, был сильно нетрезв, требовал позвать тебя... Екатерина Васильевна вышла и

увезла его домой. Что там случилось – неизвестно... На следующее утро нашли три трупа...» Я выдавил из себя только одно имя: «Витя?» Арон ответил: «Нет, Витя в порядке, он сейчас у нас, Наташа оформляет опеку, потому что у мальчика не осталось родственников...» Я хотел еще что-то спросить, но Арон положил трубку.

В автобусе до аэропорта я еще не до конца осознал весь ужас случившегося и меру своей ответственности за этот ужас. По-настоящему плохо мне стало в самолете – голова кружилась, поташнивало... Из-за меня, по моей вине убита женщина... Единственная на всем свете женщина, бескорыстно и самоотверженно любившая меня... Другие женщины любили самих себя около меня, а она любила меня вопреки всему... Она вышла к убийце, чтобы прикрыть меня, чтобы замкнуть зло на себя... Мне было душно, не хватало воздуха... Когда самолет набрал высоту и решили отвязать ремни, я поднялся и, преодолевая слабость, направился было в туалет, чтобы обмыть горевшее лицо и вспотевшую шею холодной водой. Меня качнуло, я неловко схватился за спинку какого-то кресла, сорвался и рухнул в проходе. Прибежали две стюардессы, меня усадили на место, дали попить холодной воды, положили на лоб салфетку со льдом, кто-то поделился валидолом, немного полег-

чало. По радио командир корабля объявил, что требуется срочная медицинская помощь. Врач нашелся – по счастью им оказался ленинградец, работавший в кардиоцентре на проспекте Пархоменко. Он проверил мой пульс, послушал сердце, попросил оскалить зубы, пожать ему руку, дотронуться указательным пальцем до кончика носа, спросил, нет ли боли за грудиной, в плече и под лопаткой, дал две таблетки ношпы, потом сказал: «У вас, судя по всему, подскок артериального давления на почве нервного стресса, пульс напряженный и повышенный. Признаков инфаркта или инсульта я не вижу, но, если хотите, мы вызовем скорую при посадке в Братске и положим вас на обследование в местную больницу». Я умолил доктора не делать этого и довезти меня до Ленинграда: «Там, если не станет лучше, можете отправить меня в ваш кардиоцентр. У меня там знакомый доктор – профессор Щерба».

Так закончилось мое полукругосветное путешествие на Колыму: прямо из Магадана, не вставая с кресла и носилок, я попал на больничную койку в Ленинграде.

Глава 15. Лиссабон

В Лиссабоне на набережной реки Тежу у ее впадения в Атлантический океан стоит Monumento dos Descobrimentos, Памятник Первооткрывателям – огромный, 50-метровой высоты, корпус каравеллы из белого известняка, устремленный в неведомые океанские дали. Это вечный символ тех жалких с точки зрения современного человека парусников, которые полтысячелетия тому назад совершили великие подвиги – открыли человеку, замкнутому в скудном европейском пространстве, огромный мир планеты Земля, проплыли вокруг Земли по всем ее океанам и доказали, что наша планета есть гигантский шар, вращающийся вокруг своей оси и вокруг Солнца. С берегов Тежу и Гвадалквивира португальские и испанские мореплаватели проложили путь вокруг Африки, в Индию, Китай и к Островам Пряностей, открыли Новый Свет и Тихий океан... Земля неожиданно оказалась невообразимо огромной и богатой, и европейцы с восторгом и мистическим ужасом осознали, наконец, и масштабы окружающих материков и океанов, и свое место в бесконечной Вселенной.

На носу белоснежной каравеллы стоит

с макетом океанского парусника и картой в руках португальский принц Генрих Мореплаватель, открывший на мысе Сагриш школу мореплавания и повелевший кормчим выйти, в открытый океан, которому не видно ни конца, ни края, узнать, как велика эта планета и как добраться по морю в ее далекие, неведомые края. За принцем по обоим бортам каравеллы словно в строю друг за другом стоят 30 великих первооткрывателей, героев-мореплавателей и авантюристов-завоевателей, открывших столько земель и морей, сколько не открыли все вместе взятые путешественники ни до, ни после них. Среди 30 прославленных героев прошлого самый великий мореплаватель всех времен – адмирал Фернандо Магеллан.

И великий адмирал, и многие другие герои-первооткрыватели не были по достоинству оценены современниками, а их заслуги подчас присваивались ничтожными эпигонами, и только по прошествии столетий до людей дошло, кто есть кто и кому они обязаны своими бесценными знаниями о мире – так появился этот *Monumento dos Descobrimentos*. С его 50-метровой вершины открывается вид на устье реки Тежа и на Атлантический океан – здесь взгляд невольно устремляется в далекое прошлое, а мысль – в неведомое будущее...

С этой вершины поразительно видится феномен человеческого неведения – люди не в состоянии оценить великие события, свидетелями которых являются, равно как и выдающихся людей, с которыми им посчастливилось пересечься на один миг в бездонном колодеце времени. И только их дальние потомки по прошествии многих лет или даже веков осознают значение и величие тех нецененных современниками событий и личностей прошлого. Хрестоматийный пример – первое кругосветное путешествие Магеллана. Современники этого безусловно величайшего достижения XVI века едва ли не прошли мимо него. Потом, через столетия, многие города мира стали соревноваться за лучший памятник адмиралу. Простим современников Магеллана – у них не было интернета и даже, кажется, газет. Печально, однако, что в XXI веке этот феномен тупого неведения повторяется в полную меру, но это, как говорят, совсем другая история...

* * *

Скала Ифигения возвышается над морем в самой южной точке Крыма, ровно посередине между Форосом и Симеизом. По легенде здесь находился древне-

греческий храм, в котором служила Ифигения – дочь героя Троянской войны Агамемнона и его жены Клитемнестры, героиня трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде», написанной за пять веков до Рождества Христова. В этом месте, у Ифигении, находится эпицентр крымских субтропиков, ограждаемых от северных степей мощной грядой Крымских гор. Мы с Катей любим отдыхать здесь, и вот опять сняли комнатку высоко-высоко над берегом в местной деревушке, когда-то принадлежавшей крымским татарам. Скала Ифигения отвесно спускается к морю, не оставляя места для берегового пляжа, но слева от скалы, если смотреть в сторону моря, есть доступный туристам довольно крутой спуск к воде и небольшой пляж, где среди валунов толпятся немногие «дикие» отдыхающие. Дикие в том смысле, что не приписаны ни к какому санаторию или дому отдыха, а приехали сюда на свой страх и риск. Справа от скалы спуск к морю затруднителен, и там редко кто бывает, хотя пляж справа лучше и больше, чем слева. Мы, конечно, предпочитаем пустынный пляж справа от Ифигении – там безлюдно, мягкий белый песочек, а еще – пара уединенных, тихих и прохладных пещер со спуском прямо к воде. Чтобы попасть на наш пляж, нужно обогнуть Ифигению по морю, не боясь проплыть мимо отвесных скал, о которые в любую погоду тревожно бьются

морские волны, — это мало кому доступно из местных отдыхающих, а нам с Катей вполне...

Мы плывем вдоль Ифигении с ластами на ногах, отдыхаем пару раз, лежа на спине, снова плывем неспешно. Я пытаюсь обнять в воде и прижать к себе ее обнаженное тело, она отталкивает меня шутейно: «Подожди, не торопись, не то утонем вместе...» Катя плавает лучше меня, первой достигает пустынного берега, быстро сбрасывает ласты, шапочку и... купальник, раскидывает волосы по плечам и смотрит, как я, запыхавшись, выползаю из воды. Я сажусь отдышаться на песок и любуюсь ею под лучами солнца... Оно пытается сгладить контраст соблазнительных белых-белых полосок, скрывавшихся под купальником, на фоне загорелого тела, но я не позволяю ему сделать это, снимаю ласты, поднимаюсь и иду к ней. Она убегает от меня в тень пещеры прямо по воде, оставляя за собой фонтанчик брызг и сверкая пятнами белизны, — это у нас такая любовная игра... В пещере темновато, и после яркого солнечного света я почти ничего не вижу и не могу найти Катю. Окликаю ее негромко и весело в предвкушении соленых и прохладных от морской воды объятий... Катя не отвечает... Тогда зову ее громко и даже тревожно, ощупываю стены пещеры, пытаюсь найти, где она спряталась. Кати нет... Ужас безысходности охватывает ме-

ня, я истошно кричу, пытаюсь криком заглушить этот ужас. Чувствую, как трудно выдавливать крик, похожий на стон, размахиваю руками и бьюсь головой об острые углы пещеры, но внезапно Катя твердо берет меня за руку... и я просыпаюсь...

В больнице перед сном мне дали сильнодействующие успокаивающие средства, и я с трудом врубаюсь в действительность после тягостного сновидения. Различаю наконец, что рядом с моей больничной койкой сидит Наташа. Она держит мою руку в своих руках...

— Успокойся, Игорь, ты так страшно кричал, метался... Успокойся...

— Мне приснилась Катя... Как ты нашла меня?

— Тебя привезли в клинику прямо из аэропорта, ты сам дал наш с Ароном домашний телефон.

— Что там было на квартире у Кати? Как это всё произошло?

— Не сейчас, Игорь, не сейчас... Врач просил ни в коем случае не волновать тебя. Через пару дней выписываешься и едешь к нам. Пока поживешь у нас, там и поговорим обо всём.

— Я не могу, у меня бездомный Томас...

— Твой Томас уже у нас, они с Витей дружат.

— Спасибо, Наташенька, и за Витю, и за Томаса.

— Скажешь спасибо Арону, он первым догадался,

что Вите нужен кто-то живой, но не взрослый человек, а такое же беззащитное существо, как он...

– Витя видел всё то...?

– К счастью, нет. Ты только успокойся... Он был на детском празднике, его привела бабушка. Когда она не пришла за ним, они позвонили домой, телефон не отвечал... Ну а дальше милиция, следователи... Дело наглухо засекретили сразу же... Мы с Ароном нашли Витю на следующий день в детском спецприемнике. Он был очень испуган, плакал всё время... Сейчас потихоньку приходит в норму, но скучает, конечно... Аля и Даня стараются отвлекать его...

– Какие-нибудь Витины родственники объявились?

– Я наводила справки – похоже, у него нет родственников, которые пожелали бы взять его. Мы с Ароном уже решили: возьмем Витю к себе... Я оформляю документы на опеку, там самое сложное – доказать, что нет прямых родственников. Ты поможешь в этом?

В Наташином вопросе я почувствовал непростой вызов и подумал, что наступил еще один из немногих моментов истины в моей жизни. Опять пришли слабость и тяжесть в голове, поташнивало... Но я не могу больше молчать... Глупо в данной ситуации скрывать от Наташи и Арона простую правду. После смерти моих родителей они стали самыми близкими мне

людьми. Тайну Вити знали два человека, теперь ее знаю только я, и это тайное, увы, уже никому не может повредить. Преодолевая слабость, я потянулся к Наташе, взял и вяло сжал ее руку: «Я так благодарен тебе и Арону... но оставь это ненужное занятие с опекуном. Дело в том... дело в том, что Витя мой сын...» Наташа побледнела, долго молчала, это было тягостно: «Ты, Наташа, единственный человек, который теперь знает правду... единственный... после смерти Кати...» Она наконец сказала: «Я сама догадалась, когда увидела Витю, но хотела, чтобы ты об этом сказал. У Всеволода Георгиевича не могло быть детей – это витало в воздухе».

Снова накатило отчаяние, как тогда в самолете по пути из Магадана, отголоски того ужаса, который, по-видимому, пережила в свои последние минуты Катя. Какой-то истерический припадок, о котором стыдно вспоминать... Приподнялся на подушках, стал надрывно говорить Наташе, сжимая ее руку: «Во всём виноват я, это из-за меня... Сева не ладил с тещей, а она была невоздержанной на слова... Уверен: всё случилось, когда она в сердцах, чтобы уязвить, сказала ему, что Витя не его сын... Он и без того был на взводе, постоянно переживал свою мужскую несостоятельность, а тут еще такое оскорбление, сорвался... Не успел я спасти Катю, не успел увести вместе с сы-

ном... Нарцисс струсивший...» Наташа утешала меня как могла, говорила какие-то отвлекающие слова, затем позвала медсестру и попросила дать мне что-нибудь успокоительное...

Врачи потом сбили мне давление, поставили на ноги... Приходил профессор Щерба, поговорил со мной, посмотрел в глаза и поставил диагноз без анализов и аппаратуры: «Ты, Игорь Алексеевич, не психуй... Здоровый мужик в расцвете, можно сказать, сил и средств...» После слова «средств» он посмотрел на стоявшую рядом хорошенькую медсестру, обнял ее рукой пониже спины и добавил: «Хочешь, Верочка принесет нам с тобой по сто граммов неразбавленного?» А потом назначил лекарство и велел выпить меня на следующий день... Совершенно неожиданно за мной приехал Артур... Я-то считал, что мы разошлись окончательно, а он вот так – взял и приехал без излишних церемоний. Потом Артур отвез меня на квартиру Арона на своем начальственном лимузине, пожелал скорейшего выздоровления, сказал, что ждет меня для серьезного разговора. Он ни словом не упомянул о Кате, сказал только, что Илья Яковлевич уходит на пенсию, намекнул о связи этого события с «известными трагическими обстоятельствами». По его словам, предприятие сейчас под пристальным вниманием партийных органов, ожидаю-

ся большие перемены, а освобожденным секретарем парткома вместо Ильи Яковлевича, вероятно, будет прислан выученик нашего старого знакомого Игнатия Спиридоновича – ныне лучший в городе знаток классиков марксизма-ленинизма. «Короче, нас ждут сложные времена», – закончил Артур, прощаясь.

Встреча с сыном была нелегкой, она определила надолго мою жизнь. Мы видели друг друга впервые, а он даже не знал о моем существовании. Мальчик показался мне неожиданно маленьким и худеньким. И еще – очень потеряннным... Наташа представила меня: «Вот, Витя, – это дядя Игорь. Он хозяин Томаса, и теперь вы все втроем будете жить здесь... будете жить вместе». Витя молчал, а Томас обошел вокруг меня, не прикоснувшись, развернулся и сел рядом с Витей, показывая, на чьей он стороне. Томас пока был единственной зацепкой, позволявшей хоть как-то объяснить Вите мое участие в его жизни. Я присел рядом с ними, начал рассказывать Вите о Томасе, когда тот был маленьким. Погладил Томаса, протянул руку сыну: «Ну, давай будем дружить». Он смотрел на меня недоверчиво, отчужденно... а потом вдруг спросил: «Т-т-томас был вот т-т-такой?» – и показал свою маленькую ладошку. Волна жалости и нежности накатила на меня, а в горле застрял комок – мальчик сильно заикался. Я не выдержал и обнял его – жизнь,

приведшая меня на край обрыва, приобретала новый смысл...

Потом, когда Наташа и Аля, которую Витя слушался больше всех, уложили его спать, за столом мы вернулись к этой теме. Наташа считала, что заикание вызвано стрессом, который пережил ребенок: «Это лечится, но сначала он должен успокоиться и принять новую жизнь, это потребует времени и твоего, Игорь, участия... Не торопись входить в роль отца, побудь пока дядей Игорем. Витя привыкнет к тебе, полюбит, и тогда ты ему расскажешь всё... Может быть, это займет несколько лет...» Аля училась на факультете коррекционной педагогики и очень помогла мне в то трудное время; она сказала: «Его сейчас ни в коем случае нельзя нагружать травмирующей информацией. Он часто спрашивает, где мама... Это самое трудное и важное сейчас – как можно дольше скрывать правду, отвлекать, ждать, пока ребенок привыкнет к отсутствию мамы. Мы сказали, что маму и папу срочно забрали в армию, а бабушка поехала им помогать... Ничего умнее пока не придумали... Нужно подольше ограждать его от утерянного прошлого...» Не говорить с Витей о прошлом, не упоминать ничего, что вызвало бы это прошлое в его памяти, – это стало для меня нелегким, но обязательным правилом.

Тем вечером я наконец решился спросить Арона,

что же произошло на квартире у Кати. Он сказал, что на самом деле ничего толком не известно: «Ты же читал в Первом отделе список запретных тем и знаешь, что у нас информация об особо тяжких преступлениях запрещена к публикации и не подлежит разглашению». Я понимал, что Арон намеренно темнит, и настаивал – что-то должно было просочиться. Он, в конце концов, рассказал об известном ему: «В квартире был какой-то скандал, соседи слышали... Говорят, что Всеволод Георгиевич, вероятно, в состоянии аффекта, ударил топором тещу, а Екатерина Васильевна, по-видимому, подвернулась ему под руку случайно, когда пыталась защитить мать. Когда он протрезвел, пришел в себя и понял, что натворил, то взял и повесился. Поверь, я не знаю ничего больше...» Я сказал, что эта версия вполне вписывается в ту психологическую картину, которая известна мне, снова завел разговор о своей вине, но Арон прервал меня: «Всё, Игорь... Я ставлю здесь точку и прошу тебя закрыть тему. Ничего изменить нельзя, но можно спасти твоего сына – это лучшее, что ты можешь еще сделать в своей жизни вне зависимости от моральных оценок прошлого».

Я молчал, и Арон перевел разговор на другую тему. Он сказал, что работает в ящике последний месяц, а с первого сентября переходит в Радиотехнический ин-

ститут, где ему предложили должность профессора.

– Ты это сделал, чтобы освободиться от секретности? – спросил я.

– Это из области общих соображений, Игорь... Но дело еще в том, что работа на предприятии теряет привлекательность. Я не вижу своего места в новых условиях. Ты помнишь, что мы когда-то лидировали в нашей области науки. Это время прошло, теперь отдел всё более загружается сугубо производственными заданиями. Возможно, это практично и важно, но это не мое...

– Артур гонит производственную волну?

– Он ничего сам не гонит, а просто открывает шлюзы перед волной, которую нагнетают сверху. Артур – классный ученый и неплохой директор, но он не полководец, а лишь грамотный исполнитель, ему нечего противопоставить директивам начальства.

– А наш проект цифровой радиосвязи?

– Этот проект слишком громадный и наукоемкий для министерского начальства, там его не поддерживают, и Артур тоже не будет поддерживать.

– Вставляет палки в колеса?

– Нет, отнюдь... Даже, наоборот, позволяет себе похвастаться в научных кругах этим проектом, но... в реальности ничего не делает для его продвижения. Этакая маниловщина...

– Мы можем что-либо изменить?

– Не думаю, Игорь... Не верю, что можно что-либо изменить.

– Если даже такой оптимист, как ты, Арон, настроен столь негативно, то мне – пессимисту по определению, ясное дело, следует рвать когти.

– Не торопись... Твои возможности в промышленности не исчерпаны. Ты еще...

– Нет, Арон, я тоже не вижу себя в структуре предприятия, каким оно становится. А тут еще известные тебе дела... Артур приглашает меня для серьезного, как он сказал, разговора, но... я совсем не хочу появляться там. Мне мучительно смотреть в глаза своим бывшим подчиненным, принимать соболезнования, не всегда искренние, слышать за своей спиной недоброжелательный шепот. Совсем не хочу ни с кем встречаться... Возьмешь меня на кафедру своим помощником?

– Мне обещали открыть небольшую лабораторию. Надеюсь, там будет позиция завлаба. Если тебя это устроит, то...

– Вполне устроит, заранее согласен на любую позицию в твоей, Арон, лаборатории. От заказчиков отбоя не будет...

– Не со всеми заказчиками хотел бы я работать. Хочу организовать совместную работу с одним из акаде-

мических институтов по близкой нашим научным интересам тематике.

– Вижу изменение твоих, Арон, взглядов в правильном направлении. Хватит работать на... На них! Хватит, хватит...

Я провел в доме Арона и Наташи два дня, а потом мы с Витей и Томасом переехали ко мне. Это было рискованное, но, как мне представлялось, единственное правильное решение. Витя переезжал как бы в дом Томаса, а я и для того, и для другого пока еще был вроде обслуживающего персонала. Мне хотелось побыть с сыном вдвоем, чтобы никого вокруг больше не было, чтобы мы были замкнуты друг на друга, чтобы он признал меня своим. Как это сделать в большом и шумном городе? «Ты не хотел бы съездить со мной на рыбалку?» – спросил я. Выяснилось, что он не знает, что это такое, и я, как мог, красочно описал ему все прелести рыбной ловли. «Мы поедем вместе с Томасом?» – спросил он. Это был трудный момент – ребенок не хотел расставаться с единственным живым существом, которому безоговорочно доверял... «Мы будем жить в палатке рядом с лесом, и Томас может в том лесу потеряться. Поэтому мы поедем без Томаса, а он будет ждать нас здесь», – неумело выкручивался я, едва не испортив всё дело. Но наутро мы поехали по магазинам покупать снаряжение, Витя увлекся

предстоящей поездкой и активно участвовал во всех приготовлениях. Я был счастлив и обсуждал с ним каждую покупку, как со взрослым. Мы купили палатку, два спальника, плащи и всё необходимое из детской одежды, удочки, кружки, миски, ложки, котелок, топорик для рубки дров, ножи для чистки рыбы, а еще – два фонарика, дорожную аптечку, спички, манную крупу, муку, лук, соль, подсолнечное масло, пару банок говяжьей тушенки, чай, сахар, печенье и буханку хлеба на первое время... У меня внезапно открылись хозяйственные способности, и через два дня мы, снаряженные с головы до ног, уехали на электричке в город Приозерск, что в устье реки Вуокса на Карельском перешейке. В Приозерске пообедали в столовой на пристани, взяли напрокат лодку и, пока не стемнело, погребли вверх по течению до огромного расширения реки с островом Олений посередине. Присмотрели с воды подходящую лужайку на краю леса, высадились и первым делом поставили палатку. Потом соорудили из камней и палок место для костра, собрали в лесу хвороста и березовой коры, разожгли огонь, набрали речной воды, вскипятили ее в котелке и выпили чаю с сахаром и печеньем. Спали мы той ночью крепко и безмятежно...

Остров Олений считался необитаемым, что позволяло нам с Витей фантазировать на темы приключе-

ний Робинзона Крузо. Несмотря на название, оленей на острове мы не видели, зато повстречали коров, которых привезли сюда на лето из соседних деревень на выпас. Местный пастух был единственным постоянным жителем на острове. Мы с ним подружились, и он почти две недели снабжал нас свежими молоком, сметаной, творогом, маслом и хлебом. Обычно наш пастух приносил свою продукцию по утрам, и мы с Витей первым делом выпивали по кружке парного молока. Потом съедали манную кашу на молоке или миску творога со сметаной и хлебом, а иногда и то, и другое. Завтрак завершался сладким чаем. После завтрака начинался рабочий день – собирали наши рыболовные снасти, копали червей в прибрежной земле, уплывали на лодке в тихие рыбные заводи и ловили рыбу до обеденного времени. Рыбы в этих многоводных краях много, ловить ее легко – окунь, красноперка, лещ, судак, а если повезет, то и щука, и озерная форель... Мы с Витей придирчиво отбирали рыбешек из нашего улова на обед и на ужин, а остальных отпускали восвояси. Когда припекало солнышко, купались прямо с лодки и плавали вокруг нее. Я обычно спускался в воду первым и ловил мальчишку прямо в воде. Когда он повисал на мне, обхватив ручонками мою шею, я не упускал возможности обнять его и прижать к себе – и тогда меня посещало счастье... Я бы назвал

это счастье дрожащим, дрожащим от волнения, но не уверен, что меня поймут... Витя оказался способным к спортивному движению, он очень быстро научился плавать и не испытывал никакого страха в глубокой воде. Вернувшись с рыбалки, мы занимались приготовлением обеда, главным и, по существу, единственным блюдом которого была тройная уха. Вместе в четыре руки чистили и разделывали рыбу, сортировали ее для обеда и ужина, потом разжигали костер и торжественно исполняли три цикла ушной процедуры – сначала варили мелкую рыбешку, затем ее выбрасывали и в получившемся горячем бульоне варили рыбу среднего размера и наконец в новом наваристом бульоне отваривали самые крупные куски, которые и являлись содержанием нашего обеда. Важно было не забыть соль и лук на финальной стадии приготовления. Рецепт тройной ухи я, конечно, вызубрил наизусть заранее, а Витя всё усек после первых двух обедов. Он с моей подачи был Робинзоном, а я исполнял обязанности его помощника Пятницы. После обеда мы отдыхали, лежа на расстеленных под деревьями спальниках. Витя иногда засыпал ненадолго, утомленный рыбными процедурами, а я, как и положено Пятнице, отгонял от хозяина насекомых. Потом до вечера занимались хозяйством – мыли посуду, собирали и рубили хворост для костра, а иногда уходили в

лес за грибами и к небольшому болотцу, на котором было много клюквы. Ужинали обычно жареной рыбой, хлебом с маслом, молоком и чаем. По вечерам у костра мы либо разыгрывали приключения Робинзона Крузо, либо я читал Вите свою любимую книжку «Путешествия Гулливера». Когда луна и первые звезды проступали на белесом северном небе, я укладывал ребенка спать, а сам доставал радиоприемник и слушал радио «Свобода» и «Голос Америки» – сюда, в глушь, советские глушилки не проникали.

Так мы провели почти две недели. Мой план сближения с сыном и природной терапии на необитаемом острове работал безотказно. Витя по-прежнему называл меня дядей Игорем, но в этом «дяде» появились нотки доверия. Он не смотрел на меня больше исподлобья, признал во мне опору, которую внезапно и столь ужасно потерял. Мальчик загорел, окреп, и в его глазах возродилось неумемное детское любопытство к жизни во всех ее несущественных для взрослых подробностях. Мне даже казалось, что Витя стал значительно меньше заикаться. И еще мне показалось, что я стал для него чуть-чуть ближе, чем некий дядя... Как-то, уже незадолго до отъезда, я уложил мальчика спать, а сам начал потихоньку выползать из палатки, чтобы, как обычно, послушать радио. Внезапно он громко сказал: «Дядя Игорь, а м-м-мамочка меня

перед сном ц-целовала». У меня словно оборвалось что-то внутри, я вернулся, лег рядом, ни слова не говоря, обнял ребенка и поцеловал его – так он и заснул у меня в руках. А я долго лежал с открытыми глазами, потом тоже задремал, и Витина мама пришла ко мне и целовала меня, и я проснулся – лицо мое было мокрым от слез...

Мы вернулись в город друзьями, и сэр Томас, почувствовав это, перестал выказывать мне свое презрение. На меня навалилась куча неотложных дел. Нужно было перевести Витю в другую школу, ибо в прежней потребовалось бы придумывать объяснения, выходявшие за пределы моей фантазии, – не рассказывать же всем о том, что на самом деле случилось. Нужно было найти няню для Вити, которая к тому же вела бы наше мужское хозяйство. А еще я затеял обмен своей однокомнатной квартиры на двухкомнатную с доплатой – теперь нам вдвоем было тесновато в однокомнатной.

На работу я ходил только один раз, да так, чтобы минимизировать общение с тысячами своих бывших подчиненных. Зашел, конечно, в свою лабораторию, объяснил, что вынужден уйти по семейным обстоятельствам, пригласил всю лабораторию на прощальный ужин в «Метрополь». Затем попросил Галину Александровну отнести в отдел кадров заявле-

ние на имя Генерального директора с просьбой уволить меня по собственному желанию. Уже из дома позвонил Артуру Олеговичу, сказал, что мне тяжело посещать предприятие по известной ему причине, объяснил, что мое увольнение связано исключительно с личными обстоятельствами, и пожелал ему успехов. Сказал еще, что готов буду дать консультации, если в этом возникнет необходимость. Артур ответил, что очень сожалеет о моем уходе и считает это серьезной ошибкой. Попрощался он со мной довольно холодно. Мы потом виделись только один раз при обстоятельствах чрезвычайных...

Арон перешел на преподавательскую работу и выполнил свое обещание – предложил мне место завлаба в своей небольшой исследовательской лаборатории. Между моим увольнением из ПООПа и началом работы у Арона образовался почти двухмесячный интервал, чему я несказанно обрадовался. У меня еще сохранились деньги от прежней директорской зарплаты с многочисленными премиальными, и я мог теперь воспользоваться перерывом для обустройства нашей с Витей семейной жизни. Главная проблема была, конечно, в оформлении наших с ним отношений, что, как оказалось, требовало огромных времени и усилий. Без моральной поддержки семьи Арона, в первую очередь – Наташи и Али, я, наверное, не

справился бы с этой проблемой. Иосиф Михайлович помогал мне в юридических вопросах. Он объяснил, что доказать мое отцовство будет чрезвычайно трудно из-за полного отсутствия свидетелей, и посоветовал оформить поначалу опекунство, а потом усыновить Витю. В этом направлении я и двигался. Не обремененный службой, совмещал это с переездом на новую квартиру и всеми другими бытовыми заботами, свалившимися на меня одновременно.

Несмотря на массу новых для меня семейных дел, зима и весна в том году оказались неожиданно плодотворными. Арон придумал совершенно новую концепцию обработки сложных радиосигналов, и на мою долю пришлось разрабатывать детали новых алгоритмов и их моделирования на вычислительных машинах. Я пытался продолжить на новом месте наш проект цифровых систем, но Арон убедил меня, что без поддержки военных, в рамках вузовской лаборатории, в которой кроме нас работали два штатных программиста, два инженера и несколько преподавателей по совместительству, это занятие безнадежное. Он, в конце концов, настоял на сугубо академической научно-исследовательской работе, которую согласился финансировать московский Институт информационных проблем. Мы с Ароном вдруг ощутили, что значит «это сладкое слово – свобода», свобода от сек-

ретности, от насилия начальства и постоянного назойливого контроля за каждым твоим шагом. Вскоре подготовили несколько статей по новым результатам в теории и моделировании, в том числе для изданий, переводимых на английский язык. Возобновили переписку с Джошуа Саймоном из Калифорнии.

Потом, уже под занавес пьесы развитого социализма, когда двери барака слегка приоткрылись, съездили в Софию, Бухарест и даже Белград по приглашению тамошних ученых – для меня это были первые поездки за границу. Приняли ответные делегации. «Молодцы, – одобрительно говорила Наташа, – вас должны знать зарубежные ученые. Поварились в закрытой секретной кастрюле – и хватит, выходите на свет божий». Запомнился визит известного профессора Дова Басмата из Израильского технологического института в Хайфе, который занимался схожими проблемами. Мы отлично приняли его и на кафедре, и дома у Арона, составили план научного сотрудничества наших институтов и утвердили его у нашего ректора, который охотно принял израильского профессора. Помимо шикарного домашнего застолья Наташа организовала для Дова и его жены Лии экскурсию в Петергоф, а мне досталось свозить их в Царское село. Я обычно подвожу гостей к Екатерининскому дворцу так, чтобы его фасад открылся весь сразу и в пер-

спективе. Дов и Лия были потрясены этим грандиозным зрелищем, и я повел их во дворец, чтобы ошеломить еще раз Большим тронным залом. Мой замысел вроде бы удался: когда пред ними открылось это кажущееся бесконечным пространство в золоте, зеркалах и хрустале под гигантским расписным потолком, у Дова и Лии, я видел, перехватило дыхание. Но я, на свою беду, не захотел ограничиться произведенным эффектом и попросил служительницу зажечь тысячи электрических свечей, которыми, я знал, освещается зал по вечерам. Она, конечно, отказала мне, сославшись на то, что электричество включается по особым случаям с разрешения директора музея, но, как говорят, не на того напала. Я попросил гостей осмотреть зал, а сам нашел какого-то администратора и уговорил его в виде исключения включить на одну минуту свет – мол, со мной важные зарубежные гости, которым на самом высоком уровне обещали показать зал во всём его блеске.

Администратор согласился и включил рубильник... Эффект превзошел все ожидания – тысячи свечей, отражаясь в огромных зеркалах, заиграли мощную симфонию света, подобного солнечному... Я, однако, с ужасом увидел, что дальняя стена зала загорелась, видимо, вследствие неисправных ламповых патронов, и огонь побежал между двумя зеркалами.

Свет выключился автоматически, а служительница зала и несколько работников начали сбивать огонь какими-то тряпками. Я тоже среагировал мгновенно и... под локоток, под локоток поскорее увел гостей – еще, не дай бог, охрана усмотрит израильскую диверсию. Кажется, мои гости даже не успели ничего заметить. В завершение экскурсионной программы я отвез их на «Пиковую даму» в Мариинку. Подхватил пораньше у «Астории» и повез по местам, где происходили события этой оперы – к дому графини на Малой Морской, в Летний сад, ну и, конечно, на Эрмитажный мостик, с которого бедная Лиза бросилась в воды Зимней канавки при ее слиянии с Невой. «Пиковая дама» на сцене Мариинского театра была грандиозной постановкой. Когда в сцене бала с сотнями богато разодетых гостей под торжественную музыку Чайковского появилась императрица в роскошных одеяниях и в окружении свиты, Дов наклонился ко мне и прошептал восторженно: «Мы бывали в лучших оперных театрах Европы, но ничего подобного не видели. Никому не по силам такая роскошь». Потом уже у дверей гостиницы он сказал: «Приглашаю вас и Арона к нам в Технион. Подобной оперы не обещаю, но покажу много интересного».

Потом пожал мне руку и добавил: «Приезжайте, нам есть что обсудить... Имейте в виду, все расходы

по вашему с Ароном пребыванию в Хайфе оплачивает Технион».

Когда гости уехали, Наташа сказала Арону, что Дов гарантирует ему место профессора на своей кафедре с первого дня репатриации. «Ты просила об этом без моего ведома?» – возмутился Арон, но Наташа пояснила: «Ни о чем я его не просила, он сам это предложил. Думаю, что с подачи Лии – она быстрее всех мужчин просекла ситуацию». Арон не успокаивался: «В чем же заключается эта таинственная ситуация?» Помню, Наташа тогда посмотрела на меня и, помедлив, ответила: «Игорь свой человек... Ситуация заключается в том, что мы хотим уехать в Израиль, но всё еще не решаемся признаться себе в этом».

Удивительная женщина... Я встретил ее однажды поздним вечером в темном дворе, в типичном петербургском дворе-колодце на Пушкинской улице. У меня самого было там свидание с моей цветочницей – по иронии именно у нее я покупал цветы для Наташи. Выйдя во двор, я буквально столкнулся с Наташей у соседнего подъезда. «Что ты здесь делаешь?» – вырвалось у меня. «Могу задать тот же вопрос тебе», – ответила она. У меня была машина прямо напротив, в расширении улицы у памятника Пушкину, и я сухо предложил: «Могу подвезти, если не возражаешь». Она не возражала. Каждый размышляет в меру сво-

ей испорченности: «Неужели Наташа всё же изменяет Арону?» Когда мы свернули на Лиговку, она заговорила первой:

– Могу объяснить тебе, что я делала в столь мрачном месте в столь поздний час, но при одном условии... Поклянись, что не расскажешь ничего Арону. Как тогда, после нашей встречи в Пярну...

– Клянусь! – выдавил я из себя, с ужасом ожидая подтверждения своего гнусного подозрения.

– Это не то, о чем ты подумал.

– Откуда ты знаешь, о чем я подумал?

– Интуиция в сочетании с опытом общения с тобой. Эта же интуиция подсказывает, что ты, мой друг, был здесь у своей любовницы.

– Ничего подобного...

– Не надо оправдываться... Тайная любовная связь – обязательный атрибут героя нашего времени.

– Хватит обо мне, Наташа... Переключи, пожалуйста, свой сарказм на других – на себя, например...

– К сожалению, про себя не могу рассказать ничего романтического. Я тайно хожу сюда раз в неделю на занятия... по изучению еврейского языка.

– ?

– Да, Игорь, это именно так... Понимаю, что ты разочарован, ожидал от меня большего.

– Я не разочарован, а шокирован – чего уж больше-

го можно ожидать. Ты просто уникам... Почему делаешь это тайно?

– Потому что изучение иврита является в нашей стране преступлением, пособничеством сионизму, то есть приравнивается к антисоветской деятельности. Если станет известно, что люди здесь регулярно собираются для изучения иврита, то нашего учителя просто арестуют. А меня за интерес к древним языкам могут уволить с работы. Так что моя судьба теперь в твоих руках...

– Наконец-то мы поменялись с тобой ролями, Наташенька... Мне кажется, я заслужил доверие... В конце концов я имею право знать, когда вы собираетесь уехать, не правда ли?

– Это знают только в КГБ... Я уже просила через знакомых прислать нам вызов из Израиля, отправила все паспортные данные. Не сомневаюсь, что они вызов послали. Но мы его не получили. Видимо, контора глубинного бурения сочла отъезд Арона нецелесообразным... Так высоко они его ценят? Или тут другой замысел, издевательский?

– Почему ты скрываешь от Арона свои занятия ивритом?

– Не хочу нагружать его до поры до времени. Ему и так нелегко, он согласился заказать вызов, но опасается репрессий на работе. Скажу тебе, Игорь, как дру-

гу Арона, – он не готов бросить всё здесь и уехать... Вчера с ужасом рассказывал, что книги его коллеги профессора Флейшера, уехавшего в Израиль, по решению парткома изымают из библиотеки и то ли выбрасывают на помойку, то ли сжигают...

– Да, я знаю... Нацисты жгут книги еврейских авторов – это уже было в истории... Флейшер, между прочим, один из крупнейших специалистов по теории кодирования, его книги нацисты вряд ли сумеют заменить, но какое им дело до всего этого. Сверху приказали, и наши «библиотекари» не преминули, как говорил поэт, «задрав штаны бежать за комсомолом».

– Арон очень подавлен этой историей с уничтожением технических книг и учебников.

– Да, наши инквизиторы не откажут себе в удовольствии поизмываться – исключение из партии, отстранение от преподавательской работы, сжигание книг...

– Дело не только в унижительных процедурах... У Арона, сам знаешь, преувеличенное представление о долге перед коллективом, коллегами, учениками, перед наукой, в конце концов, которую он представляет святой в белоснежных одеждах.

– А долг перед тобой?

– Это не тот случай, Игорь... Не он для меня, а я для него... Ему здесь никогда не дадут раскрыться в полную силу таланта. Ты это прекрасно знаешь, и я

знаю, но изменить это выпало мне. Если не я, то кто? Я эту свою миссию приняла давным-давно, когда еще девушкой влюбилась в него...

– Господи, почему ты не послал мне такую женщину?

– Не гневи господа, он тебе в жизни столько дал, что грех жаловаться... А если ты что-то проглядел и не взял, то тут уж... – не сам ли виноват?

Мне нечего было возразить, и я всю оставшуюся дорогу молчал. Я понимал, что Арон уедет, понимал, что роль мотора в этом деле будет за Наташей, но, когда контуры процесса нарисовались так определенно, стало, конечно, не по себе. Наташа изучает иврит, она делает это для Арона, который еще ничего не решил, – сюрреализм какой-то... Мне предстояло отныне смириться с этим – самые близкие мне люди рано или поздно уедут из страны. И женщины в этом будут на первых ролях – Наташа, как мотор, и Аля, как курок, запускающий весь механизм. И это случится скоро...

Иосиф Михайлович держал меня в курсе дел Аделины. Вызволить ее из ссылки до наступления зимы не получалось, условно-досрочное освобождение откладывалось до весны. Я написал ей о случившемся со мной, о Кате, о Вите... Она ответила сочувственно, но отстраненно, без понимания – как такое могло случиться, а если могло, то только со мной, потому

что, мол, я превратил свою жизнь в сплошную авантюру. Еще она писала, что очень благодарна мне: во-первых, мое пребывание в Мяундже разогнало «всех назойливых местных козлов», а Степан Степаныч перешел на «вы» и проявляет максимальную доступную ему степень пиетета; во-вторых, привезенные мной книги сильно продвинули ее работу по дневникам Достоевского. Я ответил с большой задержкой, она тоже нечасто писала – Аделина не умела любить на расстоянии. Не помню, какой классик сказал, что любовь можно заменить только памятью, потому что запомнить – значит восстановить близость. Подобная замена была абсолютно чужда Аделине, поэтому наша переписка постепенно теряла теплые очертания прежней близости – особенно близости колымской. Весной Аделина написала мне о предстоящем освобождении, но о времени ее прилета я узнал от Иосифа Михайловича – как будто она не хотела, чтобы я ее встречал. Родители Аделины не могли ее встретить – отец практически не вставал с постели, а мать не могла его оставить одного. Мы договорились с Иосифом Михайловичем встретиться в аэропорту. Когда я вошел в зал ожидания, то увидел около него Сергея – поэта, «того, кто раньше с нею был», как писал классик, и еще одного мужчину. У меня хорошая память на лица – но кому же оно принадлежит? Я даже оста-

новился, чтобы вспомнить... Ба, да это ведь Володя из компании колымских шабашников – бард, автор тех замечательных песен. «Володя, привет! Вот уж кого не ожидал увидеть здесь. Ты кого-то тоже встречаешь?» – обрадовался я. Володя удивил меня: «Думаю, что того же, кого и ты». Мне кое-что стало ясно: «Ты так сблизился с Аделиной?» Он ответил вопросом на вопрос: «Можно, я не буду отвечать на твой вопрос?» Иосиф Михайлович на правах нейтрального лица прервал наш неприятный диалог и начал рассказывать о Деле двенадцати, в котором ему, возможно, предстоит участвовать в качестве адвоката обвиняемых. Оказывается, бригаду шабашников, с которой я встречался на Колыме, обвиняют в каких-то нарушениях и злоупотреблениях, а их институтское начальство во главе с парткомом подводит дело под уголовщину. Я вспомнил разговор с Аделиной: «Она предсказывала, что Совок рано или поздно начнет прижимать шабашников – уж очень они выделяются на общем фоне ленивого гегемона, отягощенного беспробудным пьянством. Можно сказать – дискредитируют наши святы социалистические принципы». Сережа добавил: «Не только дискредитируют, но и подрывают – приходится отдавать всякой интеллигентской шелупони деньги, которые можно было бы украсть или, по крайней мере, пропить». Володя сказал: «Здесь всё

проще – наши начальники смертельно испугались за трудовые мозоли на своей заднице. Желают быть святее папы римского – чтобы там наверху, не дай бог, не подумали, что они не такие уж святые...»

– Что, дело действительно так плохо? – спросил я Володю.

– Да, заморочка серьезная... Ректор пытается дело в прокуратуру передать, партком его поддерживает. Иосиф Михайлович говорит, что состав преступления не просматривается, всё на одних эмоциях. Но эмоции перехлестывают... Мол, все на зарплате сидят, а эти где-то заработать умудрились, не иначе как украли... В оплату по труду давно уже никто не верит.

– Я готов быть тринадцатым, могу подтвердить, что работали вы по-стахановски. А мозоли у вас растут не на заднице от трения по креслу, а на руках от лопаты и лома – свидетельствую.

– Кстати, ты, Игорь, вполне подходишь на роль «негра», который вместо нас работал.

– Какого еще «негра»?

– По городу ходят слухи, что мы и не собирались работать, а наняли неких «негров» из числа студентов и заставили их вкалывать, а деньги присвоили себе... Кстати, тебе положена зарплата за один день шабашки, не забудь получить.

– Замечательно, жертвую свою зарплату в фонд

невинно преследуемых диссидентов и шабашников. А свидетелем быть готов, если серьезно...

– Не думаю, что вам, Игорь, придется свидетельствовать, – сказал Иосиф Михайлович. – Сейчас парт-органам это дело не нужно. Спустят на тормозах, нынче у них другие заботы, новый Генсек говорит, что работать надо больше, а воровать меньше. Еще не известно, как с шабашниками всё обернется – это же может стать моделью новой экономики.

– Вы, однако, оптимист, Иосиф Михайлович... Неужели верите, что партийное начальство откроет доступ к кормушке каким-то...

Наш разговор прервался появлением Аделины – она, в косыночке, красивая и радостная, начала всех нас обнимать и целовать. Какой-то унылый мужик в очках и шляпе тащил за ней два чемодана – Аделина была в своем репертуаре. Я шепнул ей на ухо: «У тебя, дорогая моя, патологическая тяга к поэтам». Она тоже шепотом ответила: «Это не худший вариант, поверь мне... Но ты, милый, зря обижаешься...» На что я обижаюсь и почему зря – так и осталось невыясненным. Аделина пригласила всех к себе домой отметить событие, но я сослался на неотложные дела и отказался – мне почему-то расхотелось праздновать. Она стрельнула в меня слегка иронично своими прекрасными черными глазами и произнесла задумчиво:

«Ну, как пожелаешь... Созвонимся...» Я привык, что этим нелепым «созвонимся» обычно обозначают конец близких отношений, но тогда я даже представить себе не мог, что мы с Аделиной еще как «созвонимся». Однако это случится не скоро, ох как не скоро, в другой жизни, можно сказать...

А пока в этой жизни мы с Аделиной действительно созванивались эпизодически. Я не настаивал на свидании – без ее хотя бы минимальной инициативы это было бесполезно. Знал, что она бывает в компании Двенадцати, подозревал, что увлечена связью с Володей. Иосиф Михайлович – наш ангел-охранитель – взял Аделину на работу, пытался уберечь ее от поступков, которые могли быть расценены как нарушения условий условно-досрочного освобождения. Прежние встречи нашей компании на квартире у Аделины прекратились – ее родители болели и почти не выходили из дома. Где-то в конце августа Иосиф Михайлович позвонил и пригласил участвовать в очередной встрече, которую он организует на своей квартире в начале сентября. Я спросил его, будет ли Аделина, и, получив положительный ответ, посетовал, что она, вероятно, не обрадуется моему присутствию. Иосиф Михайлович рассмеялся: «Напрасно надеетесь, Игорь Алексеевич, что женщина может оставить вас в покое добровольно. У женщины сейчас просто

трудное время...»

В тот сентябрьский день разговоры были, конечно, о потрясшей весь мир дикой выходке Совка – советский истребитель сбил ракетой в районе Сахалина южнокорейский пассажирский самолет, летевший из Аляски в Сеул. Погибли почти триста человек... Мир привык к убийствам, даже к массовым убийствам невинных людей, но в этом убийстве было что-то особенно гнусное и жуткое. Зная советскую систему жесткой субординации, каждый мысленно прослеживал длинную цепочку исполнителей. Она вела от пилота истребителя, получившего приказ по радио от своего начальника, через дальневосточные и сибирские дали, через генеральские и маршальские кабинеты вплоть до главного кабинета в московском Кремле. И каждый пытался представить, как каждое звено этой длинной цепочки принимало решение убить триста человек... Ни у кого из них не дрогнуло сердце и никто не возразил? В этой слаженно сработавшей цепи, состоявшей, на самом деле, преимущественно из обыкновенных незлобивых людей, было что-то ирреально дьявольское. Некоторые из этих незлобивых людей даже претендовали на статус героев с ангельскими крыльями, но оказалось, что заточенная на убийство система становится дьявольской даже в том случае, если состоит из одних ангелов.

«Как я их ненавижу...» – это сказал Сергей, стоявший с рюмкой водки у обеденного стола в квартире Иосифа Михайловича. На скулах его крупного лица играли желваки, а глаза яростно стреляли по сторонам, словно отыскивая тех, кого он ненавидел. «Это кого же мы здесь ненавидим?» – спросил Иосиф Михайлович, входивший в комнату. Сергей опрокинул в рот рюмку водки, слегка скривил рот и объяснил, кого он ненавидит: «Всех причастных... И выродка-пилота, убившего три сотни человек, и его командира на земле, и всех его начальников, которые по цепочке передавали друг другу людоедский приказ сбить пассажирский самолет... Всю преступную цепочку, начиная от самого главного...» Иосиф Михайлович сказал: «Ну, знаете, даже в преступной банде не все несут одинаковую степень уголовной ответственности. Кто-то отдает приказ, а остальные приказ исполняют... В случае преднамеренного заказного убийства наибольшему наказанию подлежат непосредственные исполнители и главный заказчик, вина остальных звеньев преступной цепочки считается не столь значительной...» Сергей налил и тут же выпил еще одну рюмку водки: «Не желаю в данном случае вникать в юридические тонкости... Меня как литератора здесь затронула моральная сторона этого кровавого деяния, лежащего, как говорил Ницше,

по ту сторону добра и зла». Иосиф Михайлович возразил: «Ницше объяснял поведение человека естественной жаждой власти, откуда вытекало, что причинение страданий простому слабому человеку не является предосудительным. В рассматриваемом нами случае я не вижу субъектов, заинтересованных в подтверждении своей власти, за исключением, может быть, главного действующего лица. Остальные участники выполняли его приказ, возможно, и не соглашаясь с ним». Валерий Гуревич эмоционально воскликнул: «О, да – это обычная отговорка преступников... Нацисты все как один тоже ссылались на приказы сверху. Если их послушать, то в фашистской Германии был только один преступник – Адольф Гитлер, а все остальные просто вынуждены были выполнять его приказы». Я не выдержал и добавил: «А у нас в прошлом тоже был только один преступник – товарищ Сталин. Все остальные десятки миллионов палачей и стукачей ни в чем не виноваты – они лишь выполняли его приказы». Иосиф Михайлович не любил крайних точек зрения:

– Мне кажется, ваша позиция, господа, страдает односторонностью. Нельзя не учитывать озабоченность военных пролетом иностранного самолета над нашими ракетными базами на Камчатке.

– Позвольте возразить, Иосиф Михайлович... Эти

базы являются большим секретом только для простого советского человека. Со шпионских спутников там уже давно всё зафиксировано – во всяком случае, всё, что их интересует. Использовать гражданский самолет для подобного шпионажа – это глупость, на которую даже «тупые» американцы и корейцы не способны.

– Нам, Игорь Алексеевич, вероятно, не всё известно...

– Конечно, не всё – нас ведь здесь за дураков держат... Но я, на самом деле, согласен, что точка зрения Сергея отдает крайностью – уж извини, Сережа. Если вся пресловутая цепочка состоит сплошь из одних преступников, то как быть с теми, кто создал для них смертельное оружие?

– Создавшие, вложившие и запустившие виновны в равной степени, – едва ли не прорычал Сережа. – Те, кто делал оружие для преступного режима, сами участники этого преступления.

– Видите ли, дорогой мой обвинитель, – сказал Иосиф Михайлович, – в таком случае круг подозреваемых расширяется настолько, что обвинение теряет конструктивный смысл.

– Более того, в таком случае тебе, Сережа, следует включить в преступную группу меня и Валерия...

– Что ты имеешь в виду?

– Вынужден разгласить секрет огромной государственной важности: мы с Валерием придумали кое-что для конструкции радиостанции, использованной в сбившем корейский авиалайнер истребителе. Подозреваю, что именно с помощью той радиостанции летчик получил приказ на запуск ракеты от своего командира...

Наступила неловкая тишина, прерванная появлением Аделины и Володи. Иосиф Михайлович деликатно ввел их в суть дискуссии и спросил, что они думают по этому поводу. Первой высказалась Аделина: «А что тут, собственно говоря, думать... Не думать надо, а валить из этой страны всеми доступными способами. Вы не видите, что ли: новый вождь приказал ловить в кинотеатрах, магазинах и банях всех прогульщиков... Рекомендую господам диссидентам воздержаться от посещения этих заведений в рабочее время. Маразм крепчает – не видите, что ли... Он еще без году неделю начальник, а уже кровью замазался». Потом настала очередь Володи: «А я не согласен с Аделиной. Во-первых, не факт, что новый Генсек участвовал в этой аванюре с самолетом – он, говорят, в больнице лежит. Во-вторых, если что-то не нравится в своей стране, не валить из нее надо, а, напротив, здесь дела исправлять и жизнь достойную налаживать...» Аделина всплеснула руками и картинно запричитала: «Ах,

ты мой бесшабашный рыцарь печального образа, мой славный Дон Кихот, для исправления жизни шабашку наладивший... и в тюрьгу едва сам не налаженный, Илья ты мой Муромец, вместе с Алешей Поповичем для исправления жизни прискакавший, Белинский ты мой вместе с Чернышевским, для налаживания жизни призванный, борец ты мой бесстрашный за демократию в концлагере...» Она внезапно замолчала разгоряченная, а потом, словно приняв решение, спокойно сказала: «Ну и оставайся здесь общинную жизнь налаживать – может быть, за это еще раз попадешь для исправления своей собственной жизни на Колыму, а с меня хватит – я уже там отбыла, поналаживалась и подысправилась, спасибо партии за счастливую перзрелость...» Володя удрученно молчал... Нас всех тоже поразила эта почти семейная ссора, вдруг раскрывшая всю глубину и необычность отнюдь не бытового конфликта. Аделина, казалось, тоже успокоилась, но внутренний вулкан вдруг снова вспыхнул: «Эти суки, видите ли, родину защищали, для чего надлежало подвергнуть сотни пассажиров беззащитного авиалайнера мучительной смерти. Здесь можно жить после этого?» Она остановилась, а затем процитировала нараспев:

Клянусь до самой смерти

Мстить этим подлым сукам,
Чью гнусную науку
Я до конца постиг.

«Это из Шаламова, если кто не знает», – добавила она. Володя налил две рюмки водки, отвел меня в сторону, сказал тихо: «Не знаю, что делать... Она вразнос идет, не хочет здесь жить, лучше умру – говорит... Меня слушать не хочет. Может, тебя послушает?» Выпили, не закусывая, и я ответил: «Странно всё это слышать от тебя, Володя. Ты теперь „девушку танцуешь“, а я должен ее духовным миром заниматься... Так, что ли, получается?» Володя принес бутылку водки, разлил снова по рюмкам, сказал:

– Ты зря кипятишься, Игорь. Я не виноват перед тобой, она сама так захотела... Боюсь, как бы она снова дров не наломала с этой идеей фикс, что жить здесь нельзя. Надо ей помочь по-дружески...

– Не знаю, что ты имеешь в виду под дружеской помощью, но, насколько я ее знаю, здесь никто и ничто не поможет. Идея, овладевшая Аделиной, становится материальной силой – она теперь, сто процентов гарантии, уедет отсюда. Если хочешь быть с ней, готовься к отъезду и постарайся найти евреев среди своих предков, но не дальше дедушки и бабушки.

– Я никуда не собираюсь уезжать, у меня другие

проблемы... Может быть, Иосиф Михайлович сможет ее уговорить, успокоить? Просто советуюсь с тобой...

– Ладно, Володя, про тебя и Аделину мне всё кристально ясно. Я, конечно, поговорю и с ней, и с Иосифом Михайловичем, но... ничего не обещаю. Ты мне лучше скажи: что с Делом двенадцати?

– Нормально... Партийное начальство всё спустило на тормозах, как и предсказывал Иосиф Михайлович. Он, кстати, ходил по этому делу в райком партии, разъяснил им, что криминал не просматривается. Спросил, хотят ли они скандала международного масштаба, и они, подумав, сказали, что не хотят... Короче, наши «отдыхающие» отделались легким испугом – одного уволили, один уволился сам по собственному желанию, Виктора, как бригадира, отстранили на полгода от преподавательской работы, всем остальным объявили выговор.

– И это ты называешь – отделались легким испугом? Это же подлый произвол! В нормальном обществе надо было объявить вам благодарность за работу...

– Могло быть много хуже, Игорь... Дело в том, что наши следки из парткома не поленились организовать замеры выполненного объема работ «на месте совершения преступления». Представляешь – замеры на Колыме зимой. Иосиф Михайлович об этом

не знал, всё делалось втихаря. Если бы оказалось, что объем работ нами завышен, то это подвели бы под хищение социалистической собственности в особо крупных размерах и нескольким нашим пришлось бы сесть... К счастью, замеры показали, что нам еще и недоплатили.

– Вся страна, как и ваш партком, занимается бесплодными партийными разбирательствами вместо реальной работы. Это всё вместе называется реальным социализмом... У нас в ящике говорят, что большая часть энергии коллектива уходит на трение. Ваше дело – типичный пример такого трения. Хорошо бы подсчитать энергию, затраченную вашим парткомом на Дело двенадцати, включая idiotские замеры при сорокаградусном морозе, – любопытные цифры нарисовались бы... Как «отдыхающие» перенесли всё это Дело?

– С удивительным оптимизмом... Никто не сломался, никто никого не предал, веселятся сегодня без меня, как дети... Ты приходи как-нибудь, всё-таки шабашник, хоть и однодневный, выпьем, песни споем, к нам женщины интересные заходят...

– Ну, уж в этом не сомневаюсь... Кстати, где наша с тобой интересная женщина? Пойду поищу...

Аделину я обнаружил вместе с Иосифом Михайловичем в его спальне. Прошу прощения за двусмыс-

ленность... Личная жизнь Иосифа Михайловича так и осталась для меня загадкой. Болтали, что у него есть друг, еще с университетских времен, намекали на скрытное, из наших представлений тех времен выпадавшее... Он жил в трехкомнатной квартире со своей очень пожилой и больной матерью, которая занимала одну из трех комнат, и спальня была единственным местом в квартире, где можно было поговорить приватно. Я, конечно, извинился, но Иосиф Михайлович, насупившись, сказал, что они с Аделиной уже обо всём переговорили, и быстро вышел. Аделина нервно курила, стоя у окна с пепельницей на подоконнике. Я попытался разрядить обстановку.

– «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?»

– Если бы ты, милый друг, мог ревновать меня со страстью Отелло, я бы любила тебя преданно всю жизнь. К сожалению, ты на это не способен, ибо окружен невыносимым количеством назойливых, влюбленных в тебя баб...

– Отелло снимает все претензии к изменившей ему с очередным поэтом Дездемоне, ибо понимает, что сам виноват в этом. Конечно, он, убогий технарь, не тянет на поэтическую любовь.

– Прекрати ерничать... У меня проблемы...

– Слушай, неужели ты не понимаешь, что твои поэты не составят тебе компанию для эмиграции? Если

хочешь, я предаю родину и уеду с тобой...

– Мать твою... Терезу! Неужели ты не понимаешь, что родина тебя не отпустит еще лет сто? Нашелся наконец перевозчик дам за границу с допуском к государственным секретам по первой форме...

– Если серьезно, Аделина, – что ты собираешься делать?

– Пытаюсь получить вызов из Израиля... Понимаю, что мне всё равно откажут, но готова и даже хочу стать отказником. Хотя бы бороться за отъезд... Но, похоже, они оберегают меня от участи отказника, блокируют почту.

– Ты сама себя поберегла бы...

– Не получится уехать легально, угоню самолет в Швецию, ей-богу, угоню... Вот Иосиф Михайлович пугает, что сяду за подобные намерения фундаментально, вплоть до высшей меры.

– Ты бы поменьше трепалась об этой дурацкой идее с самолетом. Не дай бог, кто-нибудь настучит.

– Только тебе и Иосифу сказала, больше никому, а идея действительно идиотская, но другой пока нет. Расскажи лучше о своих семейных делах.

– Мы с Витей живем хорошо, дружно... Но любит он Томаса, не знает, что я его отец, называет меня дядей Игорем. Мне пока и этого достаточно...

– Ты уверен?

– Приходи, посмотри на него... Не веришь, что я могу быть отцом?

– О, более чем верю... но не знаю, поэтому и спрашиваю...

Наш разговор был прерван появлением Иосифа Михайловича – он приглашал послушать новые стихи наших поэтов. «Твои в бой вступают. Понимаю, что противостоять этому натиску невозможно, хорошо понимаю...» – сказал я Аделине тихо.

У Сережи и Володи помимо того, что оба они были талантливыми поэтами и вследствие этого пробились в любовники Аделины, наблюдалось еще одно сходство – их стихи никто никогда и нигде не печатал, и у обоих были абсолютно нулевые шансы на публикацию в совковой системе. Стихи Сережи считались слишком абстрактными и заумными для социалистического реализма, в них существовали не реальные объекты и явления, а их образы – они словно пришли из Серебряного века, из эпохи символизма. У Володи, напротив, лирика была ясной, прозрачной, но слишком грустной для соцреализма, без необходимого оптимизма, с чуждыми совковости божьими храмами, куполами, колоколами, конями, чувственными женщинами, бесшабашными мужчинами и всевозможными звездными фантазиями. Когда мы с Аделиной вошли в столовую, Володя читал:

Купола, вы мои купола,
Золотые вериги России!
Вас толпа пропила, прокляла,
В грязь втоптала ногами босыми.
Звонарей черный год отстрелил,
Воронье в колокольнях жирует.
То, что красный террор не спалил,
Сам народ разорит, разворует.

Это о наших-то чекистах, которые с «горячим сердцем и чистыми руками», это о нашем-то народе богоносном?! Потом Володя читал навеянное Делом двенадцати, с горьким осадком от предательства тех, кого считал друзьями. Кое-что я потом по горячим следам записал:

Ставят к кресту и гвозди вбивают.
Гвозди – слова. Нет больше гвоздя.
С верой в святое нас распинают
Наши враги, – наши друзья.
Гвоздь за гвоздем, удар за ударом.
Небо грузнеет, на плечи давя.
Не за серебрянник бьют, – задаром,
Наши враги, – наши друзья.

Володя исполнял стихи в манере, больше свойственный чтецам-декламаторам, чем поэтам, – это

было выразительно и доступно. Сергей, напротив, читал нараспев, с подчеркиванием больше музыкальности рифм, чем поэтического смысла. Мне, признаться, была ближе поэзия Володи. Это потом, много лет спустя, когда Сережа стал знаменитым и его стихи исполнялись выдающимися артистами, я понял и глубину, и образность его поэзии. А тогда, честно говоря, не понимал, что судьба свела меня невзначай с гениальным поэтом — обычный эффект неведения и непризнания современниками значительности и даже величия происходящего на их глазах. Я не был исключением, я, как и все, был остроумцем на лестнице. Но Аделина, отдаю ей должное, уже тогда понимала масштаб таланта того, «кто раньше с нею был», может быть, именно потому, что знала его ближе всех.

Валерий в тот вечер был молчалив, озабоченный понятно чем, не брал в руки гитару и не пел. Я знал, что история с его докторской диссертацией всё еще тянется, причем тянется со всё меньшей надеждой на положительный исход. «Есть новости?» — спросил я. Валерий махнул рукой: «Давай не будем это вспоминать. Для меня докторская эпопея закончена. Аделина права — нам здесь не жить». Подошла Бэлла, потащила меня за рукав в сторону: «Не расспрашивай его, Валере тяжело это переживать во второй раз, раннюю гипертонию он уже на этой гребаной диссер-

тации заработал – сама тебе всё расскажу...» Я, конечно, кое-что знал и раньше, но рассказанное Бэлой позволило представить историю в виде трагикомедии времен развитого социализма в четырех актах с прологом и эпилогом. Даю будущим драматургам синопсис соответствующего сценария бесплатно. При наличии некоторого таланта и чуть-чуть воображения написать этот сценарий не составит труда.

В прологе на усмотрение будущего автора предлагается дать что-нибудь абстрактно-иллюстративное об успехах развитого социализма – например, красочную сцену из концерта, посвященного дружбе советских народов.

В первой сцене первого акта пьесы, как читатель помнит, зачитывается отрицательный отзыв черного оппонента на докторскую диссертацию Гуревича. В отзыве справедливо подчеркивается, что Советскому Союзу не следует готовить научные кадры высшей квалификации для сионистского врага. Гуревич решает дать ответ черному оппоненту по существу – то есть на языке строгой математики. Он принимает решение участвовать в заседании экспертной комиссии ВАКа. В этой же сцене поддерживающие его лица терпят сокрушительное поражение в своей попытке отделить «мух от котлет» – национальность диссертанта от его математических результатов. Им не удается

поднять научную общественность на защиту ученого от антисемитской травли под видом борьбы с сионизмом. Сцена вторая представляет собой зал заседаний комиссии ВАКа, где Гуревичу устраивают погром на том основании, что его диссертация якобы «представляет собой абстрактные математические упражнения, не имеющие никакого практического значения для отечественной техники». Гуревич с присущим сионистам апломбом возражает, что «упомянутые математические упражнения положены в основу ряда принятых на вооружение систем, которые плавают под водой и летают по воздуху». Главный антисионист настаивает, что не видел документов, подтверждающих внедрение результатов диссертанта в военной авиации. Председатель комиссии в штатском предлагает «отложить рассмотрение диссертации товарища Гуревича до уточнения данных о внедрении ее результатов».

Второй акт пьесы открывается сценой в кабинете директора Института информационных проблем. Рабочий с инструментами на боку с помощью приставной лестницы меняет портрет Брежнева на портрет Андропова. Перед сидящим в кресле директором стоит навытяжку немолодой доктор наук – как видно, весьма авторитетный в своей области. Смущаясь, он мямлит, что написать отрицательный отзыв

на диссертацию Гуревича затруднительно, поскольку она содержит важные и всем известные результаты, которые к тому же позволили решить трудную задачу надежной передачи информации на борт сверхзвуковых бомбардировщиков. Директор института выговаривает доктору наук, что бомбардировщики к данному случаю не имеют никакого отношения, поскольку отзыв просил дать сам председатель комиссии ВАКа, «генерал-майор авиации, между прочим, рекомендации которого, как вы понимаете, мы не можем игнорировать». Доктор наук тем не менее писать отрицательный отзыв отказывается и, пятясь к двери задом, уходит. Директор вызывает секретаршу и просит ее пригласить молодого доктора наук, имя которого он запомнил. «Того, — поясняет директор, — который недавно утвержден ВАКом».

Третий акт, первая сцена — курительная комната ВАКа, где Гуревич ожидает вызова на повторное заседание, курит. С ним жена, пытающаяся отвлечь его от мрачных мыслей всевозможными посторонними разговорами, но он нервничает и выходит из комнаты в туалет. В курилке появляются два члена комиссии, закуривают, и один наставляет другого: «Сейчас будет дело Гуревича... Ты, главное, не давай ему рта открыть... Если он начинает говорить по делу, прерывай и задавай следующий вопрос». Перекурив, они

уходят... Появляется Гуревич, жена рассказывает ему о только что услышанном, он взрывается и выбегает из курилки. Третий акт, сцена вторая – кабинет одного из заместителей председателя ВАКа при Совмине СССР. В кабинет влетает Гуревич, сзади слышны крики секретарши, что... ан... алыч никого не принимает. «Прошу принять мое заявление об отказе от сотрудничества с вашей организацией», – выкрикивает диссертант... ан... алыч, вальяжный спортивного вида господин с густой седоватой шевелюрой, доктор наук, профессор, спокойно указывает на стул: «Да вы садитесь, товарищ... Успокойтесь и объясните, в чем дело». Гуревич садится, с растяжкой произносит свою фамилию и рассказывает о всех перипетиях докторской диссертации, включая только что имевшую место сцену в курительной комнате. Профессор спокойно («повидал он на своем веку таких нервных французов») говорит: «Высказывания отдельных лиц не являются основанием для обвинений уважаемой авторитетной комиссии в необъективности. Тем не менее, учитывая ваше состояние, я своей властью переношу рассмотрение вопроса на более поздний срок – это даст вам возможность подготовить дополнительные отзывы и справки о внедрении». По его звонку входит секретарша с блокнотом в руках, готовится записать распоряжение начальника. Гуревич, однако, рез-

ко встает и со свойственной сионистам наглостью заявляет: «Моя диссертация не нуждается в дополнительных отзывах и справках. Я не желаю участвовать в этом спектакле, превращенном вашими сотрудниками в травлю. Поэтому не утруждайте себя – я только под конвоем появлюсь в этих стенах».

Четвертый акт, возможно, и не нужен, но в жизни он был разыгран Бэллой и мной тем вечером на кухне квартиры Иосифа Михайловича. «Что вы собираетесь делать?» – спросил я у нее.

– Валеру пригласили на третье слушание дела, но он отказался ехать.

– Они приняли решение без него?

– Они пригласили вместо Валеры Артура Олеговича, поскольку он является сейчас председателем Ученого совета. Никто не знает, о чем с ним говорили, но он сказал, что диссертацию Валеры окончательно отклонили.

– Артур пытался отстоять своего коллегу?

– Не знаю... Похоже, он получил мощный втык за потворство подобным диссертантам, вплоть до угрозы прекращения деятельности Совета. Думаю, что Артуру не дали рта открыть. С ним поступили так же, как они хотели поступить с Валерой.

– Что вы собираетесь делать, если не секрет?

– Какой там секрет, Игорь... Валера увольняется с

предприятия, и мы сразу же подаем на выезд в Израиль. Валере, конечно, откажут, но он морально готов стать безработным отказником. Я надеюсь сохранить работу в конторе Иосифа Михайловича. Слава богу, работа не секретная. Перебьемся, пока не разрешат выезд...

– Может быть, не следует так торопиться? Не сомневаюсь, что Валеру возьмут в Институт математики – там же не такие идиоты, как в нашем ведомстве.

– Всю жизнь искать место, где нет идиотов-антисемитов, ты знаешь, как-то утомительно... Валера чувствует себя в этой стране человеком второго сорта, не верит, что здесь что-то изменится. И я не верю... Тебе, наверное, трудно понять, что значит всё время быть человеком второго сорта.

– Почему же трудно, совсем даже не трудно... Я в некотором смысле тоже человек второго сорта, как и любой другой, кто не поддерживает этот режим. Хорошо понимаю и тебя, и Валерия. Просто... просто не хочу, чтобы такие люди уезжали, – здесь же создается творческий вакуум...

– Валера тоже очень не хотел уезжать, но он не видит тут будущего для себя. Оставаться кандидатом наук или защищать еще одну докторскую – в обоих этих вариантах есть что-то унижительное и убогое.

От эпилога этой трагикомедии я пока воздержусь,

обещаю вкратце изложить его в следующей главе нашего повествования, чтобы не забежать здесь вперед. Тот вечер у Иосифа Михайловича получился невеселым – все эти истории с корейским самолетом, Делом двенадцати, сионизмом и прочим складывались в отвратительную, раздражающую глаз и ум картину на стене комнаты без дверей. Неясное поведение Аделины тоже тяготило меня... Припоминается, что это была едва ли не последняя встреча нашей компании в полном составе. Всё начало рассыпаться, распадаться, и каждый последующий шаг распада был ударом для меня.

Первым где-то через год уехал в Америку Сережа. Он женился к тому времени на женщине, у которой то ли бабушка, то ли дедушка были еврейского происхождения, и они отправились по израильской визе сначала в Вену, а потом через Италию в Нью-Йорк. Стихи Сережи, никогда не публиковавшиеся на родине, вскоре появились в русскоязычных американских изданиях. Он сам стал издавать иммигрантскую газету, писать острые публицистические статьи, его популярность быстро росла... Все эти подробности я узнал, конечно, много позже, а тогда он просто исчез, и только один раз случайно я услышал его интервью по радио «Свобода». Сергей шутил по поводу своей жизни в Америке среди любопытных русскоязычных

иммигрантов Бруклина, говорил о своих планах издания сборников стихов и статей. На вопрос о том, хотел бы он издаваться в России, Сережа ответил кратко словами Марины Цветаевой: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед». Он, между прочим, оказался прав...

Второй уехала моя красавица Аделина. Она нашла-таки выход, вышла замуж за американца и уехала с ним – отказать гражданину США в праве уехать вместе со своей женой власти сочли нецелесообразным. Я тогда так и не узнал, был ли этот брак фиктивным, что практиковалось через правозащитные организации сплошь и рядом... Потом, много позже, узнал, конечно, но об этом не сейчас... Во всяком случае, перед отъездом Аделина неожиданно позвонила и сказала, что хочет попрощаться со мной «навсегда и по-настоящему». Я возразил было из принципа, что понимаю значение «прощания навсегда», но не знаю смысла выражения «прощаться по-настоящему» с замужней женщиной. Аделина ответила: «Не будь занудой, милый... Жду тебя в шесть у выхода метро „Петроградская“. Машину не забудь – поедem за город». Самоуверенности ей, конечно, не занимать. Может быть, взбрыкнуть и отказаться – что за дела, в конце концов, одолжение мне делать... Но потом решил, что действительно не надо быть занудой и чу-

даком с буквы «м». Я на самом деле не был уверен, что скрывается за этим «прощаться по-настоящему», но на всякий случай попросил нашу няню остаться с Витей до утра. Мы с Аделиной встретились и поехали на моей машине, как тогда – в день первого свидания, через Петроградскую по Приморскому шоссе.

Я назвал пароль: «Куда вас отвезти?», она дала ответ: «Везите, куда хотите». Это был наш секретный код, расшифровку которого знали только мы. «Ты хочешь поехать на Щучье?» – спросил я. Она ответила: «Нет, не хочу, я забронировала номер в гостинице Дома творчества в Зеленогорске, но сначала давай устроим прощальный ужин».

Я советские рестораны вообще-то не люблю... Если ты не из прибалтийских или очень богатых, то чувство собственного ничтожества не оставляет тебя от момента открывания входной двери ресторана до выхода из той же двери на улицу, да и потом остается поганое послевкусие. Презрение советского официанта к клиенту зарождается, когда тот делает свой ничтожный заказ, опасливо заглядывая в правую колонку меню. Другое дело, когда за сидящего за столом начальника заказ делает в сторонке кто-нибудь из его холуев или когда богатый клиент, не глядя в меню, с купеческим размахом говорит: «Неси всё, что есть». Презрение к рядовому клиенту достигает апогея, когда тот,

дикое обшчитанный, стараясь не глядеть в счет, чтобы, не дай бог, не обидеть официанта подозрением в жульничестве, платит указанную внизу счета сумму и мучительно думает, сколько дать на чай стоящему вразвалку у стола наглому вымогателю. Промямлив «спасибо», совок выбирается из-за стола с «чувством глубокого удовлетворения», что вся эта унижительная процедура за собственные деньги наконец-то закончилась.

Тогда в зеленогорском ресторане всё было иначе благодаря Аделине. Конечно, поначалу нас не пропустили. Массивный вышибала сказал, что «местов нету», хотя через стекло дверей мы видели, что зал полупустой — как обычно места держали для блатных. Аделина объяснила стражу, что если он немедленно не позовет администратора, то будет иметь дело с... Здесь она сделала такое лицо, из которого охранитель сам додумал, с кем он будет иметь дело, и в его глазах, до того бесчувственно глядевших вдаль поверх наших голов, появились признаки мыслительного процесса. Он просунул голову между створками дверей и позвал кого-то. Вскоре вышел представительный мужчина с осмысленным выражением лица. Аделина отвела его в сторону, показала какую-то бумажку и что-то тихо сказала, кивнув в мою сторону. Мужчина с любопытством взглянул на меня и широко

ким жестом пригласил в ресторан, где нам тут же дали отдельный столик в тихом углу. «Что ты ему сказала?» – сгорая от любопытства, спросил я. Аделина, оглядевшись, тихо объяснила: «Ничего особенного, не бери в голову... Я сказала, что разрабатываю тебя как американского шпиона по заданию госбезопасности... И что мне нужен уединенный столик без прослушки. Администратор понял, что я гэбэшная проститутка и... – сам видишь результат».

Тот вечер запомнился надолго... Хорошего коньяка не оказалось и пришлось пить водку – правда, холодную и под приличные закуски. Я попытался выложить все накопившиеся претензии – про поэтов, с которыми она мне «подло изменила», про невнимание к моим семейным делам, про американское замужество и много еще чего... Но Аделина предложила не заниматься взаимными претензиями, которых, как она сказала, у нее не меньше, чем у меня. Я собрался было возразить, но тут Аделина буквально обезоружила меня ключевой фразой того вечера: «Я хочу иметь последнее любовное свидание на родине с тобой... Вникни, милый друг, – последнее и только с тобой... Разве это не перекрывает все мои преступления перед тобой?» Я сломленно проговорил, что, мол, конечно, горжусь почетной ролью последнего из могикан, но сомневаюсь в истинности этой ро-

ли при наличии мужа и тому подобного... Она вспыхнула: «Оставь, Игорь, насчет мужа – это вообще не по теме», а потом сентиментально добавила: «Неужели ты, Уваров, так и не понял, что на родине я любила по-настоящему только тебя, а все остальные были из разряда временных увлечений или вынужденных посадок?» Остаток того вечера в ресторане прошел после этих слов Аделины замечательно. Мы танцевали танго, вспоминали счастливые дни на Колыме, она рассказывала о своих планах в Америке: «Устроюсь там, перетащу маму... Отец, как ты знаешь, скончался в этом году». Я спросил о Достоевском. Аделина сказала, что практически закончила рукопись исследования дневников писателя: «Теперь надо переслать ее на Запад, а в Америке я сразу же представлю работу, как диссертацию, в Йеле. Там интересуются такими исследованиями – я уже списалась с ними».

В гостиницу мы заявили в полночь. Это была единственная в Ленинграде и окрестностях гостиница, где можно было снять номер людям с ленинградской пропиской в паспорте, да еще не состоящим в законном браке. Сделать это было нелегко – спрос непомерный, но Аделина сделала... Девица на приеме забрала паспорта и, профессионально оглядев нас, сказала деловито, с пониманием: «Могу предложить комнату с душем, но там кровать только полу-

торная... Устроит вас?» Нас полуторная кровать – это странно-нелепое изделие советского мебельпрома – вполне устроила...

Утром, был воскресный день, Аделина захотела заехать ко мне домой. «Это еще зачем?» – удивился я. Она ответила: «Хочу посмотреть твоего сына. На память... Может быть, увижу его через много лет уже взрослым человеком». Витя встретил нас радостно, бросился мне на шею с криком: «Ура, Игорь пришел! Поедем на футбол, ты обещал...» К Аделине Витя отнесся с интересом – видно было, что красивая женщина ему нравится. Когда мы отпустили няню, Аделина вдруг спросила, обращаясь к нам обоим: «Угостите даму кофе?» Витя вопросительно уставился на меня. «Да, конечно, сейчас пойду приготовлю», – поспешно ответил я. «Нет, нет... Я сама приготовлю, а Витя мне поможет, – не правда ли, Виктор?» Витя, не спускаящий восхищенного взгляда с Аделины, согласно кивнул, и они ушли на кухню. В дверях Аделина сделала мне знак – мол, не мешай нам. Я остался в столовой, но невольно прислушивался к разговору на кухне. Аделина о чем-то расспрашивала Витю, он негромко отвечал. Вдруг она спросила громче, чем прежде: «Твой папа сам готовит тебе завтрак?» Я похолодел, представив самый худший из возможных ответов... Наступила тревожная тишина, потом звук пе-

редвигаемой посуды, и, наконец, Витя ответил, тоже громче, чем прежде: «Мне готовит няня... Мой папа ученый, у него нет времени готовить на кухне». Я замер в ожидании продолжения... Аделина снова спросила: «А уроки папа помогает тебе делать?» Вновь наступившая пауза перед Витиным ответом была решающей в моей судьбе. Он, видимо, сам волновался и произнес ее с легким заиканием: «Мой п-п-апочка всегда мне п-помогает». Это была победа – Аделина помогла сделать то, о чем я мечтал с первой встречи с сыном. Я бросился в ванную, чтобы скрыть свое потрясение от этого простого слова «папочка», смысл с лица холодной водой тревожные и всё еще непривычные для меня знаки запоздалой сентиментальности... Завтра же съезжу на могилу Кати – она должна знать, что у ее сына теперь есть подлинный папа.

Так прошло «прощание по-настоящему» с моей Аделиной. Ко всему незабываемому, что было у меня с ней, добавился этот самый незабываемый штрих с Витей. «Если и есть какая-либо замена любви, то только память о ней». У меня оставалась память, мы попрощались навсегда, и казалось, что это так и только так...

Третьей уехала в Израиль Аля. Так получилось, что из всех официальных вызовов из Израиля для семьи Кацеленбойген, до их квартиры дошел один-

единственный на имя Али. Было ли это издевательской уловкой компетентных органов или их случайным недосмотром по халатности, никто никогда не узнает, но именно так повернулось колесо судьбы. Арон в сердцах хотел выбросить документ в помойное ведро, но... Аля воспротивилась этому. Она внимательно вгляделась в красиво оформленный документ со всевозможными печатями, сказала, что выбросить его всегда успеется, и ушла в свою комнату. На следующий день, за ужином, Аля с этим документом в руках произнесла перед семьей историческую и судьбоносную речь, о которой мне потом много рассказывали со смесью горечи и гордости ее родители. Смысл этой, к сожалению, полностью утерянной речи можно передать следующими краткими тезисами. Тезис первый: она, Аля Кацеленбойген, приняла твердое решение воспользоваться внезапно предоставленной ей возможностью подать заявление на выезд в государство Израиль на постоянное жительство. Тезис второй: она не сомневается, что скоро получит разрешение, поскольку «у них нет абсолютно никаких формальных оснований отказать лично ей». Тезис третий: в Израиле у нее будет возможность немедленно добиться вызова остальных членов семьи, в том числе путем протестного обращения к известным сенаторам американского Конгресса. И тезис четвертый, как она сказа-

ла, самый главный: ее самостоятельный отъезд, учитывая папину ситуацию, является единственной возможностью сдвинуть с мертвой точки проблему эмиграции всей семьи, проблему будущего для Даника и т. д. Этот меморандум девушки вызвал семейную бурю. Арон разругал ее за безответственность и сказал, что отпустит девочку одну в чужую страну только через свой собственный труп. Наташа нервно расспрашивала дочь, как та видит свою жизнь в Израиле без семьи. Аля отвечала, что не пропадет – у нее уже есть там друзья по Ленинграду, что ей обещали помочь поступить на факультет общественных наук Бар-Иланского университета и даже получить там стипендию. «Да к тому же, – добавила она, – вас вскоре отпустят ко мне». Даник восхищенно смотрел на сестру и произнес только одно слово: «Круто!» Когда семейная перепалка закончилась и все отправились спать, Наташа пришла к Але, обняла ее, расплакалась и сказала: «Я знала, что таким будет твое решение, я горжусь тобой!» Потом постепенно все свыклись с тем, что Аля уедет одна.

Родители Али знали, что она тяготится всё больше и больше тем, что происходит в стране. После института Аля была распределена воспитателем в начальную школу для детей с ментальными проблемами. Она скоро поняла, что не любит свою работу, но

главное – ее ужасно угнетала совковая казенщина и в преподавании, и в отношениях в коллективе. Она едва не сорвалась однажды по совершенно пустому и глупому поводу. В тот раз за ней после работы зашел приятель, одетый совсем не по-советски с точки зрения немолодого, зацикленного на пресловутой «советской скромности» учительского коллектива. На следующий день директриса пригласила Алю в свой кабинет, показала ей план работы на следующую четверть, а потом неожиданно сказала: «Хотела задать вам, Алина Ароновна, один интимный вопрос, связанный с вашим вчерашним другом, уж простите... Меня, как старого партийца, интересуют, конечно, настроения современной молодежи...» Она замолчала, как бы ожидая согласия на интимную беседу, и Аля, напрягшись, ответила: «Конечно, Вера Сергеевна, задавайте...» И тогда директриса произнесла нечто совершенно немыслимое, никакому рациональному мышлению недоступное, но, разумеется, из совкового репертуара: «Могли бы вы, Алина Ароновна, отдаться мужчине, не признающему диктатуру пролетариата?» Вопрос был настолько невероятным, что Аля на мгновение потеряла дар речи. Потом подумала, что это шутка, но лицо начальницы было не просто серьезным – оно было ответственно серьезным. Оправившись от шока, Аля вдруг ощутила, как

боится эту старую партийную суку, для которой диктатура пролетариата, по-видимому, важнее всех человеческих чувств. Этот страх был вбит в поколения советских людей, и Аля почти автоматически поспешно ответила: «Конечно, нет, Вера Сергеевна...» Она потом рассказала об этом родителям – они посмеялись: «Можно себе представить, как эта рептилия проверяет перед каждым разом, не изменил ли ее мужик своих взглядов на диктатуру пролетариата». Но на Алю этот нелепый эпизод оказал совершенно неадекватное удручающее воздействие – она теперь презирала в себе тот непонятно откуда взявшийся страх. «Почему я не ответила ей достойно, почему не нашла правильные слова, чтобы поставить на место наглую окаменелую идиотку? Неужели этот страх поселился во мне навсегда? Бежать, бежать...» Ей разрешили выезд без задержки; были сборы, бесконечные обсуждения, что взять и чего не брать ни в коем случае, прощания, слезы, просьбы, обещания и проводы в аэропорту «Пулково» на рейс Ленинград-Вена. Арон категорически запретил мне ехать в аэропорт: «Там всех провожающих фиксируют, фотографируют и потом посылают информацию на работу. Тебе это абсолютно ни к чему...» Я согласился, что ни к чему: «Ты, Арон, кажется, начал понимать природу Совка, и меня это радует».

Для Арона и Наташи с отъездом дочери настали нелегкие времена. Арон не стал дожидаться доносов, а сам пошел в партком института и чистосердечно донес на самого себя, что его дочь уехала в государство Израиль. Партком по достоинству оценил «честный поступок» Арона и тут же учредил общее собрание коммунистов факультета для обсуждения «персонального дела коммуниста А. М. Кацеленбойгена».

У меня сохранилось подробное описание этого собрания, сделанное по рассказам очевидцев. Я собрался было досконально воспроизвести его здесь для потомков, начав эпически: «Собрание началось...» Но вдруг мне стало ужасно противно делать это, да и читателям, подумал я, уже, наверное, опостылело вникать в подобный совковый бред. Знаю по себе: когда пытался из любопытства читать протоколы средневековой инквизиции, то очень скоро уставал от этого идиотского занудства. В русском языке есть замечательное слово «мракобесие» — выразительное, емкое, бьющее наотмашь. Бывает мракобесие религиозное и бывает мракобесие атеистическое. Совковое мракобесие объединяло в себе и то, и другое под крышей «единственно правильного» мракобесного учения, сдобренного патристическим пафосом, заостренным на любовь к вождю. Испытывая отвращение, исключительно для цельности картины,

приведу тем не менее максимально сжатое изложение того собрания.

Итак, собрание началось с выступления секретаря парткома факультета – доцента и кандидата наук, к слову сказать. Он объяснил коммунистам, что дочь профессора А. М. Кацеленбойгена, предав родину, уехала в государство Израиль, которое, как известно, является «центром мирового сионизма, оплотом еврейского буржуазного национализма и агентурой американского империализма». Секретарь подчеркнул, что задача парторганизации – перекрыть все пути проникновения ползучей сионистской заразы в наши ряды. Затем было предоставлено слово «виновнику торжества». Арон очень кратко сказал примерно следующее: его дочь – взрослый самостоятельный человек; это исключительно ее выбор, на который он как отец повлиять никак не мог; ее отъезд вызван чисто личными причинами и не имеет никакого отношения к сионизму. На заданный из зала вопрос, осуждает ли он поступок дочери, обвиняемый повторил, что это не его выбор, и не имеет никакого значения, осуждает он этот не свой выбор или нет. Арон отказался осудить дочь, как того требовал от него зал, и ограничился тем, что «огорчен отъездом дочери». Выступавшие после него подчеркивали, что коммунист А. М. Кацеленбойген не осознал чудовищности преда-

тельского поступка своей дочери, которой советский народ дал образование и работу по специальности, и требовали исключить его из партии. Еще все единодушно просили администрацию уволить профессора из института: «Человек, не сумевший воспитать свою дочь честным гражданином нашей социалистической Родины, не может быть допущен к воспитанию молодежи». Особенно сильное впечатление произвело выступление доцента Рабиновича. Он сказал, что каждый советский человек еврейской национальности должен внести свой личный вклад в борьбу с сионизмом. «Мои дочери, – подчеркнул доцент, осуждающе обратившись в сторону Арона, – замужем за людьми с исконно русскими фамилиями. Так они воспитаны, и я счастлив, что являюсь последним Рабиновичем в нашем роду. Таков ответ моей семьи сионизму». Выступивший последним ректор института попытался смягчить безжалостно суровый настрой коммунистов. Он сказал, что не согласен с тем, что Арон Моисеевич якобы чего-то не осознал: «Товарищ Каценбойген не пытался скрыть случившееся в его семье, он сам поделился с товарищами по партии своей бедой». Далее ректор пояснил, что товарищ Каценбойген, безусловно, будет отстранен от преподавательской работы с пересмотром его должностных обязанностей, но рекомендовал по партийной линии

ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело. «Сами знаете: дети, к сожалению, не всегда слушаются нас», – резюмировал ректор. Вспомнив о своих непутевых детях, коммунисты единогласно согласились с ним.

Вскоре после этого собрания Арона отстранили от чтения лекций и перевели с должности профессора кафедры на должность ведущего научного сотрудника моей лаборатории – так я внезапно стал начальником своего учителя и научного шефа. Нельзя не признать, что репрессивные меры партии в отношении Арона послужили на пользу отечественной науке, – он мог теперь полностью посвятить себя нашим научным разработкам. За несколько лет до отъезда Арона мы сделали очень много и в публикациях, и в оформлении ряда технических идей, которые впоследствии получили развитие и широкое использование в реальных системах. Я знал, что в библиотеке института будут уничтожать книги Арона, и, чтобы предотвратить это, превентивно забрал всё в лабораторию. Но предотвратить вымарывание ссылок на его книги и учебные пособия из лекционных программ я, конечно, не мог...

Впрочем, близился естественный конец всему этому мракобесию, наступали удивительные, наверное, уникальные времена в истории России – стреми-

тельная ломка всех советских отношений и совковых принципов, неоднозначное, противоречивое, сложное время на острие бритвы... Академик Андрей Сахаров был возвращен из ссылки, и ему позволили съездить за границу, где он встречался с лидерами западных стран. Вопреки партийным установкам академика избрали делегатом Первого Съезда народных депутатов; с трибуны Кремлевского дворца съездов он публично осудил Афганскую войну – немыслимое прежде дело, и делегаты-коммунисты клеймили его как изменника родины... Но их время было на исходе – председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин выложил свой партбилет на стол президиума последнего съезда КПСС. Начался спонтанный массовый выход коммунистов из партии. Привыкшие к постоянному дефициту продуктов советские граждане внезапно поняли, что знакомая им на протяжении десятилетий нехватка товаров – еще цветочки по сравнению с созревшими в недрах развитого социализма ягодками... Ввели карточки на водку, муку, макароны, крупы, сахар, подсолнечное масло и тому подобное – по ним один раз в месяц можно было приобрести строго ограниченное количество означенных товаров. Сосиски, которые прежде можно было, дождавшись своей очереди, взять с применением бойцовских качеств, теперь совсем исчезли. Можно было, конечно,

отстояв в очереди, купить без талонов подгнившие картошку и капусту. В провинциальных городах молодые люди узнавали о рыбе и мясе из воспоминаний стариков, а в столицах появились прежде невиданные рыбные особи под странными названиями – прости-пома, бельдюга, путассу, хек, о которых раньше знали только коты, а также ледяная рыба с белой кровью. Дожившие до развитого социализма немногочисленные петербургские интеллигентки с аккуратными седыми буклями неодобрительно относились к гастрономическим экспериментам советской власти и выражали свое недовольство сдержанно, но очень конкретно: «Раньше были сиги и карпы, а теперь бельдюги и простипомы». Витрины и прилавки магазинов имели устрашающе голый вид; для поддержания остатков оптимизма на них были разложены элегантные пирамиды из спичечных коробок и банок с морской капустой. Те, кто попробовал съесть содержимое этих банок, рассказывали, что это гадость... Жесткая партийная узда слабела, размывалась твердая почва под ногами властных структур, хоть как-то сдерживавших выхлопы низменных народных инстинктов, и на поверхность образовавшегося болота выползли многочисленные фашистские организации. В Румянцевском саду на набережной Невы собирались антисемиты, обвинявшие во всех бедах России международ-

ный сионистский заговор против русского народа. Народное юдофобство выползло на свет божий в самых неожиданных и отвратительных формах.

Наташа рассказывала... В очереди за капустой перед ней стояла усталая немолодая женщина еврейской внешности; цветущая продавщица взвесила ей явно гнилой кочан капусты; женщина попросила заменить его; продавщицу перекосило от злобы: «Не добил всю вашу породу Гитлер...» Женщина заплакала и хотела было уйти, но Наташа остановила ее и заставила продавщицу взвесить нормальный кочан капусты – будни развитого социализма.

– Как тебе это удалось? – спросил Арон Наташу. – Ты объяснила ей, что она фашистка?

– Нет, не объяснила, потому что это бесполезно. Я ей объяснила всё на понятном такому быдлу языке.

– Нельзя ли полюбопытствовать, что ты ей всё же сказала?

– Это повторить в приличной компании затруднительно. Мне самой было потом стыдно, я не подозревала, что знаю такие ужасно грубые слова...

– Не мучай нас неизвестностью, Наташа, – вступил я в разговор. – Пополни наш словарный запас на случай борьбы с фашизмом.

– Прошу прощения, но из песни слова не выкинешь... Я сказала, что если она, курва блядская,

немедленно не даст женщине нормальный кочан капусты, то я ее, говносерку, за воровство капусты в органы сдам.

– Пользуясь терминологией молодежи, могу сказать: «Прикольно!» И что – помогло?

– Еще как... Без слов выбрала отличный кочан капусты, да еще извинилась... Вот так, оказывается, надо «беседовать» с фашистами.

Этот разговор о совковых фашистах получил любопытное продолжение. Мне неожиданно позвонил Артур Олегович: «Надо встретиться – нетелефонный разговор». Мы договорились встретиться у входа в Университет на набережной Невы. Я поставил свою машину за углом, на тихом бульваре вдоль старинного здания Двенадцати коллегий, завернул на набережную и увидел Артура, поджидавшего меня у своего черного лимузина. Мы давно не виделись, Артур несколько обрюзг и выглядел в своем официальном сером костюме с голубым галстуком старше своих лет. Наверное, он тоже подумал, как я постарел. Артур сказал шоферу: «Коля, поехали к заливу, там на набережной за „Прибалтийской“ мы с Игорем Алексеевичем погуляем». Мы сидели на заднем сиденье лимузина перед выдвижным столиком, на котором стояли бутылка коньяка и две рюмки. Артур жестом пригласил выпить, я жестом же показал, что не хочу. Про-

ехали мимо Румянцевского садика – там, как всегда, митинговали фашисты. Артур закрыл стеклянную перегородку с шофером и сказал:

– Видишь, Игорь, что получается... Разрешили собрания – и тут же выползли откуда-то фашисты; отменили контроль ОБХСС, разрешили предпринимательство – и все стали воровать... Наш народ только так и понимает демократию. Не спешим ли мы с реформами?

– Не знаю, Артур... Но знаю, что фашисты выползли не «откуда-то», а из нашего советского бытия – думаем одно, говорим другое, делаем третье... Выполнили из нашего вранья и лицемерия – лет сорок государство одной рукой проводит последовательную и жесткую политику ограничения прав евреев, а другой расписывает равенство и братство народов. Говорят, что этих фашистов возглавляет бывший советский офицер. На политзанятиях его учили интернационализму, после занятий он читал в газете о сионистском заговоре, а в жизни видел, как офицеров-евреев увольняют из армии. Последнее он, наверное, вполне одобрял, но помалкивал до поры до времени. Чего же еще ждать от него теперь, когда дали возможность раскрыть рот?

– Об этом я и говорю... В Советском Союзе антисемитизм был в строгих рамках государственной по-

литики, и все знали эти рамки. А главное – государство никому не позволяло брать на себя его функции, жестко пресекало любые проявления уличного антисемитизма. А теперь он стал стихийно народным, как ты видел... Не знаю, что хуже... Для евреев, думаю, госантисемитизм лучше погромно-народного.

– Может быть, и лучше, пока он не превращается в геноцид – гитлеровский, сталинский...

– Спешим, спешим, Игорь... Многие поторопились из партии выйти, а ведь она при всех издержках обеспечивала элементарный порядок. Такого, что мы с тобой только что видели, даже представить себе было невозможно.

– Ты мне, Артур, про партию-то лапшу на уши не вешай... Лучше скажи, что в нашем родном ящике делается...

– Стараюсь не увольнять, держимся пока, но... из последних сил. В основном на старых заказах – на новые военные не хотят раскошелиться. Да и понятно – денег у них самих нет...

– Что с «Тритоном»?

– «Тритон» вернули для доработки, не прошел тесты на Камчатке. Ты же увильнул от этой работы – вот и результат.

– Не я увильнул, а меня «увильнули». По указке... пardon... по указанию твоей партии, между прочим...

Так мы доехали до гостиницы «Прибалтийская», вышли на набережную к воде, солнечный шар в дымке садился в неглубокий Финский залив. Я сказал: «Ни за что не поверю, что ты пригласил меня, чтобы обсудить советский фашизм и реформы. Что случилось?»»

– В продолжение нашего разговора о делах на предприятии... Вижу, что оборонные заказы сходят на нет, предвижу – нам придется осваивать какую-то коммерческую продукцию вплоть до бытовой электроники. Поэтому решил поговорить с тобой: не вернуться ли нам к твоему проекту в сугубо невоенной оболочке?

– Как ты себе это представляешь? Откуда возьмется финансирование? Наше государство даже в его благословенные времена отказалось от этого проекта... «Где деньги, Зин?»»

– Пока у меня есть возможность финансировать проект из собственных резервов, а дальше посмотрим...

– Извини, Артур... «Ты, Зин, на грубость нарываешься»... Чего же ты раньше не поддержал мой проект? А теперь, когда жареный петух клюнул...

– Оставь, Игорь, эти разговоры – тогда было другое время. А сейчас и в Министерстве задумались, чем кормиться... Я рассматриваю твой проект как реальный вариант развития предприятия в новых условиях.

Конечно, если ты согласишься вернуться.

– У меня лаборатория в вузе – ты знаешь, Артур. Мне, как понимаешь, сложно всё это бросить, тем более я разуверился в возможностях не только твоего богоугодного заведения, но и системы в целом...

– Система, Игорь, меняется... Причем не в пользу вузовских лабораторий, подобных твоей. Не хочу быть черным прорицателем, но имей в виду: вся система финансирования таких лабораторий рушится. Поэтому, может быть, самое время тебе с костяком лаборатории из двух-трех человек перейти ко мне... не ждать коллапса...

– Не думаю, что сейчас найдутся желающие оформлять допуск к секретности. А что прикажешь делать с моим сотрудником Ароном Моисеевичем, у которого, как ты знаешь, дочь уже в Израиле?

– Мы можем оформить абсолютно несекретную лабораторию... Короче, Игорь, все эти оргвопросы решаемы, у меня сейчас больше власти, чем раньше, – центр ослаб. Я тебе предложение сделал, подумай, не упusti этот шанс. Поверь мне: в складывающейся системе ты в вузе не выживешь...

– Хорошо, Артур, спасибо – я подумаю.

Мы поговорили еще о жизни, вспомнили Ивана Николаевича... Артур вдруг сказал: «Передай мой совет Арону Моисеевичу: не надо уезжать, здесь такие

интересные времена начинаются, и его голова будет очень востребована». Я кивнул неопределенно... На обратном пути снова проехали мимо Румянцевского сада. Там всё еще витийствовали фашисты – в наступающей темноте, с факелами это выглядело жутким, плохо поставленным спектаклем. У тротуара стоял человек с плакатом «Россия без жидов». Я съязвил: «Похоже, что для Арона Моисеевича здесь действительно наступают, как ты справедливо заметил, очень интересные времена». Артур сказал мрачно-задумчиво как бы не мне, а про себя: «Это всё будет только расти и расширяться». Я вздрогнул – предсказания Артура имели свойство сбываться... Мы свернули на Менделеевскую линию, остановились у моей машины. Артур вышел из лимузина вместе со мной и произнес нечто совсем уж из ряда вон выходящее:

– Боюсь, Игорь, что эти игрища в Румянцевском саду просто так не кончатся. У меня есть сведения, что они готовят еврейский погром. Поверь – источник вполне серьезный... Собирают адреса видных евреев... Не знаю, что взбредет в голову фанатикам.

– Неужели это серьезно? Что мы можем сделать?

– Предупреди Арона Моисеевича, пусть они будут осторожны... Мне неловко говорить ему о подобных вещах, мы давно не общались, а ты работаешь с ним. Предупреди, пожалуйста, не называя меня... Как мож-

но скорее предупреди.

– Когда отморозки готовят погром?

– Кто знает... Говорили об этой субботе, то есть послезавтра. Предупреди...

– Сделаю, конечно... завтра же утром и сделаю. Скажи откровенно, Артур, ты вызвал меня конкретно ради этого предупреждения?

Он взял мою руку, пожал ее и долго не отпускал: «Ради этого тоже...» Кажется, между нами никогда не было такого понимания и теплоты. Потом Артур молча сел в свой лимузин и уехал.

Я плохо спал той ночью. Как сказать о еврейском погроме Арону? Это же немыслимо для него... Может быть, лучше сказать Наташе? А может быть – это всё чудовищный блеф черносотенцев, возомнивших себя хозяевами земли русской? На следующий день на работе я спросил у Арона, какие у них с Наташей планы на субботу и воскресенье. Он ответил, что ничего особенного – сам будет работать дома, а Наташа с Даником собираются пройтись по магазинам. И тогда я вдохновенно соврал, что у меня в квартире будут перекрашивать потолок, что Томаса я сдам на пару дней соседям, а сам с Витенькой хотел бы два дня и две ночи перекаптоваться у них. Арон сказал, что Наташа и Даник будут рады...

Так мы с Витей оказались в квартире Арона и На-

таши со странной и нам самим малопонятной охранительной миссией. Мы не оставляли их ни на минуту, мы ходили с Наташей и Даником в магазины, в библиотеку, съездили на прогулку в Летний сад. Арон заканчивал большую статью и не выходил из дома, а я звонил ему изо всех попадавшихся по дороге автоматов, прикрываясь надуманными мыслями о нашей работе, которые якобы внезапно пришли в голову. Наташа удивлялась этому – она, кажется, начала подозревать что-то неладное в моем поведении. Ночью я спал отрывочным, беспокойным сном, просыпаясь от всякого постороннего звука.

Я рассказал о предложении Артура перейти с лабораторий под его крышу. Реакция Арона была вполне предсказуемой. Первое – он не собирается никуда переходить и ставить тем самым кого-то, тем более Артура, в неловкое положение, потому что у него, как известно, совсем другие планы; второе – это отнюдь не значит, что мне следует отказаться от предложения Артура.

– В чем Артур абсолютно прав – вузовскую науку ждут тяжелые времена, и мало кто здесь выстоит. Поэтому подумай о предложении Артура серьезно.

– Ты веришь в возможность возрождения нашего проекта под крышей Артура?

– Честно говоря, не верю... но совсем не потому,

что крыша плоха. Я в целом не верю в развитие таких гигантских предприятий в складывающихся условиях. Они культивировались властями совершенно искусственно в плановой экономике, на сто процентов ориентированной на внутреннее военное производство. В рыночной экономике они либо обанкротятся, либо изменят радикально свою продукцию.

– Об этом Артур и говорит – перейти к разработкам «в сугубо невоенной оболочке».

– Не думаю, что Артур сможет предложить что-то конкурентоспособное на свободном рынке в «невоенной оболочке».

– Зачем же ты, Арон, агитируешь меня ввязаться в эту неконкурентоспособную авантюру?

– Никто тебя не агитирует, я предлагаю подумать. Альтернативой является разработка здесь у нас, в нашей маленькой вузовской лаборатории, реального продукта, на который найдутся покупатели.

– Ты полагаешь, что мы справимся с тем, с чем не справится Артур с его огромным ресурсом?

– Ты, конечно, слышал о стартап-компаниях, это обычно несколько человек в одной комнатенке или даже в гараже. Так начинался огромный «Хьюлетт-Паккард», так начинал Уолт Дисней. В таких гаражах и рождались великие новые технологии...

– Не представляю ничего подобного в наших усло-

виях, при социализме...

– А ты представь...

Мы потом обсуждали разные пути развития нашей лаборатории в условиях рыночной экономики. Творческий вулкан Арона, казалось, был неиссякаем. Он предложил несколько вариантов – все на основе имеющегося у нас научного задела. Договорились обсудить это подробно с коллегами в лаборатории. А я еще самонадеянно подумал: если бы не наши идиоты, мы с Ароном действительно могли бы сделать российский «Хьюлетт-Паккард», в смысле «Кацеленбойген-Уваров»...

Утром в понедельник все собрались за завтраком. По телевизору передавали в записи вчерашнее интервью с Борисом Ельциным. Корреспондент спросил: «Из Ленинграда сообщают, что там якобы готовится еврейский погром. Что намерено предпринять в этой связи руководство Российской Федерации?» Ельцин поморщился и проговорил: «Ну уж прямо – погром... Не надо преувеличивать...» Наташа посмотрела на меня, всплеснула картинно руками и воскликнула: «Боже... Ты, Игорь, даже ни разу не поинтересовался, как покрасили твой потолок. А ведь теперь абсолютно ясно, что хорошо покрасили, просто замечательно покрасили...» Арон сказал: «При чем здесь потолок? Ничего не понимаю...» Она рассмеялась: «Да

нет, конечно, ни при чем... Просто вдруг вспомнила о потолке... Вот Ельцин вспомнил о погроме...» Арон пробурчал: «Чушь какая-то...»

Потом, когда Арон вышел, Наташа, обращаясь к нам с Витей, сказала с улыбкой, которая много лет сводила меня с ума: «Спасибо вам, молодые люди, за поддержку. Это было очень трогательно, хотя и достаточно глупо...» Она расцеловала нас и, прижавшись ко мне щекой, произнесла: «Только не говори ничего Арону». Я давно не был так счастлив, Витя тоже...

Глава 16. Санкт-Петербург

*Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке холодной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!...» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,*

*За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.*

Александр Пушкин, «Медный всадник»

Петербург, Петербург!

*Осаждая туманом, и меня ты
преследовал праздною мозговою игрой: ты
– мучитель жестокосердый: но ты –
непокойный призрак... бегал и я на твоих
ужасных проспектах, чтобы с разбега
вбежать на этот блистающий мост... За
Невой теперь вставали громадные здания
островов и бросали в туман заогневевшие
очи... Набережная была пуста... Справа
поднимали свои этажи Сенат и Синод.
Высилась и скала: Николай Аполлонович с
каким-то особенным любопытством глаза
выпучил на громадное очертание Всадника...
Зыбкая полутьма покрывала всадниково
лицо; и металл лица двусмысленно улыбался.*

*Вдруг тучи разорвались, и зеленым
дымком распявшейся меди закурились
под месяцем облака... На мгновение всё
вспыхнуло: воды, крыши, граниты; вспыхнуло
– Всадниково лицо, меднолавровый венец;
много тысяч тонн металла свисало с
матово зеленеющих плеч медноглавой
громады; фосфорически заблестали и литое
лицо, и венец, зеленый от времени,
и простертая повелительно в сторону
Николая Аполлоновича многопудовая рука;*

в медных впадинах глаз зеленели медные мысли; и казалось: рука шевельнется, металлические копыта с громким грохотом упадут на скалу и раздастся на весь Петербург раздробляющий голос: «Да, да, да... Я гублю без возврата»... Тучи врезались в месяц; полетели под небом обрывки ведьмовских кос. Николай Аполлонович с хохотом побежал от Медного Всадника: «Да, да, да... Знаю, знаю... Погиб без возврата...»

По пустой улице пролетел сноп огня: то придворная черная карета пронесла ярко-красные фонари, будто кровью налитые взоры; призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев пролетели с огнем из тумана в туман.

Андрей Белый, «Петербург»

«Пришли иные времена, взошли другие имена...» — писал наш современник поэт Евгений Евтушенко. Санкт-Петербург стал Ленинградом. Вместе с «придворными черными каретами с ярко-красными фонарями» ушли в небытие страхи перед имперской мощью великого города, а вместе с ними рассеялся призрак «медноглавой громады», преследующей несчастных интеллигентов в их нелучшие часы. Медный всадник стал тем, чем он на самом деле был всегда — самым блистательным монументом из созданных человеческим гением. Фантастические

призраки «придворных черных карет» заместились вполне реальными «черными Марусями», под шинами которых «безвинная корчилась Русь». «Ленинград! Я еще не хочу умирать...» – вырвался стон у великого поэта, вскоре погибшего «под кровавыми сапогами» сталинских палачей на грязном пересыльном пункте Дальстроя. А потом опять «пришли иные времена» – страшная война. Ленинградские дистрофики с почерневшими от голода лицами и заледенелые трупы ленинградцев на набережной Невы у Медного всадника стали новыми символами мук человеческих, а написанная в блокадном городе Ленинградская симфония – вестником Великой победы над фашизмом...

Пришли, однако, иные времена... Ленинград снова стал Санкт-Петербургом, и зыбкая, сюрреалистичная история города с этим странноватым названием продолжается... Основатель христианства и первый Римский папа Святой апостол Петр, именем которого назван город, вместе с апостолом Павлом запечатлен в названии Петропавловского собора – главной усыпальнице российского прошлого... А истинный основатель города, «простерши руку в вышине», по-прежнему и неизменно «Россию поднимает на дыбы» перед гигантским Исаакиевским собором, и туристы со всего мира толпятся вокруг

«медноглавой громады»...

Мистика старого имперского Петербурга давно исчезла, но болезненно притягательная, фантастическая красота его колоннад, шпилей, куполов, садов, решеток, бесчисленных мостов и вод в граните отнюдь не померкла, а, напротив, предстала во всем блеске, усиленном иррациональной современной подсветкой. Туристы, приезжающие посмотреть на чудо петербургских дворцовых ансамблей и роскошных парков в сезон белых ночей не знают, однако, что истинный Петербург можно познать только осенью, на исходе листопада под мелким петербургским дождем, искажающим перспективу и превращающим городские пейзажи в живые расплывающиеся импрессионистские картины. Прекрасные, призрачные, трогательные и влекущие живые картины с загадочными женщинами – томящими, смутными видениями... Вот в наступающей темноте, под клочковатыми черными тучами, по пустынной огромной площади с подсвеченной, блистающей и распадающейся под дождем громадой Исаакиевского собора идет стройная молодая женщина под цветным зонтиком. Косые струи дождя отражают, размывают свет фонарей и причудливо расцветчивают ее фигуру... И внезапно ты понимаешь, что это идет Она – петербургская Незнакомка

из поэмы Александра Блока, идет, как сто лет назад, в вечности – «и каждый вечер в час назначенный, иль это только снится мне». Да, да, конечно, – «дыша духами и туманами... всегда без спутников, одна...», всегда под этим бесконечным невым дождем...

* * *

В августе 1991 года мы с Ароном были на конференции по теории кодирования в курортном городе Гагра на берегу Черного моря. Оргкомитет конференции старался разбавить сухую математическую сущность этого мероприятия влажной субтропической экзотичностью места его проведения. Место здесь фантастически красивое – узкая полоска субтропического парка между горным хребтом и морем. Всё протекало замечательно, но рано утром 19 августа в номере гостиницы раздался звонок нашего доброго приятеля из местных грузин. «Включите телевизор», – сказал он. Я пытался отговориться – мол, мы еще не вполне проснулись и, вообще, зачем телевизор... Тогда наш друг сказал, что президент страны снят и власть в Москве захватила группировка во главе с вице-президентом. В созданный путчистами Государственный

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) вошли председатель Совета Министров, председатель КГБ, министр обороны и министр внутренних дел, а в Москву, Ленинград и другие крупные города страны вводятся войска. Больше никаких подробностей он не знал, и я немедленно включил телевизор. По всем каналам передавали заявление ГКЧП о введении в стране чрезвычайного положения. Ничтожный глава комитета с трясущимися руками сетовал на тлетворное влияние Запада – выезжающие за границу советские люди, дорвавшись до импортных шмоток, позорят советский общественный строй. Закрывать и не пущать! А потом по всем каналам стали передавать балет Чайковского «Лебединое озеро», но и без балета была ясна общая направленность путча. Мы с Ароном позвонили в местное отделение «Аэрофлота» с просьбой переоформить наши билеты в Ленинград на сегодняшний день, но билетов ни на сегодня, ни на ближайшие дни не было. Позвонили приятелю с просьбой помочь нам уехать. Он перезвонил через полчаса и сказал, что может достать два плацкартных билета на сегодняшний поезд Сухуми-Ленинград. Мы с Ароном переглянулись и согласились – оставаться здесь в создавшейся обстановке было невыносимо...

В поезде на протяжении двух суток мы не имели никакой информации о событиях в Москве и Ленинграде

– приемника у нас не было, а поездное радио не работало. Стоя у окна в коридоре, мы потихоньку обсуждали ситуацию, и картины одна другой мрачнее рисовались нам: этот путч не может быть неуспешным, ибо нет в стране таких сил, которые могли бы противостоять совместным действиям правительства, армии, КГБ и милиции, а если это так, то страна возвращается к коммунистической диктатуре, железный занавес снова опускается, чтобы возродить и оградить от остального мира гигантский советский концлагерь. Нам представлялось, что лидеры реформ – Борис Ельцин в Москве и Анатолий Собчак в Ленинграде – уже арестованы, а может быть, расстреляны. На каждой станции мы приставали к первым попавшимся прохожим и станционным служащим с одним-единственным вопросом: «Что в Москве?» Нас потрясла индифферентность народа к происходящему – большинство вообще не знало, что в Москве что-либо происходит, а немногие знавшие отвечали невнятно и незаинтересованно. Народ, превращенный десятилетиями тоталитарного режима в стадо манкуртов, абсолютно не интересовался своим будущим – это убеждало нас в правильности наших горьких предчувствий. «О заграничных поездках можно забыть», – мрачно констатировал Арон. Я с наигранным оптимизмом пытался успокоить его – всё, мол, в

мире относительно и временно, и Совок тоже не может быть вечным, но Арон сказал: «Мы с Наташей уже никогда не увидим свою дочь... просто не доживем до того времени, когда кончится это невечное». В его словах было столько горечи...

Мы приехали в Ленинград 21 августа в самом мрачном настроении в ожидании самого худшего. Не исключали обыска и задержания прямо по приезде... На перроне вокзала оказался человек с раскрытой газетой «Вечерний Ленинград» в руках. Подскочив к нему и бестактно заглянув через его плечо, мы увидели на первой полосе огромный заголовок «Янаева – к суду!»

У меня перехватило дыхание, я обнял Арона – советский коммунистический режим рухнул окончательно и бесповоротно.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Это слова Анны Ахматовой... Большевики расстреляли ее мужа, посадили сына, а ее саму травили всю жизнь. Эти слова относятся и к нам. Мы, к несчастью, прожили большую и лучшую часть нашей жизни при одном из самых мракобесных режимов в истории человечества, мы стали замшелыми пессимистами, мы

перестали верить в свой народ. Но вопреки нашим мрачным и страшным прогнозам люди в Москве и Ленинграде вышли на улицы и предотвратили возврат к тому мракобесию. Им опостылело быть стадом баранов, за которых всё решают несколько ничтожеств, вознесенных к власти в результате противоестественного партийного отбора. Нам обрыдло, мы не быдло, быдло – не мы, быдло – они! И вооруженные до зубов мракобесы были бессильны перед нами...

Что нас ждет впереди? Один очень умный классик говорил: «Если вы хотите построить социализм, сделайте это в стране, которую вам не жалко». Нашим предкам было не жалко ничего и никого, даже себя самих, – они построили социализм в России. На наших глазах построенный здесь и противоестественно навязанный половине человечества социализм рухнул. Что же нас ждет впереди? Мы наивно думали только про светлое и доброе... Мы верили: будущие поколения непоротых россиян с отвращением отвернутся от того, с чем пришлось жить нам...

Собственно говоря, вот и всё!

На этом месте история с развитым социализмом заканчивается, а история с кругосветным путешествием давно уже закончилась, и мне тоже пора закругляться. Обе истории начались для героев нашей повести в Ленинграде, а закончились в Санкт-Петербур-

ге, и в этом, наверное, их глубинный смысл. Всё, что случилось потом, – это, как говорят, совсем другая история, и пусть о ней расскажут другие.

Я не собираюсь утомлять читателей подробностями своей биографии, а то, что хотелось рассказать, уже рассказано. Осталось сделать еще пару штрихов для завершения этой хроники – чтобы судьбы упомянутых здесь героев повести не повисли в воздухе...

Арон с Наташей и сыном Даней вскоре эмигрировали в Израиль по вызову дочери Али без каких-либо затруднений – новые российские власти негласно признали, что все советские научно-технические секреты являются секретами Полишинеля и выеденного яйца не стоят. Арон сразу по прибытии получил позицию профессора в хайфском Технионе и уже через полгода читал лекции на плохом иврите в смеси с плохим английским. Наташа там же устроилась в биологическую лабораторию. Она оказалась способнее мужа к языкам и говорит на иврите бегло и почти без акцента. Арон довольно быстро возродил на исторической родине свою научную школу, уверенно вошел в десятку крупнейших специалистов в мире в нашей области науки и техники, получил несколько престижных наград в Израиле и за рубежом. Его лаборатория в Технионе работает с крупнейшими израильскими и американскими компаниями. По существу, Арон сов-

местно с этими фирмами завершил тот проект цифровых радиосистем, который мы с ним и Иваном Николаевичем когда-то начинали, отчаянно и безнадежно защищали, но так и не сумели осуществить на своей родине. Материализованные отголоски этого едва ли не самого масштабного проекта века можно увидеть в руках сотен миллионов людей во всех уголках планеты, не мыслящих жизни без них и не имеющих ни малейшего понятия, как это всё работает. Сын Арона и Наташи Даня служил в израильской армии, затем учился в университете и получил степень мастера в компьютерных науках. Он хочет продолжать военную карьеру и готовится к поступлению в военную академию, скорее всего, в Англии. Арон считает, что у его сына блестящее будущее в командном составе элитных израильских подразделений. «Он будет израильским генералом», – сказал мне Арон с неожиданным пафосом. Аля вышла замуж за сабра, то есть за израильянина, родившегося в этой стране, у них уже двое детей. Она красива, как мама, и умна, как папа. После учебы в университете Аля работала в израильских профсоюзах, а теперь быстро делает политическую карьеру – Наташа считает, что через пару лет ее дочь будет баллотироваться в Кнессет.

Иван Николаевич своевременно вышел из партии еще до августа 1991-го – прежний гарант неограни-

ченных милостей природы становился обузой. Ваня раньше многих своих бывших партийных коллег уловил, куда ветер дует. При первых же подходящих дувениях он приватизировал вверенный ему партией мясокомбинат в Оренбургской области, стал его директором-владельцем и преобразовал в крупнейшую в Предуралье процветающую фирму по производству мясных продуктов. Он женился второй раз, у него, по последним сведениям, трое детей. Вилла Ивана Николаевича на берегу впадающей в Волгу реки Самары, среди роскошного сада с бассейнами, фонтанами и павлинами, как рассказывают, напоминает дворец Гаруна аль-Рашида из «Сказок тысячи и одной ночи». Валентина Андреевна – как вы помните, первая жена Ивана Николаевича, воистину сотворившая его, – скончалась вскоре после описанных здесь событий. Она оказалась из тех творцов, кто не может жить без любви своего творения. Иван Николаевич, нужно отдать ему должное, установил на свои деньги огромный великолепный памятник Валентине Андреевне на ее могиле в Санкт-Петербурге. Рассказывают еще, что большой портрет Валентины Андреевны, написанный местным художником по фотографии, висит в гостиной Ваниного особняка... Удивительно и трогательно, что Ваня не забывает, кто придал ему, парнишке из глухой новгородской деревни,

ускоряющий жизненный импульс в ложе Большого театра, обитой золотом и малиновым бархатом...

Валерий Гуревич с женой недолго жили в Израиле, а потом переехали в Америку. Там ему предложили работать в знаменитом Институте перспективных исследований в Принстоне – это было из тех предложений, от которых, как говорят, невозможно отказаться. Я не раз бывал в гостях у Гуревичей – у них в Принстоне двухэтажный дом в колониальном стиле с бассейном и большим садом на берегу живописного ручья. Приехав первый раз в Америку, я поспешил в Принстон, чтобы встретиться с Валерой и, конечно, посмотреть места, где работал Альберт Эйнштейн. Сообразуясь с российской традицией, я ожидал многочисленных памятных знаков на тему пребывания здесь великого ученого, но ничего подобного не нашел. Сопровождавший меня Валера только пожимал плечами и таинственно разводил руками по поводу моего недоумения. В конце концов он пригласил меня в свой кабинет на втором этаже исследовательского корпуса института. На дверях кабинета была табличка «Dr. Valery Gurevich». Прежде чем пригласить меня войти Dr. Valery Gurevich нарочито буднично сказал: «Кстати, Эйнштейн работал в следующей по коридору комнате». Я ринулся было туда, но Валера остановил меня: «Туда сейчас нельзя... Там рабо-

тает профессор Смит». Действительно, на соседних дверях было крупно обозначено имя профессора, а под ним – маленькая бронзовая табличка «Здесь работал Альберт Эйнштейн». При таком соседстве Валерий прекрасно вписался в знаменитую принстонскую научную школу, издал монографию в области математической физики, решил какую-то вековую математическую проблему и получил Филдсовскую премию в размере чуть ли не миллиона долларов. Как-то я пошутил: «Природа милостива к тебе, Валера... Если бы тогда ВАК утвердил твою диссертацию, ты работал бы сейчас доктором технических наук в секретном НПО общего приборостроения без права выезда за границу. Воистину антисемитизм иногда оборачивается к вам, евреям, своей конструктивной стороной». Валера, помнится, ответил серьезно и странно: «Знаешь, Игорь, та история сидела во мне много лет болезненной занозой. Когда я приехал сюда, то вскоре обратился за советом к одному известному математику с мировым именем и спросил его, могу ли я защитить здесь, в Принстоне, докторскую диссертацию. Знаешь, что он ответил? „Конечно, можете, но Вам это абсолютно не нужно, у Вас есть все известные публикации, Вам не следует тратить время попусту, пусть Ваши аспиранты защищают диссертации“. Я только тогда расслабился и понял, какая это

была у нас бессмысленная суета сует...» От местной суеты Валерия ограждает его жена Бэлла, она взяла на себя всю организацию их жизни – от содержания большого дома до встреч с друзьями и посещения филармонии. Эта энергичная женщина удивительно дополняет погруженного в математические абстракции непрактичного мужа. Для полной семейной гармонии им не хватает детей, и я не знаю, в чем причина этого; если они сами не говорят – значит, не следует спрашивать...

Артуру Олеговичу не удалось сохранить единым наше огромное предприятие. При резко сократившихся военных заказах оно естественным образом начало уменьшаться и распадаться. Поняв неизбежность этого процесса, Артур позволил руководителям подразделений искать свои пути к спасению, вплоть до отделения от предприятия на основе некоего коммерческого проекта или изделия. Сам он выделил свой бывший отдел и создал на его основе новую небольшую фирму системно-компьютерной направленности. Всё шло поначалу хорошо, появились заказы на программное обеспечение, но потом, в процессе приватизации, возникли какие-то юридические проблемы... Не знаю подробностей, потому что был уже в Америке, но по слухам Артур наступил на больную мозоль или перебежал дорогу какому-то начальству,

начались финансовые проверки, прокурорские запросы и т. д. и т. п. Короче, Артура арестовали и посадили в КПЗ в Большом доме на Литейном – видимо, собирались раскрутить вокруг него какое-то большое дело о коррупции и хищениях в новых негосударственных структурах. Я искренне сочувствовал своему далекому другу, не верил в его виновность. Вероятно, в камере предварительного заключения он, профессор, доктор наук и Генеральный директор крупнейшего предприятия, вполне осознал, пользуясь его выражением, «какие интересные времена наступили», – там у него случился первый сердечный приступ. Артура поместили в тюремный лазарет, но в дело вмешался сам мэр Санкт-Петербурга, и его освободили. После выздоровления Артур сумел восстановить свою фирму и переориентировал ее на обслуживание систем мобильной связи, которые начали быстро распространяться по стране на основе зарубежной аппаратуры. Он сделал фирму конкурентоспособной и прибыльной, дела шли отлично, но какой-то рок тяготел над ним с самого начала тех «интересных времен». Случился второй сердечный приступ, Артура отвезли на скорой в кардиоцентр, где врачи решили установить ему электрокардиостимулятор. Операция была назначена на следующее утро. Ночью Артур скончался от остановки сердца, он был еще сравни-

тельно молодым человеком...

Судьбы моих друзей из окружения Иосифа Михайловича сложились по-разному, но тоже не очень-то счастливо. Наши поэты – Сережа и Володя – шли своими творческими путями, первый с большим успехом, второй совсем безуспешно.

Сергей был признан за рубежом выдающимся поэтом, широко публиковался в том числе в переводах на английский и другие языки, выступал в больших залах перед русскоязычной публикой, получил международные литературные премии, но... на своей родине оставался известен лишь узкому кругу друзей и почитателей благодаря самиздату и передачам зарубежных радиостанций. Его «стихам, как драгоценным винам», черед всё не наступал и не наступал. Это очень тяготило Сергея, непризнание на родине буквально отравляло его существование, он много пил отнюдь не те «драгоценные вина», а банальную русскую смирновскую водку, изготовленную в Америке наследниками российских производителей этого зелья. Сергей умер совсем молодым от сердечной недостаточности, так и не дождавшись признания на родине. Оно пришло уже после смерти поэта, причем с мощью, превзошедшей все драгоценно-винные ожидания. Стихи Сергея вошли в хрестоматию, а на доме на Петроградской, где у Аделины собирался наш

диссидентский кружок, появилась мемориальная доска «Здесь бывал...»

У другого нашего поэта всё сложилось иначе – Володя жив и относительно здоров в свои уже немалые годы, но малоизвестен в поэтическом мире. Он публиковался, выступал со своими стихами и песнями по питерскому радио, но... без особого успеха. Говорят, что для публичного признания мало одного таланта, нужно еще оказаться в подходящее время в нужном месте – у Володи этого не получилось. У него случилось обратное – однажды он оказался в неурочное время в неподходящем месте. В тот поздний вечер он шел через пустырь к своему дому в новом районе на окраине города. Там на него напали бандиты, ограбили, избили... Самое страшное – они били его ногами по голове... Природе нелегко дается рождение таланта, но эта удивительная и редкая милость природы может быть легко уничтожена одним-единственным ударом грязного сапога выроodka. Володя лежал в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой, потом вынужден был уволиться с работы – у него случались ужасные головные боли и припадки с потерей памяти. Ему приходилось содержать себя и несовершеннолетнего сына – на пенсию по инвалидности он едва сводил концы с концами. Если бы не помощь Иосифа Михайловича, то все его страдания

могли трагически закончиться очень скоро. Этот воистину святой человек нанял для Володи за свой счет домработницу, потихоньку давал ей деньги на покупку продуктов, а главное – сам возил Володю по врачам и оплачивал все расходы по его лечению. Он буквально вытащил нашего друга из почти безнадежного состояния, заставил его самого бороться за свое выздоровление. Я иногда разговариваю с Иосифом Михайловичем по телефону; он оценивает теперешнее состояние Володи как удовлетворительное, передает ему мои приветы, но... «Поймите, Игорь Алексеевич, того блистательного Володи, которого вы знали, уже нет», – так ответил Иосиф Михайлович на просьбу соединить меня с этим человеком, который когда-то поразили меня своим ярким талантом на далекой Колыме.

Сэр Томас скончался в Нью-Йорке от инсульта – он не перенес перелета через океан. Мы с Витей и Томасом летели из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк с двумя посадками – в Ирландии и Канаде. Ветеринар, с которым мы советовались по поводу Томаса, сказал, что, учитывая его преклонный возраст, этого делать не следует. Он даже пошутил: «Только закаленный в труде советский человек может вынести такое путешествие». Мы с Витей, конечно, не могли оставить Томаса. Банальные слова типа «он был членом нашей

семьи» в данном случае лишь в слабой степени отражали ситуацию – мы с Витей хорошо помнили, что именно Томас создал нашу семью. Короче – мы взяли его с собой. На отрезке пути до Ирландии Томас провёл в багажном отсеке – так распорядилось аэрофлотовское начальство. По-видимому, он не смог пережить подобное унижение, и тогда-то и начался болезненный процесс... После остановки в Ирландии Витя настоял, чтобы Томасу разрешили продолжить путь вместе с нами. «Иначе, – заявил он капитану, – я останусь с ним в Ирландии». Весь дальнейший полёт Томас провёл у Вити на коленях. Было видно, что ему плохо, он вел себя необычно, словно потеряв свое достойное спокойствие, нервно вздрагивал и вытягивал свою курносую головку при каждом резком звуке, а потом прижимался к Вите и зарывал мордочку под его руки. В Канаде Витя остался с Томасом в кабине, несмотря на требования стюардесс покинуть самолет. В Нью-Йорке Томасу стало совсем плохо, у него отнялись ноги, он стал ходить под себя... Мы с Витей были в ужасном состоянии. Нам была заказана гостиница в Нью-Джерси около моей будущей работы, но мы вынуждены были снять номер в Квинсе, неподалеку от аэропорта, чтобы как-то помочь Томасу. Увы, наши усилия были напрасны – в клинике после обследования сказали, что у него обширный инсульт, что ничем

помочь не могут. На этом закончилась жизнь нашего с Витей лучшего друга. Его последний взгляд и открытый в попытке что-то сказать нам ротик я не могу забыть. Трогательно маленькую металлическую урну с прахом Томаса мы забрали с собой...

Вот так сложились судьбы героев нашей повести.

О себе, пользуясь привилегированным положением рассказчика, скажу несколько пространнее...

После отъезда Арона в Израиль мы в лаборатории реализовали одно из его предложений, разработали нехитрый прибор, пользовавшийся спросом и в строительстве, и в промышленности, наладили его производство и... И на этом завершили свою научную деятельность. В лаборатории появились молодые люди, быстро освоившие премудрости нарождающегося российского бизнеса, дела пошли по нарастающей, мы неплохо зарабатывали. Мой авторитет по-прежнему был высок, но сам-то я понимал, что всё это новое и прекрасное, увы, не мое... Пытался найти себе место на кафедре, однако зарплата преподавателей стала унижительно ничтожной. В это время Джошуа Саймон, с которым мы изредка переписывались, прислал неожиданное предложение. Коротко говоря, оно сводилось к следующему: Лаборатория Белла в штате Нью-Джерси купила лицензию на новую систему мобильной радиосвязи, разработанную в Калифор-

нии под руководством доктора Саймона; для промышленной доработки системы Лаборатории нужны специалисты высокого уровня по кодированию сложных сигналов; он, Джошуа Саймон, предлагает мне должность старшего научного сотрудника в Лаборатории Белла. Далее Джошуа писал, что в системе использованы некоторые коды и алгоритмы, которые мне хорошо известны, и в случае моего согласия он немедленно свяжется с президентом Лаборатории и обеспечит официальное приглашение на работу в США. Я был взволнован – в этой лаборатории изобрели транзистор и сотовую связь, открыли реликтовое радиоизлучение Вселенной и теорию информации, разработали языки программирования и многое другое... Я подумал, что природа, у которой я пребывал в немилости, вдруг сжалилась и подбросила мне шанс, от которого может отказаться только идиот. Проблема была в Вите – он учился на искусствоведческом факультете, и мне казалось, что прерывать его учебу неправильно. К моему удивлению, Витя сказал, что, конечно же, поедет со мной и закончит образование в Колумбийском университете. Я написал Джошуа о своем согласии работать вместе с ним, он выполнил свое обещание и прислал официальное приглашение от руководства Лаборатории Белла – так мы с сыном оказались в Америке.

Я получил работу над проектом, по существу завершавшем разработки, которые мы с Ароном, Ваней и, светлой памяти, Артуром когда-то продвигали у себя на родине. Это позволило мне довольно быстро вписаться в жизнь американской фирмы, несмотря на проблемы с английским языком и с малознакомой продвинутой компьютерной технологией. Через руководство Лаборатории благодаря протекции Джошуа мне удалось подключить к проекту Арона с его лабораторией в Хайфе. Мы быстро продвигались вперед и вскоре наши технические решения стали основой международных стандартов. С Витей мы сняли квартиру в небольшом уютном нью-джерсийском городке в полчаса езды от моей работы. Он, впрочем, предпочитал жить в Манхэттене, в студенческом кампусе Колумбийского университета. Параллельно с учебой Витя начал работать волонтером на одной из крупных нью-йоркских телестанций, которая готовила группу комментаторов и операторов для освещения культурной жизни города. Работа эта ему очень нравилась, и он рассчитывал получить штатное место после окончания учебы.

Подробности моей жизни в Америке – отдельная большая тема, конечно, вне рамок этого повествования. Тем не менее не могу не рассказать о нескольких драматических событиях, без которых, возможно,

этот роман вообще не стоило затевать.

Одно из них покажется читателям абсолютно невероятным в свете того, что они уже знают обо мне, поэтому предлагаю присесть и угадать с трех раз, что же со мной случилось... Да, угадали – я женился. Но еще более удивит вас, на ком я женился. Однажды Витя приехал из университета в неурочное время посреди недели и с загадочной улыбкой долго ходил вокруг да около, прежде чем выдал в моем стиле распиравшую его новость: «Папа, сядь и угадай с трех раз, кого я встретил в университетской библиотеке». Я без особого интереса сказал, что гадать не буду, но готов послушать, кого же он встретил. Ответ сына был шокирующим – он сказал, что встретил Аделину Григорьевну. Я уже много лет ничего не знал об Аделине, и вот она здесь, почти рядом! Витя рассказывал:

«Я узнал Аделину Григорьевну не сразу – она сидела через два стола напротив меня... Долго смотрел на нее, так что она это заметила и потом несколько раз взглянула на меня, словно пытаюсь что-то вспомнить... Наконец я решился проверить технику взятия интервью, которой нас учат, подошел и, извинившись, сказал примерно следующее: „Много лет тому назад вы захотели познакомиться со мной, тогда еще ребенком, чтобы потом, когда я вырасту, опознать меня при встрече... Теперь я предоставляю

вам такую возможность“. Аделина Григорьевна воскликнула: „Боже, Виктор Игоревич, вылитый Уваров в молодости!“ Она, оказывается, тоже узнала меня, но не могла в это поверить. Потом мы пошли в кафетерий и поговорили. Я рассказал о тебе, она ответила, что рада будет повидаться. Аделина Григорьевна работает профессором колледжа журналистики при университете, преподает литературу, живет в Манхэттене. Вот просила передать тебе свою книгу».

Книга с фотографией Аделины на задней обложке была на английском языке; из ее вычурного названия, которое я затруднился бы перевести на русский, я понял только одно – это о Достоевском. Дарственная надпись была в стиле автора: «Дорогому Игорю Уварову – несбыточной мечте многих дам – от одной из них, получившей от него в крае вечной мерзлоты в качестве подарка такой мощный заряд „достоевщины“, что полыхает до сих пор...» Я спросил Витю, как Аделина выглядит. Он помялся: «Не такая уже молодая, но... красивая». А потом добавил: «Папа, мне показалось, что она не замужем». Игорь как в воду глядел, мы с Аделиной начали встречаться и у меня в квартире, и у нее... Как-то обсуждали мой гражданский статус в Америке, и Аделина сказала: «Знаешь, Уваров... хватит дурака валять – женись на мне и по-

лучай гражданство, как муж американки. Я тебе делаю предложение. О сыне тоже подумай... Не будь дураком, Уваров, у тебя со мной будет минимум семейных обязательств, сам знаешь. Если хочешь, можешь жить отдельно – чудикам наш пионерский привет». Я задал ей только один, но дурацкий вопрос: «Ты поедешь со мной в кругосветное путешествие, если я женюсь на тебе?» Ответ Аделины вполне устроил меня, хотя был он отнюдь не подобострастным: «Постараюсь, чтобы „сбылась мечта идиота“ – поеду с тобой на Фиджи». В итоге, к своему собственному удивлению, я сдался без сопротивления, может быть, еще и потому, что Витя очень одобрил это и сказал мне почти словами Аделины, что, мол, не будь дураком, папа, такая красивая женщина... Вопреки своим привычкам, мне вдруг не захотелось жить отдельно, и мы купили большую квартиру на двадцатом этаже прямо на берегу Гудзона с нью-джерсийской стороны – с балкона открывался весь Манхэттен.

Так протекала теперь моя жизнь в Америке. Джошуа Саймон играл в ней возрастающую роль. Мы теперь часто переписывались по электронной почте, я обсуждал с ним все проблемы, возникавшие в процессе освоения его разработки. По телефону мы общались реже – мне всё еще трудно было на лету воспринимать английскую речь. Джошуа, как я понял, с по-

дачи Арона предложил мне написать совместно книгу по новейшим радиосистемам, я послал ему отредактированный Аделиной план книги, и он принял его с небольшими правками – дело пошло. Джошуа жил в районе Сан-Диего вблизи от места работы. Он сам, по его словам, не любил путешествовать и пригласил нас приехать к нему в Калифорнию. «Мы должны наконец встретиться лицом к лицу, я приглашаю вас, Игорь, с женой остановиться в моем доме», – так я перевел его приглашение. Договорились, что мы приедем примерно через месяц-два, уточнив всё заранее по электронной почте. Однако поездку пришлось отложить... Непредвиденные обстоятельства выбили меня из привычной колеи – прошлое заявило о себе самым неожиданным образом, прошлое предъявило мне свой старый счет и бросило новый вызов...

Всё случилось, когда Витя пригласил меня с Аделиной на премьеру оперы «Мадам Баттерфляй» в «Метрополитен». Аделина была в тот вечер занята, и я пошел на премьеру один. Витя работал тогда с группой операторов над фильмом об этом театре с упором на интернациональный состав его солистов. Он сказал, что в главной роли выступает сопрано из России – это ее дебют на самой известной в мире сцене. В Советском Союзе опера Джакомо Пуччини шла под названием «Чио-Чио-Сан» – я слушал ее несколько

раз. Это одна из моих любимых опер – трехактный страстный монолог любящей женщины, в котором все остальные действующие лица присутствуют лишь постольку поскольку, то есть для создания надлежащего фона. В программе было сказано, что в роли Баттерфляй дебютирует русская певица Светлана Однолько родом из «сибирской глубинки», выпускница Санкт-Петербургской консерватории и солистка Мариинского театра. Далее перечислялись партии оперного репертуара, спетые ею в ряде известных европейских театров. Это всё, что я успел узнать об исполнительнице главной роли до подъема занавеса. В первом акте после довольно скучного начала русская солистка внезапно придала действию динамику, но, как мне показалось, сама оставалась несколько скованной вплоть до финальной сцены с великолепным любовным дуэтом Баттерфляй и Пинкертона. Вы, конечно, знаете, что у слушателя классической оперы не бывает среднего состояния – опера либо захватывает до конца так, что «комочек в горле» и летишь вместе с каждым извивом музыки, либо оставляет настолько равнодушным, что думаешь о чем-то постороннем. Финал первого акта захватил меня целиком и уже не отпускал до самого трагического конца оперы. У Однолько был великолепный сильный голос – сопрано с насыщенным и объемным звучанием низ-

ких нот, как у меццо-сопрано. Она была красива, хорошо сложена, а главное – с первого своего появления заставила зрителя поверить в тот образ, который лепила. Я ждал с нетерпением второго акта, в котором Баттерфляй не покидает сцену, а главное – поет знаменитую центральную арию всей оперы с мелодией невыразимой словами красоты. Там и текст прекрасный, но что значат даже самые поэтические слова без той мелодии... Русская пела по-итальянски о том, что в один ясный и желанный день она увидит дымок в туманной дали моря, а потом белый прекрасный корабль войдет в гавань и привезет ее любимого. Но она не побежит навстречу, а будет ждать его, притаившись на склоне холма. Напряженность мелодии и голоса нарастают:

Вот маленькою точкой там, смотри же,
Один вдруг отделился, спешит сюда, всё ближе.
Кто идет? Кто идет? Сузуки, угадай.
Кто зовет? Кто зовет – «Баттерфляй, Баттерфляй!»

И вдруг мелодия изнутри порывисто взрывается, и голос покорной и нежной Баттерфляй звучит с такими силой и страстью, что ее призрачная мечта, кажется, вот-вот сбудется:

А сердце рвется,

Не выдержит оно такого счастья...

Я был еще под впечатлением этой чудесной музыки и бури оваций, устроенной темпераментными нью-йоркскими меломанами русской певице, когда в ложу зашел Витя и сказал, что может немедленно познакомить меня с ней. Не в меру взволнованный, я чувствовал себя ведомым какой-то непонятной внешней силой, когда мы шли театральными закоулками за сценой в примерную актрисы.

Когда мы вошли, она уже сняла парик с длинными черными волосами. Светлана оказалась коротко стриженной шатенкой, не такой эффектной, как на сцене, но очень милой молодой женщиной со слегка вздернутым носиком на вполне славянском лице. Виктор отрекомендовал меня всякими высокими словами. Я поздравил Светлану с успехом, рассказал, как люблю эту оперу, что слушал ее еще в Советском Союзе с Марией Биешу в главной роли, но что сегодняшнее исполнение превзошло всё, что мне известно, – это была правда. Светлана отвечала со сдержанной благодарностью. Я был очень возбужден и многословен, сказал, что Пуччини, на мой взгляд, последний оперный классик, что на нем классическая опера закончилась и никогда уже не возродится, напористо пытался обосновать эту точку зрения приме-

рами неудачных современных опер. Она с улыбкой, обращенной к дилетанту, возражала: «Не думаю, что настало время хоронить оперу... Я вскоре буду петь в „Войне и мире“ Прокофьева, а ведь эта опера написана лет на двадцать позже последней работы Пуччини». Я упорствовал, чтобы только не заканчивать этот разговор: «Премьера оперы „Турандот“ была в 1926 году – уже после смерти автора. Думаю, что это и есть дата конца оперной классики». Светлана встала, давая понять, что встреча окончена, подала мне руку и сказала: «Через два года после предлагаемой вами даты „конца“ Шостакович написал оперу „Нос“, и вскоре „Метрополитен“ будет ставить ее... Была рада познакомиться, Виктор говорил мне о вас много хорошего. Спасибо за добрые слова...»

Словно юноша, ищущий поощрения у любимой девушки, я мучительно выдумывал, что бы такое сказать для продолжения разговора. Что-то тревожно удерживало меня здесь около этой женщины, в голове стучало...

– Вспоминаю, что ваша фамилия Однолько имеет украинские корни. Так называли на Украине одинокого человека. Ваша сегодняшняя героиня обречена на одиночество, потому что она нравственно намного выше всех окружающих... А как у вас в жизни?

– О, это интересный вопрос... – с усмешкой сказала

она и, обведя глазами комнату, добавила: — Как видите, здесь этого нет, но одиночество бывает не только от превосходства в чем-то... Когда я попала в Ленинградскую консерваторию прямо из Хабаровского училища, мне было очень одиноко, потому что у меня не было в Ленинграде ни одного близкого человека.

— А ваши родители?

— Мамы тогда уже не было в живых, она умерла очень молодой, онкология... А у отца была другая семья.

— Вы отважная женщина. Приехать одной в Ленинград — это вызов судьбе...

— А без вызова судьбе ничего не воздастся, потому что она, судьба, должна поначалу убедиться, что ты жаждешь воздаяния. Ну, а потом строго по Библии: «Воздаяние человеку — по делам рук его». У меня, конечно, была еще кровная тяга к Ленинграду — я ведь родилась там.

— Вы родились в Ленинграде? Здесь написано, что вы из сибирской глубинки.

— Родители уехали из Ленинграда, когда я была совсем крошечной. Отец окончил Военно-морскую академию, его распределили в Комсомольск-на-Амуре, и мы с мамой, конечно...

Последнюю фразу Светланы я не сумел дослушать — тяжело потянуло в затылке, в ушах зашумело, а

перед глазами запрыгали цветные полосы... Я потерял сознание только на минутку, Виктор успел подхватить меня и усадить в кресло. Очнувшись, я услышал, что Светлана вызывает скорую помощь. В затылке еще болело, но шум в ушах и цветные полосы исчезли, и я жалко прошамкал, что «скорую не надо». Испуганные Виктор и Светлана поили меня водой, потом долго шептались, после чего Витя объявил мне: «Вопрос о скорой помощи не обсуждается – нужно немедленно ехать в больницу для обследования». Она добавила: «Не беспокойтесь, Игорь Алексеевич, я позабочусь, чтобы вас посмотрели лучшие врачи в Mount Sinai Hospital». Но я в тот момент беспокоился не о госпитале, а о... Комсомольске-на-Амуре, черт бы его побрал. Меня потрясло то чудовищное открытие, которое случилось здесь, когда было произнесено название этого города... «Невозможно уйти отсюда, не поставив точку... Даже если меня унесут на носилках», – решил я. Когда работники скорой помощи уже поднимались по лестнице, я положил руку на затылок, вздохнул, как мог глубоко, и каким-то чужим сдавленным голосом проговорил: «Скажите, Светлана... пожалуйста, скажите – вашу маму звали Галиной Андреевной?» Она с удивлением всем телом подавалась ко мне: «Откуда вы знаете имя моей мамы?» Снова запрыгали цветные полосы, сдавило грудь... в

комнату вошли полицейский, врач скорой помощи и двое санитаров с носилками. Врач послушал меня, измерил давление и сказал: «У вас гипертонический криз... Требуется немедленная госпитализация». Уже лежа на носилках, я знаком подозвал Светлану и тихо сказал ей: «Позвоните мне. Когда это всё пройдет, нам нужно встретиться, я расскажу вам много интересного о вашей маме...»

В машине скорой помощи мне сделали внутривенное вливание, поставили капельницу, и к моменту приезда в госпиталь полегчало. Невероятное всё-таки случилось... Много лет тому назад я обещал своей первой жене Гале, что никогда не потревожу нашу дочь напоминанием о своем отцовстве, поклялся забыть свою дочь навсегда. Почти тридцать лет я скрупулезно выполнял свое обещание, страшился нарушить его даже случайно, но сегодня само Провидение разрушило мое неведение... Гали уже нет, и в мире остался только один-единственный человек, от которого Светлана может узнать правду. Я еще не решил, что мне делать с моим открытием, у меня случилась больничная отсрочка для принятия решения, но она была очень краткосрочной. Витя не мог понять, почему я так сорвался, и винил себя за всю эту затею с русской солисткой. Аделина провела двое суток со мной в палате госпиталя. Она сказала: «Нужно загля-

дывать в свой паспорт, прежде чем пускаться в авантюры с юными примадоннами».

За два дня пребывания в госпитале мне поправили давление и сделали все мыслимые и немыслимые исследования. Кардиолог сказал, что один из моих сердечных клапанов работает из рук вон плохо. Он объяснил, что это не лечится, что операция неизбежна и чем раньше я ее сделаю, тем лучше: «Вы молоды и перенесете операцию легко, не затягивайте решение». Я поблагодарил доктора за комплимент и обещал через месяц вернуться к этому вопросу. У меня была запланирована двухнедельная поездка на международную конференцию по теоретической радиотехнике в Пуэрто-Рико – не хотелось ее пропускать. Аделина советовалась по этому поводу с кардиологом, он не возражал против нашей поездки, но предупредил: «У вашего мужа серьезное поражение митрального клапана, его необходимо заменить. Ситуация не критическая, но не доводите дело до тяжелого приступа, покажитесь кардиологу-хирургу не позднее чем через месяц».

Светлана звонила несколько раз Виктору и спрашивала обо мне, а потом уехала на две недели в Европу – у нее были выступления в Лондоне и Мюнхене. Она сказала, что очень хочет встретиться со мной и непременно сделает это сразу же по возвращении в Нью-

Йорк. Я, однако, к тому времени должен был улететь на конференцию в Пуэрто-Рико, так что наша встреча снова откладывалась, а у меня появилось достаточно времени, чтобы обдумать этот необычный поворот судьбы и принять решение о том, по какому пути пойти после поворота... Виктор по моей просьбе подготовил обширный материал о Светлане Однолько – я теперь знал много о своей дочери. Он удивлялся моему повышенному интересу к ней, и я не мог ответить ему ничего вразумительного кроме банальных слов о любви к оперному искусству. Я подумал, что Аделине можно было бы раскрыть правду, но потом отложил это до принятия решения в целом. Она отнеслась спокойно к моему «оперному интересу», но не сомневалась, что я «втюрился на старости лет в молоденькую певичку» – такая интерпретация пока вполне устраивала меня.

Конференция проходила в отеле на берегу Атлантического океана неподалеку от Сан-Хуана – столицы Пуэрто-Рико. Рядом с отелем были чудный песчаный пляж и огромное зеленое поле для игры в гольф с живописными пальмами прямо на океанском берегу. По утрам и вечерам мы с Аделиной купались и гуляли по берегу, а днем я проводил время на заседаниях, знакомился с американскими учеными, участвовал в дискуссиях. Я успешно сделал доклад по теории но-

вого класса кодов, и Аделина помогала с английским, который был у меня далек от совершенства.

Конференция спонсировалась знаменитым Калтеком – Калифорнийским технологическим институтом и принадлежащей ему Лабораторией реактивного движения. В последний день конференции состоялся прощальный банкет прямо на берегу океана. Столы были расставлены под легким навесом, украшенным множеством небольших цветных фонариков. Мы пили шампанское в компании с профессором из Калтека и его женой, настроение было праздничное... Ближе к концу банкета я обратил внимание на активную даму из оргкомитета конференции, которая ходила от стола к столу и показывала всем какую-то бумагу. «Что за документ показывает наша активистка?» – спросил я профессора.

– Она собирает подписи под некрологом в связи с кончиной одного видного ученого из Калифорнии. Вы, наверное, не знаете его...

– В какой области он работал?

– Главным образом в теории кодирования.

– Тогда я должен его знать... Кто он?

– Джошуа Саймон...

Холодок пробежал по моей спине... Умер Саймон, мой научный двойник, с которым я планировал вскоре встретиться. Арон считает его самым талантливым

в нашем деле. Аделина тотчас оценила мое шоковое состояние и стала объяснять нашим застольным друзьям, что существует код Саймона-Уварова и что ее муж и есть тот самый Уваров. Мне стоило большого труда, не выдав своего волнения, включиться в разговор:

– Я никогда не встречался лично с доктором Саймоном, но очень хорошо знаю его публикации, мы работали в одной области.

– Тогда вам обязательно следует подписать некролог.

– Что случилось с Джошуа?

– Подробностей не знаю... Он собирался приехать на эту конференцию с докладом, но из-за обострения болезни попал в госпиталь и, увы... уже не вышел оттуда. Насколько я знаю, у него был рак мозга.

Саймон собирался приехать на эту конференцию, у нас был шанс наконец-то встретиться, посмотреть в глаза друг другу! «Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы смотрели в глаза...» Увы, колокольчик смолк навсегда... Я шепнул Аделине, что должен побыть один, извинился и вышел к океану.

Было уже темно... Вся линия берега вплоть до Сан-Хуана светилась огнями, ограждая остров от тьмы бесконечного океана. Океан шумел остатками вчерашнего шторма, и белые гребешки угасающих волн

просвечивали сквозь темноту. Когда-то именно сюда приплыли парусники Христофора Колумба во время его второго плавания из Европы. Адмирал уже знал путь в Новый свет, но всё еще думал, что приплыл в Индию. Он заблуждался, но такое заблуждение стоит многих знаний, он искал одно, а открыл совсем другое – типичный эпизод в истории поисков нового. Если ищешь долго и упорно, если веришь, что наконец нашел, очень трудно признать, что нашел не то, что искал. Так и у меня... Там, за этим безбрежным океаном, остался мой родной город Санкт-Петербург... Я пересек океан «в поисках утраченного времени», как говорил классик, в поисках некоего идеала... Но оказалось, что утраченное, канув в Лету, не возрождается и что открыл я для себя нечто другое, может быть, значительное и важное, но другое... И теперь трудно признать, что открытое не совпадает с искомым... В отличие от поиска Колумба, мое искомое, судя по всему, просто не существует.

Саймон умер... Я не успел встретиться с ним. Собирался, но не собрался – и не успел, опоздал. Как это могло случиться? Это потому, что я в немилости у природы? Или здесь какой-то другой, недоступный мне замысел? Или нелепая случайность? Джошуа Саймон... Я поначалу, на слух, думал, что Саймон – это его имя. Мы шли с ним вместе, рядом, словно по од-

ной узкой тропинке, с которой нельзя свернуть в сторону. Мы были рядом, разделенные железным занавесом и многими тысячами километров суши и моря. Мы шли одним и тем же путем, никогда не видя друг друга и даже долгое время не зная о существовании друг друга. Это удивительно, а некоторые скажут – невероятно, но это так. Однако самое удивительное: если один из нас сбивался с дороги, другой поджидал его на общей тропе, не спешил уйти вперед. Джошуа был глубже меня, хотя иногда мне удавалось опережать его вследствие внезапных находок и ниспосланных Провидением озарений. Потом он догонял меня, чтобы сначала преподать урок математической строгости, а потом пойти вперед. Не имея возможности договориться о направлении дальнейшего движения, Джошуа и я всегда выбирали один и тот же путь. Мы шли по одной и той же научной тропе, ведущей из области неведения в страну ведения, не отклоняясь и не соблазняясь ложными боковыми ответвлениями. Я не знаю, как и почему это происходило – как будто кто-то вел или что-то вело нас. Арон, лучше кого бы то ни было знавший историю нашего с Джошуа синхронного научного поиска, называл «это что-то» приземленно – «синхронная интуиция, вызванная ясным пониманием текущих задач и конечных целей». Мне сейчас хотелось бы назвать «это что-то» более возвышенно...

Наш совместный путь пролегал на виртуальной тропе в каких-то высших, невидимых и нам только отчасти доступных нематериальных сферах... там, где «бездна премудрости и ведения... где непостижимы судьбы... и неисповедимы пути». А когда мы спускались с той тропы на землю, то он оказывался на просторном скоростном шоссе, а я – на грунтовом проселке в колдобинах, его идеи подхватывались жадными до инноваций бизнесменами, а мои норовили выбросить в мусорный ящик ссученные чиновники застойного режима. Поэтому он дошел до конечной цели, а я сорвался в обрыв в двух шагах от нее... Но я никогда не завидовал ему и даже был искренне счастлив, когда он открывал всему миру новый результат, который я в своем закрытом ящике уже давно секретно знал. Говорят, тому, кто счастлив, не страшна даже смерть. Я не согласен с этим...

Не знаю, был ли Джошуа религиозным человеком, но мне трудно представить его атеистом. Как это ни странно, два таких разных человека – Арон Кацеленбойген и Джошуа Саймон – увели меня от убогого совкового атеизма, называвшегося «воинствующим». Зримое, материальное общение с одним и невидимое, виртуальное, ирреальное – с другим, столкнулись во мне подобно частицам материи в кольцевом ускорителе. Столкнулись с такой силой, что произве-

ли нечто, равноудаленное и от религии, и от безбожия... И в той равноудаленной точке пришло ко мне понимание ограниченности человеческого разума, за пределами возможностей которого и размещается То, что религиозные люди называют Богом. Древняя истина: чем больше мы знаем, тем больше неизвестное. И не важно, как назвать это расширяющееся неизвестное; важно, что Оно есть и что бесконечный процесс познания, скорее всего, является расходящимся.

Надо завтра же позвонить Арону и Наташе, сообщить им, что умер Саймон. Арон расстроится и, наверное, скажет, что мне теперь придется одному достраивать теорию, которую мы с Саймоном выстраивали вместе. Я знаю, что не смогу построить это грандиозное здание один, но не захочу огорчать Арона и соглашусь. А Наташа, как всегда, поддержит меня, и от ее слов мне захочется вопреки самому себе и всему на свете достроить то здание своими собственными руками...

Нельзя оставлять Витю в неведении, он должен узнать, что Светлана его сестра, что я с его помощью нашел свою дочь, как когда-то нашел его. Он будет шокирован и скажет: «Я думал, что такое бывает только в романах». И мне придется объяснять сыну, что бывают в жизни другие романы, в которых случается такое, о чем никто никогда не расскажет. И Витя

вспомнит свою жизнь и, как всегда молча, кивнет мне согласно и благодарно...

Наверное, Аделина не поверит моему рассказу о дочери, и придется выложить ей подробно всю историю своего первого брака. Она всё равно не поверит, но скажет, что это прекрасный сюжет для сногшибательного мюзикла, в котором Светлана сможет сыграть главную роль, и что я могу продать этот сюжет бродвейским продюсерам. Я вынужден буду ответить, что мог бы организовать генетическую экспертизу, но никогда не опускаюсь до подобной низости... И тогда Аделина скажет, что эти мои слова могут составить замечательный финал того мюзикла.

Что мне сказать Светлане? «Твоя мама просила никогда и никому не говорить, что я твой отец, и я поклялся ей забыть тебя навсегда...» Я вдруг понял, что не смогу произнести это. Если бы Светлана не была знаменитостью, то, наверное, смог бы... Нет, не то – при чем здесь знаменитость. Как можно оправдать прошлое? Тридцать лет неведения... Как на фундаменте такого прошлого построить будущее? Может быть, Витя когда-нибудь раскроет ей эту тайну...

Раздался звон колоколов, началась служба в местном храме.

Колокола, колокола, не надо так печалиться,

Вы догудите песни им, живым, колокола!

Смертные звуки колоколов и бессмертный шум океанских волн причудливо перемежались, переплетались, сливались и снова рассыпались. Меня всегда волновали непостижимые вечность и бесконечность как антиподы понятной нам короткой вспышки жизни в ограниченном пространстве. Океанские волны шумели и перекатывались точно так же, когда парусники Христофора Колумба впервые появились у этого когда-то пустынного берега, они будут так же подниматься и опадать белыми гребешками, когда нас не будет...

Прохладный ветер подул с океана...

Почему меня так тронула смерть Саймона? Я терял многих несравненно более близких мне людей, но эта смерть задела во мне что-то глубинное, по образу и подобию творца созданное, чему нет замены. Почему он, а не я? Ушла в небытие часть меня самого, и теперь не надо спрашивать, по ком звонит колокол, он звонит по мне...

2015–2016

Нью-Йорк – Санкт-Петербург

В книге использованы отрывки, отдельные фразы и мысли из произведений: Анны Ахматовой, Исаака Бабеля, Константина Бальмонта, Андрея Белого, Отто фон Бисмарка, Александра Блока, Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Фридриха Горенштейна, Александра Грибоедова, Данте Алигьери, Пола Джонсона, Сергея Довлатова, Джона Донна, Федора Достоевского, Евгения Евтушенко, Сергея Есенина, Владимира Жаботинского, Бориса Кагана, Павла Когана, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, Владимира Маранцмана, Андре Моруа, Николая Некрасова, О. Генри, Булата Окуджавы, Джорджа Оруэлла, Бориса Пастернака, Марселя Пруста, Александра Пушкина, Роберта Рождественского, Владимира Селянинова, Александра Солженицына, Льва Толстого, Федора Тютчева, Эрнеста Хемингуэя, Стефана Цвейга, Марины Цветаевой, Уинстона Черчилля, Корнея Чуковского, Варлама Шаламова, Вильяма Шекспира, Наоми Шемер, Александра Яброва...